



**ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ  
ЩЕРБИНА**

**Собрание сочинений**

Серия I. Неизданные сочинения

————— Том III —————

**Ф. А. ЩЕРБИНА**

**ПЕРЕЖИТОЕ,  
ПЕРЕДУМАННОЕ  
————— И —————  
ОСУЩЕСТВЛЁННОЕ**

————— Т. III —————

Краснодар  
2013

ББК 63.3(2Рос-4Кра)  
УДК 94(470.620)  
Щ64

**Составление, вступительная статья и научная редакция текста В.К. Чумаченко**

**Щербина Фёдор Андреевич.**

Собрание сочинений / Ф.А. Щербина. – Краснодар: Книга, **Щ64** 2008- . – (Серия 1. Неизданные сочинения) / Т. 3: Пережитое, передуманное и осуществлённое / [сост., науч. ред., вступ. ст. В.К. Чумаченко]. – 2013. – 448 с.: ил.

Третий том воспоминаний Ф.А. Щербины переносит читателя из губернского Ставрополя в приазовские плавни, небольшую кубанскую станицу Бриньковскую, в которой недоучившиеся бурсаки решили основать земледельческую ассоциацию. Опоэтизированному коллективному труду на пашне, рыбной ловле, добыче соли и скромной красе приазовских степей посвящены лучшие страницы повествования. Ассоциация просуществовала около двух лет, став для каждого героя важной ступенью духовного и физического взросления.

Книга рассчитана на широкий круг читателей: исследователей истории и культуры, студентов, учащихся старших классов общеобразовательных школ и воспитанников кадетских корпусов – всех, кто интересуется казачьим прошлым Кубани.

**Благодарим фонд Олега Владимировича Дерипаска «Вольное дело» за спонсорскую поддержку издания собрания сочинений Ф.А. Щербины.**

ББК 63.3(2Рос-4Кра)  
УДК 94(470.620)

ООО «Книга»  
Краснодар  
2013

- © ООО «Книга»
- © Благотворительный фонд «Вольное Дело», 2013
- © В.К. Чумаченко, составление, научная редакция, вступительная статья, 2013
- © НП «Историко-культурное наследие Кубани», 2013
- © Краснодарский краевой общественный благотворительный фонд им. Ф.А. Щербины, 2013



Федорь Андреевичь Щербина

## От научного редактора

**В** очередном томе собрания сочинений Ф.А. Щербины мы продолжаем публиковать его воспоминания «Пережитое, передуманное и осуществлённое». Детская и подростковая созерцательность, присущая герою первых двух частей пространного жизнеописания, коренным образом меняется. Теперь он не только мечтает переустроить жизнь на принципах добра и справедливости, но и впервые пробует воплотить эти фантазии в жизнь, перевести в разряд «осуществлённого». Толчком к действию становятся собственные безотрадные впечатления об окружающем мире и мысли по поводу прочитанных книг, среди которых псевдетективный роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» был лишь вершиной айсберга тогдашней большой литературной моды на сочинения о социальном экспериментаторстве, воспитавшей не одно поколение революционно настроенной молодёжи. Каждый индивид из этой великой когорты пламенных юношей революцию понимал по-своему. Одни верили в чудодейственную силу революционного насилия, террора, другие стремились добиться успеха путём постепенной экономической и социальной эволюции общества, верили во всяческий позитивизм, научные знания и естественную тягу человека к самосовершенствованию. Как известно, в конце концов, в России победили первые. Прошло немало времени, прежде чем нам стал по-настоящему интересен и востребован опыт вторых, проигравших тогда свою битву за человека.

В новом томе на смену семейному и воспитательному роману приходит новая жанровая форма: роман социальный. Ранее было рассказано, как «скубенты» (так их потом называли станичники) ещё в бурсе опробовали воспринятую ими теорию социального равенства, составив небольшую артель, которая более-менее успешно занялась починкой сапог, столярным и переплётным делом. В ней и были добыты первые крупинцы опыта в холодном экономическом расчёте и тонкой психологической притирке молодых людей, решившихся работать сообща.

Подходящим местом для большого эксперимента было избрано Восточное Приазовье, небольшая станица Бриньковская, которую сами жители, конечно же, называли Брыньковской, согласно грубоватой кубанской традиции в местных говорах произносить сочетания сонорных звуков с гласными отчётливо твёрдо. Можно предположить, что современная норма произношения названия станицы через «и» утвердилась

потому, что название её идёт не от весёлой игры в звуки, напоминающие звучание старинной казачьей бандуры, а от официального произношения фамилии командующего Кубанским корпусом бригадира Ивана Фёдоровича Бринка (1734–1792), из обрусевших немцев<sup>1</sup>, который нашёл вечный покой где-то в окрестных дюнах.

Небольшой рыболовный промысел на берегу Бейсугского лимана окончательно превратился в станицу лишь в 1855 году<sup>2</sup>, незадолго до появления здесь наших реформаторов. «Отчёт о состоянии станицы Бриньковской в 1870 году»<sup>3</sup> даёт представление как о численности станицы, так и о характере деятельности её жителей. Всего в ней насчитывалось 1507 человек, в подавляющем большинстве – казаки. Из них 185 человек служили или готовились к будущей службе. Остальные значились как отставные генералы и штаб-офицеры, нижние чины, казаки торгового общества, дворяне. Последних было 60 человек, но они ничем не походили на хозяев процветающих дворянских усадеб средней полосы России, зачастую стыдились своей бедности и при очередных дворянских переписях нередко просили перевести их в мещанское сословие. Появившиеся в станице семинаристы были приравнены по рангу к местному «высшему» сословию, которое, в лице наиболее авторитетных своих представителей, поразмыслив недолго, сошло во мнении, что, наигравшись в свою ассоциацию, непрошенные гости уедут восвояси. Но далеко не такими наивными были притязания самих семинаристов, решившихся примерить на себя «костюмы» передовых земледельцев и произвести небольшой экономический и культурный переворот в пределах одной отдельно взятой станицы.

Первоначально ассоциация состояла из пяти человек: самого Фёдора Щербины, постепенно выдвинувшегося в «командующие», Григория Попки, Якова Попки, Василия Архангельского и уроженца станицы

<sup>1</sup> Принято считать, что о деятельности И.Ф. Бринка сохранилось мало свидетельств. В связи с этим хочу обратить внимание на недавнюю статью В. Дегоева «Забывтый герой Кубани (Слово об Иване Фёдоровиче Бринке)» (журнал «Дружба народов», 2012, № 10), раскрывшую решающую роль, сыгранную в 1776–1777 годах «честным, добросовестным, мало кому известным и к тому же не блиставшим здоровьем» командующим небольшим заградительным отрядом (деташементом), стоявшим на реке Ее – границе между Россией и Крымским ханством, в тонкой дипломатической и военной игре по возведению на крымский престол дружественного России калга-султана Шахин-Гирея.

<sup>2</sup> Местные краеведы берут за точку отсчёта истории своей казачьей станицы различные даты и официальные документы 1850–1860-х годов.

<sup>3</sup> Государственный архив Краснодарского края. Ф. 1. Оп. 1. Д. 92. Л. 1–8.

Бриньковской Кирилла Грачёва, на подворье отца которого им предстояло провести первую ночь. Весной 1870 года в ассоциацию вошёл оставивший семинарию Василий Орлов, а под конец всей истории появились ещё два «однокашника» – Силуан Лавров и Даниил Стражев. Полноправным членом ассоциации можно рассматривать также отца Петра Станицкого, хотя для посторонних глаз он был обыкновенным арендодателем, а они – арендаторами-половинщиками. Называю участников поимённо, так как в последнее время в кругу краеведов появились попытки ввести задним числом в круг участников ассоциации своих предков. Так, в автобиографических записках В.П. Бардадыма утверждается, что активным членом ассоциации был его родной дед Стефан Бардадымов<sup>1</sup>. Добро бы – ради блага, но вся эта выдумка понадобилась как повод, чтобы в очередной раз обрушиться с нападками на знаменитого казачьего историка, назвать его «политическим заводилой-коневодом» (?!), вскружившим своими вредными идеями голову его пращуру. На самом деле Стефан Бардадымов стал священником станицы Бриньковской лишь в 1874 году, то есть через три года после бриньковской эпопеи, благоразумно завершив полный курс обучения в Кавказской семинарии и только затем сменив на этом духовном поприще Аггея Грачёва.

Тут стоит напомнить об одном из несомненных достоинств воспоминаний Ф.А. Щербины, а именно: его герои взяты из жизни и действуют под настоящими именами и фамилиями. Современные жители Бриньковской, несомненно, с большим интересом будут выискивать упоминания о своих предках, как это делали новодеревянковцы, коллективному портрету которых был посвящён первый том. Немногим нашим станицам выпала такая честь, чтобы в её летописцах, пусть и недолго, значился сам Фёдор Щербина. Возникший ажиотаж был и будет, я думаю, оправдан. Ведь сегодня едва ли не в каждой семье возвращают на почётное место фотографии казачьих предков, регулярно выходят из печати книги по истории станиц, написанные неравнодушной рукой, краевой архив как никогда переполнен «ходоками» из самых дальних поселений края. И остаётся только удивляться, как мог упомнить и ничего не перепутать о десятках и сотнях людей наш «козачий дід», перешагнувший в девятое десятилетие своей до краёв наполненной впечатлениями жизни, если в Праге у него не было под рукой ни нужных справочников, ни архивов, ни живых свидетелей его бриньковской эпопеи, со времени которой к моменту написания третьего тома прошло уже более полувека!

<sup>1</sup> Бардадым В.П. Под небом родным. – Краснодар, 2011. С. 31.

Мы мало знаем о дальнейших судьбах членов бриньковской земледельческой ассоциации. Можно сказать, не ошибся в выборе дальнейшего жизненного пути сам Фёдор Андреевич Щербина. Утвердившись в мысли о необходимости продолжать учёбу, он поступает в Петровско-Разумовскую сельскохозяйственную академию, становится известным экономистом, членом-корреспондентом Академии наук, учёным мирового уровня. Трагически сложилась судьба его ближайшего друга Григория Анфимовича Попки (1852–1885). Их дружба началась в Екатеринодарском духовном училище, продолжилась в Ставрополе, Москве и Одессе, но потом пути разошлись. Если Щербина тяготел к либеральному народничеству, то Григорий Попка примкнул к «южным бунтарям», стал членом исполнительного комитета террористической организации «Земля и воля». 25 мая 1878 года, согласно жребию, ему выпало убить в Киеве жандармского полковника фон Гейкинга. Умер Попка 20 марта 1885 года на Нижней Каре, будучи приговорённым к бессрочной каторге и за побег прикованным к тачке. Племянник Григория Яков Антонович Попка вышел из ассоциации в самом начале её деятельности, вернулся домой в станицу Старотитаровскую и занялся земледелием. «Личный дворянин» Пётр Яковлевич Станицкий оставил священничество. В начале 1880-х он значился учителем в селе Казьминском (Баталпашинский отдел Кубанской области). Позднее, уже в 1890-е годы, заведовал первым Екатеринодарским Александровским училищем. Известно, что он женился на сестре Кирилла Грачёва Марье Аггеевне, к которой, будучи ещё священником, относился с подчеркнутым почтением, и что две их дочери, Надежда и Ольга, тоже стали школьными учителями. Даниил Харитонович Стражев (сын дьякона Харитона Захаровича из станицы Новодеревянской) служил поначалу законоучителем в училище станицы Крыловской, а затем там же священствовал. Где-то на юге Кубани пребывал Силуан Лавров. В «Ставропольских епархиальных ведомостях» за 1914 год мне попадалась его публикация о новоявленной секте «свободных христиан» в селе Армавир. Ничего достоверного пока не известно о дальнейшей судьбе Кирилла Грачёва и Василия Архангельского. Говорю об этом, чтобы адресовать нашим краеведам (а среди них есть настоящие энтузиасты) призыв заняться этим вопросом, остающимся белым пятном в истории станицы, да и в биографии кубанского историка.

В Бриньковской Ф.А. Щербина, как и его друзья, трепетно любил кубанскую степь. В книге, где напрочь отсутствуют какие-то любовные сюжетные линии, связанные с главными героями, есть один большой и единственный объект их общей юношеской страсти – красавица степь;

ей посвящены самые взволнованные строки, самые напыщенные и велеречивые слова. В минуты отдыха друзья любили ложиться спиной на траву и слушать симфонию окружающего мира. Небесный свод и ровная ширь под ним давали их взорам полный простор для наблюдения природы в её покое и движении. В кажущемся единообразном покрове степи таилась своеобразная красота степной растительности и целый мир земных существ. Высоко-высоко в небесной синеве парили царственные орлы, а внизу на земле копошились божьи коровки, красиво раскрывающие свои маленькие крылышки с перламутровым отблеском. В таком виде и сама степь являлась им чем-то большим, живым и цельным. При ясной погоде и полной тишине весенняя степь как бы замирала в сладостном томлении. Тогда она не двигалась и не шумела. Но чуть лишь коснётся лёгкое дуновение ветерка поверхности степи, как она оживает, шелестит и отзывается, точно шёпотом разговаривают между собой встревоженные растения. А если лёгкий ветерок заменяется настоящим ветром, то по степи проносится степной говор, и кажется, что она вступила с кем-то невидимым в жаркий спор. Когда же нагрянет сердитая буря или свирепый ураган, то степь приходит в сильное волнение, и по её поверхности ходят такие же волны и буруны, как в открытом море или в безбрежном океане. Апофеозом подобных возвышенных описаний стала в книге глава о «горобинной» ночи. Случается на Кубани такое природное явление, когда с вечера в кустах и плетнях воробьи поднимают настоящий переполох, словно предчувствуя беду. А ночью разражается необыкновенная гроза, с ветвистыми, на полнеба трескучими молниями, с тяжёлым раскатистым громом и ветром, разметающим далеко по сторонам только что сложенные копны. В такие часы страшно в степи под нехитрым кровом сколоченного на скорую руку куреня. Закончится буря, перепутает она степные растения, растреплет и разорвёт нежные лепестки цветов, но пройдёт день или два – и под живительными лучами солнца степь снова проявляется во всём своём блеске и красоте. Стройно выравниваются растения, показываются новые побеги и цветы, и ослепительной зеленью покрывается и горит вся степь из края в край. Именно в такие минуты сердца простых хлеборобов переполняет чувство, которое называется счастьем бытия...

Второе чувство, неведомое ранее мемуаристу, связано с новым восприятием физического труда. В семинарии его относили к группе «доходяг» и «дохляков», пророчили недолгий век, ведь и мать, и отца, и брата Тимошу сразила чахотка. Тяжёлый ежедневный физический труд на свежем воздухе из хрупкого юноши выковал прожившего до 87 лет «кре-

мезного дедугана». Главное, что трудовой десант пришёлся на ту пору, когда молодой организм либо подчиняется зову жизни и резко идёт в рост, наполняясь и жадно захлёбываясь живительными соками, либо, не получив подобной «подкормки», окончательно хиреет. Да, именно труд излечил юношу. Но что это был за труд! Это когда пот катит градом, когда чувствуешь в теле каждую наболевшую струну, когда не веришь, что ещё сможешь когда-нибудь разогнуть спину, а солнце сначала слепит, выжигая все мысли без остатка, а потом чернеет и медленно гаснет на небосклоне в самый разгар рабочего дня. Хорошее начало трудового пути для будущих академиков...

Итак, подведём некоторые итоги. Придуманная Ф.А. Щербиной и его единомышленниками ассоциация отнюдь не была революционной ячейкой, да никто из окружающих её таковой и не воспринимал. Сам же автор признавался, что он с друзьями лишь хотел показать земледельцам достойный пример культурного ведения хозяйства и преимущества коллективного труда, и ничего более. Никакие пропагандистские разговоры со станичниками семинаристы даже не заводили, а занимались в меру сил чистым просветительством. Так что ничья «политическая девственность» в результате юношеской затеи не пострадала.

Позднее Фёдор Андреевич подробно изучил опыт других ассоциаций, и выяснилось, что бывают они не только земледельческими<sup>1</sup>. Годы наблюдений воплотились в первое большое монографическое сочинение молодого учёного, вышедшее в 1881 году под названием «Очерки южнорусских артелей и общинно-артельных форм»<sup>2</sup>. Оно принесло ему первую толику славы как отличного знатока народной жизни<sup>3</sup>. И это, пожалуй, главное, ради чего лучшему ученику Кавказской духовной семинарии стоило пускаться в далёкий путь на поиски правды жизни и самого себя.

**Профессор В.К. Чумаченко**

<sup>1</sup> См. статьи Ф.А. Щербины: «Артель севастопольских лодочников» (Неделя. 1876. № 27); «Крымские солёнопромышленные артели» (Неделя. 1876. № 29); «Забродческие ватаги» (Неделя. 1876. № 34); «Косарские “круги” и артели» (Неделя. 1876. № 37); «Землепашеские артели» (Неделя. 1876. № 41); «Толока» (Неделя. 1876. № 43); «Артели половищиков» (Неделя. 1876. № 44–45); «Организация конокрадов и скотокрадов в Кубанской области» (Неделя. 1879. № 26) и др.

<sup>2</sup> Щербина Ф.А. Очерки южнорусских артелей и общинно-артельных форм. – Одесса: С.Ф. Шаповалов, 1881. VIII, 380 с.

<sup>3</sup> См. рецензии на эту книгу: Отечественные записки. 1881. Т. 225. № 4. С. 235–236; Дело. 1881. № 6. С. 54–60.

## В земледельческой ассоциации



Глава I

## По пути из Ставрополя в станицу Бриньковскую

**Н**е снится мне, а я наяву вижу то серое утро, когда я и четверо моих товарищей покинули Ставрополь-Кавказский. Проводила нас молодая пара друзей, жених с невестой, вечером накануне нашего отъезда, и проводы эти, дышавшие веселостью и юношеской беззаботностью, длились до глубокой ночи. Я не помню, спали ли после того я и мои товарищи, но едва только забрезжило утро и показался на восточном склоне неба свет, как все мы были уже на ногах. Весёлые проводы с вечера не погасили у нас бодрого настроения, которым мы были тогда заряжены. Мы не сговаривались с вечера и не будили друг друга, а сами как-то почти одновременно пробудились, как только послышался слабый шорох просыпающихся товарищей. Быстро, без всякой сутолоки и разговоров, каждый по заранее выработанному плану сделал то, что приходилось на его долю по части размещения вещей в нагруженную уже рабочим инвентарём повозку. Ещё быстрее сообщая была впряжена лошадь. Тихо, без шума, с лёгким лишь стуком колёс, нагруженная выше грядок повозка двинулась в дорогу со двора по глухой улице. Спящий город был вдали от нас – слева в низине, а мы направились прямо из Воробьёвки на почтовый тракт, ведущий из Ставрополя в Екатеринодар. Рядом с повозкой

шёл Яков Попка, наш коновожатый, держа в руках вожжи и управляя лошадью, а мы четвером – я, Григорий Попка, Кирилл Грачёв и Васька Архангельский – сопровождали повозку. На короткой улочке Воробьёвки мы не встретили ни одной души.

Утро было сухое, но довольно прохладное, и мы шли одетыми в тёплые пальто. Было тихо и совершенно безветренно, в немногих дворах, мимо которых мы проехали, огни в окнах уже были потушены, и лишь одинокие фигуры изредка показывались в проёмах дверей. Не лаяли даже собаки, сладко спавшие в эту безмятежную пору. Когда позади нас осталась Воробьёвка, мы поднялись на высшую точку незаметно тянувшейся вверх возвышенности, и тут как-то произошло само собою, что лошадь остановилась. Правивший лошадью Попка тоже встал, а мы последовали их примеру. Молча занялись своими делами. Конвожатый Попка внимательно осматривал упряжь на лошади и чеки в осях; Васька сел на корточки и начал набивать табаком свою носогрейку; Грачёв облокотился на грядку повозки и, постукивая по ней пальцами, насвистывал мотив какой-то песни; а я и Григорий Попка глядели на оставленный нами город. Все мы, видимо, думали, но о чём каждый – никто не заикнулся об этом ни словом. Мне же было не по себе. Меня мучила совесть, неприятно поражало моё обманное бегство от ректора, казалось, что я как бы насмеялся над его заботами и его искренним отношением ко мне. «Если бы в это время был я в квартире ректора, – пришло мне в голову, – и возился бы с книгами, то при малейшем шорохе в моей комнате я, наверное, услышал бы громкий фальцет, нёсшийся из ректорской комнаты: “Щербина! Ты уже не спишь? Какой ты беспокойный! Поспал бы ещё немного”. А я-то, что я сделал в ответ на эти ласковые и шуточные упрёки? – казнил я себя. – Обманым способом удрал от него», – отвечал я на поставленный вопрос. Но я хорошо понимал также, что открытие ректору моих планов и намерений равносильно было бы крушению задуманной нами ассоциации. Это было бы далеко хуже того, что произошло уже. Я и ректора не успокоил бы разоблачением лелеянных нами надежд, и товарищей поставил бы в невыгодное для них положение, и сам поставил бы себя под злые насмешки и горькие упрёки. Но в самый разгар столкновения моих моральных чувств с моим же неуговорным разумом меня вывело из этого неуравновешенного состояния совершенно неожиданное обстоятельство. Васька запел, да так громко и фальшиво, что одновременно Грачёв и Яков Попка запротестовали:

– Васька! Ради Бога, перестань, не порть дорожного настроения.



Григорий Попка, глядя на них, смеялся, я тоже поддержал его со своей стороны, будучи, однако, благодарным Ваське, нарушившему моё самобичевание.

В то же время и природа как бы поощрительно отнеслась к нам, ярким светом приветствуя наше самостоятельное вступление в жизнь. Выходило солнце, и его льющие свет лучи красиво заблестели на крестах и куполах возвышавшегося высоко над городом кафедрального собора. Под блеском тех же лучей солнца оживились как невзрачные подёрнутые дымком части города в низинах, так и окружавшая нас плоская возвышенность с убогой растительностью. В то же время и инцидент с Васькой сам собой разрешился. Поднявшись на ноги, он, по обыкновению, обругал донимавших его товарищей: «Ну, и чёрт с вами!» – и зашагал по дороге впереди повозки. Вслед за ним двинулись и мы в том же направлении.

Светлое утро, полная тишина в воздухе, широко открывшийся с разных сторон простор окрестностей и блестящий солнечный диск, сыпавший потоками света на всё, что раньше при темноте плохо улавливал глаз и что ускользало от внимания, – этот утренний свет возбуждающе подействовал и на нас. Вслед за тем, как двинулся Васька, пошевелил вожжами Яков Попка, рванулась вперёд лошадь, я сделал машинально несколько шагов и, заметив, что мы находимся вблизи большого почтового тракта, пальцем указал Грицьку Попке на деревянные, опоясанные двумя лентами разноцветной окраски верстовые столбы, а Грицько, уловив эти знаки направления нашего дальнейшего пути, в шутку затынул: «Вниз да по матушке, по Волге, по широкому раздолью». Яков Попка и Грачёв не в шутку, а всерьёз поддержали его своими сильными звенящими голосами. Неожиданно запели все мы, даже я.

Дружное пение неслось по почтовому тракту как бы в подмогу нашему движению. Услышав наши рулады, заорал и Васька, шедший на некотором расстоянии впереди. Когда же песня закончилась, раздался общий хохот над неуместностью уподобления Волги-матушки почтовой дороге у Ставрополя, возле которого протекали лишь два крошечных ручейка – Ташла и Мамайка. Разговор принял шутливый характер. После молчаливой стоянки, когда каждый, казалось, собирался со своими мыслями, мы ожили. Нам, очевидно, нужны были не слова исполненной песни, а мотив её. Он нас подтянул, а живительные лучи солнца согрели и ободрили.

Вскоре Васька Архангельский вместо пения провозгласил, как диакон с амвона, своим басом:

– Пора завтракать!

По нашим порядкам, он должен был заранее приготовить утренний завтрак, но мы двигались. На несколько минут была остановлена лошадь. Из мешка с провизией Васька достал особый узелок, в котором завязаны были три очищенных и порезанных на мелкие кусочки таранки, несколько луковиц и пять солёных огурцов. К этим продуктам добавили хлеб из мешка, а всю провизию разложили в передке повозки на холщовом брезенте. Своеобразный стол был накрыт. Яков Попка снова пошевелил вожжами, лошадь тронулась вперёд, и мы пошли возле повозки, завтракая на ходу. Когда уничтожен был завтрак, мы достали из повозки «баклаг», то есть деревянный плоский бочонок с водой, герметически закупоривавшийся деревянными же пробками, напились из него воды и двинулись в путь. Между тем солнце довольно высоко поднялось вверх, и стало настолько тепло, что мы скинули пальто, уложили их на повозку, а сами двинулись налегке – в одних пиджаках.

Я внимательно осмотрел местность, примыкавшую с обеих сторон к дороге, и решил пройти с ружьём справа от обочины, где виднелись местами вспаханные нивы, а местами росли высокие кусты сорной травы и небольшие заросли терновника. Тут, по моим соображениям, должны были водиться зайцы и, может быть, куропатки. Я попросил поэтому Попку остановить лошадь, достал из повозки ружьё и охотничью сумку и направился в сторону от дороги.

– Гляди ж, первый ученик, – кричал мне вдогонку Васька, предпочтительно перед другими благоволивший ко мне за моё корректное отношение к нему и близкое знакомство с сельским хозяйством, – будь первым охотником и у нас в ассоциации. Принеси нам зайца!

– Добре! – крикнул я ему в ответ.

Около часа я шёл в полуверсте от повозки в одном с ней направлении. Дичи – ни зайцев, ни куропаток – я не нашёл и начал уже возвращаться ближе к компании, считая безрезультатными мои охотничьи поиски, но, к моему счастью, из-за кустов рослого пырея выскочил заяц и пошёл, ввиду грохотавшей по дороге повозки, полукругом от меня. Я выстрелил, и заяц, перекувыркнувшись через голову, грохнулся о землю. Предательская эмоция в нервной системе зашевелила чувство удовольствия от удачного выстрела и сопровождавшего его падения зайца, но я в то время не задумывался над аморальностью этого душевного движения. При тогдашнем нашем положении в моей голове вспыхнула чисто практическая мысль о том, что я могу продо-

вольствовать товарищей дичью. В торжественном настроении поспешил я к повозке. Первый мой практический шаг, думал я, ознаменован был актом на пользу ассоциации и товарищей. Не скажу, чтобы лично я кичился этим, как кичатся в таких случаях охотники, но с самого начала нашей деятельности я приучил себя учитывать мои малейшие проявления деятельности с точки зрения выгод ассоциации. Товарищи встретили меня тоже в приподнятом настроении, не соответствовавшем, однако, моим мыслям, так как они упирали, главным образом, на то, что при голодухе в Великий Пост мы будем наслаждаться вкусным кулешом с зайцем, а меня они величали просто молодцем-охотником без всякой квалификации моего деяния с точки зрения выгод или невыгод ассоциации.

Того же дня мы остановились в степи, чтобы дать отдых лошади, разложили большой костёр и в дорожном ведре сварили кулеш с крупным зайцем. Это был не обед и не ужин, а в полном смысле слова весёлое пиршество. Все с удовольствием ели и расхваливали вкусный кулеш и зайчатину, ел вместе со всеми и Васька, но как наиболее религиозный между нами человек, он упомянул, что все мы – греховодники, так как пируем в Великий Пост. Остальные четыре члена – казаки – успокоили себя словами:

– У козаків в поході поста не буває.

Овладение зайцем и пиршество в степи было самым ярким актом в первый день нашей поездки.

Второй день нашего передвижения на Черноморию был ознаменован более внушительным и вместе с тем в высшей степени рискованным для нас происшествием. Хотя мы двигались большим почтовым трактом, но проезжающих было мало. В одном месте, однако, мы ещё издали увидели поднимающуюся тучами пыль от движения какого-то транспорта. Скоро обнаружилось, что навстречу нам мчался экипаж, запряжённый пятёркой лошадей. На таковых ездили обыкновенно по казённому тракту только важные военные особы, преимущественно генералы. Двигаясь, мы с любопытством всматривались в мчавшийся к нам экипаж. В шагах двадцати или пятнадцати от нас раздался громкий окрик ямщиков:

– Сворачивай!

Яков Попка решил, однако, не сворачивать с дороги нагруженной повозки.

– Сворачивай! Сворачивай, с..., с...! – кричали с ругательством ямщики.

Но Яков Попка, не сворачивая, преспокойно ехал по дороге. Верховой на передней паре лошадей ямщик, или, как называли его, «ямщик на выносах», вынужден был свернуть в сторону с дороги передних лошадей, а за ним и задний повернул экипаж в сторону, но этот ямщик стегнул с ругательством кнутом нашу лошадь, зацепив им и Якова Попку. В тот же миг и Яков Попка пустил в ход свой длинный кнут, которым он не достал, однако, ямщика, а попал в спину одного из офицеров, сидевших в передней части экипажа спиной к ямщику, а лицом к генералу, восседавшему в задней части экипажа. Ямщик пытался остановить лошадей, рассчитывая, очевидно, на то, что с Попкой разделяются господа офицеры за его дерзость и неповиновение. Быстрым взглядом с улыбкой окинул нас генерал, крикнув:

– Вперёд!

Ямщик опустил вожжи, и скоро экипаж скрылся с наших глаз. Мы были поражены поведением генерала, явно ставшего на нашу сторону и, во всяком случае, не придавшего никакого значения происшедшему инциденту. Нам хорошо были известны расправы в таких случаях генералов и офицеров с обыкновенными смертными на дорогах и вне их при неокказании повинения и почёта военным чинам. «Кто такой был этот генерал? И почему он если не милостиво, то, во всяком случае, разумно поступил с нами?» – строили мы разного рода догадки. Поравнявшись с первой же почтовой станцией, мы по записи в почтовой книге узнали, что это был Лорис-Меликов. Я и некоторые товарищи слышали фамилию этого генерала, но никто из нас толком не знал, какую он нёс службу и что представлял из себя.

Через год после этого случая Якову Попке пришлось ещё раз иметь дело с генералом Лорис-Меликовым. Вблизи почтового тракта из Тамани на Темрюк Попка в своём поле на току молотил хлеб. Мчавшийся по дороге экипаж остановился, поравнявшись с током, и к Попке пришёл офицер с просьбой дать ему или продать постромку для пристяжных лошадей, так как у них порвались. По аксельбантам офицера Попка догадался, что это был адъютант какой-то важной военной особы, и спросил офицера, с кем он едет. Получив ответ, что он едет с генералом Лорис-Меликовым, Попка немедленно отправился в курень и вынес оттуда хорошие временные постромки. Передавая их адъютанту, он сказал ему:

– Я не дал бы постромки никакому генералу, но с удовольствием даю генералу Лорис-Меликову, так как он правильно поступил со

мной, когда я вгорячах стегнул по оплошности кнутом не ямщика, ударившего меня, а по спине сидевшего против генерала офицера.

– Ну да, и больно ж вы дерётесь, – со смехом заметил офицер.

– Как больно? Почему вы знаете, как я дерусь? – с изумлением спросил офицера Попка.

– Да ведь это вы стегнули меня, – пояснил свои слова смеющийся офицер. – На моё счастье, я сидел в пальто на вате, а кончик вашего кнута всё-таки почувствовал.

Смущённый Попка сказал офицеру:

– Значит, мне, хоть задним числом, приходится пред вами извиниться.

– Ничуть не бывало, – ответил офицер. – Мы были страшно возмущены поведением ямщиков, которые ведь, собственно говоря, скомпрометировали перед вами генерала. Он большую нотацию прочёл потом обоим, вас же он наградил званием храброго гражданина.

Прощаясь с офицером, Попка просил его, чтобы он приказал ямщику доставить ему постромки на обратном пути. Ямщик привёз постромки и сказал, что генерал приказал ему кланяться от него и благодарить.

По изложенным двум фактам я судил впоследствии о личных качествах генерала Лорис-Меликова. Когда я был в административной ссылке в Вологодской губернии, а генерал Лорис-Меликов стоял во главе русского правительства при Александре II, мой тесть С. Шаповалов, которому я рассказал об отмеченных двух случаях, отправился в Петербург, добился приёма у Лорис-Меликова и, изложив ему причины моей высылки, получил от него обещание, что мне будет разрешён выезд на родину из ссылки. Обещание это было исполнено с такой быстротой, что я, уезжая из Вологды, успел соединиться с тестем в Москве. Я отмечаю эти подробности, чтобы подчеркнуть огромную разницу в тех жизненных условиях, какие произошли в течение двенадцати лет обрушившихся на меня гонений со стороны жандармов. В 1869 году я видел Лорис-Меликова по дороге из Ставрополя в Екатеринодар в роли рядового кавказского генерала, а в 1880 году он освободил меня из административной ссылки, будучи всесильным министром внутренних дел. Переданные мной подробности вполне характерны для этого нерядового государственного деятеля. Они, безусловно, точны, так как я был очевидцем одного случая, а другой случай я передал со слов моего товарища, которому я безусловно доверял. Что касается моих политических мытарств, то о них будет сказано в своих местах.

Случайная встреча с неведомым генералом во время нашей поездки из Ставрополя на Черноморию не навела, однако, ни меня, ни моих товарищей на мысль о грозившей нам опасности. Удивляло лишь благородное отношение к нам генерала. Но ни здесь, ни раньше в Ставрополе мы не думали о грозившей опасности нам как инициаторам, мечтавшим о переустройстве не только Черномории, но и целой России. В этом отношении, пожалуй, мы шли с Лорис-Меликовым в некотором раздельном направлении. Важно было лишь улизнуть из Ставрополя не замеченными начальством, а там, думалось, всё само собой приложится. Удивительное легкомыслие мы обнаружили в первые же дни самостоятельности нашей ассоциации. Тогда я не понимал и даже не представлял себе размеров этого легкомыслия. Но сейчас оно мне рисуется в смешных и не в зловещих красках. Нам совсем не приходило в голову ни военные генералы, ни столкновения с ними или с какими-нибудь властями при осуществлении наших планов и намерений. Мы ехали сообществом в таком необычном внешнем виде и обстановке, что одно это должно было бросаться в глаза незнакомым людям, и тем более – властям и зорким полицейским. У нас не было буквально никаких документов, ни паспортов личности, ни удостоверений о нашем имуществе, а между тем выглядели все мы такими юнцами, которым было море по колено. Одетые в приличные городские костюмы, с виду белоручки, мы пешими сопровождали огромную навьюченную каким-то хламом повозку в одну лошадь. Достаточно было спросить нас какой-нибудь власти в селе или станице, кто мы такие и что мы везём в повозке, чтобы с первых же слов наших объяснений нам сказали:

– Ага, голубчики, попались?

Нас могли арестовать, отобрать у нас имущество, посадить в кутузку и чинить розыски и в городе Ставрополе, и у начальства, и в семинарии, и в станицах у родных и знакомых.

Тем не менее, ничего этого не случилось. Мы благополучно и даже торжественно двигались по главному почтовому тракту и на глазах у всех по станицам. На нас многие с любопытством и с изумлением посматривали, но никто нас не трогал и никакие власти не опрашивали, кто мы такие, куда и по какой надобности мы направляемся. Наверное, и мы, внутренне опираясь на свою высокую миссию, держали себя не без некоторого апломба и фанаберии, как об этом свидетельствовал случай столкновения с ямщиками генерала Лорис-Меликова. Объяснялось это очень просто. Волны политического сполоха молодёжи в России не касались ещё в то время на Кавказе ни его населения, ни

начальства. Нам благоприятствовали старые патриархальные условия жизни на Кавказе, особенно на казачьих землях и в казачьих станицах.

В ту пору молодёжь не вела ещё среди сельского населения политической пропаганды, и на нашу группу из пяти юношей, сопровождавших повозку, нигде и никто из властей не обратил внимания. Более того, не было даже специальных органов и лиц, необходимых для этого. Если память не изменяет мне в датах, то в то время в Кубанской области совсем не было ещё жандармов и даже лиц, несших специальную полицейскую службу. В Черномории, и то только в одном городе Екатеринодаре, полицейскими именовались так называемые внутренние служащие казаки, но они, как и все казаки, жили дома в собственных семьях и на собственных хозяйствах, а полицейскую службу несли «поочерёдно» в короткие сроки, после чего уходили в станицы и навсегда оставались дома. Сама же полицейская служба состояла в том, что казаки охраняли население от воров и разбойников, помогали ему в исключительных случаях несчастий при пожарах, болезнях и прочем, и ни к каким политическим розыскам и наблюдениям они причастны не были. Если бы они обратили на нас внимание и узнали бы от нас, что мы казаки таких-то и таких-то станиц, то они признали бы нас своими, а не потрясателями государственных основ и политическими авантюристами, о чём они не имели никаких представлений. Подобным же образом отнеслись бы к нам и станичные власти. Так мы как свои люди и двигались в своих местах и станицах.

В пути, однако, мы должны были выделить из ассоциации одного из своих членов. Хотя заранее ещё в Ставрополе и было решено, что ассоциация оседет в станице Бриньковской, но только четыре члена ничем не были связаны в этом отношении, а пятый член – Яков Попка – должен был после оставления семинарии предварительно явиться к своему отцу в станицу Старотитаровскую, которая находилась в совершенно другой части Черномории, на расстоянии около двухсот вёрст от станицы Бриньковской. Не помню, в каком месте, кажется, в станице Усть-Лабинской не то в Воронежской, мы простились с Яковом Попкою и направились по прямому пути в Бриньковскую, а наш товарищ Яков Попка, с котомкой за плечами, пошёл по прежней дороге через Екатеринодар в свою родную станицу. Расставаясь, мы поручили ему тщательно ознакомиться с ведением сельского хозяйства в районе его станицы и с существовавшими там промыслами – рыболовным, солепромышленным, добыванием нефти и другими занятиями. В случае неподходящих условий в Бриньковской мы могли бы, на основании

сообщённых нам Яковом Попкою сведений, решить, где и как лучше могла устроиться наша ассоциация в его местах.

Остальную часть пути до Бриньковской мы совершили благополучно, без всяких задержек и приключений. Якова Попку заменил Васька, охотно взявшийся править лошадей и ухаживать за ней. Мы по-прежнему продвигались около двадцати с лишком вёрст в сутки, с двумя остановками для отдыха и кормления лошади днём и на ночлегах. Это была посильная порция для лошади и наших ног. Животное исправно несло свою службу. Крепкая и хорошо упитанная, она получала в дороге обильный корм и надлежащий отдых. Оба наши коноводы – Яков Попка и Васька – заботливо ухаживали за нею и постоянно вдоволь кормили её сеном и овсом, а при езде совсем не пускали в ход кнута. Достаточно было произнести: «Но!» – чтобы лошадь бодро двинулась вперёд.

Иначе себя чувствовали сопровождавшие лошадь и повозку члены ассоциации. По степени выносливости в пути мы делились на две группы. Трое – Яков Попка, Васька и Грачёв – отличались завидным здоровьем, не подвергались никаким болезням в Ставрополе, выглядели шустрými ребятами и, казалось, шутя проходили по двадцать вёрст в сутки. Дорога их не утомляла, ели они исправно, с аппетитом, и ночью спокойно спали на открытом воздухе при низкой температуре. Но двое – я и Григорий Попка – во многом уступали им в этом отношении. Оба мы считались слабыми ходоками, тщедушными и лишёнными того внешнего физического форса, которым отличались наши товарищи. Двадцативёрстный переход в сутки с места на место мы с трудом проделывали. Только в первый день поездки я прекрасно себя чувствовал под влиянием повышенного настроения. Я легко тогда справился с охотой на зайца, несмотря на то, что не по дороге, а вдали от неё в степи я проделал более длинный и тяжёлый, по рослой траве и буйной растительности, путь. В последующие же дни, с наступлением серой обыденщины и монотонного передвижения, я отказался даже от охоты, почувствовав усталость после плохо проведённой ночи на открытом холодном воздухе. Григорий Попка тоже уставал от ходьбы. Оба мы в первые два или три дня, пока не втянулись несколько в ходьбу, шли с натугой и при малейшей возможности садились на землю. На наше счастье, во всё время нашего передвижения стояла хорошая погода – тёплые дни, отсутствие ветров, полное бездождье и сухая дорога. Тем не менее, в те ночи, когда приходилось ночевать не в станичных тёплых хатах, а на открытом воздухе в степи, отсутствие удобств для

ночного отдыха и холодные ночи давали всем знать невыгоды такой дорожной жизни. Мы всегда были рады и приходили в возбуждение, когда в степи попадались ометы соломы или стога сена, хотя бы они находились и вдали от дороги. Тогда у нас вдоволь было подстилки для постелей на соломе, прикрытой сверху брезентом и сулившей нам хороший отдых. Причём костры из терновника или хвороста ночью и рано утром вызывали бодрость и согревали нас перед сном и после сна в достаточной степени.

Большая часть нашей дороги пролегла вообще по однообразной, голой местности. Вблизи не было ни красивых видов, ни разнообразия в переходах культурного характера. Степь, не освободившаяся ещё как следует от зимнего безжизненного покрова, местами пестрела курганами, а местами общий её рельеф как бы переходил в изломы глубоких и пологих оврагов или балок. Но на юг от степей, на далёком расстоянии от них, большую часть пути после выезда из Ставрополя, особенно в прикубанской полосе почтового тракта, нас как бы сопровождал страж Кавказа – двуглавый великан Эльбрус, в соседстве с запада и востока белеющих снежных вершин Кавказского хребта. Эта величественная в далёкой от нас перспективе картина природы не раз приковывала к себе наши взоры и приводила всех нас в восхищение. На протяжении по крайней мере ста шестидесяти вёрст нашего пути, пока мы круто не повернули на северо-запад от Кубани, Эльбрус не менялся ни в своей массивной фигуре, ни в очертаниях её частей. Всюду, со всех пунктов нашего передвижения, он являлся нашим глазам как неизменное, индивидуальное чудо природы.

Состояние психики, чувств, ума, мысли и воображения менялось у меня в зависимости от того, как я, не отрывая глаз, смотрел на Эльбрус или любовался степью. Эльбрусу с Кавказским хребтом, несмотря на величественную, причудливо красивую картину мощной природы, я отдавал много раз по несколько минут в день внимания и восхищения, а между тем почти целый день я смотрел и смотрел на серые, не сверкавшие в то время красотами степи, и главное – смотрел и думал. Эльбрус будил возвышенные чувства, серая и корявая степь, вызывая работу ума и мышления, заставляла наблюдать, подмечать, сравнивать, сопоставлять, анализировать и делать выводы. Зелень только ещё местами слабо пробивалась из земли, а однообразная, тусклая и унылая степь, особенно в Ставропольской губернии и в смежных с ней частях Старой Линии, казалось, могла нагонять на зрителя лишь тоску и уныние. И тем не менее, почти каждый из нас внима-

тельно наблюдал степь, и все мы делились своими впечатлениями. Эльбрусом и Кавказским хребтом мы молча наслаждались, и лишь изредка кто-нибудь ронял несколько слов, а степями интересовались все, подмечали те или другие особенности их и не только сообщали друг другу наблюдения, но и заводили споры. Несомненно, это объяснялось, прежде всего, тем, что сами мы были детьми степи, родились и выросли среди степей и любили их простор и природу. Степь была перед глазами, а Эльбрус – вдали, и мы, конечно, смотрели на убогую после зимнего сна степную природу, прежде всего, потому, что она была перед носом. Но как ни слабы были мы теоретическими знаниями в области агрономии, у нас всё же был свой хозяйственный опыт и вынесенные из него знания. Я, влюблённый с раннего детства в царину, то есть в засеянные хлебом нивы с очаровательным баштаном, покрытым соблазнительными дынями и арбузами, дружен был с завзятым работником-земледельцем Явтухом, от которого многое усвоил из хозяйственных приёмов и земледельческой техники. Яков Попка смотрел на земледелие, как велось оно у него дома его отцом, священником и рачительным хозяином, но сам предпочитал земледелию разведение лошадиных табунов. А Васька, родившийся и выросший в крестьянском селе, изображал своей особой авторитетного земледельца, который «собаку съел» по этой части, и не терпел никаких возражений по своей специальности. Григорий Попка, родившийся в городе и воспитанный с детства в четырёх стенах городского дома, слабее нас был в знакомстве со степью и с приложением к ней труда, но горячо любил казачьи просторы. Наконец, Кирилл Грачёв, «певчая птица», как удачно назвала его шестнадцатилетняя матушка, был на самом деле певчей птицей; он видел и любил казачью степь и казачье поле, но ещё в большей степени увлекался пением. Основную группу в некоторой степени авторитетных членов ассоциации в области земледелия, а следовательно – и будущей земледельческой деятельности, составляли трое из нас – Яков Попка, Архангельский и я, а двое были поклонниками степи и верили в спасительную силу ассоциации товарищей. Вообще же наши случайные и бессистемные в условиях непрерывного передвижения наблюдения степи были крайне поверхностны, ограничены, а нередко и сумбурны. Тем не менее, отвлекая наши взоры от Эльбруса к степям, мы, несомненно, отдавали определённую долю внимания тому делу, которое влекло нас в отдалённую, убогую и глухую казачью станицу. Продвигаясь в первый раз по незнакомым нам местам и приглядываясь к расположенным вдоль

дороги степям, мы говорили и спорили об условиях лучшей постановки нашей ассоциации.

Первым застрельщиком в этом отношении был Васька. Находясь ещё в пределах Ставропольской губернии, он со всей силой своей аргументации обрушился на степи.

– Вот вам ваши хваленые степи, ни к чёрту не годятся они! – заговорил он. Васька привык к грубым бурсацким выражениям и без «чёрта» не обходился в своих спорах и нападках на противников.

– Чого ж то так? – задевал Ваську Яков Попка.

Васька ярко описывал глинистые, с камнями, земли, засохшую растительность, полное отсутствие водных источников, ничтожные запашки, степную глушь без признаков хуторских заимок и даже стогов сена и скирд соломы, которые указывали бы на проявление хозяйственной деятельности людей в степи.

А Попка высказывал соображения о том, что таких степей не стоит и трогать земледельцу, но на них можно водить табуны лошадей, так как корма здесь остаются совершенно нетронутыми и неиспользованными.

– Что ж, – острил Васька, – и мы с тобой будем табунщиками и станем разводить лошадей, а не пахать землю?

– Та хоч би і так, як під руку таке діло підвернеться, – говорив спокійно Попка. – Козаки потрошки орють землю та сіють хліб, так зато коней, овець та рогатого скота багато розводять і не лають степ так, як ти.

Васька закипал гневом и ещё в более резких выражениях чернил степь, доказывая, что земледелие прибыльнее скотоводства. Попка молчал в ожидании, пока не выговорится Васька, а затем круто поворачивал спор, говоря:

– Ну, Васька, про те, що корисніше в степу – чи хліб, чи скотина, бабушка надвое говорила, та й тебе за ногу зачепила. Держись кріпче за землю, а то полетиш турманом!

– Что? – восклицал с изумлением Васька. – Ты такую чепуху плетёшь, что сам чёрт в ней не разберётся.

– Так ти, – энергично наступал Попка, – мабуть, той самий чорт, яким ти мене лякаєш? Ти тільки подумай, що воно виходе: ти кажеш, що степи ці для хліборобства не годяться, і я те ж кажу; обидва ми в одну дудку граєм. Так це ж степи твої ставропольські, на яких, мабуть, і твоє село красується, а не наші степи чорноморські, яких ти ще й не

бачив. Це ж не я чепуху наплів, а ти сам на себе та на свою Ставропольщину капості напустив.

Ошеломлённый Васька некоторое время молчал, а мы громко хохотали, но потом он, как утопающий за соломинку, хватался за своё родное село и расписывал его в самых ярких красках. Спор, однако, был проигран. Яков Попка, главный оппонент Васьки, молчал, а Васька, поняв свой провал, чесал затылок и раздумывал.

Мы же четверо просто делились своими впечатлениями, вполне понятными каждому из нас, выросшему в казачьих условиях жизни и в степной обстановке. Мы были слабы вообще в теоретических познаниях и невежественны в области естествознания, но на глаз видели огромное различие в природе степей возвышенного эльбрусского контрфорса, служившего водоразделом между двумя морскими бассейнами – Каспийским морем на востоке и Азовским с северным придатком Чёрного моря на западе. Степи Ставропольской возвышенности и приазовских низин Черномории резко отличались по мощности своей растительности, а мы как степняки в этой именно области были сильны с детства, будучи прекрасно знакомы с разного рода травами и сорной растительностью.

Неглубоки поэтому были и наши наблюдения степей, по которым мы проходили. Мы просто припоминали те растения, которыми в детстве лакомились: катран, козелець, какиш и тому подобные, говорили о разного рода сорных травах, какие попадались нам на глаза, с особым вниманием присматривались к кормовым растениям для разных видов скота. Всё это не шло дальше воспоминаний и очень редко – сопоставлений. Помнится мне одно растение, на которое я указал и которым заинтересовалась вся наша компания. Это был кермек, имевший в моей родной станице промышленное значение. Деревянковка находилась в самой отдалённой северной части Черномории, где в степи, кроме невзрачного терновника, не было буквально никакой древесной растительности, даже боярышника, хотя в станицах и были мощные и роскошные сады и насаждения. Между тем кермек имел толстый, богатый дубильным веществом корень, в чём сильно нуждались кожевники. Поэтому в этих местах возник особый промысел по добыванию кермека, дававший хороший заработок. Корень кермека выкапывался обыкновенно из земли и шёл на дубление кожи. Так как кермек всегда был в цене, то у нас возникло предположение о добывании кермека в случае нужды или свободного от земледельческих занятий времени.

Это был за всю дорогу единственный практический результат наших наблюдений и разговоров.

Больше оживления и разного рода предположений возникало у нас по мере того, как мы продвигались к Азовскому морю, вблизи побережья которого находилась станица Бриньковская. С каждым днём продвижения заметно менялись и климатические условия, и внешний вид степей. С исчезновением на горизонте Эльбруса и Кавказского хребта величественные картины горной природы заменились нежными очертаниями и цветными тонами степей; постепенно становилось несравненно теплее, чем на возвышенных местах эльбрусского контрфорса в пределах Ставропольской губернии и соприкасавшихся с ним местностей Старой Линии. Местами степи уже ярко зеленели, и ещё ярче бросались в глаза покрытые густою зеленью озимые посевы. Васька уже совсем не спорил и не клеймил непригодностью степей, а удивлялся резкой смене в степной природе. Местами ровная поверхность степи напоминала безбрежное море, а местами узорами чередовались разбросанные нивы со сплошными покровами степной растительности. Черноморские же станицы, тонувшие местами в больших и мощных садах, и длинные «греблі», то есть гати, запружавшие в широких берегах степные реки, приводили Ваську в восторженное состояние.

– Вот где, – восклицал он, – должно быть рыбе царство!

А рыба, как бы подзадоривая Ваську, плескалась и прыгала на поверхности воды.

Так благоприятно сложилось для нас наше передвижение из Ставрополя в Черноморию. Конец же нашего путешествия вышел несколько неудачным. Мы рассчитывали, что непременно попадём в Бриньковскую станицу никак не позже страстной субботы и проведём первый день Пасхи на месте. Дорога, однако, потребовала от нас лишних два дня для продвижения. Вечером в страстную субботу мы ночевали невдалеке от станицы Брюховецкой, последнего населённого пункта, от которого приблизительно верстах в сорока на запад расположена была станица Бриньковская. Пасху мы встретили, следовательно, в пути. Рано утром в этот праздник один Васька пропел своим скрипящим басом: «Христос воскрес!», но мы не поддержали его, ибо у нас не было ни кулича, ни красных яиц. Самое утро вдали от людей в степной глуши было пасмурным и неприветливым. Совсем не было настроения. Праздник мы встретили постным завтраком из одной сухой тараньки с луком и хлебом; наши запасы были на исходе. Ввиду сокращения расходов мы решили претерпеть до конца, не

останавливаясь в большой торговой станице Брюховецкой и не покупая ничего съестного. Торжественную встречу пасхального праздника мы перенесли на приезд наш в станицу Бриньковскую, в которой, как мы все были уверены, только и мыслимо было настоящее торжество. Вечером на второй день Пасхи мы прибыли в Бриньковскую, и действительно радостно и весело отпраздновали свою Пасху в приветливо принявшей нас семье Кирилла Грачёва.







Глава II

## На сговоре

**Я** не помню, в какой обстановке – во дворе или в доме – встретился я с Петром Яковлевичем Станицким, священником станицы Бриньковской, но живо представляю себе его своеобразную фигуру и его поразительно жизненные движения и переходы в настроении. Это был маленький, тонкий и деликатно сложенный «пан-отец» бриньковских прихожан в средних летах. Благодаря плотно облегавшему его фигуру сатиновому подряснику без пояса и каких-либо внешних придатков костюма, он напоминал собой по внешности нечто единое и цельное в малых размерах и в немногих признаках индивидуальности. Подрясник скрывал всего его с головы с кучей светлых волос до ног в чёрных опойковых сапогах, прикрытых подрясником ниже колен. Левая рука спрятана была в карман подрясника, а правая, с засунутыми в застёгнутый подрясник пальцами, неподвижно висела на груди. И ничего больше. Если бы отец Пётр стоял на одном месте и молчал, то это был бы форменный манекен. Но отец Пётр был живой ртутью по движениям фигуры и экспрессии в говоре и настроении. Строго говоря, весь он сконцентрирован был в своей маленькой насыщенной эмоциями физиономии. Куча длинных светлых волос, перевязанных с затылка ленточкой, светло-русые брови, усы и небольшая включенная бородка как бы терялись в глазах зрителя, но оживлённое, правильное, с несколько большим для него носом лицо

и серые, детски печальные глаза так живо и ярко отсвечивали душевное настроение и смены его у этого маленького, казалось, человечка, что за этими выразительными признаками отца Петра терялась вся его фигура, точно это было зеркало на подставке из полукафтана. И опять-таки это было не обыкновенное зеркало, в котором отражалось всё, что попадало на его поверхность, а, так сказать, самоменяющийся диск живого существа, в который проникал свет не извне, а откуда-то изнутри, непрерывно меняясь в своих излучениях. Что-то скорбное во взгляде серых глаз отражалось на общем фоне жизненного лица, на котором менялись то серьёзное и задумчивое выражение, то неожиданно сверкавшее изумление, то ещё более неожиданный весёлый смех, сопровождавшийся раскатами звенящего, как колокольчик, голоса и многочисленными мелкими складками подвижного лица. И всё это происходило так открыто, непринуждённо и естественно, как в ясный день играли лучи в небе или падали живительные капли дождя на землю.

Яжимаю руку отца Петра, всматриваюсь в его приветливое, серьёзное лицо, а он, отвечая мне таким же дружеским пожатием, с лёгкой улыбкой говорит:

- Так это вы прикатили к нам прямо из Ставрополя?
- Не прикатили, – говорю я, – а прийшли пішкура.

Лицо отца Петра быстро покрывается мелкими морщинками, раздаётся взрыв хохота, и отец Пётр, переходя на украинскую речь, поспешно, слегка заикаясь, выражает недоумение:

– Так у вас же, кажуть, велика повозка і добра коняка? Як же воно так вийшло?

– Була велика повозка і добра коняка, – попадаю я ему в тон. – Повозка їхала, коняка везла, а ми пішки з ними йшли; нігде було ні на повозці, ні на коняці примоститься.

Раздался снова смех. Отец Пётр левой рукой поправил волосы на затылке, а правой замахал в знак понимания курьёзности нашего положения и, переступая с ноги на ногу на одном месте, громко воскликнул, покачивая головой:

- От так на курьерских прикатили!

И сразу казалось, что мы были с ним давнишние приятели и обменивались короткими замечаниями, как свои люди, издавна.

Так чувствовал я себя при встрече с отцом Петром, так чувствовали себя и мои товарищи, а Грачёв и раньше был с ним в приятельских отношениях. Теперь и мне показалось, что его предложение



о привлечении священника к нашему делу было небезосновательным. Грачёв успел уже увидаться с отцом Петром и условиться с ним о знакомстве с нами. Тот попросту пригласил нас через Грачёва к себе в гости, и мы пришли к нему в назначенное время. Сразу же обнаружилось, что хозяин почувствовал себя в близкой к нему компании, а гости нашли в нём своего близко подходящего для них человека. Он несколько лет подряд вёл уже земледельческое хозяйство, любил это занятие и в достаточной степени ознакомился с ним. После общих опросов отца Петра о семинарии, в которой он окончил курс лет десять тому назад, о старых и новых профессорах и сообщённых ему сведений мы сразу перешли на вопросы о местном земледелии и хозяйстве.

Нас – или, собственно, меня и Ваську – интересовала постановка земледелия и вообще занятий местного населения, а отец Пётр с огромным вниманием слушал нас о том, как мы пришли к мысли о земледельческой ассоциации после того, как прошли свою товарищескую школу трёх занятий – переплётного, сапожного и столярного мастерства. Он очень сочувственно и одобрительно отнёсся к нашему опыту по организации товарищеских работ в Ставрополе и был одного с нами мнения о полной возможности применения в таком виде труда и к земледелию. В нём жив ещё был бурсак, привыкший к единению, что, несомненно, повлияло на наши сразу же ставшие благоприятно слагаться взаимоотношения и собственное его положение. Он был вдов, жена его давно уже умерла, и он остался одиноким, без детей, человеком с живым темпераментом, хорошими доброжелательными намерениями и с глубоким интересом ко всему новому и прогрессивному. При таких условиях интересы наши скрестились, и разговор наш принял близкий всем и непринуждённый характер.

Отец Пётр охарактеризовал нам три вида занятий местного населения – земледелие, скотоводство и рыболовство. Общими силами мы прекрасно разобрались в наиболее близком нам – в земледелии. Хотя станица Бриньковская примыкала к огромному Бриньковскому лиману, соединявшемуся, в свою очередь, узким и глубоким «гирлом», то есть горлом, проливом с Азовским морем, но в три стороны от станицы – на северо-восток, запад и юг, лежали обширные, на много вёрст, степи с богатой растительностью и тучными землями. Простор был огромный для земледелия и скотоводства. Из этих двух основных отраслей хозяйства мы заранее, ещё в Ставрополе, избрали земледелие, отводя скотоводству роль подсобья или добавочной отрасли, без которой немислимо существование земледелия. Занятие стадным

скотоводством нам совершенно не подходило; у нас не было стад, а для разведения их требовались бы или долгие годы, или же большие деньги для покупки скота, которых у нас совсем не было, да к тому же между нами не было ни знатоков, ни любителей этих занятий. Высказанные нами по этому поводу соображения вполне совпадали со взглядами отца Петра. Сам он не занимался и не увлекался никакой отраслью скотоводства, совсем не имел овец, держал только пару ценных лошадей для разездов, четыре пары волов и две или три коровы. Солидно обоснованные нами по поводу животноводства соображения настолько веско и удовлетворительно подействовали на отца Петра, что он сразу стал с нами в равные отношения, поняв наши, близкие и ему, замыслы, свидетельствовавшие о нашем серьёзном отношении к задуманному плану, а ни в коем случае не о фантастичности его.

– Оце добре, – говорил отец Пётр, – що усі ми однаково дивимось на це діло. Птиця у мене в дворі плодиться, а свиней я не держу; помії та всякі останки кухарка до себе у двір носе та своїх свиней годує, а на Різдво і мене кендюхом та ковбасами поштує.

И, сообщая эти подробности, отец Пётр весело смеялся. Смеялись и мы, хорошо зная, что при отправлении треб духовные отцы натурой собирают достаточные запасы колбас и свиного сала.

Коснувшись второстепенных занятий в казачьем хозяйстве, я напомнил отцу Петру, что станица Бриньковская находится недалеко от Ясенских соляных озёр и что добыча соли также может дать хороший заработок. Соглашаясь со мной, по этому поводу он сообщил, что, несмотря на большой спрос в соли при местном рыболовстве, казаки очень мало соли добывают на озёрах, предпочитая «выволочке» соли из озёр покупку из войсковых «кагатов», то есть из огромных бугров войсковой соли, так как соль «сідає», кристаллизуется в жару летом, когда происходят спешные и неотложные работы в поле. Все согласились, что добыванием соли как подспорьем в хозяйстве можно заниматься только в свободное от земледельческих работ время. Упомянул я и о добывании кермека, но этим слабо развитым промыслом в станице никто не занимался, и сбыта на месте кермека не существовало. Разговоры в этом роде, можно сказать, всё более и более сближали гостей с хозяином.

Васька со своей стороны заинтересовался техникой земледельческих работ у казачьего населения и, узнав, что в станице нет ни одной сохи, выразил по этому поводу нескрываемое порицание косности казаков. По его мнению, лошадьё и сохой можно в два раза больше и

лучше вспахать земли, чем плугом в четыре или три пары волов. Отец Пётр возразил, что сохой можно пахать только мягкие земли и лёгкие почвы, на которых сеется большей частью рожь. Казаки же предпочитают возделывать твёрдые целинные земли, на которых хорошо родят в первый год лён, просо и наилучше удаются бакши, а на второй год – пшеница и ячмень, почему они находят неподходящей соху для вспашки целинных с корневищами земель, а рожь считают малоценным хлебом. Что же касается пригодности для земледельческих работ в хозяйстве лошадей и волов, то в степях, по мнению отца Петра, при обилии подножного корма и труднопреодолимых путей сообщения, лошадей часто нельзя сделать того, что легко даётся волам. К тому же уход за лошадью сложнее, а кормление её значительно дороже, чем волов.

Васька не уступал своей позиции и упирал, главным образом, на то, что для плуга требуется четыре пары волов, а для сохи – одна лошадь. Оба спорщика горячились, и один стоял за крестьянина, а другой – за казака. Отец Пётр говорил скороговоркой, сильно заикаясь. Васька был спокоен и пускал в ход иронию, чаще всего – неудачную и не достигавшую цели. Все же свои доводы Васька упорно сводил к тому, что казаку следует поучиться земледелию у крестьянина и непременно завести соху и лошадь вместо плуга и волов.

– Лошадь, – говорил он, – во всяком случае, стоит дешевле четырёх пар волов, продав которые, можно купить четыре самых лучших лошади с самыми исправными четырьмя сохами.

– Так нащо ж багато козакові заводить такої рухляді, як сохи, – спросил своего оппонента отец Пётр, – коли можна плугом в одну коняку краще орати, ніж сохою?

– Какие же это конные плуги у казаков? – спросил, в свою очередь, Васька отца Петра с хитрой усмешкой.

– Німецькі однокінні! – ответил отец Пётр.

– Вона! – со смехом воскликнул Васька. – Славим бубны за горами!

– Які там бубни за горами? – со смехом возразил отец Пётр. – Вони у нас під носом у німецькій колонці, і плугів там скільки хочеш можна купити, та вони недорогі.

Васька растерялся, как в споре с Яковом Попкой о непригодности для земледелия степей. Его поставили в смешное положение собственное самомнение и обожание родного села. Во второй раз он был разбит в пух и прах на своих искренних, но консервативных воззрениях о

преимущества села и его культурного уклада над казачьей станицей, которую он плохо знал. Больше не сказал он ни слова, а благоразумно замолчал.

Но в этом случае победу в споре праздновал не отец Пётр, а я, и не потому, что он победил Ваську, а потому, что немецкий плуг, казалось мне, победил и русскую соху, и наш казачий сабан. Мне припомнилось, как лет десять тому назад в детстве я заинтересован был немецким плугом в Ейске. По этому поводу я завёл разговор с отцом Петром и узнал от него, что он купил подержанный уже плуг, превосходно, однако, работавший на его глазах, и что он отдал его местному кузнецу для починки. Это только усилило моё желание непременно войти в компанию с отцом Петром. Я заранее мечтал о том, как мы поразим немецким плугом казаков. Бриньковская станица находилась в очень глухом месте, и немецкий плуг был интересной новинкой для местного населения.

В таких разговорах мы незаметно подошли к самому существенному для нас вопросу о том, что же и как будет делать наша ассоциация. Сам отец Пётр поставил нам этот вопрос.

– Так оце ми й прийшли до вас, Петро Яковлевич, щоб питать вас, чи не візьмемся вкупі з вами за діло? – сказал Кирилл Грачёв, с которым я заранее условился о постановке им этого предложения.

– Чом не взятися? – сказал с обычной своей стремительностью отец Пётр. – Можна попробувать, аби була у вас охота. У мене все є для діла, та неначе мене хтось надоумив, що я недавно і плуг німецький купив. Як тільки скінчатся святки, так першим ділом поїдемо німецький плуг пробувати.

Я и мои товарищи чуть не подпрыгнули от радости от такого простого и неожиданного подхода к разрешению основной нашей задачи. Я подумал о том, как было бы хорошо, если бы сразу удалось нам выяснить и установить те условия, на каких мы войдём в компанию с отцом Петром.

У него были уже посева, рабочий скот, инвентарь, помещения и прочее. Я беспокоился, как бы при уяснении этих условий Васька не затеял спора и не отбил охоту у отца Петра вести совместно с нами общее предприятие. Мельком взглянул я на Ваську, но он сидел смирно и, видимо, был доволен, как и все мы, благоприятно складывающимися для нас обстоятельствами. Попка и Грачёв посматривали на меня, так как заранее решено было, что сговор буду вести я, но и я не знал, с чего начать, считая вопрос в высшей степени сложным и ответственным.

Наступило минутное молчание. Чтобы прекратить его, я, по поговорке «надо ковать железо, пока оно горячо», решил прямо поставить вопрос об условиях совместного ведения дела.

– Петро Яковлевич! – обратился я к отцу Петру. – Як же воно у нас буде? Як ми поведем діло, чи будем ми половинщиками, як водиться це у людей, чи може яким-небудь іншим способом поведем працю?

Отец Пётр задумался, но ненадолго, и, махнув рукою, быстро заговорил:

– Вовка бояться – в ліс не ходить, а наше діло – не вовк. Давайте робить так, як роблять люди. Будем половинщиками.

– Добре, – отозвался я. – Які ж будуть половинки – ваша і наша? – поставил я снова вопрос.

И снова отец Пётр задумался, и снова быстро и порывисто заговорил:

– Я думаю, що ми не будемо спорить, якщо чого не договоримо в дрібницях. Нехай буде так: я передаю вам все своє хазяйство в руки, ви будете робить те, що потрібно по хазяйству, а чистий прибуток од діла – пополам. Так? – обратился он к нам.

– Так! – почти в один голос мы ответили. Это была приблизительно обычная форма при земледельческих работах из половины у казаков, но я не ограничился этим кратким утверждением и добавил:

– А все-таки це діло треба розжувати.

– От який ви пунктуальний чи надойшливий! – со смехом обратился отец Пётр ко мне. – Ну, та це добре. Давайте жувати, але починайте лише ви, – обратился он ко мне.

Я несколько раз думал об этом и в Ставрополе до поездки, и во время поездки, и даже с вечера нашего приезда, лёжа в постели. Поэтому у меня заранее сложилось нечто вроде программы, так как Грачёв заранее сообщил нам, что Станицкий будто бы не раз выражал желание найти половинщика для ведения его хозяйства. Следуя этой программе, первым вопросом я поставил: где мы как половинщики будем жить?

Отец Пётр сразу, без всякого раздумья и колебаний, ответил, что в станице мы будем жить у него. Две довольно поместительные комнаты предназначены были в полное наше распоряжение, в третьей комнате помещался сам хозяин, а кухня оставалась в ведении кухарки, которая жила вблизи в собственном доме и приходила к отцу Петру ежедневно стряпать, убирать комнаты, кормить птицу и тому подобное. На степи же мы должны были сами устроить из хозяйских материалов курень, какой окажется нам нужным для ночлега, для хранения

в нём одежды, провизии, инструментов и прочего, а в случаях дождя и при непогоде – для собственной защиты.

Все мы согласились с отцом Петром на этом очень выгодном для нас предложении.

– Крім куховарки, чи буде ще хто-небудь поміщатися та працювати с нами у дворі або на полі? – поставил я второй вопрос.

– Куховарка, – сказал отец Пётр, – моя прислуга. Без неї я не можу обійтись.

Это была старая, очень работящая и честная казачка. На неё он оставлял весь дом и всё в нём имущество, когда сам уезжал по делам. Она должна была делать всё то, что и прежде делала, но так как работы у неё прибавится, то отец Пётр обещал прибавить ей плату, а мы должны помогать ей – поставлять воду из колодца, приносить топливо, при случае кормить птицу, сами убирать свои комнаты, как делал это в своей комнате и отец Пётр, и вообще облегчать работу и хлопоты ей как старой женщине при всевозможных случаях.

Эти заботы о старой женщине произвели в высшей степени благоприятное впечатление на меня и моих товарищей, и моя уверенность в том, что в лице отца Петра мы нашли желательного компаньона или сотрудника, с каждой минутой росла и усиливалась.

На вторую часть поставленного вопроса отец Пётр задумался и откровенно сказал:

– Це діло треба розжувати.

Он держал работника для ухода за лошадьми и скотом, но лошади и скот переходили в наши руки, а для своих служебных и личных нужд ему также нужны были лошади для поездок, и иногда на длительное время. Я предложил отцу Петру разрешить этот вопрос просто: нанимать нужные для хозяйства рабочие силы на общий расход, потребуются ли они для усиления работ или ему лично при его разъездах и при невозможности ухода за лошадьми с нашей стороны. Отец Пётр согласился с этим предложением, но со своей стороны прибавил, что в тех случаях, когда он будет пользоваться лошадьми на длительное время по своим нуждам, а нам нельзя будет оторваться от горячего дела, правильнее и справедливее будет не ставить этих расходов в общий счёт, а относить их на его личные издержки. К общему нашему удовольствию получилось новое подтверждение корректности нашего компаньона.

В таком же духе были разрешены вопросы о пищевых продуктах, которые должен был поставлять нам отец Пётр, о наших заработках

на его волах и инвентаре, которые должны были поступать в общий доход, о продаже хлеба и других продуктов, добытых нашим трудом, и тому подобное. В наше обсуждение разного рода деталей долго как-то не входил вопрос о том, будем ли мы заниматься одним земледелием и случайными заработками или же и рыболовством, по которому требовались довольно значительные денежные затраты на снасти: нужно было всё заводить, купив хороший каюк, приготовить самим из купленных материалов вентерь и крылья к нему и прочее, но отец Пётр сказал, что момент для рыболовства уже был упущен, так как «ставки», места расположения вентерей по Бейсугу, были уже разобраны с торгов и распределены обществом по жребью.

Можно было купить ставку у кого-либо из казаков, но у отца Петра не было готовых рыболовных снастей, а готовить их или даже купить некогда и невыгодно. К тому же отца Петра смущало, что рыболовство, как велось оно в станице Бриньковской, было для нас делом новым и незнакомым.

– Це діло треба ще розжувати, – прибавил он в заключение и высказал предположение, что, может быть, на следующий год можно будет взять по жребью ставку, но об этом стоит ещё поговорить, когда главное дело наше наладится.

Но у меня заговорила моя страсть к рыболовству, и я высказался в том духе, что нужно сразу принципиально решить вопрос, чтобы начать подготовку материалов и снастей, раз мы займёмся таким выгодным промыслом, который может потребовать от нас немного сил, и в удобное – с ранней весны – время.

– А чи не рано підготовляться нам до рибальства? – заметил отец Пётр. – Попереду ж у нас ще цілий год?

– Для мене не рано, – ответил я, – та й для діла, я трошки мараку, як забродчики ловлять рибу та й до діла підготовляються.

– Так розкажіть же і нам про це, – сказал отец Пётр.

Я коротко рассказал о том, что знал о разных видах рыболовства на Ачуеве, Ахтарях, Долгой и Камышеватской косах, на Сладком и Горьком лиманах в юрте моей родной Деревянокки. Во всех этих местах велось промысловое рыболовство, с которым я познакомился частью с раннего детства, а частью впоследствии, многое видел сам, а многое слышал от забродчиков. Рассказ мой охотно слушали все, и с особым интересом – отец Пётр, который то вскакивал с места, то садился вновь на него, то подходил ко мне, то удалялся от меня, молча слушая.

– А як у нас в Бриньковці ловлять рибу, бачили ви? – спросил меня отец Пётр.

– Не бачив, а як риба ходить сюди із моря, про це знаю, – и рассказал, со слов дядька Шрама и забродчика Явтуха, как белая рыба – тарань, сула, чабак, проходит тучами в несметном количестве из Азовского моря через Ясенское гирло, Бриньковский лиман и по реке Бейсуг до Лебяжьего лимана, как она мечет икру в плавнях и возвращается обратно в море теми же путями.

– На ставках уже ж ловлять рибу? Вона ж іде зараз у Бейсуг? – спросил я отца Петра. Получив утвердительный ответ, я заметил со своей стороны: – Якщо ловить рибу нам вже пізно, то може таловирчить ще можна. Як ви думаєте?

– Про це вже я не знаю, що сказати; у нас таловирщиків не має; кожний свою рибу впрок готове потрошки.

– Значить, – сказал я, – і таловирчить нам не з руки, бо у нас немає ні посуду, ні солі, ні сліг і іншого. Та й грошей ні копійки. Як же ми будемо рибу купувати? А все ж таки за діло треба зразу братись.

Нужно было, по моему мнению, присмотреться к тому, как большими вентерями рыбу ловят, и по мере того, как снимать будут рыболовы ставки с реки, купить по сходным ценам подходящие снасти у тех рыболовов, которые будут их продавать.

Отец Пётр с сияющим лицом всё время внимательно слушал и вертелся около меня. Мне казалось, что и он заражался моим желанием ловить рыбу. Когда же я выразил свои окончательные пожелания, он подбежал ко мне, протянул свою руку ладонью вверх и крикнул:

– Шибить руку – будемо на тій ріці рибу з весни ловить!

Я с размаху ударил своею ладонью по ладони его, и при дружном смехе всей компании рыболовный вопрос был решён.

– Ну, тепер якщо не все, то головне розжували ми, – сказал отец Пётр. – Коли буде потрібно, то дожуємо і дрібниці. Суперечок, думається, у нас не буде. Так чи не пора дати одних словам і пустити в діло наші зуби? Давайте закусим, чим Бог послав.

Товарищи мои, видимо, были готовы поддержать предложение хозяина. Разговоры затянулись, потребовали очень много времени. Но я запротестовал, заявив, что одного главного вопроса для всякой работы, и тем более – для совместной, мы не поставили и не решили.

– Чого там ще вам не достає? – заговорил отец Пётр. – Доскажем послі.

– Кінець – не початок, – возразил я. – Все вже є у нас – і діячі, і головні засади діяльності, а хто ж буде керувати діячами та ділом?

Вопрос этот вызвал горячие прения, грозившие перейти в новые длительные разговоры. Чтобы избежать этой затяжки, я настаивал на том, чтобы сразу было решено, кто будет руководить всем делом: одно ли лицо или коллегия хотя бы из двух-трёх лиц? Так как нам, приехавшим, пришлось вести готовое уже дело, организованное отцом Петром, и так как один он был в курсе этого дела, а нам оно было незнакомо, то фактически руководителем мог быть только один он. На этом решении пока и остановились мы.

– Пока я голова, так і слухайте мене, і що я прикажу, те й робіть, – обратился к нам отец Пётр после того, как решено было, что руководить делом будет он. – Я попросил вас до себе в гости, а от угощать вас нікому, бо куховарку свою я одпустив додому. Виходе, що нам самим треба за діло взятись: поставить стіл на середину кімнати, на стіл розкласти миски, тарілки, ложки, ножі, виделки тощо, налить в самовар води та гріть його, а всяку страву сюди ж гуртом перенести. А ну лиш, панове, за діло! – скомандовал отец Пётр.

Со смехом, шутками и прибаутками принялись мы накрывать. Через полчаса всё было приготовлено и упорядочено. Мы сели за стол, и началось пиршество. Такой переход от серьёзных разговоров к смешной для хозяина и гостей операции похож был на чисто школьническую проделку, хотя действительно было над чем смеяться. Это, однако, был не фарс, а товарищеское единение в бурсацком духе. Разговоры о серьёзном деле происходили не между предпринимателем и наёмными рабочими, а между старым и молодыми бурсаками. Дружное решение серьёзных вопросов, непринуждённый тон в разговорах, безобидные шутки и полное отсутствие формализма и «китайских церемоний» – всё это было пропитано простотой и товарищескими навыками собравшихся. Бездетный вдовец-священник, заброшенный в глушь и обречённый на одиночество, неожиданно столкнулся с молодёжью, увлечённой идеалистическими замыслами в знакомой ему области деятельности, но в шаблонных условиях инертности, однообразия и надоедливых мелочей. Вполне естественно, что чуткий к прогрессивным изменениям отец Пётр потянулся к единению с молодёжью.

В таких условиях начались наши сговоры с П.Я. Станицким, который попал в распорядители ассоциации, не будучи даже членом её, а мы из гостей неожиданно превратились в сотрудников его. Вышло, как говорят, «шиворот навыворот», но связующая нас нить не оборва-

лась ни от обилия яств, ни от усердного отношения к ним. Сидя за общим столом, компания отдала должное хлебосольству хозяина. Он не баловал гостей изысканным ухаживанием за ними, а гости не церемонились и вели себя, как подобает дружному товариществу. Прошло, однако, не более получаса, в течение которого компания несколько смолкла, удовлетворяя свои аппетиты, как вдруг вспыхнуло недоразумение, нарушившее мирное настроение сидевших за трапезой гостей и самого хозяина. Виновником непредвидимого казуса оказался Васька.

Надо заметить, что Васька всячески старался быть остроумным, хотя редко имел успех в этом отношении, но в некоторых случаях его попытки сами собой принимали характер неожиданного взрыва бомбы. То же произошло и во время нашего пиршества. Неожиданно для всех Васька демонстративно поднялся на своём месте, и несмотря на то, что мы не произносили никаких тостов, речей и пожеланий, он громко предложил немедленно забаллотировать только что единогласно избранного головой компании отца Петра. Предложение это было встречено с явным возмущением. Одни были поражены неожиданностью Васькиной бестактности и, не смея взглянуть на хозяина, опустили глаза долу, другие открыто злились и бросали молниеносные взгляды на виновника, так бесцеремонно нарушившего спокойствие наслаждавшейся компании, а сам отец Пётр, видимо, обиженный предложением Васьки, воскликнул:

– Що ж це таке? За що це мене так?

Казалось, даже Васька растерялся и не без смущения сказал:

– Так это только на сегодня, а завтра мы опять выберем отца Петра, чтобы он во второй раз завёл то дело, над которым усердно и с наслаждением мы трудимся.

Лишь только уразумели присутствующие Ваську, как на этот раз произошёл форменный взрыв бомбы – раздался оглушительный хохот. А Васька сиял, довольный тем, что его поняли, наконец.

Но ни заразительный смех, ни весёлое настроение не прекратили, однако, разговоров по основному вопросу об организации ассоциации и об отношениях между членами её. Сидя за пасхальным столом и наслаждаясь всеми деликатесами его, гости и хозяин с меньшим рвением, но с большим спокойствием обменивались мнениями, высказывали разного рода соображения и мало-помалу пришли к тому простому и понятному для всех решению, что только ознакомившись и освоившись с реальным делом, мы сможем твёрдо установить свои внутренние безобидные распорядки, сообразно со степенью пригодности каж-

дого из нас к тому или другому делу или к различным операциям в деле. Решено было выяснить этот вопрос чисто практически, согласно с указанием опыта. Тогда же отец Пётр предложил нам перебраться к нему с нашей лошадью, повозкой и имуществом на следующий день с утра, а по обоюдному согласию с ним первыми работами намечены были распашка степи и одновременно постройка куреня в поле.

Припоминая наш сговор с отцом Петром, я ещё раз отмечу то поразительное легкомыслие, с которым мы так стремительно и необдуманно начали осуществлять нашу земледельческую ассоциацию. Не будь П.Я. Станицкого, трудно представить даже себе, что бы мы делали без него, не имея, кроме одной лошади, ни собственного рабочего скота, ни земледельческих орудий, ни главное – денежных средств на всё это, и в том числе на собственное своё содержание. Едва ли нашлись бы охотники даже вести с нами сговор в той форме, на которую так охотно пошёл милейший отец Пётр. Кто были мы и что представляли собой как рабочие силы, не бывшие ещё в употреблении в намеченном нами деле, за исключением, пожалуй, одного Васьки, да и то в редких случаях и в ограниченных размерах работавшего у отца на поле? Помог нам в высшей степени, очевидно, благоприятный случай – то незавидное положение, в каком находился отец Пётр, и его не остывшие ещё бурсацкие товарищеские навыки. Оттого и самый сговор с ним носил, в сущности, если не мальчишеский, то, во всяком случае, комический характер для тех сторонних людей, которые пожелали бы серьёзно разобраться в наших переговорах.

Сговор вёлся не в деловой форме и не при строгом учёте обоюдных обязательств. Об обязательствах почти не было и речи. Мы не говорили даже о каком-либо контракте или о кратком, писанном на бумаге условии. Этому документу ни мы, ни отец Пётр не придавали никакого значения. Когда кто-то, чуть ли не Васька, заикнулся о контракте, то отец Пётр, со свойственной ему горячностью, заговорил:

– Нащо нам писане условіє. Хіба ми не віримо один другому? Я вам, як своїм близьким людям, вірю, і гадаю, що і ви мені теж вірите.

В такой форме на словах установлен был наш неписанный договор. Мы были спокойны в такой же степени, как и отец Пётр. Конечно, в этом сказались близость и общность того пути, который мы прошли в стенах Кавказской духовной семинарии под влиянием бурсацкой регулы. В этом отношении мы были свои близкие люди.

Нет ничего удивительного поэтому в том, что наши, по существу, очень важные сговоры продолжались и окончены были при шумном

увеселении в духе семинарских пирушек. Если бы не было сговора по серьёзному, во всяком случае, делу, то пирушка с приехавшими незнакомыми семинаристами в станицу могла бы быть натянутой, неудавшейся, смотря по тому, какое впечатление произвели бы неведомые гости на хозяина или обратно. Наша же пирушка носила свой особенный, специальный, так сказать, характер весёлого настроения и активного подъёма собравшихся под влиянием близости для всех мысли об осуществлении желательного заветного плана. Отец Пётр рад был тому, что неожиданно нашёл близких ему людей или ту интеллигентную среду, в которой он особенно нуждался в своём одиночестве и в станичной изолированности. Я и мои товарищи буквально торжествовали при одной мысли о том, что мы обрели столь благоприятные условия для осуществления нашего заветного плана о лучшей не только для нас, но и для людей вообще желательной жизни и продуктивной деятельности. Такого, по крайней мере, мнения мы были о своих заветных идеалах. Мы не только радовались, но и мечтали, мечтая каждый по-своему. Не знаю, впрочем, о чём, в частности, мечтали мои товарищи, но я мечтал не о всеобщем счастье людей, а о том реальном акте, как мы будем пахать землю немецким плугом и поражать тем казаков-земледельцев. Одним словом, наше повышенное увеселение было вызвано не самым актом гостевания, а особой, как бы случайно свалившейся с неба жизненной удачей.

Мы веселились поэтому по-своему, в форме своих индивидуальных побуждений и склонностей, а именно: усердно, с аппетитом ели, очень мало пили, дружно пели и совсем не танцевали, не играли ни в какие игры, не произносили ни речей, ни тостов, но говорили и говорили просто и сердечно.

На столе стояли графин водки и две бутылки красного виноградного вина, но между нами не оказалось ни одного винопийца. Отец Пётр почти не пил водки и в ограниченном количестве потреблял виноградное вино. Я и Грицько Попка совсем не прикасались к водке, Васька и Кирилл Грачёв ради куража ухарски опрокинули в рот по полной рюмке водки, чтобы выявить тем признак взрослых людей, а на виноградное вино мы смотрели, как на дорогой деликатный напиток, на который неприлично было набрасываться, чтобы не вызвать насмешки со стороны хозяина и не услышать от своих же товарищей колочего восклицания: «Тю-тю!»

За столом мы не говорили речей и не произносили тостов по той простой причине, что никогда не участвовали в столь блестящих и

торжественных увеселениях, а отец Пётр находил это неуместным в нашей компании. В этом отношении мы были просто неблаговоспитанными семинаристами с точки зрения тёртых фатов в благородной панской или городской среде.

Не танцевали же мы из принципа. Нам казалось, что танцы несовместимы с тем высоким и серьёзным делом, которому мы решили посвятить свои физические и духовные силы. По крайней мере, лично я строго придерживался этого принципа. Но пение было любимым наслаждением и увеселением у семинаристов. Одни из нас пели умело, стройно и гармонично, другие пели неискусно и фальшиво, а те и другие хором вместе пели нескладно и неблагозвучно, с режущими слух диссонансами. Отец Пётр владел довольно приятным голосом и был таким знатоком пения, что умел управлять целым хором, как регент. Ещё приятнее голос был у Грачёва, и он умело пел. Григорий Попка мог вторить при пении другим, обладая не сильным и слабо развитым голосом. Я, вследствие прирожденной глухоты, не любил петь и неохотно участвовал в хоре. А Васька не столько пел, сколько вздорил в пении и фальшивил. Несмотря на то, что хорошие певцы не могли переносить песнопений его, при сговоре у отца Петра никто, тем не менее, не протестовал, когда Васька вносил диссонанс в хоровое пение, и не протестовал, быть может, потому, что все чувствовали потребность в обнаружении своего внутреннего приподнятого настроения в соответственных движениях речи или пения, не обращая внимания на гармонию и чувствуя всеобщий подъём.

Отец Пётр, сильно, однако, хмурившийся, когда Васька круто шёл своим басом наперерез хоровому пению, нашёл, щадя самолюбие Васьки, деликатный выход из затруднительного положения. Исполняя роль регента в нашем хоре, он сказал Ваське, что у него такой сильный бас, что он покрывает им некоторые слабые голоса в хоре, и поэтому ему следует несколько тише петь и сильно налегать на голос лишь тогда, когда он будет подавать знаки рукой, дирижируя хором.

– Ви, – говорил он ему, – тягніть тільки один звук «гу-у» і дивіться на мою руку, коли треба вниз або вгору брать «гу» і коли дуже налегать на голос.

Васька послушно подчинился указаниям регента и пел только одно «гу». Мы с большим любопытством ожидали, что из этого выйдет. К нашему удовольствию, Васька артистически исполнял «гу», и только в тех случаях, когда он «сильно нажимал на голос», хоровое пение сопровождалось громким звуком разбитого вдребезги большого

гончарного горшка. В таких случаях хор прерывал пение, и все певцы вместе с регентом аплодировали Ваське.

Это, конечно, походило на чисто школьническую шалость, однако не школьников, а людей, задавшихся целями поднять экономику и хозяйственные формы на недостижимую высоту развития и идеально возвысить социальную жизнь и гуманные отношения между людьми. Но шалость вызывала безобидное весёлое настроение, а мы ещё ни одного шага не сделали к надлежащей почве в нашей благородной деятельности, почему и допускали в этот переходной момент школьнические проделки.

Наш сговор и весёлое времяпровождение затянулись до глубокой ночи. Во двор дьякона Грачёва мы возвратились тогда, когда там все уже спали. Не знаю, как провели ночь мои товарищи, но я почти не спал, а в полузабытьи, казалось мне, с нетерпением дожидался утра. Чуть только засерело во дворе от утреннего света, как я уже был на ногах, сходил к лошади, подложил ей сена, умылся и начал укладывать вещи в повозку. Вскоре во двор вышел из дому отец Грачёва, внимательно осмотревший небо с разных сторон. Утро было ясное, небо безоблачное, тишина поразительная.

– Що ти ви робите? – спросил меня отец диакон.

– Вещі укладаю, – ответил я. – Будем перебираться.

– Куди? До кого? – спросил меня внезапно оживившийся диакон.

– До отца Петра, – проговорил я.

– Слава Тобі Господи! – произнёс старый диакон и истово осенил себя большим крестом.

Я взглянул на небо, поворачиваясь во все стороны, так как предположил, что диакон перекрестился, увидев новорождённую луну, но ни новой, ни старой луны на небе не было. Чтобы окончательно убедиться в этом, я обратился к отцу диакону с вопросом:

– Хіба вже появився молодик?

– Не знаю, – ответил диакон.

– Ви ж перехрестились, – пояснил я. – А я подумав, що ви побачили молодика на небі.

Диакон рассмеялся и, в свою очередь, спросил меня:

– З отцем Петром ви зійшлись, коли перебираєтесь до нього?

– Зійшлись, – подтвердил я.

– Так ото я перехрестився й возблагодарив Господа Бога, що Він, милосердний, мене і вас од гріха й напости ізбавив, – объяснил мне своё поведение отец диакон.

– Який же ми гріх зробили б? – полубопытствовав я.

– Як який? Коли ви вже зробили його та й ще б наробили. Нащо ви то покинули семінарію, коли вас ніхто відтіля не гнав? Скінчили б курс, то вас влади́ка во ієреї посвятив би, а тепер хто ви? Мандрівщики. Чого ви до нас помандрували? От хоч би мій Кирило? Щоб батькові на шию сісти: вези сина, старий! Я таки добре поштапорив його. Бить би вас за ваші мудрощі треба. Ну скажіть ви мені на милость Божу: що б ви робили, якби отець Петро не згодився з вами? Не знаю, як ви, а Кирило батькові сів би на шию, та й вас не вигнав би я з двору.

Отець диакон так просто и ясно нарисовал картину нашего безвыходного положения, что я невольно прикусил язык.

– А тепер, – продолжал диакон, – я нічого не боюсь. Ваше діло з отцем Петром, може, і не швидко, а двинеться, бо з'єднались ви з доброю людиною. Він вам до масті. Отець Петро – ієрей молодий, непохожий на старих панотців, до всього нового та цікавого дуже лине. Он плуг німецький купив. Яко ієрей він гарно служе і добре співає, а все ж на свій лад усе робе. Коли божественну літургію він свершає, то і у вікно із вітвара на улицу дивиться. То ж не личе нам, служителям церкви. Так отець Петро – молода людина й дуже добра душа. З вами він свій, піде хоч у корені, хоч на пристяжці нога в ногу – з молодими семінаристами.

Я рад был, что отец диакон правильно понял нашу естественную связь с отцом Петром. Выразив ему свою уверенность в успехе нашего дела, я деятельно принялся за разборку принадлежавших нам вещей. Скоро показались на дворе мои товарищи. Мы быстро снарядили повозку и надели на лошадей хомут и седелку.

В весёлом настроении мы закусили и напились чаю у старого диакона, внимательно слушавшего наш сговор с отцом Петром. Он одобрил условия нашего соглашения и снова выразил уверенность в том, что при участии отца Петра наше дело сладится. Глядя на меня и Попку, он покачал головой и заметил с участием:

– Як то ви справитесь з труднощами на полі?

– Охота у нас до діла велика; все, що треба, зробим, – заявив я.

– Нас це не лякає, – прибавил Попка.

– Та це я знаю. Непаром же ви семінарію покинули та і отця Петра заманили; він же людина розумна і шуткувать не любе. А біда в тому, що ваші батьки-покійники – отець Андрій і отець Анфим, – я обох їх знав, царство їм небесне! – од тієї клятої сухотки чи чахотки умерли. Вам треба берегтись, бо береженого Бог береже.

– Та робота нас добре поправе, – заметил я. – Про це мені і лікарі так казали: «Їдьте на свій степ та працюйте там; степ поправе вас».

– Це вони правду сказали, – согласился отец диакон. – Степ сили вам прибавле, але вони не сказали, що і лікуватись треба. Вони лікарювали вас?

– Чим же ми будем лікуватись в степу без лікарів? – спросил я.

– Тим, що дає людям степ – шалфею. Це трава така в степу росте; у мене її багато, я вам дам, і ви будете і без лікаря лікуватись, настой зробите і будете пить його. Безпремінно це треба робить вам. Ви ж знаєте, що чахотка – хвороба спадкова. Її треба вигнать із тіла – шалфею пить, бо шалфея виганяє чахотку через груди, як через дошку на низи, де вона і пропадає.

И отец диакон провёл рукой по груди. Мы обещали воспользоваться его лекарством, чтобы успокоить старика.

– А як же воно буде з Кирилом? – спросил нас диакон. – Хіба і він повинен з вами жить у отця Петра? Нехай би він жив дома, а на роботу ходив би до вас і в степ їздив. Так краще буде.

Мы ответили, что так и решено. Запрягши лошадей в повозку и простившись с отцом диаконом, мы выехали из двора, и когда пересекли площадь, диакон издали кричал нам:

– Так пийте ж шалфею! Вона через дошку в грудях сухотку додолу вигоняє!





Глава III

## Переезд

Это был переезд не в подлинном смысле этого слова, переезд не через горы или море или даже через шаткий деревенский мостик, перекинутый через жалкий грязный ручей, а переезд через церковную площадь в станице Бриньковской со двора отца диакона Грачёва во двор священника отца Петра Станицкого. Нашей ассоциации нужно было переехать или, точнее, передвинуть нашу повозку на нашей лошади, наше имущество и собственные персоны всего на четыреста или пятьсот шагов расстояния, чтобы водвориться в желательный и необходимый нам двор. Это было собственно водворение в чужой двор, а не переезд, который мы уже совершили из Ставрополя в станицу Бриньковскую. Но с этого водворения ассоциация встала на ноги, сделала первый реальный шаг в деле собственного развития и идеального переустройства экономики и социальных порядков, если не целого государства, то во всяком разе – своих родных краёв. Так думалось мне в то время в области социальной проблемы, которую частично мы провели уже в Кавказской духовной семинарии в Ставрополе. Не помню, думал ли я на эту тему при нашем переезде, но хорошо помнится, что меня несколько тревожили иные мысли после слышанной полчасу тому назад оценки диаконом Грачёвым нашего легкомысленного поведения в затеянном нами деле. Я пошёл даже несколько дальше отца диакона. «Хотя мы перебираемся к благо-

склонному и к близкому нам человеку, – думал я, – но всё-таки в чужой двор. А что, если мы не сумеем на деле, практически спеться как следует с нашим милым хозяином этого двора? Отец Пётр – прекрасный человек, и мои товарищи – прекрасные люди, но ведь и прекрасные люди ссорятся и расходятся. Как-то отец Пётр сегодня нас встретит?» – мелькнуло вдруг у меня в голове благоприятное веяние после вчерашнего гостевания в первый раз виденного и обворожившего нас священника. В тот же момент я бросил взгляд на двор, к которому повернули мы под прямым углом четырёхугольной площади. Я увидел, что отворялись ворота хорошо видневшегося нам двора. Их отворял сам отец Пётр, увидевший нас, и отворив ворота, он стал посередине проезда в них, поджидая нас. Когда мы ещё ближе подвинулись к нему, то он, помахивая правою рукою, как дирижёр, комически пропел:

– Наши с дровами приехали!

Это был знакомый нам мотив, не помню, под каким номером, церковных ирмосов, для усвоения которых учащимися пению подобраны были фразы вроде пропетой отцом Петром.

Грачёв, Васька и Попка хохотали. Я поддержал их, заразившись их примером. Бьющаяся весельем и взаимным бодрым настроением встреча подействовала возбуждающе и на меня. Потухли следы беспокойного настроения при взгляде на сияющее лицо маленького священника в длинном полукафтани, с всклокоченными волосами на голове и с торчащей в одну сторону бородкой. Приём был с его стороны явно искренний и товарищеский. Казалось, давно ждали и искренне желали этой встречи обе стороны. Наш старый конь втащил повозку во двор, и все бросились распрягать его. Отец Пётр тоже поспешно подошёл к лошади, схватил её руками за голову и старался раскрыть крепко стиснутый зев её, чтобы определить возраст лошади по зубам. Лошадь мотала головой, пытаясь освободить голову от цепких рук чужого человека, и так прыснула от натуги, что буквально окатила всё лицо отца Петра брызгами своей пены.

– Та й капосниця ж! – с недовольною миною воскликнул отец Пётр, отирая рукавом подрясника орошённое лошадиной пеной лицо.

Мы хохотали.

– Та то вона, Петро Яковлевич, хотіла з вами пошуткувать, – сострил Грачёв

– Та ні! – поспешил исправить остроту Попка. – То на радощах вона хотіла поцілувать вас!

– Чи пошуткувала, чи хотіла поцілувати, а мене канальська жовтина ось як покаляла, – откликнулся отец Пётр. – Дивіться, що наробила? Мене всього – і моє лице, і груди, і рукав піною, як снігом, покрила.

На наш шум, хохот и восклицания откликнулся кто-то в находившейся вблизи нас кухни. Скрипнула дверь, и из неё быстро, как шустрая молодая дивчина, выскочила женская фигура. Она направилась прямо к повозке, но лишь только приблизилась к нам, как оказалось, что это была вовсе не молодая дивчина. Перед нами появилась старая, белая, как лунь, но крепко сложенная босоногая женщина, среднего роста, в белой из домашнего полотна рубашке, в тёмной ситцевой с зелёными крапинками юбке и в лёгком сатиновом чепчике, с какою-то повязкой на шее, слегка прикрывавшей нижнюю часть подбородка.

– Оце вам моя Ивановна! – отрекомендовал нам старуху отец Пётр с жестом в её сторону.

– Куховарка! – прибавила Ивановна.

– А оце, Ивановна, наші гості, шо вчора без тебе гостювали у нас! – произнёс отец Пётр, указывая пальцем на нас.

– Будьте здоровенькі, наші гості! З прибуттям вас! – с поклоном приветствовала нас старуха.

– Здравствуйте, Ивановна! Здравствуйте, бабусю! – понеслись от нас приветствия.

Старуха молча кланялась нам. Постояв несколько минут возле нас, внимательно осматривая нас и нашу повозку, она направилась обратно в кухню.

– Куди ж ти, куди, Ивановна, біжиш од нас? – заговорил отец Пётр. – Останься з нами та поможи нам розгрузить оцю повозку, – шутил он.

Ивановна остановилась и, отвечая шуткой на шутку, весело воскликнула:

– От такої пресвятої! Вас же шестеро, та всі молоді і здорові, а мене стару та сіду хочете ви, отець Петрій, в одну команду з вами залучить. Ні, мабуть, треба од вас на кухню скоріше тікати, а то там вже за мной горшки та макітра плачуть, – и, бросив на нас взгляд, ушла в кухню.

Мне показался её взгляд косым и неприветливым, но я не решился делиться с другими этим впечатлением. Появление и быстрый уход старухи были так кратковременны, совпали с разгрузкой повозки, что старуху, казалось мне, я совсем не рассмотрел и не узнал бы на улице.

Отец Пётр же отозвался об Ивановне как об умной и прекрасной личности, предупредив нас, что он нарочито шутливо задёрнул старуху, чтобы обнаружить наиболее яркую черту в её характере и поведении – острый ум и находчивость.

– Ивановна, – закончил он свой отзыв о ней, – не полізе за словом в карман!

Отец Пётр повёл нас в надворные строения, в которых мы поместили часть своих вещей, и передал нам ключи от тех отделений в строениях, на дверях которых висели замки. Это была не передача нам всего живого и мёртвого инвентаря в хозяйстве, а лишь размещение в силу происшедшей необходимости наших инструментов и вещей, но передача нам ключей возбудила у нас приятные ощущения благотворно подействовавшей на нас действительности. Она будила у нас полусознательно понятие о том, что в нашем деле чувствовалась реальная почва для практической деятельности.

Обедали мы в этот первый день как гости отца Петра, которых угощала Ивановна вкусными блюдами, не зная ещё о тех отношениях, в каких мы уже находились с отцом Петром. Она приятно была удивлена тем, что в положенное время мы сами накрыли обеденный стол, а во время еды запросто отправились на кухню и усердно помогали ей в её кухонном деле. Но и мы были поражены тем, чего не заметили у Ивановны при посещении ею двора в момент нашего приезда. Природная доброта Ивановны и сердечное отношение к нам свидетельствовало о симпатичных духовных качествах этой личности. Но все мы с болью в сердце заметили во время обеда, что у Ивановны кто-то или что-то изуродовал нижнюю часть когда-то красивого её лица. Когда мы спросили об этом отца Петра, то он сообщил нам, что это был ожог, полученный ею ночью у горящего костра, и сообщил нам об этом с такими подробностями, которые казались некоторым из нас просто невероятными.

– Коли ближче познайомитесь з Ивановною, – заметил по этому поводу отец Пётр, – розпитайте її саму, вона вам розкаже.





Глава IV

## Ивановна

**В**се мы так скоро сошлись с Ивановной и стали с ней в близкие приятельные отношения, что, следуя совету отца Петра, я попросил её в свободные минуты рассказать, как она обожгла себе лицо.

– Як воно скоїлось оце зі мною, трудно до ладу розказати вам, – сообщила Ивановна подробности о происшедшей с нею катастрофе. – Памороки тоді забилі мене. Просте, сказати вам, було діло. Зарізали ми ситого валашка. Захотілось мені вишкварків нажарити і лою на орішки та на вергуні дітям добути. Поставила я у снігах на кабиці чималий казанок с баранячим кульмичем тощо і прийнялась виварювати вишкварки. Цілу миску вже наклала їх і лою ледві не повний казанок кипіло. Дуже багато було роботи, здорово таки я вимоталась та й спала мало. Сиджу собі на стільчику з ложкою в руці біля кабиці; та все куняю – носом тільки клюк-клюк униз та й проснуся. Пізно ноччу це було. Та отак сидячки і заснула. Я сама не знаю, що і як скоїлось воно – чи приснилось мені щось, чи хотілось сонній заглянути в казанок, як киплять там вишкварки, нагнулась з стільця вперед та бобух прямо в казанок мордюю, так що і у мене підборіддя, як вишкварки, зашкварчало. Скочила я на ноги од болю та переляку і на долівку упала і дуже кричала, бо розбудила дітей, вони вже підняли мене. Так воно скоїлось оце мое тавро, – закончила свой рассказ Ивановна, указав пальцем на нижнюю часть лица.

Может быть, и я усомнился бы в возможности происшедшего с Ивановной случая, но самому мне не раз приходилось в детстве, сидя в степи поздно вечером возле кипевшего в котелке кулеша, клюкать носом, мгновенно засыпать и выпускать из рук ложку. Я понимал состояние засыпавшей у казанка с вышкварками Ивановны – она и сонная сидела за делом, которое, наверное, и заставило её заглянуть в котелок.

Надо, однако, сказать, что меня и моих товарищей заинтересовала Ивановна не одним происшедшим с ней несчастным случаем, а своей оригинальной и типичной личностью старой черноморской казачки. Фактически эта «кухарка», как отрекомендовалась она нам, не только варила и пекла пищу, но и заведовала домашним хозяйством отца Петра, как полная хозяйка. Я часто виделся с ней по делам продовольствия ассоциации и никогда не упускал случая побеседовать на разные темы в праздничные и воскресные дни, не исключая и тех будней, когда языки у меня и у Ивановны «развязывались». Она любила «побалакать». В исторической жизни Черноморского казачьего войска красною нитью проходили демократические особенности этого войска и активное тяготение населения к казачьей станичной общине, с её экономическим и бытовым укладом, при крайне тяжёлых, убийственных условиях государственной военной службы и понесённых в ней казачьих чрезмерных жертвах. Эту последнюю чашу Ивановна испила до дна.

Отец Ивановны был крепостным крестьянином на Украине и убежал с семьёю от какого-то «лютого пана» в то время, когда, при содействии князя Потёмкина, кошевые атаманы Сидор Белый и Захарий Чепига с войсковым писарем Антоном Головатым организовали в конце XVIII столетия из бывших запорожских казаков и примкнувшей к ним вольницы Черноморское казачье войско за Бугом вблизи не существовавшей тогда Одессы. То, что Ивановна в детстве слышала от родителей о тяжёлой жизни и жестоком произволе их помещика, глубоко запало в чуткую душу девочки, и она с малых лет не терпела лиц, власть имевших и злоупотреблявших ей, чем богата была и жизнь Черноморского казачества в тогдашних условиях. Это была, так сказать, наследственная черта Ивановны, усвоенная ею от родителей, но как завзятая казачка она настолько умело разбиралась в казачьей жизни и порядках, как редкий из служивых казаков. Всю свою жизнь поэтому она знала, что называется, «по пальцам», и при собственных или аналогичных случаях припоминала тяжёлые пережитые периоды и дни её.

– Ну що, Ивановна, придивилась до гостей, а хто вони, ти, мабуть, не знаєш? – обратился к ней отец Пётр в день нашего знакомства с ней.

– Одного знаю. То ж синок отця диакона, нашої ж козачої породи, – указала она пальцем на Грачёва.

– Та й оті двоє наші чорноморці, – сказал отец Пётр. – Оцей, – указал он на меня, – з Новодерев'янківки. Ти ж була в ній?

– Була в обох курінях – і в новому, і в старому (в Стародерев'янківській станице), як ходила з дочкою розпитувати товаришів мого зятя, а її чоловіка, як його черкеси шашками на клаптики, кажуть, покришили, – ответила Ивановна и пояснила: – Вони ж, дерев'янківці, в одній з зятєм січі бились з черкесами.

В это время подошёл ко мне Попка, и отец Пётр, тыча в него пальцем, сказал:

– А оцей з Катеринодару.

– І в Катеринодарі була аж двічі – один раз як ходила до сина, коли він ще недужий лежав в шпиталі, а в другий – після похорон його, як їздила за збіжжам, що зосталось після його смерті, – пояснила Ивановна.

– Третій, – продолжал отец Пётр знакомить Ивановну с нами, указывая рукой на Ваську Архангельского, – не чорноморець і приїхав до нас працювати.

– Та й то наш, коли він працювальник. Хіба мало працювальників чорноморці прийняли до себе? Усіх приймали, хто тільки бажав козакувати. От і мій батько утік з мамою од злючого пана, до чорноморців.

– Та якого ж ці гості до нас приїхали і що ми з ними будем робити? – поставил вопрос отец Пётр.

– Не знаю; то ж ваше діло, – ответила Ивановна.

– Так от що скажу я тобі, щоб ти знала. Моє хазяйство і я з ним; всі в купі будем жити й працювати. Ми – половинщики, – объяснил Ивановне отец Пётр.

– Тепер і я усе зрозуміла, – заговорила оживлённо Ивановна. – Це у вас спілка, кумпанство та добре братерство. Добре це ви придумали, щоб всім вам добре було. Хай вам Бог помага!

Но отец Пётр не унимался и хотел, видимо, чтобы мы из уст Ивановны узнали, как она смотрит на наши взаимные отношения.

– Як думаєте, Ивановно, добра нам од Бога бажуючи? – продолжал он. – Кому з нас – чи гостям, чи мені добріше буде?

– Вибачайте, – с прежним оживлением заговорила Ивановна. – Вам це корисніше, бо і діло на ваших очах в добрих руках буде і вам

в самотині ще більш на руку. Ви ж один, як палець, настояща сирота! Хоч і маєте ви великий двір й гарні хороми, так двір і хороми – не люди, а вони люди та ще й свої. Єднайтесь! Це ваше щастя буде, коли ви вкупі підете по рівному та гарному шляху, бо праця для працювальників сестра рідна.

Мы поражены были Ивановной, слушая её ответы и замечания в разговоре с отцом Петром. Он нарочито провёл разговор с кухаркой в таком духе и направлении, чтобы мы знали, как сложатся наши взаимоотношения с ней, как с главным агентом по важнейшему и деликатному вопросу о продовольствии ассоциации. Но он осветил её с одной положительной стороны.

Ивановна представляла собой удивительную в её возрасте, положении и переживании несчастий женщину. Природа в избытке наделила её духовными и физическими силами, которых она не употребляла во зло. Но пестры и разнообразны были её взгляды на явления и события в областях религии, политики, экономики и социальных взаимоотношений между людьми.

Прежде всего, Ивановна, эта демократка с головы до ног, была ревностной поклонницей царя, ратуя, однако, против монархических порядков, которые якобы, по её мнению, слагались вне воли царя.

– Царь, – говорила она, – помезанник Божий, – и с этой позиции трудно было сбить её. Как помазанника Божьего, она окутала царя ореолом недосягаемого величия, считая одного его между людьми носителем высшей правды.

Как-то у нас с Ивановной шёл разговор о станичных казачьих землях, об их размежевании, делении по качеству на категории и о неравномерном распределении земель между станицами и в станицах между казаками и офицерами. В то время эти вопросы сильно волновали казаков, особенно выделение офицерских «высочайше жалованных» участков, состоявших из лучших земель и находившихся в лучших местах, и к тому же отведённых офицерам в больших размерах, так как они отнесены были к неудобным землям. Вот в этом вопросе, в котором Ивановна хорошо разбиралась по известным ей фактам, я обратил её внимание на то, что предпочтение и потачки офицерам, а также и злоупотребления, о которых носились слухи, произошли от того, что изменён был закон о казачьих землях не в пользу казаков. Прежде все земли принадлежали казачьему войску, или всем казакам, а по новому закону огромное количество земель, розданных офицерам, может быть продано чужим пришлым людям,

и, таким образом, часть казачьих войсковых земель уйдёт из ведения войска.

– Хіба такий закон є? – спросила меня Ивановна.

Я ответил утвердительно.

– Як же це воно вийшло? – удивилась Ивановна. – Хіба царя не було дома? – простодушно сделала она предположение.

– Був дома, – произнёс я, удерживаясь от смеха. – Це ж сам царь і підписав той закон, або маніфест про той закон.

– Є! – воскликнула Ивановна. – Це вже не правда. Царь цього не зробе, бо він помазанник Божий. Та я ж сама той маніфест чула в церкві од старого батюшки, котрий тоді в нашій церкві служив. Батюшка казав, що козакам царь в маніфесті велику милость дав.

Я подробно рассказал Ивановне, в чём состояла эта милость, а чтобы сильнее подействовать на женщину, я рассказал ей, как царица Екатерина II закрепощала крестьян вместе с землёй за помещиками, как царь Николай не хотел выпускать крепостных крестьян на волю, и поведал некоторые другие сведения в этом роде, упирая на то, что в таком духе и манифест о царской милости казакам пущен.

– Ні, ні, – твердила Ивановна. – Царь же як помазанник Божий все по правді робе. Це щось не так. Бо дякуючи тому, що царь є у нас, не тільки у козаків, а і у селян земля є. Це ж правда.

– Правда, – подтвердил я. – Це ж та земля, на якій діди, прадіди та пращури працювали і потом її поливали, і яку вкупі з селянами царі маніфестом поміщикам отдавали. А тепер свою ж землю селяне, що були кріпосними, у поміщиків викупають і платять їм щогодно ті податки, які називаються «викупними платежами». Нащо ж царі такі маніфести випускають? – спросил, в свою очередь, Ивановну.

Ивановна растерялась, поняв, что заключалось в царском манифесте, о котором старый пан отец, как о высочайшей милости, в церкви рассказывал, но упорно стояла на своём, утверждая, что «царь невинен», а виновны те, которые царя окружают, и что это те же помещики.

Когда же я сказал Ивановне, что я не «выдумки» о царях передаю ей, что об этом учёные люди целые книги пишут и печатают, что я сам «про помилки царів» много знаю из книг и от учителей, у которых я учился, что я, наконец, не обманываю её, а правду говорю, то Ивановна задумалась и молча опустила свою седую голову. Прошло несколько минут, я молчал в ожидании, что она скажет. Ивановна, наконец, тихо печальным голосом заговорила:

– Це ж я про царя од рідного батька та матері чула... І так гарно на душі було, коли думаєш, що на світі є царь, помазанник Божий, котрий по правді живе і правду для людей береже... а воно – он що... – чуть слышно проговорила Ивановна и замолчала, поникла ещё ниже головою.

Жаль было смотреть на старуху, разочаровавшуюся в своём лелеянном с детства идеале о царе, помазаннике Божьем.

Неожидан был и для меня этот конец. Но к сказанному надо прибавить, что я разговаривал с Ивановной в духе обыкновенных разговоров. О социалистической пропаганде я тогда не слышал и ничего не знал, будучи уверен лишь в том, что с Ивановной можно так же свободно говорить о царе – помазаннике Божьем, как и с отцом Петром, и с товарищами.

Свой взгляд на служащих при особе царя Ивановна в миниатюре применяла и к служащим в зборни (в станичном правлении).

– Хапанина та хабарщина, кажуть старі та бувалі козаки, скрізь по всій імперії водиться, – говорила Ивановна. – На всякій службі багато хапунів та хабарників. З зборні і у нас теж завелось це зілля. Поштарі, огневшики, летюки, десятники – усі до хабара липнуть. От учора хлопчик прийшов із зборні до отця Петра, отдав йому пакета та зараз шасть до мене. «Ви, – каже, – бабусю, дайте мені за службу хоч шматочок проскурки або чого-небудь смашного», – а сам одставив ногу та на мене збоку дивиться. «Ах ти, – кажу, – пискля! І ти вже до хабара губи пнеш!» – «Яке я, – каже, – пискля? Я у зборні десятником служу!»

Я смеялся, глядя на Ивановну, принявшую демонстративную позу мальчугана-хапуна.

– Так що ж дальше було? – спросил я Ивановну.

– Що? – повторила она мой вопрос. – Пожаліла дурня. Дала йому дві панпущечки та позавчорішній пиріжок, а він за пазуху засунув та в зборню пішов, не подякувавши, наче це було його заслужив. Що з ним поробиш? Начальство, – с улыбкой произнесла Ивановна.

Меня заинтересовали порядки в станичном правлении. Чтобы вызвать Ивановну на разговоры, я вскользь заметил:

– Мабуть, там і вище станишне начальство не без гріха?

Ивановна политично промолчала. Она по-своему смотрела на высшее избираемое казаками начальство. Станичного атамана она почитала как выборную особу станичным обществом, но не относала его к рангу помазанников, а говорила, что атаман – такая ж «грешна



людины», как и другие казаки. Ведь их избирали и меняли громады; станичные общества давали им власть и службу. Но станичные общественные сходы и станичный суд Ивановна относила к лучшим и важнейшим учреждениям рядового казачества.

– Громада, – говорила она, – всьому в станиці голова і добра справа. Коли дурень на зборі громади дурниці верзе, то розумний спине його і діло направить; козаки на зборах, як на сторожі; хто на зборі куняє, той совісті не має, бо громадська праця – святе діло.

Так же высоко ценила Ивановна и станичный суд. Судьями были обыкновенно почитаемые в станице старики и вообще умные и бескорыстно честные избранники, не дававшие потачки нарушителям станичных порядков и мирного течения жизни.

Но однажды я узнал, что станичные судьи, склонившие тяжущихся помириться, по окончании дела вместе с тяжущимися и частью присутствовавшей публики, после закрытия заседаний суда, устроили выпивку. Передавая об этом случае Ивановне, я с укором отнёсся к судьям. Кухарка, тщательно следившая за станичными происшествиями и новостями, была в курсе сообщённого мной факта, но, вопреки моим ожиданиям, совсем иначе, чем я, отнеслась к казавшемуся мне скандалу.

– Що ж вони злочинного вкупі зробили? Може, тільки те, що грошей багато пропили, – заметила Ивановна по поводу моей передачи казуса. – Так горілочку, грішним ділом, козаки та й їх жіночки долюблюють – жіночки наливку та запіканку, а чоловіки – настощу горілку. От що я розкажу про той суд, що ви хаєте. Коли судді помирили позивача з отвітчиком, то хтось вслух сказав їм: «Покропите мирову – ставте тепер суддям могорича!» «Тю-тю! Несамовитий!» – крикнули козаки. А один суддя – ласенький, як і всі, до горілочки, засміявся та й сказав: «Чого ж несамовитий? Він про добре діло каже; хіба закон заперечує горілочку пити гуртом? Ні, не заперечує. Стало бити, і нам гуртом мирову горілочкою покропите вскладчину, з носа по грошу, зо всіх, у кого ніс мається. Це і суддям буде не зазорно, бо і вони по грошу дадуть!» Піднялась страшна реготня. І що ж ви думаете? Склались усі, хто хотів, а таких, що не хотіли, не було. Ну і випили гуртом по чарці чи по дві. Так що ж тут ганебного було? Складчина – це ж козачий звичай.

Надо прибавить, что Ивановна тоже со вкусом пила и наливку, и запеканку, и просто «добру горілку», и весёлой тогда была, но не напи-

валась допьяна, а пила по правилу – «пей, да дело разумей». Разумом же природа не обидела Ивановну.

Но было бы натяжкой возводить Ивановну на особый пьедестал. Натуры, подобные ей, между черноморками не редкость. Таковы были те исторические условия, под влиянием которых вырабатывались эти натуры. При поголовном отвлечении военной службой черноморцев в лучшую пору их возраста и трудовой правоспособности от дома, семьи и хозяйства женщинам по необходимости приходилось заменять мужчин и затрачивать свои силы на материальные нужды в ущерб духовному развитию. В таком положении находилась и Ивановна. При всех своих природных качествах – уме, наблюдательности, живом интересе к казачьим общественным делам, отчётливому пониманию их положительных и отрицательных сторон и особенностей – Ивановна ничем не выделялась из остальной массы населения в своих верованиях, суевериях и в полной темноте в области просвещения. Ивановна не умела ни читать, ни писать, была почти совсем изолирована от духовной культурной среды, даже газетные слухи не были в то время среди станичных обывателей в ходу, и не только у людей безграмотных, но и у тех, кто умел читать. Естественно, что Ивановне приходилось в лучших случаях довольствоваться фольклором в форме сказаний, легенд, сказок, баснословных рассказов и тому подобного, а в худших случаях – просто всякого рода нелепостями. Особенно сильно это отражалось на её религиозных верованиях и воззрениях.

Как в областях политики и социальных явлений Ивановна придерживалась простой формулы идеала о царе – помазаннике Божьем, так и в сфере религии она руководилась столь же простой, но отвлечённой мистической формулой идеала о духах. Но первая формула будила у Ивановны идеальные представления, и реальной, симпатичной, обожаемой фигурой был царь, помазанник Божий, а вторая была не одна действующая фигура, а мириады их – невидимые, бесплотные, не осязаемые, а лишь в мистических образах представляемые умом и воображением духи добрые и злые. Так как жизнь человеческая вообще, а у черноморских казаков – в особенности, была переполнена отрицательными явлениями – злом, то и в воззрениях Ивановны виновниками зла были злые духи, а добрые духи стояли где-то на втором плане, за спинами людей, и слабо помогали им в борьбе со злом. Господствовала дьявольщина, как коренная и исходная причина зла. Черты или дьяволы мutilовали жизнь человеческую, порождая всюду и во всём зло,

включительно до таких мелочей, как блуждание человека в тёмную ночь или внезапная механическая зевота у людей.

Однажды я рассказал Ивановне, как я блуждал в тёмную ночь, разыскивая в степи пасшуюся лошадь, как плутал я вокруг и долго не мог найти её, а когда подошёл к стоянке, то почти у повозки оказалась и лошадь.

– То нечиста сила мутила вас, – объяснила Ивановна этот простой и заурядный случай.

– Як же вона мутила? – спросил я Ивановну.

– То вже її діло; вона всякі каверзи видумує та на людей напускає, – ответила Ивановна.

– Хіба ви, Ивановна, вірите, що то чорти вироблюють такі штуки в степу? – обратился я к Ивановне с вопросом.

– А як же? – воскликнула Ивановна. – Все зло од нечистої сили виходе. Хто злодія штовхає та направляє, щоб він крав майно майже у бідної вдови з осиротілими дітьми? Сатана. Кому треба, щоб люди ворогували, лаялись та бились між собою? Сатані. Хто підмовляє і штовхає харциза, щоб він грабував та убивав людей? Сатана. Хто помагає колдуну або відьмі людей морочить? – Сатана.

Целым ворохом разных примеров в этом роде засыпала меня Ивановна. Ей ясно было, как дважды два – четыре, что если бы не было сатаны, то не было бы на свете и зла. Сбить её с этих позиций труднее было, чем с позиции царя – помазанника Божьего.

Ивановна была ревностной христианкой, усердно ходила в церковь и молилась, с уважением почитала духовных особ и свято соблюдала посты и праздничные дни. Одним словом, в области религии она вела себя примерно так же, как и другие искренние казачки. Ханжества в ней не было ни капли. Но идеологию демонизма и связанные с ней нелепые суеверия она обосновала, казалось мне, на том соображении, что демоны были невидимые бестелесные духи и потому свободно проникали в невидимую душу человеческую и творили в ней всё, что хотели, согласно их злой натуре. На такое предположение наводили меня те разговоры, какие я вёл с Ивановной. А мыслить логически и делать вытекавшие из посылок выводы она умела. Если моё предположение верно, то это было наибольшее, чего достигла Ивановна в процессах её мышления. Собственно же идеологию демонизма она полностью выражала в том виде и в тех грубо мистических формах, в каких она проявлялась в массе казачьего населения. В этом отношении Ивановна стояла на общей ступени духовного развития в родной

ей казачьей среде. Только в некоторых незначительных случаях она двигалась вперёд, под влиянием воздействия на неё здравых понятий и очевидной нелепости производимых поступков.

Характерный случай в этом духе произошёл при одном из моих разговоров с ней, тогда Ивановна зевнула и перекрестила раскрытый свой рот, а я спросил её:

– Нащо то ви, Ивановна, рот перекрестили?

– На те, щоб він... того... щоб нечиста сила в рот не влетіла, – путаясь в ответе, сказала она.

Я замолчал, так как заранее знал, почему в таких случаях старые казачки крестили рот при зевании, решив в другой раз поговорить с Ивановной ввиду явного её смущения.

Такой случай скоро представился, но я изменил своё намерение и вместо разговора поставил свою приятельницу в очень смешное положение. Все мы были в полном сборе, в том числе Ивановна и отец Пётр. Когда во время разговора зевнул Попка, я шутя крикнул ему:

– Грицько! Перекрести скорійше рот! – упустил из виду, что налицо была Ивановна.

– Нащо? – спросил Попка.

Я внезапно ещё неосторожнее, путаясь в ответе, чтобы не обидеть старуху, произнёс:

– Он Ивановна хресте... чи то бить... казала мені, що старі баби хрестять рот, щоб сатана в рот не влетіла.

– А хіба я стара баба? – комически возразил мне Попка.

Раздался гомерический хохот. Одна Ивановна не смеялась, но с улыбкой грозила мне пальцем.

После этого никто из нас ни разу не видел, чтобы Ивановна крестила рот при зевании. Но ещё неожиданнее было для меня, что в некоторых случаях, виновником которых Ивановна считала сатану, она соглашалась с тем, что виновником был не сатана, «а мабуть, воно само собою вийшло так». Тем не менее, наличность сатаны и его неблагоприятная и злобная роль в делах человеческих остались непоколебленными в воззрениях Ивановны. Она не выделялась в этом отношении из общей невежественной массы населения.

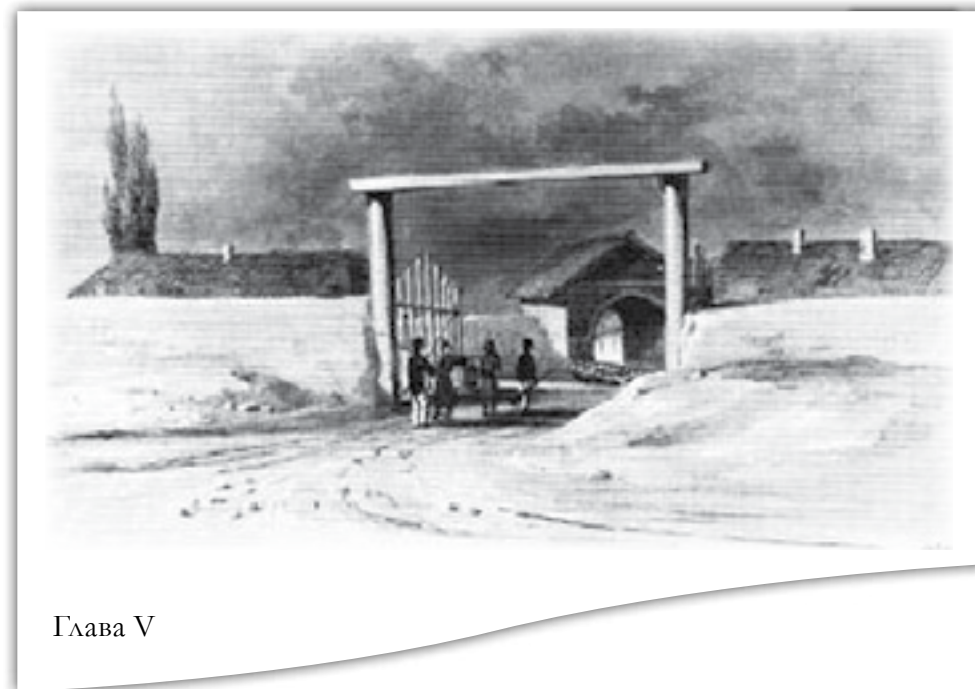
Ивановна вообще была бесхитростной и откровенной натурой, не прибегавшей ни к каким уловкам и хитросплетениям в своих отношениях с людьми. Скромно она молчала о своей собственной особе. Только пропустив несколько рюмок наливки или запеканки, в весёлом настроении она говорила, но исключительно об одной молодости.

– Є! – восклицала она в таких случаях. – Колись я була удачною дівчиною. Удержу мені не було ні в роботі, ні в охоті до іграшок. Веселою була, на видумки здатна, сама сміялась та й других смішила, а хлопці навпередки за мною ганялись. Та я їм потачки не давала. Коли хто з них дуже приставав до мене та не слухав, що я йому казала: «Одчепись, реп'ях!» – то цьому нав'язливому ухажору такого стусана давала, що інший, бувало, і до гори раком покотиться. Та й було чим дражнить парубків. Лицем я була біла та румняна – кров з молоком; на вигадки, витребеньки здатна була – як скажу дотепне слово, то всі регочуться; любила співать, та й танцюристка була. В «метелиці», як вихорь, носилась, а як ударю було гопака, то аж земля підо мною стогнала. Сказано – молодість! Пройшло те врем'ячко!

Из скромности или из такта, Ивановна не заикалась в таком тоне о дальнейшей своей жизни.

Такова была «наша», как мы выражались, Ивановна. Месяцев шесть или семь мы пользовались её заботами, услугами и сочувственным отношением к нам. Но как-то мне потребовалось отлучиться из Бриньковской станицы на целых две недели, а когда я приехал обратно, то не застал Ивановну в живых. Она умерла внезапно, а отчего – никто не знал. Догадывались, что «удар был».

Для меня и тогда, когда я соприкасался с этой удивительно подвижной трудовой жизни, нерядовой казачкой, и теперь так кажется по отличительным особенностям её стойкой натуры, что Ивановна, богатая от природы духовными силами, стала мыслящей нерядовой казачкой под влиянием исключительных условий казачьей жизни, переполненных почти непрерывными военными происшествиями и ужасами. В этой женщине как бы сконцентрировались в резких чертах позитивные и негативные общие черты черноморской казачки – бодрой и активной, которую не пугал, а закалял тот «погибельный Кавказ», как пели великорусские солдаты.



Глава V

## На околице станицы

**Ш**естьдесят с лишком лет тому назад на южной околице станицы Бриньковской рано утром стояли три воза, запряжённые тремя парами волов, а четвёртая пара молодых бычков привязана была к задку третьего воза. Впереди этих возов резко бросалась в глаза наша огромная повозка с целой кучей разного рода вещей – одежды, подушек, постельных принадлежностей и тому подобного. Нагружены были также и воловьи возы. На переднем лежали мешки, наполненные зерном, мякиной, печёным хлебом, и кухонная посуда, часть которой находилась в огромном ящике, нагруженном древесным углём и щепками с блестящей в углу ящика верхней крышкой медного самовара, завернутого Ивановной в старый обрезанный сверху мешок. Спереди на облучке этого воза сидел Кирилл Грачёв, ведавший воловьим транспортом. Следующий, второй воз нагружен был большим плугом – «сабаном», и лесными материалами крупного размера: столбами, короткими слагами, обрезанными досками, старою дверью и тому подобным. На последний, третий воз положены были в ящик чурбачки, канаты для возов, верёвки и разная мелочь. Всё это прикрыто было двумя боронами тылом наверх и новым ярмом для четвёртой пары волов. На повозке сидели я и Попка. Возы и повозка стояли в ожидании отца Петра и Васьки, которые поехали к кузнецу за находившимся у него в починке немецким плугом. Мне



очень хотелось поехать с отцом Петром за этим обыдеализированным нами орудием, чтобы взглянуть на него и узнать у кузнеца, что, собственно, он чинил в плуге и в чём состояла эта починка. Но Васька, претендовавший как наиболее опытный и физически сильный работник на овладение немецким плугом, заявил мне, что в его ведении находятся лошади и он должен быть при них с отцом Петром. Я без возражения согласился с ним. Было заранее условлено, что мы выедем за станицу и будем ожидать их на околице, откуда на юг по нескольким направлениям расходилась дорога, но, кроме отца Петра, никто из нас не знал, по какому разветвлению дороги следовало ехать в его царину.

Около часу ожидали мы отца Петра и Ваську с плугом. В это время к нам подъехал молодой осанистый казак лет двадцати, с сияющим здоровьем лицом с большим крючковатым носом и с небольшими пушистыми усиками. Умело осадил он крупную, как и сам, лошадь и произнёс:

– Христос воскрес!

– Воистину воскрес! – ответили я и Попка, а Грачёв, нагнувшись в ящик воза, что-то усердно там не то искал, не то укладывал, не поднимая головы.

– А де ж наш панотець? – спросил нас казак.

Я ответил, что он поехал к кузнецу за немецким плугом и мы ожидаем его здесь. Казак слез с лошади и сказал:

– Коли так, то і я буду ожидать його тут.

Затем, окинув быстрым взглядом наши возы с поклажей и заметив нагнувшуюся над возом фигуру Грачёва, он крикнул ему:

– Христос воскрес! Кирило Агеєвич!

– Воистину воскрес! – ответил Грачёв, отрываясь от своей возни в возе. Заметив казака, он с весёлою улыбкою произнёс: – Це ти, Нифонте! Як ти попав до нас?

– Дуже просто, – ответил Нифонт. – Ще вчора отець Петро сказав мені, що сьогодні ви попрабуєте орать німецьким плугом. От я осідлав коня та й поїхав, щоб подивитися, як піде німецький плуг по козацькій землі, та, по правді сказати, захотілось глянути і на вашу кумпанію. А то уся станиця, як про велике диво, розказує, що до отца Петра приїхали учені скубенти землю орати і хліб сіяти, а з ними вкупі, кажуть, і наш Дяконенко Кирило. Просто не хотілось мені і вірити у це!

– Чом не хотілось? – спросил его Грачёв.

– Хіба ж не дивовижно, що ти, слава Богу, вже до ума дійшов, через два роки скінчив би семінарію, і архієрей зразу посвятив би тебе

в сан ієрея. Тоді і я величав би тебе не Кирило Агеєвич або й просто Кирило, а ваше благословеніє отець Кирило, простяг би руку: «Благословіть, панотець!» – а твою руку так би чмокнув, що аж луна по хаті пішла б. А тепер на тобі! – приїхав землю орати та хліб сіяти! Так це ж прямо шкандал!

– Ні якого шкандалу немає. Це ж тобі, а не мені в попи забажалося, – с улыбкою заметил Грачёв.

– Де там в попи, хоч би в дяки! – воскликнул Нифонт. – Якби у мене був такий голос, як у тебе, та я умів так чудово, як ти, співати, то я на твоєму місці зумів би зробити те, що треба. Посвятить на місце дячка. Послі того ні земля, ні хліб з моїх рук не утекли б. Я і церковну службу ревниво справляв би, і землю орав би, і хліб сіяв би, і залюбки собі жив би.

– А тепер яка хвороба тебе засмутила? – заговорил Грачёв. – Черкеска на тобі гарна, суконна, балахон червоний аж блищить, пояс з срібними гудзиками, кинджал теж срібний, світом світе, а кінь! Де ти такого достав? Чого ж тобі ще треба? Настоящий козак!

– Еге! Скажи в настоящій козацькій формі, а не настоящий козак, бо за цю форму щось під серцем смочке. Ти спитай мене, як цю форму я добув. Я ж зараз на черзі, два рази вже був «на смотру у комісії». Приїхав перший раз на смотр в комісію, це ж наші заступники од станиці, а комісія мовчить, бо офіцер, що амуницію та коня переглядає, усім вертить і комісією командує. Глянув він на мене і каже: «Козак, як козак, а форма завалює». Приказав він мені повернутися до його з переду і ззаду та з боків, і все збракував. «Черкеска, – каже, – нікудишня, кинжал – чортзна що, шашкою і жаби, каже, не заколеш, а коняка, як за хвіст її взяти та добре смикнути, то й шкуру з неї стягти можна». Коли один старий козак, довірений од станиці, став казати, що справа у мене хоч і не дуже дорога, а для служби в строю добра, то офіцер і баки йому забив: «Що я, – каже, – служби козацької не знаю та нісенітницю несу». Так розлютувався, що козак тільки і сказав: «Никак нет, ваше высокоблагородие!»

– Та не може ж! – воскликнул с участием Грачёв.

– Чом не може, коли начальство сказало: «Негоже!» Я ж усю козацьку науку до кришки знаю. Мене наш інструктор урядник научив вже. «Умій, – каже, – коли і що начальству сказати – коли сказати: “Слушаю, ваше благородие”, коли “Так точно, ваше благородие”, коли “Никак нет, ваше благородие”, коли так крикнуть: “Рад стараться, ваше благородие”, щоб в вікнах шибки забряжчали». Так при такій науці,

хоч і розумний, і старий, а з пантелику зіб'єшся і одурієш. Отак воно ведеться, отак і я під таку хвилю на смотру попав. «Шоб була у тебе настояща амуниція та кінь!» – офіцер мені сказав, а я взяв під козирьок та й гаркнув: «Слушаю, ваше благородие».

– Ну, і що ж вийшло? – спросил Грачѐв Нифонта.

– Прийшлось усе заново справлять, – ответил Нифонт. – А тут, як на гріх, і мій батько сказився. По станиці скрізь слух пішов: «Все, кажуть, у Нифонта скасували, а вони ж люди заможні». Ну, й станишний трохи теж підштрикнув: «А що, каже, Семенович, обернув кругом пальця начальство?» Прийшов додому старий хмурий та сердитий. «Не допущу, – каже, – шоб над нами глузували; я їм покажу!»

– Та хіба ж у тебе була дуже погана справа? – спросил Нифонта Грачѐв.

– Де там дуже погана? Така ж, як у всіх, а може і краща, ніж у тих, у яких не нашли ні сучка, ні задоринки. Я догадався, що на офіцера щось найшло, та зараз до того урядника, якому офіцер дуже довіряв. Дав йому карбованця на водку і розказав, в чім діло. «Поможіть, дядьку, – кажу, – порадьте: як із біди вийти?» «Нічого з ним не зробиш тепер, – каже урядник. – Бо він такий упертий, як баран. Крім тебе, ще у двох вслід за тобою скасував все – і коней, і амуницю. Під таку хвилину ви попали. Дуже сердитий був». «Чого ж він на нас розсердився?» – спитав я урядника. «Де там на вас? Він на себе розсердився, – сказав з усмішкою урядник. – Я тобі скажу, чого він розсердився, так ти нікому нічирк, а то на абахту ще попаде. Цілу ніч він бенкетував у веселій кумпанії, випив через край, сів у карти грати, та усі свої гроші – триста карбованців – програв. Так ото і сердився на себе, а на вас трьох гнів свій зірвав. Він зовсім не сердитий, а добра людина. Як пройшов трошки гнів, то він уп'ять став добре порядкувать та приказувать. А коли помилиться, хоч п'яний, ніколи не одступе од того, що зробив». Вислухав я урядника, – розказывал Нифонт, – плюнув та й поїхав додому. А дома – інше горе. Батько, як я казав уже, скомизився. Приніс раз оцей кинджал, пояс та газирі – усе срібне. «На, – каже, – сховай». Носе і носе, а де він бере, нікому не каже, а питаєш, сердиться. Тільки раз прийшов в хату і каже мені: «Піди лиш у конюшню та подивись там». Пішов я, коли там оцей кінь у яслах сіно їсть. Отак снарядивши усе, сказав він і мені, де він грошей достав. У багатого сусіда під заклад двох пар волів гроші в позичку взяв. Отаке горе, було в нас чотири пари волів, а то дві стало; то свій плуг мали, а то старий буде спрягаться, як я на службу піду. Послі і старий жалкував, що дуже погарячився.

«Козача кров, – казав, – у мене, старого, дуже заграла». Та що тепер поробиш, ліктя свого, кажуть, не укусиш.

– Ну, а тепер, – спросил Грачѐв Нифонта, – безпремінно комісія усе прийме?

– Та вже прийняла, – розказывал Нифонт. – Ну й кумедія вийшла. Як побачив мене офіцер у цій амуниції та оцього коня, так ледві мене не цілував і всім, починаючи з мене, хвалився, як він мене уму-розуму навчив і як він уміє добре козаків на службу зряджати. На цьому ж можна і чин або медальку одержать.

– Погані, дуже погані порядки, – сказав Грачѐв и на нас посмотрел.

– Та це ще не все; з цим я вже помирился, – продолжал Нифонт. – Живий буду, уп'ять чотири пари волів буде; жаль тільки старого, тяжко йому буде без мене. От що дуже погано: перші кроки на строевій службі дуже погані, як розказують козаки. Отам нашого брата, молодого козака, мордують. Урядник або вахмістр, а тим паче офіцер може тебе під цілим фронтом срамить і над тобою знущаться, а то і по морді свиснуть так, шоб ніхто не бачив. За що? За яку вину? За те, що не так ногу поставили, або рукою не так махаєш, коли «вольним шагом» ідеш, або не так витріщиш очі, як командують: «Їж його очами!» – тобто витріщай очі на генерала, якого ти, може, і за всю службу не побачиш.

Грачѐв молчал, пока Нифонт начальство и «военную науку» критиковал, как окрестили казаки шагистику и разного рода приёмы «муштры», и вдруг ни к селу, ни к городу кинул бестактную фразу:

– Де це ти, Нифонте, такої мудрості набрався? Ти ж на службі ще не був.

– Та не в семинарії ж, де ти сам себе перемудрив – учився, учився, по прямому шляху науки йшов і добру посаду безпремінно добув би, а тоді шасть – «Наліво кругом марш!» – до плуга на нову муштру причарувався, – ядовито сквозь зуби процедил Нифонт. – Це не один я, а козаки, знаючі шановні люди, про це так кажуть, а я прислухався, та й свій розум маю.

– А хіба ж тоді краще було, коли козаки на кордонній лінії стояли та в горах походами на черкесів ходили і свою та черкеську кров проливали? – поставил вопрос Грачѐв.

– Старі козаки, – ответил Нифонт, – кажуть, що тоді вони край та населення боронили, а ріжних витребеньків тоді не було; учили, як без промаха треба стрілять або шаблею себе обороняти; тоді козаки і без «їж його глазами» уміли це робить; тоді у козаків, кажуть,

серце за батьківщину та за свої родини горіло, а тепер воно, як телячий хвіст, б'ється, коли над козаками який-небудь фертик пашекує та сміється.

– Хіба на війсьній службі з черкесами козаків по зубам зовсім не били? – возражал Грачѐв.

– Били, та ще й як! – подтвердил Нифонт. – Так тоді били козака за тяжку вину, за те, що козак на дозорі проморгав, та черкесів через Кубань пропустив, або проспав на залозі, а черкеси скот украли та до себе погнали тощо. Так це ж не те, що «шаг вперед, шаг назад», або бігай на одному місці та тупаючи по землі ногами.

Мы вдвоём с Попкой с огромным интересом слушали разговор двух приятелей – Нифонта и Грачѐва, какими они были с детства, и, вслушиваясь в речи Нифонта, удивлялись, откуда он, выражаясь словами Грачѐва, такой мудрости набрался. Но Нифонт был один на весь Бриньков, как после мы узнали об этом от отца Петра и Грачѐва, и резко выделялся в ряду молодых казаков. Он был грамотен, пел на клиросе «высоким голосом», всегда прислушивался к старым казакам, пользовавшимся авторитетом, и, как и Грачѐв, вращался в рядах местной полуинтеллигенции. Но у Нифонта были и противники, с которыми он вёл словесную борьбу и которые за чистую монету принимали шагистику и увлекались «муштрою».

– О! – воскликнул Нифонт. – І Мокотиря до нас покотила!

Из-за угла смежной улицы показался также верхом на лошади молодой казачонок, тоненький, маленький и на такой же низкорослой лошадедке, какою, казалось, он «под масть себе подобрал».

– І де ти, Мокотиря, узяв таке кошеня, на якому ти верхом їздиш? – таким невежливым вопросом встретил его Нифонт.

– Само виросло, – ответил ему Мокотиря, слезая с лошади. – А мені на його начхать, аби возило. Все одно я ні в кавалерію, ні в артилерію не піду.

– Дивись ти який прудкий! – иронизировал Нифонт. – А хіба ти не чув про козу, яка не хоче на торг іти, а все-таки її ведуть?

– Я на це вухо не чую, – бойко отвечал Мокотиря, – а в піхоту безпремінно попаду, бо дуже люблю марширувать, всякі артикули та марафети витворяють, які доброму козакові подобають, а чванливіх вахлаків за серце хапають.

– А ну лиш викинь хоч один артикул або марафет та принаймні хоч поздоровкайся з нами пристойно, а то дуже залепортувався, як твоя рознуздана коняка, – продолжал иронизировать Нифонт.

– Рад стараться! – крикнул Мокотиря, сделав правою рукою под козырёк, повернувшись лицом к Нифонту и вытянувшись по-военному в струнку перед ним. Затем, повернувшись к нам и сделав маленький «марш», он чётко, отчеканивая каждое слово, провозгласил: «Здравия желаю чесной кумпании!» – и слегка поклонился.

– Стой! Стой! – прокричал Нифонт. – Ты уп'ять залепортувався, а де ж твій «Христос воскрес»? –

– Він у мене на задку, – проговорил Мокотиря. – По-моему, попереду треба виявить воєнну пристойність, а за тим вже «Христос воскрес» оглашать, – и Мокотиря направился к нам похристосоваться.

Нужно сказать, что Нифонт и Мокотиря были сверстники по годам, оба состояли ещё в парубках, обоим им, после пребывания на весеннем «лагерном сборе», предстояла строевая служба, или «военная муштра», как называли её казаки, но они были прямой противоположностью по внешним и внутренним признакам – по фигурам и образу мыслей. Маленький Мокотиря, с подвижной физиономией, с хорошо и задорно светившими чёрными глазами, с правильным, как бы точёным носом, безусый, но с красиво сложенными губами, выглядел смазливый мальчиком сравнительно с большим и видным, но тяжеловатым, с крючковатым носом, Нифонтом. Мокотиря любил щегольнуть костюмом, манерничал и лез всем на глаза, но был одет в черкеску, балахон и штаны из очень дешёвой материи, опоясан простым ремнём с оловянными гузиками поясом с висевшим на нём кинжалом в простых чёрных без всяких украшений ножнах. Нифонт не высказывал в этом отношении никаких претензий ни к костюму, ни к щегольству, но был одет так, как редкий из казаков, в одежду из дорогих материалов, а его пояс и висевший на нём кинжал блестели серебряной оправой. Тем не менее, эти молодые казаки удивительно похожи были друг на друга по своей живости, экспансивности и умению говорить. При встречах всегда препирались друг с другом, но никогда не ссорились до ожесточения, не ругались друг с другом и дальше словопрений и желаний уколоть острыми словами и выражениями противника не заходили. На обоих противниках ярко отразилось влияние времени и изменений в условиях и обстановке мирной жизни казака. Это было начало ясно наметившегося развития казачьей экономики и хозяйства и подъёма общего культурного движения. В казачьей жизни было ещё много наслоений отжившей старины, но в новых послевоенных условиях и обстановке живым ключом били подъём казачьей экономики и культурное движение. Переход от старины к новизне с наибольшей силой

отразился на подростом к этому времени поколении молодого казачества, как на самой восприимчивой части населения. Явился новый тип казака, изменилась и казачья военная служба. Раньше молодой казак в полном расцвете сил и мощи почти оторван был от семьи и хозяйства, неся на кордонной линии и в горах жертвенную военную службу. В мирное время, с прекращением военных действий, он ближе стал к этим основам казачьего быта, отправляя, однако, не жертвенную с риском для жизни и пролитием крови службу, а чисто формальное выполнение военной техники, начиная с шагистики и ружейных приёмов и оканчивая движениями отрядов и примерными боевыми операциями. Сообразно с этим, изменились взгляды казаков на военную службу и отношение к ней. Вся вообще молодёжь, как и старые казаки, энергично взялись за хозяйство и развитие вообще экономики и культурных начинаний, но во взглядах на военную службу и отношении к ней не проявлялось ни столь дружного порыва, как к хозяйству, ни поклонения богу войны Марсу. Подавляющее большинство молодёжи смотрело на военную службу как на тяжёлую и нудную формалистику, соединённую с разорительными для казака обязательствами по несению за свой счёт расходов на лошадей, оружие и форменную одежду. Была, однако, некоторая часть молодёжи, которая увлекалась военным строем, его операциями и военным лоском и выправкой. К первой, подавляющей численности группе относился Нифонт, ко второй – Мокотиря. Это были самые яркие представители того и другого направления.

Внезапный приезд отца Петра и Васьки прервал препирательства Нифонта с Мокотирей. Прибывшие сидели на длинных дрогах с запряжкой пары лошадей. Отец Пётр правил лошадьми, сидя на передке, а Васька и немецкий плуг занимали все дроги, причём Васька придерживал обеими руками гредиль плуга и, казалось, ревниво охранял это ценное для него орудие. Остановив лошадей, отец Пётр весело воскликнул:

– О! Нифонт и Мокотиря тут!

– Точно так, – вытянувшись в струнку, отрапортовал Мокотиря.

– От тобі й на! – с юмором произнёс Нифонт, разводя руками. – Я думав, що німецький плуг більший, ніж наш сабан, он той, що лежить на возі, як кабан, аж німецький – це ж однолітній кнур та ще з одним ухом, а друге, мабуть, собаки обірвали. Це ж кумедія: у нашого дві чепіги (рукоятки), а у нім – ця тільки одна. Як же нею керувать будеш?

– Так цей кнур і старому кабанові ніс утре, – заговорил отец Пётр. – Ось побачиш, як він оре з одним ухом.

Но я, горя непреодолимым желанием скорее двинуться в степь, вмешался в этот разговор и прекратил его.

– Чого це ви так забарились? – обратился я к отцу Петру.

– Та отой клятий коваль мучив нас цілий час, – ответил отец Пётр. – Приїхали до кузні, а коваля і дома нема, у сусіда гостював. Насилу додому притаскав. Зранку начав празднувать і так нализався, що ледве язиком ворочає. Поліз під благословення та став тягтись до мене, щоб похристосуваться, руку мені всю обслинив, п'яний та такий гидкий, що ледві од його одкараськався. «Приїхав, – кажу йому, – за плугом, скоріше давай мені його». «А гроші, – бормоче, – зараз даєте?» Я виняв трьошницю і даю йому. Він узяв, та кармана не може найти у себе. Просто умора з ним. «Ховай, – кажу йому шуткуючи, – гроші в рот!» Що ж ви думаете: узяв трьошницю в зуби і тоді вже зовсім онімів, мукає, як бик, слова не може вимовити. Прийшлося ковалиху покликать, а то ні бумажки з зубів не випускає, ні балакати не може. Спасибі ковалисі: як тільки показала в кузні, так і коваль трохи очунався і пальцем на мене показує: «Спита його», а сам трьошницю із рота не випускає. «Ах ти, пьяница, – крикнула на його жінка. – Нализался уже! Что ты в зубах держишь?» А коваль мовчить, та пальцем у мене тиче. «То, – кажу я їй, – гроші за починку плуга – трьошницю я йому отдав». «Ах ты, мошенник! – кричит на його жінка. – Давай мне!» А коваль заперечно головою мотає і грошей із зубів не випускає. «Извините, отец духовный!» – повернувшись до мене, каже ковалиха, а потім повернулася до чоловіка та по морді і кулаком трах його – і трьошниця із зубів випала.

Нифонт заливался смехом. Мы все вторили ему, с интересом слушающая рассказ отца Петра и забывши даже о поездке.

– Суца правда! – подтверждал отец Пётр. – Тверезим він смирна і послушна людина, а п'яного, казали мені люди, жінка б'є, уму-розуму уче. Я не вірив, а сам власними очима побачив. Московка взяла гроші і пішла в хату за ключем, щоб одкрити комору і оддати мені плуг, – продолжал отец Пётр. – Коваль зовсім очнувся і зараз же потребував з мене гроші за плуг. Насилу я розтовкував йому, що гроші за плуг, які він держав в зубах, взяла його жінка. «Так пожалуйста мне, отец, другие, а те у супружницы моей возьмите. Она, ведьма, ведь не отдаст денег!» – просив мене москаль. «Ну, это ты много уж хочеш», – кажу йому я. «Сколько следует», – відповів він мені.

В это время пришла из хаты его жена и спросила, где ключ от амбара. Кузнец сказал, что он спрятал его в правый карман рабочих

штанов, которые висели в сенях на вешалке. Московка снова ушла в хату.

– Батя! Отец духовный! – просил кузнец отца Петра. – Дайте деньжонок, иначе жена ключа от амбара не найдёт, – предупредил он.

Отец Пётр отказался снова давать деньги.

– Ну, дайте хоть денег на магарыч. Ведь я плуг так починил, как не сумеет ни один кузнец в Черномории. Убей меня Бог! – упрашивал кузнец отца Петра. – Я ведь плуг весь пересмотрел и поправил.

Чтобы поскорее развязаться, отец Пётр сдался и дал ему на квартиру водки. В это время явилась жена кузнеца и заявила, что ключа нет в рабочих штанах.

– Ты, милая, прости меня, дурака, – обратился он к жене. – Я забыл, в какие штаны ключ я спрятал. Он у меня вот здесь, в новых штанах, – и он передал ключ жене, вынув его из кармана.

– Так от яка окая нас задержала, – заключил свой рассказ отец Пётр.

Как только отец Пётр окончил рассказ, все бросились к своим местам, и первым Васька встал у немецкого плуга возле дрог, но отец Пётр остановил общее движение.

– От що я думаю, – заговорил он. – Треба оповістити сусідів, щоб вони прийшли подивитися, як оре німецький плуг.

– Так точно, – подхватил Мокотиря.

– Безпремінно в царині, – сказал отец Пётр. – У мене такі сусіди, що дня або навіть хвилини зря не пропустять, вони вже, мабуть, з вівторка, після поминовенія на гробках, орють та скородять землю. Вам, козаки, нічого за волами плестися.

– Точно так, – поспешил Мокотиря.

– Так ви сідайте на коней і по-козацьки і махайте вперед. Кого побачите у царині, оповістите, що ми будем пробувати німецького плуга. Нехай лиш подивляться, якими плугами німці орють, то може побажається і їм німецький плуг завести. У станицях, що недалеко од Сіська та німецької колонії, козаки давно вже завелись німецькими плугами і дуже хвалять їх. Де ж таки на одній коняці або на парі волів можна орати. Так катайте вперед, – снова обратился отец Пётр к Нифонту и Мокотире.

– Рад стараться! – откликнулся Мокотиря. – Як прикажете, отець Петро, марш риссю чи в кальер?

– Марш в карьер! – со смехом скомандовал отец Пётр.

– Чуеш, Нифонте? – сказал Мокотиря, садясь на лошадь. – Зразу в кальер! Скоріше сідай на коня.

Как только Нифонт сел на лошадь, Мокотиря подъехал к нему, стал рядом с ним и обратился к отцу Петру:

– А тепер командуйте: «Марш в кальер!»

– Марш в кальер! – с хохотом скомандовал отец Пётр, подражая словам и тону Мокотири.

Оба казака сразу пустили лошадей в галоп. Но удивительное различие в беге лошадей сразу всем бросилось в глаза. Только несколько шагов обе лошади бежали рядом, но затем большая лошадь Нифонта начала отставать, проделывая какие-то странные прыжки. Мокотиря же быстро помчался на своём малыше и скоро оставил Нифонта далеко позади себя. Казалось, происходило что-то неестественное. Мы с необычным любопытством смотрели на скачущих всадников и с изумлением пожимали плечами, не спрашивая даже друг друга, отчего Нифонт так сильно отстал. Только один Васька, не видев никогда джигитующих на лошадях казаков, с усмешкою восклицал:

– Вот тебе и Мокотиря как живо покатила! А тот хвостун на карьере с своим большим носом остался сзади!

Мокотиря сначала скакал, стегая плетью лошадь и не оглядываясь назад, но оглянувшись назад и заметив, что Нифонт отстал от него, он громко закричал ему:

– Тягни своего коня за хвост! – и ещё чаще стал стегать плетью свою лошадь.

Вдруг раздался громкий крик Нифонта:

– Мокотиря! Держись кріпче за свої боки!

Вороной конь Нифонта как бы поднялся на дыбы и бурно понёсся за опередившей его лошадью. Оглянувшийся Мокотиря, вероятно, понял, что Нифонт решил наказать его за отпущенную им дерзость, и, видимо, спасаясь от беды, свернул с дороги и поскакал полукругом в сторону. Таким же кружным следом в несколько минут Нифонт нагнал Мокотирю и поравнялся с ним. В тот же момент раздался отчаянный вопль:

– Ой! Ой! Що ти зі мною робиш?

Нифонт на всём скаку лошади ловко схватил Мокотирю под мышки, стащил его с лошади, положил его поперёк у передней луки своего седла, как обыкновенно казаки возят баранов или наполненные травой мешки, и пустил свою лошадь по направлению к нам. Мокотиря от перепуга или предосторожности молчал, но его лошадь скакала

за лошадью Нифонта. Ещё несколько минут, и Нифонт был вблизи нас. Ловко он остановил свою лошадь, и, снова схвативши Мокотирию под мышки, он артистически поставил его на ноги.

Всё это произошло с такою быстротою и неожиданностью, что буквально мы не успели опомниться. Перед нами, точно актёры, стояли два казака: один – высокий, плечистый, выглядевший орлом, со своим большим носом и с добродушной чуть заметной улыбкой, а другой – маленький, по физиономии миленький, едва дышавший от неожиданного казуса, с перекошенным лицом, с опущенными руками и в сильном волнении. Первый молчал, как напроказничавший шалун, а второй горел гневом.

– Як ти смієш таку кумедію зо мною робить? – напустился Мокотирия на Нифонта. – Од кого ти такі права маєш?

– То я не кумедію з тобою ламав, – смиренно перед нами, как перед начальством, говорил Нифонт, – але суцїй муштрі поучив тебе, а права я маю од своєї сили, доброго коня та козачих звичаїв. Бо козака роблять козаком ці права, а не твої словесність чи пак команда «скорым шагом марш», «равнение направо» або «їж его глазами», чим ти так захоплюєшся. Оце я тобі і показав. Чи поняв ти мене?

– Годі вам резониться, – перебил их разговор отец Пётр. – Тепер я не буду вже командувать; їдьте собі потихеньку та зробіть те, що я казав.

– Рад стараться! – произнёс Мокотирия, подняв руку под козырёк.

– Давай їхать, – сказал Нифонт.

Казаки подошли к лошадям, сели на них и без команды рысью поехали, а к десяти часам утра все мы были в царине отца Петра.



Глава VI

## Скандал с немецким плугом

Подъезжая к тому месту царины отца Петра, которое он наметил центральным пунктом, мы увидели группу людей, несколько осёдланных лошадей, дроги с немецким плугом и отца Петра с Васькой, которые на полдороге оставили нас и раньше приехали в царину. Одновременно с нами подъехали три всадника, а несколько человек стояло возле дрог, посматривая на немецкий плуг и на Ваську. Речь, по-видимому, шла о немецком плуге, причём действующими лицами были отец Пётр и Васька. Нашим приездом прерваны были разговоры и обмен мнениями.

Около плуга, кроме нас пятерых, Нифонта и Мокотири, сгруппировались ещё около шести или восьми казаков, преимущественно ближайших наших соседей в степи, которых Нифонт и Мокотирия привлекли к важному происшествию – к пробе немецкого плуга на степных землях. У меня из памяти истёрлись фигуры некоторых из этих соседей, не помнятся ни имена и отчества, ни даже фамилии их. Вообще я очень редко виделся с ними, не имея никаких ни деловых, ни приятельских связей. Все они были пожилыми людьми, окончившими уже военную строевую службу, но сильно интересовались новинкой и вели разговоры о ней. Из всех их рисуется в памяти, как живой, один урядник, служивший в артиллерии, и помнится, главным образом, по внешним признакам, которыми в ту пору отличались черноморские

артиллеристы, и по манере, которой он выделялся из общей группы. Кроме длинных усов, он носил бакенбарды, как модное украшение в николаевские времена, и умел особенным образом выбрасывать изо рта плевки, или, как выражались казаки, «чвиркать»: предварительно сдвигал плотно губы и затем с напряжением выталкивал накопившуюся во рту слюну так, что она летела наружу, издавая слабый звук «чвирк». Как ни курьёзна эта деталь, а между тем, она считалась признаком не то модной манеры артиллеристов, не то благовоспитанностью, так как артиллеристы, «чвиркая», всегда отходили от присутствующих в сторону, и, во всяком случае, была признаком искусства.

Этому искусству молодые казаки и мальчишки даже учились. Артиллерийская служба высоко вообще ставилась. Помнится, в детстве я и мои товарищи, увидев артиллериста в бакенбардах, напряжённо следили за ним в ожидании того момента, когда он «чвиркал».

– Він же артиллерист! – говорили мы, оценивая казака и уменье его «чвиркать».

Вот такой «дядько», искусно «чвиркавивший», широкоплечий и широкогрудый, как все вообще артиллеристы-черноморцы, среднего роста и с несомненной физической силой по наружным признакам, был в числе присутствовавших у нас казаков. Он умело ставил вопросы, делал интересовавшие всех замечания, говорил нередко с большим юмором и, выражая своё неудовольствие, когда говорил кто-нибудь несообразности, отходил от говоривших несколько в сторону и вежливо «чвиркал». Другой, самый близкий к нам сосед, царина которого находилась на расстоянии версты от нашей, пожилой мужчина лет пятидесяти, был человек смирный, спокойный и молчаливый и в высшей степени наблюдательный, так что о нём говорили обыкновенно:

– То дядько собі на умі.

Впоследствии мы часто с ним виделись и называли его Свиридонович, по отчеству. Всё время он молчал и слушал, не произнося ни слова, но потом, когда случился скандал с немецким плугом, он первым восстановил его репутацию в станице. Все же остальные казаки то болтали, как сороки, друг с другом, делая по нескольку раз одни и те же замечания в подтверждение того, что они произносили самое умное слово, и пытались отпустить остроты, то внимательно слушали, когда давали разъяснения отец Пётр и часто – Васька, выступивший самым рьяным поклонником немецкого плуга.

– Воно може оця німчура, – говорил артиллерист, тыча пальцем в плуг, – и добра штука, та тільки малого хвасону. От наш, скажим,

плуг: поставиш його на землю, все одно, як орудію на лафет, пустиш в ход, то він вириває такі скиби землі, як богатырський кінь ногами. А це, кажу, може й добрий марафет, та він схожий не на плуг, а скоріше на штрикалку.

– Ось як пустим в діло цю штрикалку, так тоді побачимо, як вона штрикає, – говорил отец Пётр.

– Та це правда ваша; діло покаже, – сбавляя тон, сказал артиллерист, и, как бы заранее вежливо отступая в своём преждевременном суждении, он расправлял свои роскошные бакенбарды обеими руками.

– Что вы говорите: штрикалка! – с горячностью обрушился Васька на артиллериста. – А вот соха тоже маленькая, а как она пашет?

– Як? – спросил невозмутимо артиллерист.

В ярких красках Васька старался изобразить преимущества сохи, которою, как и немецким плугом, можно пахать в одну лошадь. Артиллерист с улыбкою внимательно слушал Ваську, и когда он окончил, громко произнёс:

– Так це всім людям відомо, що «соха-матушка», – и, отойдя в сторону, звонко «чвиркнул».

Задетый явной насмешкой Васька, подражая артиллеристу, старался, в свою очередь, уязвить противника и выразился:

– Если соха – наша матушка, то ваш плуг – непременно батюшка.

– Та Бог з вами. Ви дуже круто б'єте, – с комизмом заговорил артиллерист, как бы отстраняясь руками от Васьки. – Вибачайте, не до речі будь сказано, – обратился он к отцу Петру. – Хіба ж ви плуг?

Раздался громкий смех, смеялись все, и громче всех – отец Пётр. Только Васька не принимал участия в этом весёлом настроении, да сам артиллерист стоял с натянутым выражением в лице, с усилием выдерживая роль серьёзно спорящего человека. Но Васька не унимался и, как бы в отместку противнику, снова ядовито распространился о том, что сохой или немецким плугом можно пахать в одну лошадь.

– А «батюшкою», – по-прежнему подражая противнику, говорил Васька, – вы пашете в восемь голов или в четыре пары волов, и не найдётся ни одной умной головы, чтобы догадаться, что это нелепо.

Артиллерист не ответил Ваське, а снова обратился к отцу Петру и пресерьёзно спросил:

– Як ви, батюшка, умовились з половинщиками, чи вас будуть тягати, як плуг, чотирьма парами волів, чи пополам – двома парами воликів вас, а двома парами самі себе?



Острота была в духе казаков, и они снова хохотали, но отцу Петру она показалась от повторения плоской, и он не смеялся; мы тоже не поддержали в этот раз артиллериста. Заметив это, Васька с задором обратился к своему противнику:

– Чего ж вы вертите, как лисица, хвостом? Скажите прямо, резонно ли пускать в дело четыре пары волов вместо того, чтобы заменить их одною лошадью или парою волов?

– По-вашому ні, а по-нашому резонно, бо ви нашого хазайства не знаєте і не можете взяти його собі в толк, а з своєю матушкою сохою носитеся, як з писаною торбой. У нас, як бачите, степу багато, кінця-краю не видно, й рогатого скота чимало, та й волів, як у добрий урожай кавунів на баштані, багатенько. На волах ми їздимо і все робимо, і часто таке робимо, яке не під силу коням. Чого ж воли резонно... чи то пак дарма будуть стоять, коли треба орати землю? Оце вам раз, а два у нас в першу чергу орати землю требається під баштан, просо та льон, не м'яку землю, а цілину піднімати приходиться, що під силу чотирьом або й п'яти парам волів, а чого не візьме ні соха, не може і німецький плуг. Я чув, що цей плуг для м'якої землі, а не для нашої з бур'яном, корневинами, орішником, а то й терном. Так от тепер ви, резонтний пане, і скажіть мені, що ви з вашою сохою і може з малим плугом зробіте на нашій степовій землі?

Васька не нашёлся, что ответить на этот вопрос, так как совершенно не знаком был с постановкой местного земледельческого хозяйства и боялся провалиться с таким дошлым противником, каким оказался чвиркавший с николаевскими бакенбардами артиллерист.

Знакомясь с плугом при осмотре его, и другие казаки ставили вопросы и делали замечания. Говорили о конструкции плуга, о глубине вспашки, о величине скибы и тому подобном, высказывали замечания о малых размерах лемеха и резка, указывали на наличность одной только рукоятки, а не двух, и тому подобное. Покончив спор с Васькой, артиллерист, не желавший, видимо, препираться с ним, обратился прямо к отцу Петру:

– А нащо от німець причипив до плуга одну тальки чепігу, а не дві, як у нашого плуга?

Отец Пётр не дал прямого ответа, ограничившись общей фразой, что «так, мабуть, зручніше». Но Васька, уловив удобный, казалось, случай для отмщения артиллеристу, снова вмешался в разговор и наставительно обратился к нему:

– Так ведь это нетрудно догадаться тому, кто ходил за сохой. Одною рукою можно держаться за рукоятку и править плугом, а в другой держать вожжи и править лошадью. Я сам так делал, вспахивая землю сохой, одною рукою держался за рукоятку, а другой – держал вожжи от лошади.

– Це понятно, – заметил артиллерист. – Коли сядеш на повозку та візьмеш в одну руку вожжа, а другу батіг, то добре без клопоту їдеш та ще й пісню співаєш. Так плуг – не батіг, а коняка – не вожжа. Бо соху ви не до діла приплели. У сохи ж дві чипіги, ну і дві руки до них, а де ж третя рука для вожжів? Всякий майстер строє машину відповідно плану. Я не вмю думати і вас, як знавця, питаю: може німець сплехував і пошив так плуг, що друга чепіга лишня і ні до чого її причепить по плану? От про що питаю я вас, задумчивий ви пане!

Васька опять не нашёлся, что сказать. Его выручил отец Пётр.

– Годі вам спорить, – сказав он. – Пора спитати плуга, що він нам скаже.

– Пора! Пора! – закричали казаки.

Таким образом, уже при осмотре немецкого плуга между приглашёнными отцом Петром гостями и нами произошли явные недоразумения. Я с большим интересом вслушивался в разговоры казаков, и особенно – в вопросы и замечания остроумного артиллериста, человека, безусловно, разумного, каким, очевидно, считали его и казаки, прислушивавшиеся к его голосу. Но меня возмущал Васька, любивший бесконечно спорить о всяком пустяке и не имевший удержу в этом отношении. Я ясно видел, что с каждым его спором ассоциация много теряла во мнении казаков, тем более что Васька, держась всё время у плуга, поставил себя в положение знатока этого орудия и как бы нашего главаря. Такое же впечатление выносили Григорий Попка и отчасти Грачёв. Отец Пётр не обращал на это внимания, будучи убеждённым, что всё это покроет сам плуг, когда казаки увидят на деле, какое это превосходное орудие. Все же мы вместе довольно легкомысленно отнеслись к плугу, которым, да и вообще всяким другим плугом, никто самостоятельно не пахал и, за исключением меня и отца Петра, раньше не видал. Все мы в достаточной степени были невежественны в этом отношении, а Васька – чуть ли не невежественнее всех, хотя был усердным работником и горячим любителем земледелия. Тем не менее, с каждым промахом он ставил в невыгодное положение нас, и ещё в большей степени – самого себя. Благодаря остроумию артиллериста, все казаки относились к Ваське снисходительно, иронически и редко



не смеялись, когда Васька лицедействовал. В курьёзное положение он попал, как только прикоснулся к первой операции с плугом.

Задавшись мыслью ни за что не выпускать из своих рук плуга, после провозглашения «пора пробовать плуг», Васька первым бросился к плугу, схватил конец гредили в руки и попросил помочь ему снять орудие с дрог. Нифонт исполнил просьбу, и благодаря его огромной физической силе, вдвоём с Васькой сняли плуг. Васька, никогда им не пахавший, не знал, как же быть дальше. Чтобы доставить плуг на место вспашки, он попросту снова попросил Нифонта и других помочь ему перенести его на руках на место вспашки, наметив наугад место.

– От так штука! – воскликнул артиллерист, отдав честь плугу рукой под козырёк. – Це ж не плуг, а его превосходительство, яке треба носити на руках. Не доведи Боже, шоб і наш плуг давалось по німецькому способу носити на руках. Тоді, мабуть, потребується або півескадрона козаків, або звод артилерії.

Дружным взрывом хохота присутствовавших сопровождалась эти юмористические соображения артиллериста. Васька в смущении стоял, не зная, что же предпринять дальше. Снова выручил его из затруднительного положения подошедший к хохотавшим казакам отец Пётр.

– Що то ви, – обратился он к Ваське, – собираєтесь робити?

– Я хотел перенести плуг на место, где мы начнём пахать, – ответил тот.

– Бог з вами! – воскликнул отец Пётр. – Так це ж прийшлося би таскаться з плугом цілі гони.

– А я думаю, что можно начать пробу вон на том месте, – указал Васька рукой, подчеркнув свой жест авторитетным тоном.

– Та що це з вами! – удивлялся отец Пётр. – То ж зовсім не підходяще місце – висока і суха цілина, яку і лопата не візьме. Те місце я вибрав для куріня.

– Добрий для куреня пригорочок, – раздалось несколько казачьих голосов.

– Добре с того пригорка было бы пустить и плуг, – нашёлся Васька. – Только я не знал, что там вы, отец Пётр, предположили построить курень, – закончил он свои неожиданные предложения, успокоенный тем, что ему удалось, наконец, так удачно выпутаться из своего смешного положения.

Но артиллерист, заметивший, видимо, что Васька был полный профан в деле, за которое он взялся, пресерьёзно обратился к нему с вопросом:

– А «матушку-соху» тож можна носити на руках, як німецький плуг, адже ж нею одним конем орють? Я не бачив, правда, цього, а мені казали люди, – пояснил он, изображая, что он совершенно не знаком с сохой.

– Вот ещё нелепый вопрос! – произнёс возмущённый Васька, понявший, что над ним едко трунит его противник, которого он третировал раньше.

– Кирило Агеєвич! – обратился отец Пётр к Грачёву. – Достаньте з воза війце та приведіть сюди пару старих волів.

Затем, подойдя к Ваське, указал ему, как следует прикрепить гредиль плуга к «колешні».

– Так це, значить, і по німецькому способу, як по нашому, колішню плуг можна тягти, а то вже по своїй волі придумали ви носити плуг на руках? – по-прежнему серьёзно обратился к Ваське артиллерист, вызвавший весёлый смех в присутствовавшей публике.

Васька, насупившись, молча отвернулся от донимавшего его противника, к которому он так легкомысленно и неосторожно относился, давая ему наставления.

Наконец на место вспашки, которое указал отец Пётр, Грачёв и Васька притащили плуг. Это была «мякоть», как называлась обыкновенно несколько раз перепашанная уже нива.

Васька установил плуг и сказал стоявшему у волов Грачёву:

– Ну, Кирило, гони волов! – а сам принял важную позу, кладя правую руку на рукоятку плуга.

– Гей! – крикнул Грачёв.

Волы понатужились, лемеш и резец врезались в землю, но волы остановились.

– Чого вони опинаються? – кричал отец Пётр. – Батогом їх!

Грачёв пустил в ход кнут, но волы с усилием извивались на одном месте, и плуг не двигался.

– Що воно за оказія? – взволновано восклицал отец Пётр, подскочив к плугу и дёргая его за рукоятку, но плуг нерушимо стоял, точно он врос длинными и крепкими корнями в землю.

– Ведіть, Федір Андрієвич, другу пару волів в ярмі з війцем, – обратился отец Пётр ко мне.

Привёл я другую пару волов, затем потребовалась третья, но как ни натужились волы, как мы, погоничи, ни кричали на них и ни стегали их длинными батогами, плуг не двигался с места.

Вначале казаки посмеивались потихоньку, кто в рукав, а кто отвернувшись в сторону, чтобы не увидел весёлого настроения отец Пётр. Не оставлял в покое Ваську и артиллерист, советуя ему править плугом, «как слід, обома руками за одну чепігу», но вскоре и он замолчал, находя неуместными шутки. Все поражены были и молчали, шёпотом сообщая друг другу замечания и предположения. Общее мнение, видимо, склонялось к тому, что плуг попал в ненадлежащие руки и что никто не умеет направить его, как следует. Мы сами чувствовали свою вину в этом отношении. Я упрекал себя в том, что не настоял, что прежде, чем пускать плуг, следовало попробовать его, но отец Пётр был так уверен, что чуть ли не сам пойдёт пахать, и возлагал такие надежды на Ваську как на опытного земледельца, что не захотел и слушать меня. И вот теперь, казалось мне, на всех лицах казаков можно было прочесть, как они издеваются над нами. Хорохорившийся до того Васька стоял не в прежней фатовской позе, а понуро нагнувшись, и его физиономия была красна, как варёный рак. Отец Пётр ни секунды не стоял на месте, а всё время бегал, волновался и повторял:

– Що воно це? Я ж сам бачив, як легко ходив цей плуг; сам два загона пройшов за ним, як плугатирь, і за чепігу рукою не торкався, а він сам, без всякого керування ішов непрепинно.

Наконец встревоженный и вспотевший от беготни отец Пётр попросил Нифонта привести последнюю, четвёртую пару волов. Грачёв, я и Попка стояли уже в роли погоничей, каждый при своей паре волов с кнутами в руках. Все мы были взволнованы и опечалены. Чувствовалось, что нам грозила полная неудача, в плуг мы не верили, а от отца Петра и Васьки ничего путного не ожидали.

По команде Нифонта, все мы – четыре погонича и пятый плуготырь Васька – разом грянули «г-гей!», и каждый погонич со всей силой стегал кнутом свою пару волов. Те дружно рванули, послышался слабый треск в плуге, а он по-прежнему не двинулся с места.

– Не треба! Не треба, – закричал отец Пётр, – поганять волів, а то ше й плуг поламаем, і тоді не можна буде оддати його назад. Це мабуть німці, мошенники, обманули мене і дали не той плуг, за яким я ходив, а інший, не намецький.

– Може, воно так, а, може, інакше, – заговорил артиллерист. – Я переконан, що німецький плуг повинен добре орать. Недаром же

кажуть, що німець і обизяну видумав. Треба, отець Петро, знаючому чоловікові показати плуг, щоб він подивився, що там в плузі завелось чи заскочило не туди, де треба. Тоді видно буде, чого він закомизився і що в ньому треба поправити.

– Ні, – решительно заявил отец Пётр, – я одвезу його в колонію до німців, нехай вони сами подивляться та скажуть мені, що вони дали.

– Благословіть, батюшка, – обратился артиллерист к отцу Петру, – пора нам і до дому.

Приняв благословение, он скинул шапку, низко поклонился всем нам и, сказав: «Прощайте!» – направился к своей лошади. Вслед за ним, проделав такую же процедуру, как он, потянулись к своим лошадям все остальные казаки, не исключая Нифонта и Мокотири. Общей группой пошли от нас тихо и чинно, но когда прошли шагов триста расстояния, от них донёсся к нам дружный и сильный хохот. Издали видно было, как некоторые из них нагибались чуть ли не до земли и хватались за грудь от душившего их хохота. Острил ли то на наш счёт артиллерист или, вероятнее всего, каждый из уходящих пускал какую-нибудь шпильку, чем черноморцы всегда славились, но для нас не было никакого сомнения, что казаки потешались над нами и над нашим неудачным опытом, на который они так торжественно, по приглашению особых посланцев, приезжали полюбоваться немецким диковинным плугом.

И в то время, когда казаки шли тесной группой в оживлённом и весёлом настроении к своим стреноженным лошадям, чтобы отправиться в свои царины и домой в станицу и поделиться там юмористическим описанием того, как «в поповій царині» немецкий плуг пахал без движения, наша земледельческая ассоциация разложилась на свои составные, удручённые стыдом и неудачей. Казаки вынесли из нашего культурного опыта весёлый смех и прилив остроумных и смехотворных шуток, а мы, носители высоких идеалов и малых культурных начинаний, повержены были в гнетущее положение полным неумением показать то, с чем мы стремились на просветительную помощь к близкому нам трудовому казачеству. Непосредственное чувство подсказало нам, что следовало каждому одуматься и не терзать друг друга.

Отец Пётр ходил сначала вперёд и взад вблизи нас и нашей стоянки, ероша волосы на голове и изредка ударяясь руками о полы своего длинного полукафтана, а потом направился в открытую степь как бы на прогулку, чтобы развеять своё взвинченное настроение. Но издали видно было, как быстро он ходил, размахивая руками, и находился,

очевидно, в ажитированном состоянии. И неудивительно. Он как половинщик нёс наибольшую долю неудачи в двойственном своём положении уважаемого в станице священника и преданного ассоциации сторонника её. Живой, восприимчивый и открытый по натуре человек, отец Пётр должен был чувствовать неосторожно сделанный им шаг по каким бы то ни было причинам и оправдать себя во мнении населения станицы, защищая и нас, близких ему товарищей. В буквальном смысле слова он один был половинщиком вдвойне понесённой неудачи остальными четырьмя членами ассоциации. Это не каламбур, а действительный факт, выраженный точно в наших взаимных отношениях. Мы, его половинщики, отведя волов «на пашу», разбрелись в разные места вблизи нашей стоянки также в пасмурном и угнетённом состоянии, объясняя каждый по-своему своё состояние.

Васька подошёл к дрогам, сел на них и, закурив свою носогрейку, не то рассуждал о происшествии, в котором он играл не последнюю роль, не то ругал всех нас за наше непонимание правильных его воззрений на соху. Но и он должен был чувствовать, что если провалился наш опыт с немецким плугом, который в этот момент не стоил, по его мнению, выеденного яйца, то провалился более всех нас и сам он, взяв на себя роль «плугатыря» и не сумев ни слова сказать о том, что произошло с немецким плугом. Факт этот должен был бить его по земледельческому самолюбию и приводить его в раздражённое состояние. Такова уж была натура у Васьки. Он любил земледелие, был рьяным работником, выработал определённый взгляд на обыдеализированную им соху и по своим консервативным привычкам вертелся вокруг неё, как белка в колесе, не видя собственными глазами ничего лучше сохи и так торжественно провалившись на немецком плуге, в который он уверовал.

– Говорил я вам, чертям, что надо плюнуть на все ваши плуги и завестись сохой или даже двумя, – обратился Васька к Грачёву, который сидел в нескольких шагах от него на зелёной траве и играл перочинным ножиком, бросая его остриём в землю.

– Не говорил этого о немецком плуге, – оборвал его Грачёв.

– Нет, говорил, – в раздражении утверждал Васька.

– Выдумываешь, – возражал Грачёв, – або попросту кажучи, наполовину правду говоришь про соху, а наполовину брешешь про плуг.

– Врёшь ты сам, – в сердцах твердил Васька. – Если я прямо ничего не говорил вам, хвастунам, о немецком плуге, то я заранее знал, что из него ни черта не выйдет. Так оно и вышло, как я думал.

– Сейчас сам себе врешь, – донимал его Грачёв. – Зачем же ты всё время тёрся около немецкого плуга, как кот около сала, и, не покушав его, теперь врешь, как сивый мерин.

– А ты врешь, как ваши четыре пары волов, – не нашёлся Васька, чем бы возможно сильнее уязвить Грачёва.

Таким образом, два члена ассоциации, находившиеся между собой если не в особенно близких, то, во всяком случае, в неизменно товарищеских отношениях, в первый раз после выезда из Ставрополя поссорились друг с другом, и ссора дошла до взаимных оскорблений.

Попка сначала ходил мерными шагами вблизи нашей стоянки, о чём-то раздумывая, но потом сел на траву, подпёр обеими руками, упёртыми на локтях в колена, подбородок и о чём-то ещё глубже задумался. Мы с ним не привыкли к жалобам на судьбу и на явные неудачи, и я хорошо знал, что он не станет тревожить и меня собственными своими удручающими размышлениями. Часто молчаливый Грицько был как бы замкнут сам в себя, но всегда был твёрд и решителен в своих строго обдуманых решениях. Посматривая издали на него, я догадывался, что он не додумался ещё до конца.

Наконец, я стоял в промежутке между плугом, торчавшим также в одиночестве с запущенными в землю лемешом и резцом, и табором, и мрачные мысли терзали меня. Мне досадным и обидным казался наш общий промах. На первых же порах так постыдно провалилась наша ассоциация. Мы оказались невеждами и не знали даже ни причин, почему заартачился плуг, ни средств, как направить плуг и выйти с честью из простого, заурядного затруднения. «Напроказничали и наказали себя, пустившись в воду, не узнав броду, – думал я, – а что же будет дальше?»

Одним словом, все члены ассоциации во главе с отцом Петром находились в удручённом состоянии: кто, замкнувшись в себя, переживал свои думы, а кто прибегал к обнаружению их в острых выражениях, но все в повышенном, ажитированном состоянии переживали первую неудачу нашей земледельческой ассоциации, и притом в декоративной обстановке, пригласив для этого лучших представителей станицы, на которых мы задались влиять культурными способами. Мы забыли даже об обеде, и никто не заикнулся о том, что пора есть.

В раздумье о причинах нашей неудачи мне вспомнился отзыв моей покойной матери о немецком плуге, когда мы гостили у родича Стриги в Широчанском посёлке вблизи города Ейска и немецкой колонии, в которой казаки покупали немецкие плуги. На вопрос Стри-

ги: «Чи понравився вам, Марино Григоровна, німецький плуг?» – мать ответила:

– Здається, добра штука, та тільки вона нам в Дерев'янківці не з руки, бо до німецького плуга треба і німецького коваля. Коли спортивиться який-небудь гвинтик в плузі, то наші ковалі так поправляють поруху, що прийдеться зовсім одказатись од плуга.

При этом воспоминании меня озарила яркая мысль: «Причину скандала с немецким плугом, – подумал я, – надо искать в кузнице». Отец Пётр ведь отдавал наш плуг в починку кузнецу. Я не сомневался в том, что тот приладил какой-нибудь «гвинтик» так, что, чего доброго, плуг придётся бросать, как выразилась об этом моя мать. «Но как же я найду в плуге то, что попортил кузнец, – задал я себе вопрос, – не зная конструкции немецкого плуга?» Устройство своего казацкого плуга-сабана я знал ещё с детства до тонкости. «Буду сравнивать немецкий плуг с нашим и, наверное, разберусь, в чём состояла причина задержки в немецком плуге», – решил я.

Будучи знаком с механикой только по названию её, я построил свою теорию о наиболее лучшей постановке основных частей плуга для беспрепятственного движения его в земле: по моему мнению, в плуге должны быть расположены по прямой линии лемеш, резец и стойка для тяги впереди, чтобы возможно меньше было трения и сопротивления при разрезе лемешом и резцом грунта земли. Немедленно я отправился к неразгруженным ещё возам, взял с них «великий сажинь», прямой и длинный, в три аршина, деревянный шест, поделенный поперечными нарезками на вершки, топор, молоток, стамеску, французский ключ и отправился к плугу. Никто не обращал внимания на то, что я делал. Я осторожно выдернул из земли лемеш и резец, наложил во всю длину гредили трёхаршинную сажень и руками развёл, глядя на лемеш и резец: лемеш глядел в одну сторону – влево, а резец в другую – вправо. Упором этих двух режущих землю частей плуга в разные, почти противоположные стороны и держался плуг в земле, несмотря на дружные усилия четырёх пар волов. Плуг был необычайно крепок, и надо было удивляться, как он дал только слабый треск, а не изломался в наиболее слабо приложенных частях.

Затем я так же осторожно отделил от лемеша заднюю часть гредили, которой скреплялась гредиль с лемешом, и увидел, что кузнец поставил так называемый «хвостовик», главное скрепление гредили с лемешом, в противоположную сторону, отчего основные части плуга

скосились – лемеш сильно скосился в одну сторону, а неподвижный в гредили резец – в другую, и они, или, собственно, лемеш, так упирались в землю, что сдвинуть плуг можно было, только сломав его. Какая-то деревянная часть у хвостовика или самый хвостовик, я не помню теперь, слегка треснула. Я крепко стянул её английской верёвочкой, которую всегда носил на всякий случай в кармане. Сложив снова плуг, я прикинул к нему свой длинный трёхаршинный шест и убедился в том, что плуг налажен был мной, как следует, – наружная тупая часть лемеша, резец в гредили и спойка находились на одной прямой линии. Я отправился к товарищам, чувствуя, что с меня как бы сразу спало удручённое состояние.

Укладывая принесённые мной инструменты в воз, я обратил внимание на Ваську, который по-прежнему сидел на дрогах и болтал ногами. Носогрейка его, видимо, давно потухла, но он держал её в зубах и не обращал ни на что внимания. Мне казалось даже, что он не заметил моего прихода и того, что я принёс с собой и что я делал на возу. По крайней мере, когда я назвал его по имени, он как бы встрепенулся от забытья и как-то растерянно произнёс:

– А?

– Васька! – заговорил я, подходя к нему. – Давай-ка попробуем ещё раз немецкий плуг.

Но лишь только он услышал мои слова, как вскочил с дрог на ноги, сразу оживился и набросился на меня со словами:

– Пошёл ты к чертям собачьим со своим плугом! Не послушали вовремя меня, а теперь ко мне же лезут. Не пойду. Пусть твой хваленый плуг черти пробуют, а не я.

Я никогда не видел ещё Ваську в таком не в меру сердитом настроении, как в этот раз. Видимо, он задел был неудачей с немецким плугом более, чем кто-либо. Его кололи, надо полагать, те острые насмешки, которыми донимали его артиллерист и казаки, и собственное глупое положение, в какое он поставил себя. Всё происшедшее будоражило и раздражало его. Когда я уходил от него к Попке, то издали доносились ко мне его ядовитые слова:

– Ишь, провалился со своим немецким плугом и потом лезет ко мне. Что я, дурак, что ли? И не понимаю, что плуг, которого не могли сдвинуть с места четыре пары волов, не годен ни к чему... И с таким плугом эти казачишки высмеивают ещё соху!.. Бакенбарды отпустил и туда же – лезет со свиным рылом да в калачный ряд!.. – донимал Васька своего противника задним ходом.

Его не столько возмущал провал ассоциации с немецким плугом, сколько собственное его положение, в котором он попал на зубок казакам.

Грачёв находился в это время возле пасшихся волов и возился с чем-то там, а отец Пётр по-прежнему ходил по степи. Ближе всех ко мне был Попка, и после грубого отказа Васьки принять участие в пробе плуга я направился к своему другу в полной уверенности, что он поймёт меня. «Мы поправим плуг и посоветуемся, – думал я, – какую позицию следует нам занять, чтобы нам вдвоём не быть в попыхачах, как это произошло уже». Ведь делом распоряжались только двое – отец Пётр и Васька, а не все члены ассоциации на общих совещаниях. Я был уверен, что Попка видел, как я вертелся около плуга, и сразу предложил ему попробовать исправленный мною плуг, взяв с собой пару волов и «вийце».

– Та ми ж пробували вже його, і нічого не вийшло, – сказал со вздохом Попка.

Я сообщил ему, что, разобрав плуг, я нашёл причину, почему он не двигался с места. В коротких словах я познакомил друга с тем, какие недостатки я нашёл в плуге и как исправил плуг. Попка сразу понял, что я произвёл такое исправление в плуге, после которого он будет так же великолепно пахать, как рассказывал отец Пётр, и встал на ноги, чтобы идти за волами. Но я остановил его и задал ему вопрос:

– Мы были с тобою в роли попыхачей, а кто распоряжался провалом опыта?

– Отец Пётр и Васька, – ответил со смехом мой приятель. – Що ж, ти хочеш поставити їм це на вид? – спросил он меня.

– Ни в каком случае, – заметил я. – Это только породит споры, раздоры и несогласия.

– А как же быть, чтобы дело шло более правильным путём? – осведомился Попка.

– Нужно удержать его в наших руках, чтобы с нами считались и не ставили нас в положение попыхачей. Ни слова не скажем, как я поправил плуг, повезём его к кузнецу, приведём в порядок, станем пахать, и когда дело пойдёт, тогда расскажем и поставим вопрос о том, чтобы важнейшие вопросы разрешались всеми членами ассоциации, а не по усмотрению и не по желанию кого бы то ни было. Согласен?

– Чом же не згодиться, коли це треба, – заговорил Попка.

Ему показалось, что по секретному делу я начал изъясняться не «на рідній мові», а на русской из предосторожности, и он весе-

ло расхохотался. Хохотали мы оба и бодро отправились за волами и вийцем.

На нас по-прежнему никто не обращал внимания. Чад неудачи, поразивший всех, не прошёл ещё ни у кого, за исключением нас двух. Отец Пётр ходил вдали по степи, Грачёв занят был исправлением пут на волах, а Васька опять сидел на дрогах, ругал, вероятно, плуг, которым он раньше увлекался, слушая рассказы отца Петра. Приладили мы с Попкой волов к плугу, Гриша взял в руки на налыгаче быков, а я стал сзади плуга, взяв его за рукоятку.

– Гей! – крикнул Попка на волов.

Волы сразу двинулись, а плуг плавно пошёл за ними. Оба мы чуть ли не кричали от радости, охватившей нас. Мы теперь окончательно убеждены были в том, что блестяще загладили наш провал, но решили пахать молча, пока товарищи не увидят нас и сами не придут к нам. Прошли мы первый загон, повернули обратно и вдруг увидели, как мчался к нам Васька, заметивший нашу работу.

– Плуг пошёл! – радостно, или, точнее, восторженно кричал он нам, будто сообщал неожиданную для нас новость. – Что вы с ним сделали? – обратился он к нам.

– Запрягли в плуг волів та й оремо. Плуг за волами пішов, як смирный бичок на бічовочці, а що з ним зробилось, про те спитай вже самого плуга, – ответил я загадочно.

– Да нет! Скажите, пожалуйста: как вы наладили плуг? Мне хочется это знать, – просил Васька.

– Мало чого не хочеш ти знати? – продолжал я выдерживать свою роль. – Багато будеш знати, скоро старим зробишся. Це для тебе шкода. Угамуйся! Для тебе це краще.

– Не строй дурня! – перешёл Васька с ласкательного на грубый и сердитый тон. – Скажи, кто и как поправил плуг. Это ведь наше общее дело.

– Ні, це не твоє, ти од його одрікся, а наше удвох діло; це наш секрет, – решительно заявил я.

– Какие там секреты в ассоциации? Я член ассоциации и имею право знать, что другие члены для ассоциации делают, – настаивал Васька.

– І ми члени асоціації, – возразил я ему, – і не одкриєм секрета, поки не доведемо діла до кінця. Плуг треба ще поправити, і ми вдвох полаштуєм його, щоб не лізли і не мішали нам інші. Це наше діло, і ми бажаємо, щоб з нами спорили і перечили другі члени, як ти зараз ро-

биш. Коли ж доведемо ми діло до кінця і дамо асоціації справний плуг, як облуплене яєчко, тоді і секрета не буде. Для діла доволі нас і двох, щоб воно ішло планомірно і вірно, а для третього тебе нема місця, бо коли я просив тебе привести волів до цього секретного діла, то ти мене до чортів послав. Так скажи мені, чого ти тепер намагася та на свої права обпираєшся, коли ти сам порушив їх, відмовивши мені в сумісній зо мною праці не для мене, а для асоціації.

Васька замолчал, сердито насупившись, но через несколько минут он ласково обратился ко мне:

– Ану, дай и мне попробовать, как немецкий плуг пашет.

Я уступил ему своё место. Молча прошёл он несколько шагов, снял руку с рукоятки – плуг продолжал идти плавно. Васька, выражаясь вульгарно, пришёл в телячий восторг.

– Вот теперь, – заговорил он, – я вижу, что немецкий плуг лучше нашей сохи, – совершенно забывая, что несколько минут тому назад он поносил этот плуг и перевозносил соху. В нём заговорили здоровые чувства земледельца, его горячая привязанность к земледельческому труду и к занятиям.

– Кирило! – закричал он во всю глотку. – Глянь-ка сюды, что мы делаем.

Услышав этот призыв, Грачёв направился к нам.

– Смотри, как он сам, как павлин, ходит, – говорил Васька подосшедшему Грачёву, сняв руку с рукоятки.

– Кто ж це поворожив над плугом? Це ти, Васька? – спросил его Грачёв.

– Нет! – ответил Васька. – Это вот они! – ткнул он пальцем в меня и в Попку. – И Щербина говорит, что это их секрет, который они не откроют до тех пор, пока не доведут дела до конца.

– І добре роблять, – заметил Грачёв. – Чого ж в те діло мешаться, якого не знаєш і сам не видумав. Нехай вони доводять до кінця їх діло, бо воно їм знайоме.

Васька не возражал, но и Грачёв, глядя на плавно пашущий плуг, не удержался от поразившего его факта достигнутой цели, над которой безрезультатно натужились пять человек и четыре пары волов. Это приподняло и у него настроение.

– Петро Яковлевич! – закричал он шагавшему вдали по степи отцу Петру. – Наша взяла! Ідїть сюди! Плуг оре!

Услышав крик и не заметив, что мы пахали, отец Пётр медленно направлялся к нам, находясь, видимо, в подавленном настроении,

но подойдя ближе к нам и увидев пашущий плуг и сопровождавшую его компанию, бросился бегом к нам. Путаясь ногами в прошлогодней траве, он чуть не падал и, в свою очередь, задыхаясь от бега, кричал:

– Уже оре! Уже оре!

Подбежав к нам вплотную, отец Пётр остановился, тяжело дыша, но напрягши все силы, он, заикаясь от волнения, заговорил:

– От тепер нехай подивились би козаки! Оре, оре так, як і тоді, коли німці мені показували оцей самий плуг! Як же воно це скоїлось? Це, мабуть, ви, Василь Петрович, придивились до плуга та й пустили його? – обратился он к Ваське, который шёл за плугом, держась за его рукоятку.

Васька молчал, наклонив голову вниз. Парень был смущён, и кровь прилила к его округлённому лицу, так как именно он убедил отца Петра, что никто из членов артели не сумеет так ходить за немецким плугом и управлять им, как он, Васька, хорошо владевший сохой и достаточно уже поработавший на вспашке земли. Поэтому, не посоветовавшись с остальными членами ассоциации, отец Пётр передал Ваське плуг как опытному и искусному плугатырю. Мы с Попкой считали это нарушением основ ассоциации, но решили не осложнять дела и не заводять споров, раз и Васька лез из кожи, чтобы удержать за собой эту роль. Но убедившись на деле в полной непригодности Васьки к этой роли в течение того времени, когда он буквально не проявил никакого знакомства с плугом и перевозносил соху, мы с Попкой условились упорядочить отношения между членами ассоциации и показать на деле, кто к чему годен.

– Так хто ж поправив плуг? – обратился отец Пётр с этим вопросом ко всем нам.

Васька ткнул пальцем в Попку и в меня. Но мой друг заявил, что он в этом деле не при чём и что я один исправил плуг и познакомил его с тем, как и что дальше следует сделать.

– Так от як воно вийшло! – воскликнул отец Пётр. – А мені, Федір Андрієвич, і в голову не приходило це. Я думав, що ви первий ученик тільки в науках, але ви і перший плугатырь по землеробчій часті. Це добре. Так скажіть же мені: що ви зробили с плугом?

Я дал ему такой же ответ и разъяснения, как и Ваське. Но отец Пётр не удовлетворился им. Ему показалось, что я недостаточно ценю его участие и претендую на большее, чем то, что я сделал для ассоциации, но он – половинщик, и как хозяин плуга имеет право на то, чтобы я открыл ему секрет.

– Якщо ви, Петро Яковлевич, так дивитись на загальне діло асоціації, а не на мою персональну працездатність, то я одкрию вам півсекрета, а не увесь секрет.

– Чого то так? – спросил меня отец Пётр.

Я повторил ему, что дело исправления плуга не доведено до конца и что сам я не ознакомился ещё как следует с конструкцией плуга.

– Коли я доведу діло до кінця, – пояснил я, – і ви побачите його результати, тоді вам ясно буде все, що і як і до чого приходитьсь. А тепер, коли кінця у мене в руках немає, вам хочеться узнати, як я думаю і що у мене в голові діється, це вже дуже багато персонально од мене вимогаєте ви.

– Так, значить, ви не довіряєте ні мені, ні всій асоціації. На що ж це похоже? – різко підчеркнул возмущений отец Пётр.

– І вам, і всій асоціації я, безумовно, довіряю, але треба, щоб найбільш важніші діла попереду всіма членами обмірковувались, щоб всім видно було, хто і чим може керувати, хто може бути плугатирем, хто погоничем, хто косарем і ін.

– А хіба у нас не так робиться? Це ж напраслина! – возражал підвищеним тоном отец Пётр.

– Ні, не так, – заявив я рішительно. – Не забувайте, Петро Яковлевич: що і як ви самі робили? Ви ж першим грішили против такого загального порядку у всякій асоціації.

– Коли ж це було? – спросил он меня.

– Чи казав я вам, що попереду, ніж їхати в степ на пахоту, треба попробувати самим німецький плуг? – в свою очередь, спросил я отца Петра.

– Казали, – ответил он. – Так що з цього належе?

– Як що? – енергично підчеркнул я. – Ви ж зо мною не згодились і нікому із товаришів не сказали, а по вашому розпорядку ми поїхали в царину, а ви ще гонців послали за козаками, щоб більше народу приїхало на спробу плуга. Що воно вийшло? Ви осрамили і себе, і нас, і самий плуг. Хіба такі порядки гарні?

Отец Пётр, как и Васька, смолк и задумался. Я метко попал в цель. Это была чуткая и благородная натура, с большим подъёмом морального понимания и чутьём. Он понял, что в силу своих привычек он действовал как хозяин в своём хозяйстве, без надлежащего учёта создавшихся отношений между нами и им. Почёсывая свой затылок и приводя в порядок торчавшую несколько в сторону бороду, он сразу,

казалось, переменял свою позицию, заговорив мирным и спокойным тоном.

– Я таки добре промахнувся через те, що вірив і покладався більш на плуга, ніж на людей, – признался он. – А як стьобнули ви мене, вибачайте, прямо по мармизі, так я зразу очумався. Ваша правда, що, поправивши плуг, ви зробили своє діло і визволили всіх нас із біди. Це ваше діло, бо ви дійшли до його своїм розумом. Ну, і Бог з вами, робіть по-своєму. Вам більше можна вірити, ніж плугу, на якого ми всі покладалися, бо ви, вибачайте, не дерево і не залізо, як плуг, а жива людина, прямо таки плуга за чимирь взяли. Чого нам зараз ще більше? Спасибі вам за те, що ви головне діло асоціації поправили і нас із сорому визволили. Над цим козаки тепер не посміються, а порадуються, що свій козак не сплехував, та й задумуються. А все ж таки ви скажіть нам, що треба ще з плугом робити?

– Треба, – сказал я, – увесь плуг до коваля знов одвезти, розібрати його на частини та добре передивитись і перепробувати, і де потрібно закріпити та направити. Це по моєму плану ми втрюх – я, Грицько та коваль – зробим. Плуг дуже добрий, кріпкий, із доброго заліза та дерева зроблений. Просто дивовижно, як чотири добрих пари волів з чотирма добрими погоничами плуга не понівечили та на частини не порвали. Бо не плуг був винуватий в тій біді, в яку він попав, а коваль, який в плузі нашкодів.

Все пришли к тому заключению, что привести плуг в надлежащий вид должны мы вдвоём с Попкой. Даже Васька сразу сдал свои позиции, заявив, что если бы в сохе произошли какие-нибудь повреждения, то он знал бы, что сделать, а «плуг – это дело Щербины». Отец Пётр снова повторил:

– Робіть, як знаєте: це ваше діло. А що ж зараз будем ми робити? – обратился он ко мне.

– Треба припинити оранку, – заявив я, – щоб не порушити чогоньбудь в плузі. Ходіть до табору та там пообідаєм і добре побалакаєм, що в першу черту поставим ми для робот, – предложил я.

– Добре! – согласился со мной отец Пётр. – Будем слушать вас, як командира. Ви ж тепер главнокомандующий, – шутил отец Пётр, – бо взяли в свої руки головну працю та й нас таки трошки приборкали, – прибавил он со смехом.

Смеялись все и в весёлом настроении отправились к табору. Простая и убедительная речь отца Петра подействовала на всех успокоительно. Все ободрились, никто уже «носа не вешал». Откровенное

признание отцом Петром допущенной им ошибки имело решающее значение для поставленного мной вопроса об общих решениях членами ассоциации очередных и назревших важнейших работ. Мы не говорили подробно по этому поводу, но достаточно было двух-трёх фраз, чтобы каждый из нас почувствовал это. Мы как бы снова объединились по принципу равноправия во взаимоотношениях членом ассоциации. Скандал с плугом и восстановление его репутации послужили связующим звеном в этом отношении, удручённое и пониженное настроение в первом случае заменилось ещё большей силы взрывом бодрости и подъёмом энергии во втором.

При движении от места вспашки земли немецким плугом к табору начавшийся этот общий подъём бодрости и оживления неожиданно перешёл в бурный взрыв веселья всей компании. Васька, вспомнивший, как, оставляя город Ставрополь, все члены ассоциации в шутку, ради потехи, неожиданно затянули хором «Вниз по матушке, по Волге» по дороге из Ставрополя на Екатеринодар, повторил эту песню и при первом передвижении от вспашки земли наложенным немецким плугом к нашему временному табору. Несмотря на то, что Васька немело пел и сильно фальшивил, его дружно поддержали все члены ассоциации. После первого куплета песни кто-то воскликнул:

– Тепер ми німецьким плугом виоримо і Волгу-матушку!

Раздался дружный хохот, и пение прекратилось, потому что мы были уже у места нашей стоянки. Но тут Грачёв, передав Ваське волов с плугом, затянул: «Ой, гоп, гоп гопака, моя доля така» – и пустился плясать вприсядку. Остальная публика криками «браво! браво!» и хлопаньем в ладоши поощряла танцора. Сам отец Пётр, размахивал рукой, как дирижёр, громким тенором поддерживал и Ваську, и Грачёва.

Наше веселье, начавшееся внезапно, как бурный порыв ветра, так же внезапно и прекратилось в самом таборе. Зубы и желудки взяли верх над ним.

– Ой, їсточки хочеться! – кто-то воскликнул.

– За діло! – скомандовал отец Пётр в ответ на это охватившее всех восклицание, и все мы дружно кинулись на приготовление обеденного стола, сильно проголодавшись после скандала с плугом и временного переживания постигшей нас неудачи. Не было ни порядка, ни системы в нашей кухонной работе, но дело горело у каждого из нас в руках.

Я побежал к нашей повозке и вытащил из неё огромное веретёе, или рядно, и скатерть. Отец Пётр бежал ко мне на помощь, и мы вдвоём развернули и постелили рядно на прибитой к земле прошлогодней тра-

ве и накрыли его скатертью. Попка тащил в это время самовар, щепки и древесный уголь. Я направился за провизией, заготовленной заботливыми руками Ивановны, а отец Пётр, увидев, что Попка возится с самоваром, схватил ведро и начал наполнять его водой из бочонка. Васька, распрягнув волов из плуга, передал их Грачёву, который нёс верёвку и путы вместе с колом и топором.

Я перенёс с подводы провизию – хлеб, пирожки с мясом и творогом, пасхальные крашанки, свиное сало и другие продукты, а отец Пётр, передав воду для самовара Попке, тащил к столу целую сулию в четверть ведра водки с дрог, которой он рассчитывал угостить казаков после блестящей пробы немецкого плуга, но водка осталась неиспользованной. В то время, когда я раскладывал на скатерти съестные припасы, отец Пётр разливал в чайные чашки водку, меряя порции этого напитка большой хрустальной рюмкой. Васька собрал целую кучу кизяков, а Грачёв притащил большую охапку сухого прошлогоднего бурьяну и принялся устраивать костёр и приспособление для подвески котла, который и был им прилажен. Васька, просивший Попку принести ему пшено, соль и свежее свиное сало для кулеша, вымыв руки и провизию, стал готовить кулеш. У Попки валил уже из трубы самовара дым, и вспыхивали искры, зажгёт уже и Грачёв костёр, и на сковородке шипело поджариваемое им свежее сало.

Всё это было подготовлено в пятнадцать или двадцать минут, а через полчаса мы сидели вокруг скатерти и приготавливались пировать. На закуску Грачёв принёс сковородку с хорошо зажаренным, вкусно пахнущим свиным салом, а отец Пётр поставил перед каждым чашку с водкой.

– Благословляю сию яству и питие, – произнёс он обычное в таких случаях у духовных лиц приглашение перед едой.

Мы взяли в руки чашки и поглядывали друг на друга в ожидании, не скажет ли кто-нибудь подходящий тост.

– Выпьем же, братие, – произнёс шутливо отец Пётр, – за восстановление немецкого плуга!

– Ура! – закричали Васька и Грачёв.

Мы чокались чашками друг с другом и поздравляли с началом работ в степи, а реявшие высоко в воздухе жаворонки как бы поддерживали наше весёлое пиршество своими звонкими песенками.

– Тепер, – сказал отец Пётр, – після того, як ми випили водку й закусили, беріть сулію з водкою та й угощайтесь самі, хто хочить, а я більш однієї чарки не хочу.



От другой чарки отказались и мы с Попкой, с большой натугой проглотив первую, но более натопленные в этом отношении Васька и Грачёв, закусивши хорошо свиным салом, пропустили ещё по одной рюмке водки, приговаривая:

– На здоровье себе.

Обед прошёл весело и оживлённо, и за обедом же мы наметили ту работу, которую следовало произвести неотложно. Но прежде, чем приступить к работе, мы по предварительному соглашению разделились на две партии, чтобы, не откладывая, произвести уборку посуды после обеда и заранее приготовить топливо для костра и материалы для приготовления пищи, а также напоить лошадей и волов. Отец Пётр и Васька остались в таборе убирать стол, мыть посуду и приготовить всё для ужина, а Грачёв, Попка и я, с небольшим деревянным корытом и ведрами в руках, погнали волов и лошадей к неглубокому колодцу, из которого и напоили сначала лошадей, а потом волов. Привязав в избранном месте к забитым в землю кольям лошадей на длинных верёвках и спутав передние ноги у волов, мы снова пустили скот на пашу. В таборе ожидали уже нас отец Пётр и Васька, наносившие топлива и приготовившие котёл, воду, свиное сало и муку для галушек. После этого гуртом мы принялись за работу, намеченную за обедом.

Это была работа по постройке куреня. Заранее земляные работы взяли на себя Васька и Грачёв, а отец Пётр, я и Попка, как наиболее опытные в древоделии, приступили к изготовлению остова куреня из древесных материалов. Для куреня была намечена довольно просторная площадь в восемь аршинов длиной и шесть шириной, с расчётом на восемь спальных мест и на постановку двух столов: одного – в глубине куреня, в углу, для посуды и съестных припасов, и другого – вблизи входа, для еды. Васька и Грачёв вырыли одиннадцать ям для постановки в них одиннадцати столбов, а мы втроём приготовили эти привезённые из станицы столбы, измерили и сделали в них приспособления для перекадин и коротких стропил. К вечеру поставлены были столбы, хорошо укрепленные насыпной землёй в ямах и утрамбованные; на них положены были четыре поперечные перекадины в ширину куреня и одна внутри куреня в виде «сволока».

Таким образом, в тот же день был готов остов куреня. Это было сделано в четверг второй недели после Пасхи. Мы решили остаться всем и на следующий день, чтобы окончить постройку куреня, а в субботу рано утром отец Пётр с Грачёвым на дрогах с плугом, а я и Попка на нашей повозке должны были отправиться в станицу. Васька добро-

вольно согласился остаться сторожем в курене и ухаживать за четырьмя парами волов, Грачёва же все мы охотно отпускали в воскресные и праздничные дни домой в его семью. Я и Попка должны были побывать у кузнеца, привести плуг в порядок и пополнить наш инвентарь в степном курене недостающими предметами, в воскресенье же возвратиться обратно с плугом в царину. Всё это велось смиренно и мирно, сообща, без всяких отказов и пререканий, что особенно радовало меня и моего друга Попку.

В субботу мы отправились в путь так рано, что к восходу солнца были уже в станице. Ещё дорогой, разговаривая с Попкой, я не знал, к какому кузнецу следовало отправиться, чтобы он при нас же привёл плуг в порядок по нашим указаниям. В станице было два кузнеца: один – популярный Москалик, как называли его казачки и девчата, обративши его национальность в прозвище, а другой – свой казак, одностаничник, которого называли просто «коваль», и прибавляли иногда нелестное для него прозвище Мурло те, кто судил о нём по внешним признакам. Нам неизвестны были подробные биографические данные обоих кузнецов, и мы затруднялись, к кому из них обратиться. Оба мы были не расположены к Москалику, который чинил орудие в первый раз. Нам казалось, что этот плут нарочно переставил хвостовик в плуге, чтобы его к нему привезли снова на починку, и, наладив его, как следует, он мог бы получить приличное за это вознаграждение. О другом кузнеце мы ничего не знали, слышали только, что он коваль, и не знали даже, что он Мурло. Но отец Пётр считал Москалика лучшим в станице кузнецом. Чтобы разобраться, кому из двух кузнецов отдать предпочтение, мы решили обратиться за советом к Нифонту.

Чтобы быть самым в курсе дела и не вступать в спор и пререкания с отцом Петром, по приезде в станицу мы выразили ему желание увидеться с Нифонтом, рассказать ему о казусе с плугом для восстановления с его помощью нашей репутации в среде казаков. Отец Пётр охотно принял наше предложение и, сказав нам: «Ходіте на двір», – вышел с нами из комнаты. Во дворе он подошёл к забору и, облокотившись на него, стал внимательно смотреть на площадь, на которой изредка показывались женщины. Мы недоумевали, что это значило, но когда через несколько минут на площади показался мальчик лет двенадцати, отец Пётр крикнул ему:

– Хлопче! – махая рукой. – Иди, лишень, сюда до мене.

Мальчик, услышав зов, быстро изменил направление, по которому он шёл, и ещё быстрее приблизился к нам.

– Христос воскрес! – сняв шапку, произнёс он, кланяясь отцу Петру.

– Воистину воскрес! – ответил отец Пётр. – От що, Іване чи Степане, не знаю, як тебе зовуть....

– Максим! – быстро произнёс мальчик.

– От що, Максиме, – продолжал отец Пётр, – побіжи ти до Нифонта... Знаєш ти його?

– Знаю, – ответил мальчик. – Це той, що як співають в церкві «на многа літа», то він так голосно, як соловей, виводе, що аж в ушах ліщить.

– Той самий соловей, – со смехом подтвердил отец Пётр, заразив смехом и мальчика, который из вежливости, уткнувшись носом в рукав балахона, хихикал. – Так ти прикажи Нифонту од мене, нехай він зараз прийде сюда, та скажи йому од мене, щоб він дав тобі одну або дві крашанки. Ну, марш! – скомандовал отец Пётр.

Хлопец вместо марша вприпрыжку побежал к Нифонту.

Надо сказать, что отец Пётр, благодаря своему простому, бесприязательному и в соответственных случаях сердечному отношению к своим прихожанам, пользовался большим уважением и популярностью в станице. Часто первого встреченного на улице просил он исполнить какое-либо поручение, и никогда никто не отказывал ему в этом. Точно так же, когда и его просили о чём-либо, то и он никогда не отказывался сделать просимое, раз имел хоть малейшую возможность к тому.

Скоро показался и сам Нифонт. Мы хотели поразить его новостью, но он был уже осведомлён о ней. В станице быстро распространяются всяческие слухи. В тот же день, когда налажен был плуг, Грачёв где-то возле колодца или в степи встретился с нашим близким соседом Юхимом Свиридоновичем, если по имени-отчеству, или по отчеству – просто Свиридоновичем, как величали его одностаничники, и сообщил ему, как налажен был плуг и как хорошо он разрезал и выворачивал землю.

На другой же день Свиридонович был в станице и осветил скандал, происшедший с немецким плугом. Новость быстро, как ласточка, пронеслась от двора к двору. От Свиридоновича узнал подробности и Нифонт, но в передаче новость получила две редакции при различном понимании происшедшего в степи казуса. Одни рассказывали, что отец Пётр, купив у немцев плуг, нарочито выписал из города Ставрополя «цілу кумпанію учених скубентів». В эту компанию затесался к студентам-казакам немец, принявший личину москаля, который, по

каким-то хитрым соображением, пустил так плуг в дело, что его не могли сдвинуть с места четыре пары волов. Однако студент-казак догадался, в чём дело, переиначил что-то в плуге, и он пошёл «по ниві так, як качка по воді!» Другие за достоверное передавали, что отец Пётр не выписывал студентов, а они сами приехали «з діаконенком» Грачёвым в Бриньковскую станицу, когда отец Пётр купил уже плуг, но что немцы обошли отца Петра и, показав при пробе настоящий немецкий плуг, всучили потом ему другой, не немецкий плуг, который не поддался даже четырём парам волов, несмотря на то, что этот плуг сравнительно с плугом-сабаном был «все одно, як кошеня перед кішкою». Нифонт догадался, что рассказчики превратили Ваську в немца, и, припомнив предположение отца Петра о том, что его обманули немцы, разобрался в мифических подробностях, но не знал, тем не менее, как был исправлен плуг, и просил нас рассказать ему об этом. Обещая исполнить его просьбу, я, в свою очередь, повёл речь о кузнецах.

– Нащо вам хочеться це знати? – обратился ко мне отец Пётр. – Я ж отдавал плуг самому кращому в станиці ковалеві, показав йому, як закріпить те, що треба було поправити, і він зробив, як слід.

– Так цим же кращим ковалем жінка командує, а сам він такий дурний, як кручене вівця, – заметил Нифонт.

– Ну, Нифонте, це ти вже даремно ганьбиш чоловіка. У його ж дуже добра справа – кузня, станок для коней, струмент і інше, і він не тільки добре сокири сталить, коней кує і підкови робе, а і персні дівчатам та молодіцям виробляє.

– Так оті персні і зробили його кращим ковалем, – заговорил Нифонт, – а у самого його мозку в голові, мабуть, менше, ніж у курчати. Він все робе, як машина. Чому його научили та батогом, мабуть, вбили, те він, як слід, і робе, а дайте йому нову річ, то він так обміркує і таке з неї зробе, що вона ні на що не буде гожа.

– Та не ганьби, Нифонте, чоловіка, – осаживал его отец Пётр. – Він же, хоч і любить дуже горілку, а людина смирна і послушна.

– Я не про це кажу, – продолжал Нифонт. – Що він смирний і послушний, так це всім відомо. Хіба б жінка командувала ним, якби він був іншим? Розказували вам, як він рушницю раз полагодив?

– Ні, – ответил отец Пётр.

– Так послушайте, я розкажу, – произнёс Нифонт и рассмеялся. – Дав йому один стрілець хвостовик в рушниці нарізати, а він цього ніколи не робив. Подививсь, подививсь на нарізи на хвостовиці, спилив їх терпугом, став приладжувати, а хвостовик не приходиться, хля-

бає, бо дуже тонкий став. Тоди він зробив другий хвостовик і добре приладнав його, але без нарізів. Взяв стрілець рушницю, заплатив за роботу два карбованця і поніс додому, а дома розібрав рушницю, щоб подивитися на хвостовик, глянув та тільки ахнув. Склав рушницю та зараз же гайнув до Москалика, отдав йому в руки рушницю і каже: «Візьми собі цю рушницю, а мені оддай назад два карбованця та прибав краску за рушницю, яку ти понівичив». Завели вони спор. Стрілець каже: «Оддай мені гроші!», а Москалик кричить: «За що? Я тебе ещё лучший, новый хвостовик сделал». Підняли такий крик, що і жінка Москалика вискочила із хати до них. Розказав їй стрілець, із-за чого у них свара завелась, розтолкував їй, яку її чоловік шкоду зробив. «Не дай Боже, – сказав стрілець, – я не подивився б, який він хвостовик зробив, а зарядив би рушницю та бахнув, то рушниця так вистрілила б, що і сама розвалилась би і мене покалічила б. За це, – каже стрілець, – під суд отдають».

Жена кузнеца, по словам Нифонта, побледнела, как полотно, и, недолго думая, принесла из хаты ружьё мужа и предложила поменяться ружьями. Стрелец охотно поменялся, так как его испорченное ружьё было далеко хуже.

Выслушав этот рассказ, я невольно воскликнул:

– Так воно і єсть! У нас також катавасія вийшла!

– Про яку ви катавасію кажете? – спросил меня отец Пётр.

– Про ту, – ответил я, – що він, той Москалик, нам нашкодив.

– Це ж неправда, – сказал отец Пётр. – Він поправив дуже добре, так, як я йому сказав, ключ до вйця приладив.

– А ви нічого більше не доручали йому полаштувать внутрі плуга? – спросил я отца Петра и, получив в ответ «ні», я открыл свой секрет, что кузнец Москалик так поставил в немецком плуге плужный хвостовик, что если бы для пробы плуга прибавили ещё одну пару волон, то, наверное, и плуг был бы изломан.

– То не може! – воскликнул отец Пётр. – Я ж не доручав йому цього робить. Правда, він мені казав, що він щось таке в плузі зробив, що всі ковалі в світі не можуть зробити. Я тоді не поняв його, та ще і на квартиру горілки дав за цю працю.

Мы громким хохотом встретили эту подробность в скандале с немецким плугом.

Таким образом, вопрос о предпочтении одного из двух кузнецов сам собой разрешился. Мы втроём – я, Грицько и Нифонт – положили немецкий плуг на дроги и свезли его в кузницу Мурло. Когда я и

Попка увидели этого Вулкана глухой и убогой казачьей станицы, то в течение нескольких минут буквально не могли оторвать глаз от его лица и фигуры. Это был мужчина-великан лет пятидесяти от роду. Но огромное впечатление произвёл на нас не его рост, а склад его фигуры и некоторые черты его внешности. Перед нами стоял на крепких, как у слона, ногах человек, напоминавший собою нечто вроде живого истукана, с высоко засученными рукавами рубахи из грубого полотна и с обнажёнными выше локтей до предплечий руками, покрытыми выпуклыми наростами мощных, точно стальных, мускулов. Длинный кожаный передник закрывал спереди его необычайно широкую и сильно приподнятую грудь, которая при дыхании, казалось, подымалась и опускалась так же вздуто и ритмически, как кузнечные меха, раздувавшие напором воздуха блестящий огонь в углях, наполнявших кузнечную печь. Всклоченные волосы на голове казались грубыми и жёсткими от обилия насыщенной в них угольной пыли, широкое овальное лицо чернело также от блестевшей на нём угольной копоти, воспалённые красноватые глаза казались притухнувшими и болезненно отражавшими дневной свет, толстые, подрезанные на концах усы торчали на щеках в обе стороны, и вдобавок ко всему этому большой и чёрный от угля и дыма нос производил впечатление господствующего над всей физиономией признака, а когда кузнец улыбался или говорил, то во рту у него блестели белые, как у красной девицы, зубы. Казалось, что маленьких детей нельзя было подносить к нему близко, чтобы не привести их в ужас, а между тем коваль Мурло был добрейшим существом, не проявлявшим ни малейших враждебных побуждений к кому-нибудь из детей или к боявшимся его взрослым людям.

Ходившие о нём рассказы как о свирепом по виду человеке были поверхностны и неосновательны. Физически он действительно обладал феноменальной силой, как отзывался о нём Нифонт, авторитетный в этом отношении знаток, но кузнец прилагал эту силу только к лошадям, которых он подковывал, и делал это не из злости. Артачившихся лошадей он заводил в станок не за повод или за узду, а охватывал за шею и волок за собой, несмотря на всё их упорство.

Коваль Мурло был не страшилище и не злостный человек, а прекрасный работник и задушевный казак. Он не умел выделять простые или двойные, с хвостиком или сердечком кольца, но умело чинил все земледельческие орудия и исполнял заказы. Сталил лемешы и топоры, исправлял плуги и орала, ковал лошадей, делал подковы и

прочее. Казаки очень ценили его за это. Интересную подробность сообщил мне впоследствии Нифонт о том, как Мурло стал кузнецом.

Ещё в молодости коваль зимой пускал на свой огромный двор цыган, которые ставили в его дворе шатры и исполняли для казаков кузнечные работы, когда не было в станице ни одного собственного умельца. Присматриваясь к чужой работе, он скоро овладел некоторыми секретами их мастерства. Но цыгане никак не хотели открыть ему секрета сталения лемешей и топоров. Тогда коваль начал торговаться, и в конце концов цыгане поддались предложенной им натуральной платой и открыли ему свой секрет за пуд печёного хлеба, кувшин коровьего масла, горшок сметаны, несколько кусков свиного сала и живого годовалого поросёнка. Так казаки овладевали профессиональными знаниями в то время.

Встретил нас коваль очень приветливо и внимательно. Я рассказал ему подробности исправления плуга, и он быстро понял и освоился с моим способом. Когда же я рассказал ему, что проделал кузнец Москалик, то всё время коваль показывал нам свои белые зубы и смеялся над бестолковостью и неумением мыслить своего конкурента. Ничего злобного и враждебного он не проявил по отношению к нему. Вот с этим кузнецом мы разобрали и пересмотрели все части немецкого плуга. Что нужно было исправить, то он на наших глазах делал. Треснувшую деревянную часть в плуге он крепко стянул тонкой проволокой, укрепил и пригнал в некоторых местах ослабнувшие, расхлябанные дёрганием волов части, и проделал это так основательно и искусно, что мы поражались его работой, глядя на его массивную фигуру и огромные загорелые руки.

Когда на другой день мы втроём – я, Попка и Грачёв – ехали обратно в царину и везли приведённый окончательно в исправленный вид немецкий плуг, то мы припомнили, что произошло за последние дни с нашей ассоциацией. Для нас несомненно было, что, несмотря на наши тревожения и случайные неудачи, мы стали на правильный путь. Быстро узнав о наших неудачах станица была поражена тем оборотом дела – исправлением дела, которое мы проделали собственным умом и усилиями. Ни для кого не осталось неизвестным, какую роль сыграл в скандале с плугом ограниченный и неумелый кузнец и как мы собственными силами и своим умом вышли из беды, взявшись за новое нам дело. Мы приобрели уже некоторый авторитет, принявший слегка легендарную окраску: студенты, поставленные кузнецом в глупое и безвыходное положение, с честью вышли из него. У казаков

оказались свои учёные люди. К нам не только сочувственно отнеслись, но и приписали нам больше того, что мы в действительности сделали. У нас оказались уже такие сторонники нашего культурного предприятия, как Нифонт. Мы из смехотворного положения перешли в ряды серьёзных людей и надёжных работников. «Надо не сходить с этого пути. Станица к нам присматривается и интересуется. Нужно действовать на неё», – рассуждали мы. Самое же главное наше достижение состояло в том, что сами мы сознательнее отнеслись к своим внутренним порядкам и взаимоотношениям.





Глава VII

## В положении главнокомандующего и специалиста

Этим несколько витиеватым заголовком я хочу подчеркнуть значительную долю комизма в том положении, в какое поставило меня исправление немецкого плуга. Из «попыхача» при скандальной пробе этого орудия я попал в главаря, или, по выражению отца Петра, в главнокомандующего, и из догадливого рабочего – в специалиста. Я не домогался этого положения, а простую операцию с плугом, по соглашению с Попкой, обратил в секрет. Это был чисто тактический приём, при помощи которого я задумал обратить внимание товарищей на значение ассоциации как коллективного органа. Нужно было раз и навсегда установить, чтобы в делах ассоциации важнейшие вопросы и решения по ним проводились коллегиально и отдельные члены ассоциации не брали на себя не соответствующих этому принципу ролей. Роли отца Петра и Васьки были в высшей степени характерны и показательны в этом отношении. Мой короткий спор с ними по этому поводу привёл их к тому, что они должны были признать допущенные ими выступления и соединённые с ними ошибки и понять смысл моего с Попкою секрета – ради полноправия в ас-

социации и недопущения единоличных выступлений вопреки этому принципу.

Таким образом, я не добивался того положения, в которое попал потом. Оно было для меня неожиданностью или, пожалуй, сюрпризом. У меня не было ни малейшего намерения занять особое, не подобающее члену в ассоциации место, а лишь искреннее желание работать по мере сил. Как и все товарищи, я доволен был тем, что мне удалось обелить и ассоциацию, и немецкий плуг. Но не одно это радовало меня. Ещё в большей степени я удовлетворён был тем, что моё теоретическое предположение об исправлении плуга оправдалось и имело решающее значение в деле. Это воодушевляло меня, как важнейший акт в нашем предприятии, подавая надежду, что и в будущем я смогу выйти из затруднения в подобных случаях, а единодушное разрешение поставленного мной вопроса о недопустимости единоличных выступлений без общей санкции членов ассоциации, ободряя меня, усиливало также и общее настроение в том же духе. Тактика моя, построенная на текущих, всем известных и неоспоримых фактах, дала надлежащие результаты. Без особых трений мы слились в единое целое и вступили, видимо, на надлежащий и всем желательный путь практических операций в духе основных начал нашей ассоциации.

В субботу поэтому мы ехали со степи в станицу в мире, согласии и в полной надежде на то, что нависшая над нами в станичном населении туча недоверия и насмешек быстро рассеется, как только население узнает о овладении непокорным плугом, но ещё до нашего приезда станица знала уже, как собственным умом и силами мы вышли из затруднительного положения, найдя причину неподвижности плуга и пустив его в распашку после исправления собственными средствами. Это ещё более подняло наше и без того приподнятое настроение.

Воскресение, можно сказать, было праздником нашей земледельческой ассоциации. Все мы были в весёлом и радужном настроении. Нам казалось, что вслед за этим наше дело пойдёт как по маслу. Пришедший к нам отец диакон Грачёв также торжествовал с нами. Меня и Попку он не замедлил спросить:

– Тепер уже ви неодмінно будете пить шалфею?

Мы молчали, но утвердительно кивали головами. Особенно он заботился обо мне и, зная со слов своего сына, как исправил я плуг, сказал мне комплимент, что я «розкусив, як оріх, німця і завдав сорому москалю-ковалеві».

Наиболее же радовалась нашему успеху Ивановна. Меня хвалила она «за розумний догад», а всем нам советовала «кріпко держатися вкупі і все робить гуртом, а діло править загальним умом, як великий каюк великим веслом». Она по-своему правильно понимала основы ассоциации, утверждая, что раз при соблюдении этих основ мы будем исправно вести земледельческое дело, то и казаки, приглядываясь к нам, пойдут за нами. На то, по её словам, «Господь Бог дав людям розум і очі, щоб вони розмишляли та дивились, що і як слід найкраще робити». Всё это оживляющим образом действовало на нас. Мы совершенно успокоились и в воскресенье вечером ехали из станицы в царину, как в окончательно покорённый уже нами край.

Не знаю, что думали мои товарищи, охваченные повышенным настроением, но меня, осенённого и взбудораженного этим подъёмом, тревожили разного рода мысли, как только приходил в голову мне вопрос: что же мы будем делать и как будем поступать в ближайшие дни? Мне не чужды были розовые надежды на будущее, но я ясно сознавал, что впереди нас стояло нетронутое ещё дело. При кажущейся его простоте, доступности и исполнимости оно, тем не менее, являлось для нас новым и сложным деянием, туманным и неясным пока в общем плане операций и в частях. Общего плана у нас не было ещё выработано, а о частностях и мелочах нечего было и думать. Проще, казалось бы, не могло и быть такое заурядное дело, как отвезти на степь плуг и пустить его в ход. Однако это простейшее дело превратилось в огромный скандал, сразу оттолкнувший от нас население и поставивший в смешное положение.

Правда, мы потушили скандал с честью, и главное – вышли из него без всяких материальных потерь. Но ведь могут такие и подобные им случаи сопровождаться большими убытками и чувствительными потерями. Для нас как предпринимателей-половинщиков важно получение на свою часть возможно большего дохода. Но как это сделать? Об этом мы не думали и не рассуждали. Хотя отец Пётр сообщил нам о размере озимых посевов, какие из яровых посевов следует предпочтительно произвести, этого толком мы не знали и действовали наобум, доверяясь лишь отцу Петру. Вести дело в темноте и наощупь, следовать слепо чужим примерам, идти в хвосте за соседями, копировать то, что они делают, – всё это, по меньшей мере, низкопробно. В чём же в таком случае тогда выразится наше культурное влияние на население? К чему сведётся сила и значение ассоциации? Что станется

с теми высокими идеалами, под влиянием которых мы оставили семинарию и проникли в эти места?

Такие и подобные им вопросы возникали у меня и тревожили ум. Перебирая их в голове, я задумался в первую очередь над выработкой плана предстоящих работ, и прежде всего решил выяснить, какие и в каких размерах следует произвести посевы с точки зрения их доходности и удобоисполнимости. Вопрос же о нашем влиянии на население и о связях с ним решил оставить открытым. «Пусть, – думал я, – фактически они выяснятся. Пока для нас достаточно уже сложившихся между нами и населением отношений. Эту неделю мы будем только пахать, не теряя времени». Рассуждая так, я совершенно не думал о том, что я становился в позу главнокомандующего, будучи, однако, уверенным, что так именно и пойдёт дело, как я думал.

Из станицы мы выехали поздно. Совершенно стемнело, когда мы находились недалеко от нашей царины, на которой в одном месте ярко вспыхивал через небольшие промежутки времени огонёк. Мы догадались, что это Васька развёл небольшой костёр и периодически подбрасывал в него горючий материал. Скоро Васька подтвердил эту догадку своим в достаточной степени знакомым и нам голосом. Издали мы услышали его знаменитое пение. Он не то с отчаянием пел, не то пробовал мощь своего голоса – ревел басом, рычал октавой, визжал баритоном и так вздорил, выделявая всевозможные рулады, что, казалось, приводило в трепет и волнение всех степных зверей, птиц и стрекочущих насекомых. Васька находился в самых благоприятных условиях – никто не протестовал против его пения и с отчаянием не умолял прекратить его вокальные упражнения. По-видимому, он так увлечён был своим пением, что не обратил на стук нашей повозки никакого внимания. Когда же он уловил аккорд повозки, то разразился громким восклицанием:

– Ах! Черти вы такие! Приехали, наконец? – и обрадованный Васька помчался во весь опор навстречу нам. – Ну что? – кричал он издали на бегу. – Узнали уже в станице, что немецкий плуг пошёл вперед, как паровая машина?

– Станица узнала об этом, – шутливо отвечал Попка, – но никто не верит, что немецкий плуг пашет.

– Что? Не верят? – сердито кричал Васька. – Какого ж ещё шута им надо?

Но Попка успокоил Ваську, сознавшись, что он пошутил с ним и что в станице все знают о нашем неожиданном успехе и о главном виновнике скандала с плугом – о кузнеце москаликке.

– Ходять слухи, – говорил Попка, – що, мабуть, дівчата й молодіці перестануть заказувать москаликові персні.

– Да неужто? – воскликнул Васька. – Вот что немецкий плуг наделал!

По крайней мере, около получаса времени пошло на сообщение Ваське новостей, соединённых с нашим успехом в среде станичного населения. В разговорах по этому поводу прошёл весь вечер, и с ними мы даже заснули. Никто, однако, ни словом не упомянул о том, что же мы будем делать на следующий день. Все, по-видимому, проникнуты были мыслью о распашке земли немецким плугом. Воскресший плуг, наделавший столько разговоров и шуму, стихийно командовал даже порядками ассоциации.

Тем не менее, в следующий день я встал раньше всех и немедленно приступил к осмотру революционного плуга, как подобало главнокомандующему, погасившему волнения, направленные против него. Все, не ворча и не выражая неудовольствия, встали, как бы в ожидании команды.

– Грицько! – обратился я к Попке. – Запрягай пару волів в плуг, будем орать.

– Ты сам будешь управлять плугом? – спросил меня Васька.

– Сам, – ответил я.

– Целый день? – обратился он снова ко мне.

– Да, – подтвердил я.

– А что же мы с Кириллом будем делать? – продолжал спрашивать Васька.

– До снідання, – в шутку заметил я, почувствовав, что я играю роль главнокомандующего, – ви будете дивиться, як ми вдвох будем орать німецьким плугом.

– Правда! – воскликнул Васька, поняв мои слова как приказание. – Пойдём, Кирюша, и мы с ними. Посмотрим, как в этот раз пойдёт немецкий плуг.

Плуг, конечно, пошёл прекрасно, без всяких «огріхів» пахал. За завтраком по моему предложению мы условились, что в течение дня я и Попка будем пахать, а Васька и Грачёв будут нести поварские обязанности, поить быков и лошадей и вблизи куреня начнут лопатками копать грядки под посадку на них луку, свеклы и картофеля для соб-

ственного продовольствия. Относительно последнего предложения я просил товарищей высказаться, но оно принято было без всяких возражений как неотложная и необходимая для нас работа. Ни я, ни товарищи не замечали, что я действовал как главнокомандующий, а мои товарищи – как подчинённая мне когорта. Так прошёл первый день нашей ассоциационной работы. Царила тишь да гладь, да Божья благодать. Все были довольны определённым циклом работ и друг другом.

Вечером по окончании работ за ужином я внёс новое предложение: держаться в течение недели или до тех пор, пока не приедет к нам отец Пётр для общих совещаний, установившегося порядка – двое попеременно будут пахать, а двое производить иные работы, меняя между собою операции по обоюдному соглашению или отправляя их сообща, как, например, пахать плугатырём или погоньчем попеременно, а поить скот вдвоём сообща. И снова беспрекословно было принято новое моё предложение. Я, ходивший в течение дня попеременно с Попкой то плугатырём, то погоньчем, совсем оставлял плуг, а Попка на следующий день оставался плугатырём, и к нему должен был прикннуть кто-нибудь из двух не пахавших ещё – Васька или Грачёв. Так как я проектировал на следующий день осмотр прилегавшей к нам степи, чтобы иметь представление о той части её, на которой предстояло произвести сенокосение, и ознакомление с посевами соседей, чтобы основательнее ориентироваться в предстоящих пахотных и посевных работах, то просил Грачёва, чтобы он сопровождал меня как местный житель, а Васька остался с Попкой. И это предложение было принято без споров и возражений, как неизбежная необходимость.

Оставшись до завтрака с Грачёвым при курене, мы не трогались с места, занявшись подготовкой кухонных материалов для обеда и ужина и другими мелочными работами. Когда же наступило время для завтрака, я с удивлением заметил, что к нам в курень вместе с Попкой и Васькой шёл и наш молчаливый сосед Свиридонович. Поздоровавшись с нами, он обратился ко мне:

– Оце я ходив дивиться, як оре німецький плуг. Добрий струмент і дуже добре ріже землю, хоч і меншими трошки скибами, ніж наші плуги. Та подивившись на вашого німця, запросив плугатиря і погонича до себе на снідання. Прошу і вас вкупі з нами до мого кішлища.

– Дуже дякую вам за честь і ласку, – ответил я. – Може, Свиридонович, сьогодні у нас поснідаєм, а в другий раз у вас. Ми ж зараз усі тут.



– Спасибі і вам за честь і ласку, – заговорил улыбающийся Свиридонович. – Так як же воно це виходе? Як кажуть люде, шиворот-навиворот. Я ж таки перший прийшов до вас з проханням, а ви начебто мене під арешт берете: сиди та їж у нас! Ні, будьте ласкаві, ходіте до мене. У мене там сьогодні невістка привезла із станиці всякої всячини – і пиріжків, і млинців, і вареників, і повний горщик сметани. А я не знав, що ви мене арештуєте, та перед тим, як іти до вас, загадав Мотрі, щоб вареники були гарячі і масло розтоплене. Що ж воно тепер вийде? Не інакше, як треба іти до мене на снідання, бо воно вже жде нас, і Мотря дуже турбується, що ми гаємось, і сковорідка, на якій сало гріється, шкварчить та лається, і вареники в маслі та в сметані плачуть, що нікому їх їсти. Так ходіте, благаю вас, щоб заспокоїти Мотрю, сало і сковорідку та плаксиві вареники, – закончил с поклоном Свиридонович.

– Ну що з вами поробиш? – ответил я Свиридоновичу, попадая ему в тон. – Збавляю вас із-під арешту і ходіте добровольно в полон до ваших вареників, щоб втішити їх.

И мы со смехом и прибаутками отправились к куреню Свиридоновича. Завтрак у него действительно приготовлен был на славу. Всего было вдоволь, а горячие вареники, можно сказать, плавали, как караси, в масле, и сметана была подана в большом горшке. Васька впоследствии сознался, что он вовек в своей жизни не ел ничего вкуснее «черноморских лавреников». Но меня поразили не вкусные, с маслом и сметаной, вареники, а самое приглашение нас на завтрак. Свиридонович был человек очень состоятельный и с близкими людьми гостеприимный, но роскошный завтрак был устроен в степи, а мы были с ним людьми чужими и малознакомыми. По всему видно было, что завтрак этот был устроен с заранее задуманной целью, но с какой – я не пытался даже догадываться. Свиридонович был для меня человек молчаливый и неразговорчивый, таким я только и видел его, а на этот раз он оказался не только не молчаливым, но весёлым и разговорчивым, говорил умело и очень складно, пересыпая речь очень остроумными и образными выражениями. Что с ним сделалось? Почему он пришёл к нам с приглашением на завтрак в рабочий день? Я терялся в догадках и с интересом стал прислушиваться к нему и к его умным речам, когда мы шли с ним к его «кишлищу» и завтракали у него.

Свиридоновичу было около шестидесяти лет. Он был хорошо скроен и крепко сшит, как говорят обыкновенно о таких живых и деятельных стариках, полных ещё энергии, серьёзности и разумной пыт-

ливости. Давно уже был в чистой отставке, имел при себе двух женатых сыновей с кучею детей у каждого. Тем не менее, сам он выглядел ещё моложавым не по его годам казаком. Немного выше среднего роста, широкоплечий и широкогрудый, с сильными мускулистыми руками и с мерным шагом крепких, прямых, как бы марширующих ног, он с первого уже взгляда imponировал своей серьёзностью, сдержанностью и молчаливостью. Достаточно было взглянуть в лицо этого как бы замкнутого самого в себя человека, чтобы уловить отличительные черты его характера и казачьей натуры. Большая круглая голова, высокий лоб, как бы сдвинутые одна к другой густые брови, чёрные глаза, слегка горбатый, но красивый нос, сжатые губы, роскошные, скрученные жгутом усы, гладко выбритое, чистое, немного овальное лицо, и вдобавок ко всему этому – ни единого седого волоска на голове, в бровях и в усах и полное отсутствие старческих морщин на лице. Только тонкие и чрезвычайно подвижные складки на лбу под бровями свидетельствовали резче других черт, что он привык вглядываться и вдумываться. Если после всего этого вы бросите ещё раз общий взгляд на его лицо, то скажете: «Да, это так – смотрит, вслушивается и вдумывается». Когда Свиридонович сидел в группе казаков, упёршись руками в свою палку или подперев ими подбородок, то при этой неподвижной позе у него работали одни пытливые глаза, непрерывно следившие за тем, кто говорил. Это была любимая поза, как бы застывшая без движения и обратившаяся у него в привычку, которую знали все одностаничники. Кто бы ни сидел рядом с ним, он не обращал на него особого внимания, раз он был ему не нужен. Когда же к Свиридоновичу, в разгар его наблюдений и самоуглубления, обращались с каким-либо замечанием или вопросом, то в ответ он отмахивался руками, не говоря ни слова.

– Статуй, – говорили о нём казаки, – а все баче і чує та розумом рве.

Когда же Свиридонович говорил на сходе, что было очень редко, но всегда метко, то все казаки, вытягивая шеи, с глубоким интересом вслушивались в его речь.

– Свиридонович, – говорили они о таких случаях, – як що скаже на сході, то або вверх ногами постанову громади переверне, або так ляпне, що наче, як гвіздок молотком в дереві, ту постанову в голову заб'є.

Несмотря, однако, на личные качества и imponирующее всем поведение Свиридоновича, казаки не считали его ни убеждённым ригористом большой стойкости, ни безукоризненным человеком.



«Він, – по словам его ценителей, – був людиною козачої породи – на всі руки майстер, та не мав широкого козачого напрямка – не було у його товариської прихильності». В переводе на другой язык это означало, что Свиридонович был богатым духовными силами казаком, но крайним индивидуалистом, высоко ставившим свои личные взгляды и побуждения.

– Він ніколи і нікому не зробив нітрішечки зла, – говорили о нём те же казаки, отмеривая на кончике мизинца «нітрішечки», – і такий, що у чуже корито не полізе, а що йому забажається, безпремінно добуде і хоч яку людину в свої руки забере.

Я шапочно был знаком со Свиридоновичем, а других казаков совсем не знал в короткий промежуток нашего пребывания в станице Бриньковской. Идя к Свиридоновичу на завтрак, я не знал ещё приведённых выше отзывов его одностаничников, но ближе ознакомившись с ним и с отзывами о нём впоследствии, ясно уразумел, что завтраком с горячими варениками в масле и сметане Свиридонович действительно забрал в свои руки нас, и в особенности – меня. Прodelал он это мастерски и в высшей степени характерно для него, главным образом, потому, что мои и его интересы скрестились.

Дело в том, что Свиридонович задумал узнать от меня «секрет» о немецком плуге, а я охотно пошёл к нему на завтрак, чтобы узнать, что и почему казаки сеют с весны в царинах. Интересы наши соприкоснулись, но каждый из нас действовал по своей манере. Я сразу же атаковал своего соседа и начал расспрашивать его, что и почему предпочитал он сеять с весны. Он охотно отвечал мне, но был далеко не так разговорчив, как обнаружил он себя возле нашего куреня. Он, очевидно, присматривался и прислушивался, чтобы уловить подходящий момент для атаки на меня. Он обстоятельно говорил о посевах и делился своими соображениями о них, не терял ничего из своих интересов, а исподволь и вскользь, но кстати, касался плугов и распашки. Я в достаточной степени использовал своего соседа, а он отмалчивался и выжидал. Когда же ясно он обнаружил свои намерения, то я едва удержался, чтобы не рассмеяться во всю глотку. Его сильно заинтересовал мой «секрет» о немецком плуге, и сильно было желание узнать его. В действительности же произошёл совершенно неожиданный для него сюрприз, ошеломивший его. Он узнал то, что можно было узнать без горячих вареников и хитрых подходов и махинаций.

Молчаливая позиция и наблюдательные приёмы Свиридоновича, очевидно, показали ему, что казус с немецким плугом был нерядовым

явлением не только в казачьей обыденной жизни, но и у нас. Уже одна обстановка, при которой произошёл этот казус, ярко была всем в глаза, и, несомненно, более всех – Свиридоновичу. Казус произошёл при наличии лучших в станице хозяев и уважаемого всеми популярного священника отца Петра, а также его половинщиков, каких-то дошлых и учёных «скубентов». Это был ведь исключительный в степи случай. А между тем немецкий плуг, в несомненных качествах которого Свиридонович так же, как артиллерист в бакенбардах и многие другие казаки, был безусловно уверен, этот плуг таинственно как-то не двинулся с места, точно заколдованный. Обстоятельство чрезвычайное, бьющее всем в глаза и в понимание. Естественно, что Свиридонович заинтересовался им. Дело шло ведь о плуге, в котором завязан земледелец более чем кто-либо заинтересован был.

По усвоенной привычке и согласной с той тактике, Свиридонович пустился в разыскания. Узнав, что я не открыл даже отцу Петру «секрета» о том, как я заставил пойти плуг, он решил овладеть им. Вот в этом-то моём секрете ярко отразился комизм моего положения как новоявленного специалиста. Мою специальность Свиридонович понял в таком смысле и окраске, как понимало местное население специальность знахаря, обладателя секрета раскручивания закруток, завязанного охотника по заговору ружей и тому подобного. Слово «секрет» убедило его в этом, и он решил во что бы то ни стало добыть секрет, хотя бы с помощью покупки его. Неожиданностью и комизмом повеяло на меня поведение Свиридоновича, как только он заговорил по этому поводу.

Когда после завтрака Васька, Попка и Грачёв встали из-за стола и, поблагодарив хозяина за завтрак, отправились к своему куреню, а я временно задержался, Свиридонович обратился ко мне и как-то виновато тихим голосом заговорил со мной:

– Оце вже я признаюсь вам, як пану-отцеві на духу, чоґо це я покликав вас до себе... – и он остановился, чтобы передохнуть, до того, казалось, трудно было ему сообщить мне причину приглашения меня на вареники. Я в недоумении ожидал продолжения его речи. – По правді вам сказати, – продолжал Свиридонович, – і у мене чоґось мій плуг закомизився. Він хоч і оре, але не так, як орав раніше. Будьте ласкаві, подивіться, чи не забрався і в мій плуг який-небудь секрет... чи то бач закарлючка. То було плуг добре орав в чотири пари волів і м'якоть цілинну, а тепер ледві-ледві в п'ять пар оре.

– Добре, – сказал я, – подивлюсь, тільки я не настоящий майстер, може, не найду ні секрета, ні закарлючки.

– Що ви, Бог з вами! Ви ж навіть у німецькому плузі і то знайшли секрет, – тривожно заговорив Свиридонович. – Хіба ж наш плуг з більшими мудрощами, ніж німецький?

– Ніякого секрету в німецькому плузі не було, – вирвалось у мене замечание.

– Та їй-бо, не відмовляйтесь, ради Бога, а пошукайте секрету і в моєму плузі, – упрасивал мене Свиридонович.

Я, наконец, уловил, что разумел под секретом Свиридонович, и понял его тревогу и смущение. Но когда я выразил желание немедленно пойти с ним и на его плуге показать, какой секрет нашёл я в немецком орудии, то Свиридонович буквально остолбенел и вытаращил на меня свои изумлённые глаза, точно я поставил его в невозможное положение.

– Та ви, мабуть, смієтесь надо мною? – недоверчиво спросил он меня, косо поглядывая.

– Ні, не сміюсь, Свиридонович, чисту правду вам кажу і на вашому плузі покажу, який секрет я знайшов, – старался я успокоить старика.

– Секрет? – с живостью переспросил он меня. – Отой секрет, про який ви не сказали самому отцю Петру, як він вас просив?

– Отой самий, – подтвердил я, сдерживая смех.

– Ну, слава Богу! – воскликнул Свиридонович. – Так ходіте скоріше до плуга, – попросил он меня и сам вышел из-за стола.

– Ні, підждіть, – начал было я говорить, но Свиридонович тривожно перебил меня:

– Нащо ждять? Ходіте зразу, миттю, цікаво мені.

– Та підемо, – повторил я свое обещание. – Я хотів тільки спитать вас, чи є у вас великий аршин, і якщо єсть, то беріть його та сокиру до плуга.

– Зараз, зараз, – несколько сконфуженно заговорил Свиридонович и быстро нашёл аршин и топор.

Мы вдвоём вытащили плуг из-под навеса. Я установил его на ровном месте и прикинул к нему аршин вдоль гредили.

– Подивіться гарненько на плуг, та скажіть, що ви там побачите, – предложил я Свиридоновичу.

Он внимательно посмотрел и ответил:

– Нічого не бачу. Плуг та аршин, і більш нічого.

Я объяснил Свиридоновичу по направлению аршина теорему прямой линии в тяге плуга для наиболее беспрепятственного движе-

ния при разрезе земли лемешом и резцом и спросил его, правильно ли поставлен лемеш.

– Ні! – быстро сообразил Свиридонович. – Косо од аршина. Це ж мені канальский коваль так плуг направив.

– Який коваль? – спросил я.

– Та той же, що персні робе дівчатам, – ответил Свиридонович. – Москалик!

Произведено было такое же исправление, как и в немецком плуге, но двумя месяцами раньше, в течение которых плуг еле-еле таскали четыре пары волов. Меня заинтересовало совпадение неправильной установки лемеша в обоих случаях. Кузнец, очевидно, не по небрежности переставил лемеш в немецком плуге, а по каким-то соображениям. Я попросил Свиридоновича рассказать мне, почему он отдал в поправку совершенно новый плуг. Оказалось, что он спросил кузнеца, не может ли он установить плуг так, чтобы тот забирал большую глыбу земли в глубину. Кузнец немного подумал и ответил, что может поставить плуг так, что плуг будет брать большую глыбу земли, но не в глубину, а в ширину глыбы, и посоветовал поставить так плуг. Свиридонович согласился и всю весну еле-еле таскал плуг пятью парами волов.

Когда Свиридонович уяснил всё себе и понял значение прямой линии при установке в плуге лемеша, резца и стойки, то ещё раз удивил меня своим поведением и крепко сидевшими у него в голове взглядами. Он как бы не обратил внимания ни на невежество кузнеца, ни на собственную недогадливость, а поражён был тем, что так просто и бескорыстно поделился я с ним секретом о прямой линии для плуга.

– Отак даром, не за понюшку табаку, ви усім розказуєте свій секрет? – спросил он, лукаво посматривая на меня.

– Отак, – подтвердил я.

– Оце дивовижно! – воскликнул он. – За це ж інші беруть гроші!

– Так цього не треба б робить, – заметил я.

– Як же інакше? Без грошей не узнаєш, – рассуждал он. – Он спитайте другого коваля нашого, скільки він добра циганам оддав за те, що вони навчили його сталить лемеші та сокири.

Я сказал, что кузнец рассказывал мне об этом.

– От бачте! – воскликнул Свиридонович. – Так воно скрізь у світі робиться!

Чем больше говорил я со Свиридоновичем по этому поводу, тем более поражал меня своей отсталостью и заскоруждыми взглядами этот разумный в станице человек, как отзывались о нём одностаничники.

Учёных людей он высоко ставил, но валил их в одну кучу с кудесниками и шарлатанами, научные знания не отделял от заговоров на воде или заклинаний и нащёптываний. Просто не верилось, что это был Свиридонович, образцовый хозяин и разумный земледелец. Я решил пожертвовать дообеденными работами вместе с Грачёвым, чтобы ещё ближе познакомиться с этой сильно заинтересовавшей меня личностью.

– Давайте, Свиридонович, – обратился я к нему, – зараз же поправим ваш плуг по моему секрету і попробуем, як він буде орати. Роботи з поправкою мало.

– Давайте, – с радостью схватился за моё предложение сосед.

Без особых затруднений мы укрепили как следует лемеш, тщательно придерживаясь прямой линии по аршину, запрягли три пары волов вместо четырёх и начали пробовать. Сверх моих и Свиридоновича ожиданий о предварительной пробе, плуг отлично пошёл и на трёх парах волов по мягкому полю. Удовольствию Свиридоновича не было границ. Казалось, он не верил собственным глазам, глядя на те изменения, какие произошли в плуге.

– Плуг, – говорил он, – оре ще краще, ніж тоді, коли він не був у коваля. Тоді ж він ходив на чотирьох парах волів, а тепер на трьох. Жаль тільки одного.

– Чого? – спросил я.

– Як би його поправити так, щоб він глибше брав скибу, хоч би ще на вершок, – пояснил он.

– А жабки! – напомнил я.

– Знаю я жабки, – заметил он. – Так на це ж треба майстра; я купив плуг без жабків. Самому взятися за діло, так з цим днів два або три проваландаєшся, поки прилагодиш їх та і без помилки не обійдешся.

– Пустяки! – заметил я как опытный специалист, ибо «робить жабки» и «подбивать їх» под лемеш я научился ещё в детстве у Явтуха. У него, говорил он, «в голові було лекало», по которому он мерил жабки.

Я владел секретом Явтуха и предложил приготовить жабки, лишь бы нашёлся у Свиридоновича материал – сухое дерево из дуба, груши, яблони и ещё лучше – из кизила. Материал нашёлся. Изготовленные жабки я подбил в лемеш так, чтобы плуг, по моему расчёту, забирал «скибу» на четверть глубины. Для пробы мы запрягли четыре пары волов. Плуг ходко пошёл, отваливая пласты земли в четверть толщиной. Свиридонович удивлялся моему искусству. Я был для него образцовым специалистом. Свиридонович кадил мне, и я скромно, но

с достоинством принимал это кадение как специалист, забыв, что я круглый невежда в механике и не знал даже других способов урегулирования лемеша на глубину вспашки. Явтух регулировал глубину вспашки одними жабками. Это напомнило мне о моём техническом образовании в школе Явтуха, и я сразу осел, но решил продолжить с Свиридоновичем прерванный нами разговор об оплате технических секретов.

– І за жабки треба брати плату з тих, кого я навчу, як робить їх? – как бы мимоходом спросил я Свиридоновича.

– Аякже, хоч би і з мене! – воскликнул Свиридонович, придав своему замечанию такой смысл, что раз я соглашусь взять плату, то он не откажется уплатить. – Треба платити за всяку роботу.

– За всяку роботу, це так, – согласился я. – Але за всяке просте діло, яке само в голову лізе або легко всякому дається – це вже, Свиридонович, нісенітниця, – и я провёл резкую границу между учёными, профессиональными специалистами и мистификаторами по невежеству или по шарлатанству, колдунами, знахарями и прочими, указав Свиридоновичу на то, что ничего таинственного и чудесного, как он убедился, нет в моих секретах.

Я откровенно рассказал ему о том, что я не специалист, как он думал обо мне, а совершенный профан в деле, за которое я взялся и которое он знает лучше меня, но наше «товарищество», или ассоциацию, мы задались провести правильным учёным способом, как думают и говорят великие учёные люди.

– Ви ж бачите тепер, – закончил я свои доводы, – що ми ж такі робітники, як і ви, і койщо знаєм таке, що і для вас необхідно і корисно.

И пока я говорил, передо мной был тот молчаливый и внимательно слушавший Свиридонович, которого я видел на скандале с немецким плугом. Он сидел и слушал меня, не прерывая моей речи. Так как время клонилось к обеду, то я собрался идти домой. Свиридонович искренне благодарил меня за оказанную ему помощь и мои объяснения. Прощаясь со мной, он задушевно сказал мне:

– Ви молодий, а і мені, старому, есть чому у вас поучитись.

Мне пришлось по душе эти слова, так как фактически хотя я был дутым специалистом, но признанным и со стороны Свиридоновича знатоком. «Кое-чему я научил и его», – думал я, уходя к своему куреню, где ждал меня Грачёв.

После обеда мы отправились вдвоём на осмотр степных сенокосов и запашек земли у наших станичников. Но ближайший мой сосед,

так поразивший меня невежеством и заскорузлыми взглядами в области суеверий и примитивных отношений между людьми, неожиданно показался мне в новом свете. Я ознакомился с невиданными раньше местами и шёл на осмотр не с завязанными глазами, а с достаточным запасом сведений несомненного практического характера. У Свиридоновича за завтраком и при возне с плугом я узнал о нетронутой ковыльной степи и о степи тронутой, покрытой прекрасными пыреями, о посевах потребительного характера в хозяйстве казака и посевах для продажи, о предстоящих весенних и летних работах и тому подобном. К ужину мы с Грачёвым возвращались с достаточным запасом сведений о том, что мы видели и что слышали, кроме Свиридоновича, и от других лиц. Всем этим я запасался и вооружался к тому общему совещанию, которое должно было состояться с приездом к нам отца Петра. Таким образом, и в этом случае, в силу естественной необходимости, мне приходилось думать и действовать в роли главнокомандующего благодаря моим знаниям степи и земледелия и привычке думать не только для себя, но и для других. Это товарищи мои знали и привыкли к моему образу действий.

Со Свиридоновичем я почти не виделся в это время, но впоследствии неоднократно встречался с ним как с близким знакомым, а также сталкивался с людьми, от которых слышал рассказы о нём. Каждая такая встреча давала мне новые данные о нашем соседе. Но отличительные черты этой личности ясно наметились с первых дней моего знакомства с ней. Свиридоновича нельзя было назвать ни кулаком, ни эксплуататором своего брата казака, ни человеком, который враждебно или индифферентно относился к громаде и к казачьей станичной общественности. Казачьи демократические тенденции и уклад жизни на началах народоправства были так сильны во всё время его жизни, что он не только не мог отрешиться от них или утратить интерес к ним, но неминуемо должен был сознательно относиться к поддержке их. При его уме и наблюдательности не могли ускользнуть от него нарушения казачьих интересов панями офицерами, стремившимися к обогащению, опираясь на свои служебные привилегии. Он хорошо знал и понимал посягательство благородного сословия на войсковые и юртовые казачьи земли и близко знаком был с эксплуатацией панями труда казаков в условиях военной службы, хотя и не был активным бойцом за казачьи интересы. Свиридоновичу памятливы были боевые эпизоды Кавказской войны, но они не оставили в его жизни и характере такого следа, как его одинокая бездомная жизнь с раннего детства, в тече-

ние юношества и в первые годы строевой службы, пока он не завёлся семьёй и не занял самостоятельной позиции в станице. Прекращение Кавказской войны и наступившая мирная жизнь в Черномории много помогли ему в его самостоятельной деятельности и росте хозяйства, хорошо налаженного ещё до окончания войны.

Свиридонович почти не знал своих родителей, а об отце не имел никаких представлений. Отец его был убит где-то на кордонной линии или в горах, а где именно и в каком сражении, он не знал этого, потому что не умел ещё тогда говорить и понимать таких явлений, как военная служба казака где-то вдали от дома в неизвестных и в ужасных местах. Мать, жившая с ним в своей хате и дворе, но в крайней нужде и в семейном горе, вскоре также последовала за отцом в могилу, схватив какую-то повальную болезнь. Темнотой и скорбью были покрыты воспоминания об этой поре четырёхлетнего малютки, когда он остался единственным собственником своей родной хаты и двора. Он жил тогда не в Бриньковской, а в Брюховецкой или Переясловской станице. Сторонние люди призрели безродного сироту и взяли на своё попечение. С пяти лет он умел уже стеречь от коршуна квочку с курчатами и пасти свинью на верёвке. К счастью, он попал к простым, бедным, но сердечным людям. Его не били и не презирали, как чужого и ненужного члена семьи, но хорошо кормили и сносно одевали. Мальчик инстинктивно ценил это и безукоризненно исполнял приказания и распоряжения воспитателей, которые не тяготились им. В десять лет, при этих условиях, он выглядел здоровым и не по возрасту самостоятельным мальчиком. За шесть лет пребывания у чужих людей убогая хата десятилетнего казака почти развалилась, а огорожу двора «добрые люди», кому нужно и не нужно было, растаскали. Опекуна над убогим имуществом не было, а сам хозяин почти не посещал своего двора и хаты, потому что жил в версте от них, и за собственными делами в чужом дворе посещать свой было некогда.

С десяти лет и до поступления на строевую службу Свиридонович служил то пастухом, то, приходя в более зрелый возраст и набирая силы, исправным работником. Его охотно нанимали и хорошо оплачивали его труд, так как он был сильным от природы юношей и безукоризненно исправным наймитом. Рано с детства привыкнув заботиться о своей особе и о своём личном небольшом движимом имуществе, в двадцать лет Свиридонович был молодым, сильным и красивым казаком, бездомным и безродным, но сумевшим на собственные средства обмундировать себя в пехотную службу. На службе видный, здоровый, расторопный и

исполнительный казак не гнался за военной карьерой, не лез ни в приказные, ни в урядники, а искал наиболее удобные и обеспеченные от военных тревог и случайностей места по внутренней строевой службе. Побывал он и в кашеварах, и в хлебопеках, и в артельщиках при воловьих фурах, и в денщиках у офицеров. Его охотно брали в ту или другую деловую службу, освобождая тем от службы боевой и рискованной. Женился он, или, точнее, «поступил в приимы» к молодой, бездетной и красивой вдове, оценившей его за личные физические и деловые качества. Это был на редкость удачный брак. С этого времени Свиридонович зажил новой жизнью и проявил такую энергию и деятельность, которая поражала всех. Из бездомного казака он обратился в образцового хозяина, сумевшего в несколько лет удвоить или даже утроить те средства, которые ему как приймаку передала его жена. Я встретился и познакомился со Свиридоновичем в то время, когда у него, казалось, совершенно угасли воспоминания о том, что он – приймак, женившийся на богатой вдове. Хозяйство Свиридоновича разрослось и увеличилось до неузнаваемости, и сам хозяин считался уже не приймаком, а самостоятельным главарём своего развившегося до высшей степени хозяйства и большой семьи с большим довольством во всём.

Интересные эпизоды пришлось мне слышать о жизненной карьере Свиридоновича от разных лиц и от него самого. По рассказам, он не гонялся в своём хозяйстве за количеством скота, птицы или нужных для хозяйства предметов, а всегда предпочитал количеству качество. Когда у него было две или три малорослых коровы, то он, на удивление всем и себе в убыток, менял их на одну рослую и молочную корову. Чтобы добыть красивого породистого петуха, он не пожалел отдать за него драчливого, не подходившего к стаду барана. Зимой на ярмарке в станице Брюховецкой он набрёл на повозку цыгана, к которой привязан был статный, породистый жеребец. Сам Свиридонович сидел верхом на прекрасной верховой лошади, превосходившей по ценности жеребца. Свиридоновичу нужен был хороший производитель для его кобылиц, которого он тщетно искал. Недолго думая, он предложил цыгану поменяться лошадьми так на так, будучи уверен, что цыган согласится на эту мену. Но цыган, сразу оценивший выгодную для него сделку, не сумел оценить казака, признав его форменным дураком, упорно не соглашался на мену, желая сорвать с казака большей прибавки.

– Як що даси до твоєї коняки додачу, – заявив он, – то може і помінаємося, і про твое так на так і слухать не хочу.

– Якої ж ще тобі додачі? – заговорил Свиридонович. – Ну, щоб не гаятись та зря не балакать, бери коня з сідлом. Чорт з тобою! Одне моє сідло стоїть доброго коня.

– Сідла мало, – заявив цыган и не шёл ни на какие уговоры.

Дело происходило зимой. Свиридонович одет был в дорогой смушковый полушубок, крытый сукном.

– Чого ти пристаєш до мене? – сердито набросился на Свиридоновича цыган. – Ти ж не набавиш ще в додачу мені твого полушубка?

– Ні, це дуже багато з мене хочеш, бо полушубок стоїть більше, ніж сідло та, мабуть, і твій жеребець, – сказав Свиридонович и сделал несколько шагов аллюром на своём скакуне, нетерпеливо бившем ногой землю.

Цыган увидел, что казак был не дурак и может уйти у него из рук, ударив плетью своего скакуна.

– Так як же у нас буде діло? – заговорил он более покладисто.

В это время вблизи собралась уже значительная кучка ярмарочных зрителей, заинтересовавшихся своеобразной меной. Многие удивлялись нерасчётливости казака и упорству цыгана.

Не получив ответа на свой вопрос, цыган решил пробрать казака иронией:

– А що, жалко тобі полушубка, як старій бабі старої спідниці?

– Ні! Я не пожалів би і полушубка, якби мені не досадно було, що на мене дивляться люде і жалкують, що цыган обдурює мене, буцімто я, мов маленький хлопчик, не бачу і не знаю, що цыган хоче здерти з мене вдвоє більше, ніж скільки стоїть його жеребець.

Цыган понял, что сделка его может провалиться, и с напускным пафосом заговорил:

– Ну так от що? Ти кажеш, що я тебе дурю? Ні, я тобі більше оддам – жеребця та в придачу до його доброго коня, а ти оддай мені свого коня та в придачу до нього один полушубок, а другого коня – сідло – остав у себе, ти ж казав, що сідло стоїть доброго коня.

Раздался оглушительный хохот от остроумного приёма цыгана, задёрнув Свиридоновича. Выждав, когда хохот утих, удобный момент, он произнёс повышенным голосом:

– Ти ще глумишся надо мною? Так слухай же, що я тобі скажу, я зараз по твоєму ковадлу ударю своїм молотком! Бери собі мого коня і полушубок в придачу, а мені взамін оддай одного тільки жеребця, а придачу прибав жеребцеві: поцілуй його три рази ззаду та так чмокай

губами, щоб усі бачили і чули. Хочеш мінятися – міняйся, а не схо-чеш – пом'яни як звали мого коня і полушубок!

Цыган понял, что сделка не состоится, если он не исполнит пред-ложенные ему условия. Посмотрел он на стоявшую в безмолвии толпу, почесал затылок, махнул рукою, по обыкновению сказал:

– Де наше не пропадало! – и заявил Свиридоновичу: – Нехай буде по-твоему!

Толпа неистово хохотала, а Свиридонович снял со своей лошади седло, покрыл её вместо седла полушубком и передал цыгану. Взяв под уздцы жеребца, он повернул его задом к бывшему хозяину и потребо-вал, чтобы он три раза поцеловал его, согласно условию. Толпа ревела от восторга. Затем Свиридонович оседлал жеребца, сел на него и пое-хал в одну сторону, а цыган под свист и улюлюканье толпы натянул на себя полушубок, сел на повозку и направился в другую сторону.

Об этом случае казаки тогда говорили:

– Здурів Свиридонович, вимінять шило за швайку!

Но через несколько лет, когда потомство добытого такой меной жеребца стало молодыми взрослыми лошадьми, те же казаки утвер-ждали, что ни у кого не было таких красивых породистых лошадей, как у Свиридоновича. И всё, как лошади, менялось в его хозяйстве к лучшему. Сам же хозяин не менялся в своём поведении и привычках. Каким он был, став на линию рачительного хозяина и счастливого се-мьянина, таким и остался. Любил всё ценное и образцовое в хозяйстве, прибирал к своим рукам то, что считал лучшим, оставляя казаком в казачьих условиях и обстановке: ходил на сходы, почтительно отно-сился к громаде, никого не трогал и никому не мирволил, был молча-лив и наблюдателен и всегда ловил и усваивал только то, что согласо-валось с его взглядами и интересами семьи и хозяйства.

Все в его патриархальной семье жили в мире и в согласии, сытно ели, хорошо одевались, энергично работали, не прибегая к чужому ба-трачьему труду, и не особенно падки были на новшества, тем более что настоящая культура едва только показывалась откуда-то из-за каза-чьих заборов. Себе же Свиридонович знал цену, имел свою амбицию и никому не позволял ни наступить ему на ногу, ни открыто насмеяться над ним, как показал это случай с цыганом, которого он заставил вы-полнить самую позорную, по тогдашним понятиям, роль, и притом на глазах многочисленной ярмарочной публики.

В другой раз Свиридонович «не в ті двері попав», как выражался он сам. Был он как-то в Екатеринодаре и встретился там с хозяином ча-

сового магазина, с которым он познакомился на Брюховецкой ярмарке в ятке. Там оба они сидели рядом и смотрели, как клоуны в высоких белых колпаках, в широких, как бы ветром раздуваемых костюмах, с запачканными белой мукой физиономиями и с выкрашенными в красный цвет носами и ушами, с красными также кружками вокруг глаз, «ломали комедию». Оба они сидели молча, не смеялись, вели себя серьёзно и напряжённо следили за клоунами. Когда окончилось высту-пление клоунов, сильно смешивших публику, оба они одновременно встали на ноги и оба произнесли вслух одно и то же замечание:

– І чого вони так дуже сміялись? – оба плюнули каждый в свою сторону и прибавили: – На таких кривляк не стоїть і гроші нікчемно тратить.

Вот это единомыслие и манера серьёзных и солидных людей и сблизил их, тем более что оба были украинцы – один из Черномории, а другой из Харькова, не то из Одессы. Они познакомились. Свиридо-нович узнал, что его случайный знакомый живёт в Екатеринодаре и имеет там часовой магазин, в котором бриньковский ктитор купил в церковную сторожку стенные часы. Это также способствовало сбли-жению познакомившихся, и, расставаясь друг с другом, они просили: один – не проходить мимо его хаты в станице, а другой – мимо его часового магазина в Екатеринодаре.

Такие пожелания их скоро и осуществились. Проезжая через Бриньковку к какому-то пану на хутор по своему часовому делу, ча-совщик зашел «на хвилиночку» к Свиридоновичу, который перед тем только что заказал на завтрак своё любимое блюдо – вареники с горя-чим маслом и вкусной сметаной. Он был рад посетившему его гостю, показал ему своё образцовое хозяйство и угостил вкусными вареника-ми. Расстались они ещё с большею дружескою приязнью.

Когда Свиридонович был в Екатеринодаре, то, в свою очередь, зашёл в магазин к часовщику. У последнего был большой и хорошо обставленный магазин. На стенах были прибиты самые разнообразные виды стальных часов. Два экземпляра самых больших и красивых были постоянно в ходу – оба громко «цокотали», один из них гармонично отбивал время, а другой был с кукушкой. Последний экземпляр был также с гармоничным боем, но когда в этом экземпляре чётко звенел бой, наверху его, выше циферблата, открывалась маленькая дверка, и оттуда, как живая, показывалась кукушка, которая при каждом ударе часов кланялась и кричала «ку-ку!» столько же раз, сколько били часы и показывала стрелка на циферблате. Свиридонович в первый раз в

жизни был в часовом магазине и видел в нём ряды разного размера и форм часов. А экземпляр с кукушкой привёл его в такое изумление, что, забыв свою обычную тактику молчания, он неожиданно для себя воскликнул:

– Так вона ж не жива! – указывая пальцем на дверку, за которую скрылась кукушка.

– Не жива, – подтвердил улыбавшийся часовщик.

В первое же мгновение Свиридонович решил непременно купить для дома часы с кукушкой, но его, как и всегда, осенила мысль о том, что, может быть, есть ещё лучшие часы сравнительно с часами с кукушкой. Он овладел собой, сделал замечание о том, до чего наука доходит:

– Не жива зозуля, а кричить «ку-ку!».

Затем он осведомился о ценах на разные виды часов и, убедившись в большом разбросе цен, спросил своего приятеля:

– А який у вас годинник самий найкращий і самий дорогий?

– Ось дивіться сюди, – пригласил его приятель, открывая стеклянную крышку, которой были прикрыты карманные часы в особом помещении на прилавке.

Казак взглянул внутрь этого помещения и был поражён не столько обилием часов, сколько карманными золотыми часами, блестящими от солнечных лучей, падавших на них через окно магазина. Они поразили и понравились ему сильнее, чем часы с кукушкой. Золото сразу соблазнило Свиридоновича. Он серьёзно, деловитым тоном заметил:

– Оце часи – так часи! – ткнув пальцем на один экземпляр, лежавший в красивой коробочке на атласной подушечке.

– Ви, Свиридонович, не помилились й указали на такий годинник, чище і дорожче якого в магазині у мене нема.

– А скільки вони стоять? – спросил Свиридонович.

– Двісті карбованців, – сказал часовщик.

– Ого-го! – воскликнул Свиридонович.

– Та до цього годинника треба прибавить ще й ланцюжок, – заметил часовщик. – Оце вам і ланцюжки, – указал он на целый ряд золотых цепочек к часам. – Який би ланцюжок ви, Свиридонович, підібрали б до того годинника, який вам більше всього сподобався? – спросил он Свиридоновича.

Несколько минут Свиридонович рассматривал часовые цепочки и указал на одну из них, сказав:

– Оцей ланцюжок, здається мені, найбільше підходе під масть до того дорогого годинника.

– Уп'ять ви угадали, – со смехом проговорил часовщик. – Це ж найкращий ланцюжок і, по-моєму, найбільше підходе він до облюбованного вами годинника. З вас би вийшов настоящий часовий майстер. Йй богу, – весело говорил часовщик.

Свиридонович осведомился о цене цепочки.

– П'ятдесят карбованців, – сказал часовщик. – З годинником це вийде двісті п'ятдесят карбованців. Ціна добра. Вона і мене трошки кусає. Уже два роки і годинник, і ланцюжок лежать, а ніхто не купує. Дивились не раз і на годинник, і на ланцюжок і офіцери, і полковники, і один генерал, дуже любувались і хвалили, і всі кажуть: «Это нам не по карману!» Біда мені з цим товаром!

– Дорогий крам, – заметил со своей стороны Свиридонович. – Це хоч би і на мене, то чого доброго і я купив би, якби були зайві гроші.

– Хіба ж таки і у вас, Свиридонович, грошей немає? Ви ж людина з достатком. Куди нам до вас, – высказывал свои замечания по-приятельски часовщик.

– Ця людина з достатком, – говорил, почёсывая затылок, Свиридонович, – а зараз грошенят немає.

– Так беріть у мене годинник з ланцюжком наборг, – предложил часовщик, – та й самі назначайте строк на виплату, чи на рік, чи там на більше.

– Наборг я зовсім не купую, – сказал Свиридонович, – а виплати не люблю. Привик я до того, щоб робить усе враз. А ви таки спокушаєте мене. Кортить таки і мені оця штука, – указал он пальцем на часы, улыбаясь.

– Так чого ж тут довго думать? – заметил приятель. – Коли кортить, так і беріть враз, як ви кажете. Не подобається вам брать наборг, так і не беріть. Просто візьміть їх у мене, а коли появляться гроші в кишені, тоді і купуйте по-настоящему. У вас же, слава Богу, таке майно, що ви всі годинники можете у мене купить, та ще залишиться така частина того ж майна, що можна і з ним прожити приспівуючи. А буде у вас в руках свій золотий годинник з ретязком, покладете ви його в маленьку кишеньку збоку балахона або бешмета на груди та випустите золотий ретязок, тоді геть з дороги хоч і самий генерал! Свиридонович з годинником золотим на золотому ланцюжку їде! – соблазнял своего приятеля часовщик.

Свиридонович соблазнился. Приятель научил его, как следовало заводить часы ключиком, переводить стрелки и вообще как обращаться с часами, передал часы, цепочку в красивой коробочке и кусочек замаши для их обтирания. В первое же воскресенье Свиридонович явился в церковь при часах, не сказал никому, где, у кого и за какую сумму денег купил, но всем охотно показывал приобретение и всех поражал изяществом и золотым блеском часов и цепочки. Заговорила вся станица о самом Свиридоновиче и его покупке. Свиридонович также был доволен. Часы шли на славу, исправно. Через два месяца Свиридонович продал две пары волов с телицей и, получив за них двести пятьдесят рублей, уплатил долг приятелю, скрывая свои денежные операции, но пронырливые казаки догадались, у кого куплены были часы, и узнали обо всём. Поднялся усиленный говор, Свиридонович у всех был на языке.

– Чи чули? – спрашивали друг друга в станице. – Свиридонович одвалив за часи з ланцюжком 250 карбованців, продав дві пари волів з телицею!

Свиридоновича это не смутило. Он ходил в церковь и на сборы «при часах» целый год и так вошёл во вкус щегольства, что, казалось, он никогда не расстанется с дорогой игрушкой. Но вдруг часы остановились. Свиридонович испугался, не зная, что случилось, и немедленно поехал в Екатеринодар к приятелю. В часах произошла незначительная порча – лопнул волосок. Приятель вставил новый волосок, почистил часы и отказался от платы за починку, так как новый волосок стоил, по его словам, «пустяки», а по заведённому у часовщиков обыкновению он обязан был чинить даром часы в течение года, раз порча произошла от неисправности самих часов. Но это не успокоило Свиридоновича. Его не пугала ни порча волоска или другой какой-либо части, не смущали расходы на поездку в Екатеринодар, но его поразило и обескуражило то обстоятельство, что часы не принесли ему буквально никакой пользы, кроме тщеславного щегольства. Свиридонович задумался. Рассудив здраво, он пришёл к выводу, что на тщеславное пользование часами надо плюнуть и денег на часы более не тратить, так как они деньги с хозяйства берут, а хозяйству ничего не дают. Сам он и вся семья часами для времяпрепровождения не пользовались – ложились спать и вставали, работали и пищу принимали по привычке и по заведённому искони порядку и больше сообразовались с петухами и солнцем, чем с часами.

– Нащо ж я годинник золотий та ще з золотим ритязком купив? – спросил сам себя Свиридонович и ответил: – Помилився! Не в ті двері попав! Дверями помилився!

Дорогие и хорошо приятелем починенные часы бережно были уложены «в скриню». Рассказывал мне Свиридонович об этом серьёзно и убеждённо, а я не раз рассмеялся, но он не сердился.

К сожалению, со Свиридоновичем я нечасто виделся, но свиданию со мной он был всегда рад и встречал меня приветливо. Он охотно со мной разговаривал, а в разговорах был доверчивее и откровеннее, чем с другими, и нередко делился со мной такими мыслями и замечаниями, какие он не всякому высказывал. Я давно уже решил поговорить с ним об ассоциации, чтобы познакомиться с его взглядами и отношением к этой форме труда. Конечно, я не думал, что его можно соблазнить и втянуть в какое-нибудь предприятие, но я уверен был, что услышу от него дельные указания и своеобразные замечания. Случай к этому скоро представился. Ко мне зашёл Свиридонович.

– Здрастуйте, – приветствовал он меня. – Як живете, себе почуваете, над чим працюєте та промишляєте?

– Здрастуйте! – ответил я ему в тон. – Живем та хліб жуем, добре себе почуваете, бо як мед працю уживаємо. Од праці, кажуть, як од цяці, через кожні сутки ідуть ріжні роздобутки.

– Правда, – заметил мой гость. – Бо в землеробстві багато ріжних роздобутків. У вашій же промисловості в чотири голови і в вісім рук, хоч одно з другим і стикається, а все ж в роботах ріжниться.

– Значить, – подхватил я, – чим більше голов та рук, тим краще для промисловості?

– Звичайно так, а не інакше, – ответил Свиридонович. – Тільки не треба, щоб за хвіст до кобили квочки з курчатами чіплялися, – прибавил он с усмешкой.

– Так кобила – не господиня, квочка хоч і рабиня, їй і голову ріжуть, а курчата – не хлоп'ята. Єднання голов та рук не на такій основі держиться, – сказал я.

– Певна річ, – подтвердил Свиридонович, – хоч у людей і так буває, що у кобили під хвостом квочок та курчат с нею єднують. Я ж це сказав, щоб дати приклад не для вашого єднання в чотири голови і в вісім рук.

Мне ясно было, что Свиридонович понял меня, и понравилась его постановка вопроса. Мы завели с ним по этому поводу длитель-



ный разговор. Этот совместный разговор хорошо осветил наши первые шаги в Бриньковской станице и самого Свиридоновича.

Бриньковское население не сразу обратило на нас должное внимание. И сам Свиридонович подумал, что к отцу Петру приехали знакомые – «скубенти», которые поживут-поживут и уедут к себе. Нечего им, мол, в станице делать. Но когда стало известным, что мы уговорились с отцом Петром вести его хозяйство с половины, станица заговорила. Строились разного рода догадки, сводившиеся к тому, что мы не за своё дело взялись. Решающее значение в этом отношении имел скандал с немецким плугом. В первый момент все искренне хохотали и издевались над нами, предполагая, что мы – люди легкомысленные, и по своему легкомыслию провели и отца Петра за нос. Но когда немецкий плуг пошёл в ход и стали известны подробности о том, как это произошло, отношение населения к нам быстро и радикально изменилось. Нам приписано было много такого, чего не было в действительности и что казалось нам смешным и нелепым. Все подумали, и в том числе Свиридонович, что мы – люди себе на уме и знаем, где раки зимуют. Я, как главный виновник происшедшей перемены, не был для казаков ни знатоком плуга, ни учёным специалистом по этой части, а дошлым «скубентом», владевшим какою-то секретной тайной, которую не захотел открыть ни отцу Петру, ни даже товарищам. Свиридонович сознался, что так смотрел и он на меня, почему и пытался узнать мой секрет и даже купить его у меня. В первый момент он несколько разочаровался во мне, когда я без предварительных условий и оплаты просто передал ему свой секрет, но когда я починил его плуг-сабан и научил его, как надо делать жабки, то он, наконец, понял меня как человека хотя и молодого, но разумного и знающего, и я стал у него чем-то вроде специалиста не по одной плужной части. Так и пропагандировал он в населении меня и нашу ассоциацию. Мои товарищи, лично я, благодаря авторитетному Свиридоновичу, ещё более выиграли. Нас признали людьми не легкомысленными, а полезными для станицы и в некоторой степени даже своими, так как по происхождению мы были свои, казаки.

Но с каких сторон я ни подходил к Свиридоновичу, не было никаких намёков на то, чтобы сказать или даже подумать, что наше появление в станице и рядовые земледельческие работы были связаны у населения с какими-либо тенденциями политического или общественного значения. Мы были просто молодые разумные люди, хорошие «скубенты», знавшие по некоторым статьям о земледельческом труде и технике несколько больше, чем местные знатоки. О внедрении в населе-

ние реформирующего значения для него земледельческой ассоциации не могло быть пока и речи. Самому населению в голову не приходили какие-либо реальные представления об утилизации нашего опыта. Как новая форма труда, наша земледельческая ассоциация казалась населению нашим личным делом, но ни в коем случае не делом станичников. У них не было ни двигавших нас мыслей, ни своего отца Петра, как у нас. Сам Свиридонович недалёк был от этого взгляда на наше дело, но он имел свои воззрения на принцип ассоциации, реализованной уже в жизнь народа в своих народных формах.

Как я и предполагал, нечего было и думать о том, чтобы Свиридонович, по примеру отца Петра, стал к нам в близкие отношения. Он не шёл дальше личных с нами связей как соседей по царине и подходящих для знакомства интересных людей. Что касается идеи об ассоциации, то важность и значение её он по-своему понимал по таким примитивным формам применения её, как супруга в земледелии или забродческие ватаги в рыбопромышленности.

– Як же, – говорив он, – може бути інакше, коли у козака тільки дві пари волів, а землі йому нічим орати. От він шукає товариша або двох, щоб склалось чотири пари для плуга і можна було орати.

Точно так же о забродческих ватагах он рассуждал:

– Хіба ж один або два і три забродчика можуть у море закинути невод і витягти його з рибою із моря? Для цього діла потребується ціла ватага забродчиків, та й тоді частенько приходиться ще і волів припрягати, щоб невод з рибою на берег витягти. Таке діло і так воно діється в наших «соціациях», – говорив Свиридонович.

Я указывал Свиридоновичу на то, что бедняки могут образовать ассоциацию, добыть деньги для оборудования ватаги неводом, лодкой и прочим, ловить рыбу и быть полными хозяевами предприятия, деля между собой весь доход от него, и что в иностранных государствах рабочие берут же деньги взаймы для таких предприятий из банков или у богатых лиц.

– Так у нас же нема банки, а як у наших добродіїв узяти на таке діло гроші, то або доброді усю рибу заграбастують собі, або самі забродчики так діло поведуть, що риби тільки на їжу їм хвате, а снасті або в морі пропадуть, або на березі згниють. Ватаги того і силу мають, що забродчиками командує отаман, а отамана і забродчиків держать в своїх кріпких руках хазяїн невода і снастей.

– Так хазяїн, як ви кажете, і всю рибу до себе грабастає, – возражал я.

– Та це так. Що ж ви з цим поробите? – спокійно заметил Свиридонович.

Позиция Свиридоновича была так крепка и он так упорно отстаивал её, что мне, мало искущённому в жизни и в людях, приходилось делать отступления и обходить факты, которыми он сыпал, как горохом из мешка. Наконец, я поставил ребром вопрос. Указывая на то, что Свиридонович берёт исключительные случаи и группирует их, я нарочито утверждал, что ведь сам он не стал бы забирать всю рыбу, если бы стоял во главе ассоциации. По этому поводу мой приятель без колебаний решительно высказался так:

– Мені це діло не з руки. У мене мається своя «саціяція» – два сина, дві невістки та я з старою, велика сім'я. У нас все добре налажено і як по маслу іде. Якої ж треба нам ще «саціяції»? Інше діло у вас з товаришами. Може воно у вас і вийде, так тільки тоді і ви скажете «гоп!», як воно у вас вискочить!

На этом я и прекратил затеянный мною разговор о земледельческой ассоциации, поняв, что Свиридонович прочно стоял на своей ассоциации – на исторически сложившейся у народа трудовой семье, и что большего взять у него не было, так как ему не знакомы были какие-либо политические и социалистические идеи, с которыми к тому же и я поверхностно был знаком. Но меня в этом, как и в других подобных случаях, сильно поразили высказанные Свиридоновичем взгляды и замечания, так как он был неграмотен. Я решил коснуться этого щекотливого для него вопроса. Распространившись о том, какое огромное значение имеют народное просвещение, книги, временная печать и прочее у французов, англичан, американцев, немцев и у других цивилизованных народов и слыша короткие замечания Свиридоновича: «Це добре, це дуже гарно», я круто вдруг поставил вопрос:

– Як воно, Свиридонович, вийшло, що ви грамоті не навчились?

– Коли молодий був, то ніколи було учитись та ніхто і не приваблював до цього мене, а як в силу ввійшов та постарів, то, признаться, пізно й стидно було учитись, – откровенно сказав Свиридонович. – Шибне було думка, так як подумаю було, що треба книжку положити на стіл та указку в руки взяти, то і охота учитись одпаде. Сміяться будут люде. Увесь свій вік самоучки все я робив, до всього добивався, а от самоучки навчиться грамоті не зумів. Тільки як купив я той золотий годинник, так виучився години по годиннику лічити, а дальше не пішов. Та й годинник не пригодився; у скрині лежить. А от тепер усіх

унуків до книжки гоню і як подивлюсь на вас та на ваших товаришів, то здається, що я не помиляюсь.

От Свиридоновича я не ожидал такого прямого, откровенного и меткого ответа, и боялся, что затрону его самолюбие. Но он обманул мои ожидания. Наверное, я тогда не понимал так своеобразную, многогранную личность этого типичного для того времени человека, как представляю я его себе теперь. Может быть, в не совсем точных выражениях я передал его разговоры со мной, но общий смысл их мне хорошо помнится. По мере того, как я знакомился с ним, а он относился доверчивее и откровеннее ко мне, положительные черты его личности и характера слабо затенялись чертами отрицательными.

Кто такой в самом деле был Свиридонович? Нарождавшийся капиталист, пожиратель человеческого труда? Нет. Многие были богаче его и лучше его понимали и воспринимали силу денег и значение капитала в обыденных взаимоотношениях в казачьей трудовой жизни. Он был трудовиком, и его не интересовала сама по себе нажива и копление денег, и денежным операциям в хозяйстве он предпочитал натуральные. Наёмными чужими силами и трудом он не только не пользовался, но и не благоволил к этим видам эксплуатации труда. Сам он собственной персоной с сыновьями и с семьёй работал и в поте лица ширил своё хозяйство, вырвавшись из тяжёлых жизненных условий и бездомности одиночки и попав в благоприятные для трудовика условия. Так, может быть, Свиридонович был прототипом ловкого буржуа в позднейшем смысле? Ни в коем случае. Буржуи никогда не меняли трёх мелких коров на одну большую молочную, а наоборот, за плохую корову ухитрялись выменять корову хорошую или за одну – две коровы, а все усилия направляли на то, чтобы взамен плохого петуха получить прекрасного барана. Свиридонович не скопидомничал и не жалел средств, когда его творческие склонности тянули его от худшего к лучшему и к необходимому, и он менял красивую верховую лошадь с дорогим полушубком впридачу на необходимого ему производителя-жеребца, оценённого в два раза ниже верхового коня с полушубком. В Свиридоновиче, несомненно, преобладающе билась жилка творящего лучшее человека, и из него, несомненно, вышел бы нерядовой казачий деятель при иных условиях культурной экономики и при высшем уровне духовного просвещения.

Свиридонович, рьяный, духовно сильный и энергичный индивидуалист, провёл свою жизнь в крайне неудобном положении, не позволившем ему проявить свои силы и деятельность вполне. Только одной

ногой он крепко стоял на прочных казачье-демократических устоях – на трудовой семье дома и на станичной громаде вне его. Другой ногой он упирался в прогнивший пень беспросветной темноты, тормозившего прогрессивное течение казачьей жизни невежества и тяжёлых условий подневольного казачьего служебного существования. Это был переходной исторический момент в Черномории от прекращённой на Северном Кавказе войны к подъёму при мирной жизни экономики и духовного просвещения.



Глава VIII

## На общем собрании

**Н**амеченные по моим предложениям работы ассоциации шли регулярно и аккуратно. Ежедневно два члена ассоциации поочерёдно пахали, а два члена исполняли остальные текущие работы по кухне, уходу за скотом и приготовлению грядок для картофеля, свёклы и лука. Но этот порядок работ намечен был только до приезда к нам отца Петра из станицы для общих совещаний с ним. Все мы ждали этого дня, но не все одинаково относились к тому, чего мы ожидали от наших совещаний. На одном лишь пункте мы сходились без всяких разговоров о нём. Все мы желали поскорее узнать от отца Петра, что говорили казаки о нас в станице и как относилось станичное население к нам. Но никто не ставил вопроса о том, чем мы займёмся на нашем совещании с отцом Петром. Васька несколько раз говорил, что он умеет сеять семена и будет прекрасно исполнять эту работу. Грачёв молчал, и о нём можно было сказать, что он как спокойный и покладистый член будет согласен на всякую знакомую и посильную ему работу. Грицько Попка, родившийся и выросший в городе, вообще мало был знаком с земледелием, но внимательно присматривался ко всякой работе и быстро овладевал ею, полагаясь в затруднительных случаях на меня как на близкого друга. Что предполагал отец Пётр, я не знал, но при уговоре с ним он согласился руководить операциями

ассоциации впредь до нашего ознакомления с его хозяйством и с местными условиями ведения земледелия. Лично я без всяких задних мыслей и поползновений к власти и преимуществам хорошо понимал, что руководить работами ассоциации, быть её распорядителем придётся мне. Отец Пётр заранее назвал меня главнокомандующим, разумея под этим мою годность в распорядители. Сам он не мог руководить работами ассоциации потому уже, что жил в станице, а не среди нас. По естественному ходу наших занятий мы сами должны были взять на себя ответственность за свои работы, систему и порядок ведения их. На эту тему я и думал в ожидании приезда отца Петра. Я заранее был убеждён, что мы с ним не разойдёмся во взглядах на дальнейший характер и направление работ. Фактически я уже руководил делом, и не было ни одного случая, когда бы мои товарищи расходились бы в чём-либо со мной. Самый беспокойный член, Васька, присмирел и забыл о преимуществах сохи-матушки, претендуя на новую роль сеятеля, но он, во всяком случае, был в значительной степени более других знаком с земледельческим хозяйством, хотя в иных, чем в его селе, условиях и постановке, как велось оно в степи на Черномории.

С понедельника до пятницы мы ожидали к себе отца Петра, которого удерживали в станице его служебные обязанности. Но мы даже в это короткое время уже спелись, что называется, между собой, и ожидали отца Петра не только в интересах практической постановки дела, сколько в интересе новостей об отношении к нам станичного населения. Предварительного разговора о дальнейшей постановке и ведении работ у нас не было. О моём пребывании у Свиридоновича и о знакомстве со степью и посевами в окрестностях я поделился фактическими данными с товарищами – и только. Хотя они были в курсе дела, но о тех или иных выводах из полученных данных и об использовании их в наших целях не было разговоров и каких-либо предположений. Ждали общего обмена мнениями, который должен был установить наш образ действия. Главная работа в текущий момент – распашка земли – была в наших руках. Мы овладели ею вполне и никаких препятствий или осложнений не ожидали впереди.

Отец Пётр приехал к нам утром перед завтраком. Я дежурил в это время около куреня. Лишь только вдали по дороге показались дроги на паре лошадей, как все сразу приостановили работы и бросились к куреню.

– Узнали уже в станице? – кричал Васька, размахивая руками в то время, когда отец Пётр находился на таком расстоянии от нас, на

котором он едва ли слышал долетавшие до него слова. Кто узнал, что узнал, Васька не договаривал. Это само собой разумелось; не требовалось никаких пояснений.

Мы стояли в стороне от куреня, и отец Пётр направил дроги к нашей группе. Быстро были выпряжены лошади, сняты с дрог вещи; все окружили приехавшего и требовали от него «рассказать новости». Отец Пётр мямлил и не знал, с чего начать, так как на него с разных сторон сыпались разные вопросы. Я и Попка, дежурившие по куреню, накрыли завтрак, и за завтраком отец Пётр, при более спокойном состоянии всех, вызванном едой, поведал то, что наиболее интересовало всех нас. Станица, по его словам, «заговорила». Среди разного рода нелепостей в подробностях установлены были неожиданные для нас факты необыкновенных знатоков в плужной технике и вообще в области земледелия. В станице узнали все подробности о наших работах: до тонкости знали, как построили мы курень, какого не видела ещё здешняя степь, с большой степенью важности говорили о том, как мы артистически справились с немецким плугом, и многозначительно указывали на то, что мы исправляли казачьи сабаны и знали их особенности, как свои пять пальцев; и женский персонал восхищался тем, что мы собственноручно копали грядки под огурцы, свёклу и лук, и был уверен, что мы насадили на грядках также гвоздики, троянду, дзэндзивер и другие цветы. Моё пребывание у Свиридоновича и исправление его плуга произвело на станичную публику особенно сильное впечатление, так как об этом сообщил такой авторитетный человек как Свиридонович, особенно лестно отозвавшийся о моей особе. Немецкий плуг был нам нипочём; на то мы и были учёные семинаристы. Но мы самого Свиридоновича научили делать дивные «жабки». Это ценилось казаками.

– Дивись ти! – восклицали казаки. – Кто б мог подумать про те, що вони, як свої козаки, і це уміють робить по-нашому!

Весь завтрак был посвящён разговорам по этому поводу, сделано даже было предложение прекратить на время работы и, не откладывая, приступить немедленно к общему совещанию, ввиду столь благоприятных для нас вестей, сообщённых нам отцом Петром. Однако заведённый уже у нас рабочий режим взял верх, и мы решили, не нарушая порядка, начать совещание во время обеда и закончить его вечером, если не успеем свести его концы днём.

Надо заметить, что совещание наше велось довольно неумело и безалаберно. Не было никакого порядка – ни председателя, ни

программы, ни докладов, ни очередей для говорящих – говорили по-одиночке и все разом. Свобода голоса была полная и невозбранная, и всякий, никого не спрашивая, начинал говорить. Но когда кто-нибудь говорил дельно и убедительно или сообщал новые факты и интересные подробности, все молчали и слушали внимательно. За обедом, когда съеден был довольно вкусный борщ «з яловичиною і капустою», да ещё к тому же был засмажен толчёным салом с луком, и когда таким образом были утолены первые приступы аппетита, начались наши прения. Я выступил застрельщиком и поставил самый важный, по моему мнению, вопрос о том, какие посевы, в каком порядке и в каких размерах площадях будут произведены с весны. Меня поддержал Попка, интересовавшийся вообще всякой для него новизной незнакомых ему операций в земледелии. Васька ограничился замечанием, что если бы это было в его родном селе, то он хорошо знал бы, что сеять и в каком размере, тот или другой хлеб. Грачёв молчал. Я ожидал, что скажет отец Пётр. Тот, заметив, что все ожидают его мнения как распорядителя в ассоциации, напомнил нам, что он говорил уже раз по этому поводу и что нового он ничего не прибавит к сказанному.

У отца Петра не было, собственно, никакой системы или порядка в севообороте. Он сеял всего понемножку, налегая, главным образом, на пшеницу. Так делали все, так делал и он. Но при условии с нами он предпочитал пшенице лён, зерно которого было в цене и ходко шло через портовый город Ейск за границу. За культуру льна как промышленного зерна с высокою ценою на него схватились все; один я был в оппозиции. Это был на совещании главный пункт споров; за лён стоял сначала отец Пётр, а наиболее рьяно поддерживал его наш присяжный спорщик Васька. Цены на лён, по словам отца Петра, крепко стояли на одном рубле за пуд, и на него всегда был спрос, тогда как цены на пшеницу колебались от шести до восьми рублей за десятипудовую четверть, а ячменя – от четырёх до пяти рублей за четверть. Для большей убедительности Васька произвёл расчёт не на пуд и не на десятипудовую четверть, а на сто пудов зерна.

– Так что же для нас выгоднее, – говорил он, – продать ли сто пудов льна за сто рублей, или сто пудов пшеницы за шестьдесят или семьдесят рублей и сто пудов ячменя за сорок или пятьдесят рублей? На пшенице мы теряем от тридцати до сорока рублей, а на ячмене – от пятидесяти до шестидесяти рублей. Стоит ли лишние слова тратить при таких потерях и убытках? Давайте сеять лён, лён и лён! – и Васька торжествующим взором окидывал всех.

– Ты, Васька, – с иронией возражал я ему, – считай не на сто пудов, а на сто тысяч пудов. Тоді вийде, що на пшениці ми не доберемо од тридцяти до сорока тисяч карбованців, а на ячменю – од сорока до п'ятидесяти тисяч.

– Так что ж из этого? – восклицал Васька. – Ну, у нас не будет столько зерна, а разве я неправильно высчитал?

– Правильно по правилам сложения и вычитания, – подтвердил я, – та тільки не так треба считать, як ти считаєш.

– А как же? – с задором наступал на меня Васька. – Ну-ка покажи свою учёную мудрость. Тут, брат, не дело первого ученика, а рабочих рук, лошадей да ваших волов. Вот по этой науке следует дело рассчитывать.

Дело в том, что в увлечении спором отец Пётр и Васька оперировали только данными о ценах на зерно и не брали в расчёт урожайности зерна. В предшествующем году я ездил из Деревянковки в Ейск с Кузьмою Хрипливым, неграмотным скупщиком зерна, и вёл записи по его торговым оборотам. Тогда цены на зерно действительно были такими, какие сообщил отец Пётр. Но я с детства знал, что при высоких ценах на лён он считается менее урожайным продуктом сравнительно с пшеницей и особенно с ячменём. Три дня тому назад я установил со Свиридоновичем, что урожай льна в восемьдесят пудов с десятины можно считать хорошим, с десятины пшеницы земледельцы берут соответственно льна не менее ста двадцати пудов, урожай же ячменя с десятины достигает до ста семидесяти и более пудов. Под лён пахалась целина, плохо обыкновенно взрыхлённая, с корневищами, почему, может быть, и урожаи получались несколько ниже действительных, а под пшеницу и ячмень шли земли мягкие, хорошо подготовленные на второй, третий и четвёртый годы и потому уже урожайные независимо от естественных качеств почвы. Я взял крайние цены на лён – десять рублей за десятипудовую четверть, на пшеницу – семь рублей, и на ячмень – пять рублей. По этим цифрам десятина льна давала восемьдесят рублей, пшеницы – восемьдесят рублей, и ячменя – восемьдесят пять. Эти цифры, как ушат холодной воды, вылитый на голову Васьки, подействовали на него.

– Я ведь это понимаю, да сгоряча забыл взять в расчёт, – чисто-сердечно сознался Васька.

Отец Пётр молчал. Вероятно, и он не брал в расчёт урожайности. Попка и Грачёв сразу перешли на мою сторону.

– Так ведь лён даёт не одно зерно, но и волокно, – спохватился Васька. – Волокна на десятину даст на такую же сумму, как и зерно.

Но оказалось, что в Черномории добывание волокна из этого растения слабо практиковалось. Льну предпочиталась конопля, более высокое и буйное растение, дававшее больше волокна, чем лён, и охотно культивировавшееся женским полом не только в поле, но ещё чаще – в огородах на приусадебных землях. Только в немногих хозяйствах, в которых были женские свободные руки, лён не косили, а вырывали с корнями и вязали в снопики, которые, после вымолоченья из них зерна, и поступали в обработку на волокно. Но это были не рядовые, а исключительные случаи. Лён же почти всегда косили на голую косу, а короткая обмолоченная растительность шла исключительно на топливо. Из зёрен льна добывали льняное масло, но и конопля давало масло, бывшее в ходу.

Таким образом, выгоды культивирования льна предпочтительнее перед пшеницей и ячменём сводились так на так. Одно это значительно охладило пыл Васьки, да и всех вообще. Но главный аргумент был ещё не высказан мной. Лён сеялся на нетронутых целинных землях, которые в лучшей обработке пускались потом под пшеницу и ячмень. В царине отца Петра был уже достаточный запас мягких земель для пшеницы и ячменя. Под лён же пришлось бы запахивать одну целину, которая необходима была также для бакши и под просо. Нам пришлось бы поэтому перестроить налаженные работы немецким плугом, а предпочтительно пустить в дело сабан, в четыре или, вернее, в пять пар волов, чтобы поднять достаточно целину под лён, просо и бакшу. Немецкий плуг, который уступал в этом отношении сабану и из-за которого загорелся сыр-бор в степи и создалось, в конце концов, наше земледельческое реноме, пришлось бы отодвинуть в тень, на задний план, предпочитая ему сабан. Это так обескуражило, прежде всего, взятого земледельца Ваську, возлюбившего немецкий плуг и изменившего сохе-матушке, что он, при свойственной ему стремительности, первым предложил не сеять совсем льна, при общем весёлом смехе, на который не обратил никакого внимания, будучи готовым ещё с большей силой ломать копыя против культуры льна, чем с какой он отстаивал необходимость пахать землю только «под лён, лён и лён».

Тогда же решено было, что мы распашем немного целинной земли под баштан, просо и лён, под последний – в виде опыта, немецкий же плуг и главные работы сосредоточим на яровой пшенице – на «кубанке» или «арновке», и на ячмене. Нужно было использовать все ста-

рые нивы и даже те из них, которые отец Пётр предполагал пустить в зелень, чтобы дать полный простор работам на немецком плуге. Пшеница, особенно «кубанка», всегда требовалась в большом количестве за границу, переработка её в муку давала также удовлетворительные результаты, а экспорт ячменя заметно увеличивался, так как он годен оказался не только для одних хозяйственных нужд, как кормовое зерно, но и на пиво. Наше совещание дало удовлетворительные результаты. Мы в достаточной степени уяснили себе как посевной план, так и характер тех работ, на которые мы должны были затратить свои силы. По-видимому, никаких споров и затруднений в намеченном нами плане работ не предвиделось. Мелочных работ, как вскопанные уже грядки, мы не касались. Их необходимость сама собой разумелась.

– Робіть тепер все самі, як знаєте, – говорил отец Пётр, как бы слагая с себя обязанность распорядителя.

Прежде чем закончились эти прения, к нам подошёл мальчик лет четырнадцати, живой, бодрый и весёлый. Когда он шёл к нам, то ещё издали доносился его голос то в однообразном припеве «триндиринди», то в каких-то изречениях, в которых трудно было разобраться, к кому они относились – к нему ли самому, или к прилетевшим с юга перепелам, взлетающим у него чуть ли не из-под ног. Подойдя к нам, он скинул с головы старую казачью шапку, сильно поношенную и достаточно изорванную, низко поклонился и звонким голосом произнёс:

– Христос воскрес!

– Воистину воскресе! – послышались голоса с нашей стороны.

Перед нами появилась преоригинальная фигура в поношенном, с обилием латок, бешмете, в крепких, из толстой и грубой холстины домашнего изделия штанах и в постолах щетиной вверх на ногах. Круглое, как луна, лицо, задорный нос картошкой, бойкие смеющиеся глаза, чистый грудной голос, достаточная доля смелости и самообладания, казалось, спорили в нём с его манерой держать себя смиренным и покладистым мальчиком.

– Відкіля ти, Юхиме, взявся? Як ти попав із станиці на степ? – спросил его отец Пётр, которому известен был Юхим.

– Та це ж я прийшов до вашого куреня, щоб побачити німецького плуга, – произнёс смиренным голосом послушного мальчика Юхим.

– Не бреши! – оборвал его отец Пётр. – Невже ж ти прийшов на степ тільки для того, щоб побачити німецького плуга? Нащо він тобі здався? І тебе для цього пустила на степ твоя мати?

– Це правда; не на це пустила. Мати приказали мені прийти на степ до Шмалька. Вони хочуть найняти мене на літо до його для послуг по хазяйству за два мішки пшениці, за сьоголітню ягничку та за кожу на нові постолы, хоч і ці ще добрі, – и он приподнял одну ногу в постолы, чтобы показать качество его. – До Шмалька я й прийшов, а там біля його куреня нікогісінько нема: ні його самого, ні живої душі з його двору, тільки кішка в курені як почуяла, що хтось прийшов, стала нявчати: «Няв! Няв!» Одчинить курінь та випустити кішку я поопасався, хоч і дуже жалібно вона нявчала. А то, чого доброго, старий Шмалько й чуба добре за це намне. Подумав-подумав я, та й надумав піти до вашого куреня та подивитись на німецького плуга, про який всі люде в станиці балакають. От як воно вийшло, що я в степ прийшов.

– О тепер і я бачу, що ти правду сказав, а я помилився, – заметил отец Пётр. – А все ж таки мені цікаво, як ти в степу курінь Шмалька найшов та і в наш курінь попав. Тиждень тому назад тут зовсім цього куреня не було.

– О! – воскликнул с улыбкой Юхим. – Про курінь ваш усі в станиці знають і всі дивуються, що він дуже гарний, його ж видно аж од Шмалька. А я ж той рік ходив у Шмалька за погонича та по іншим справам і заробив за літо мішок пшениці, добру торбину гороху та квасолі і оці постолы, – и он снова поднял попеременно обе ноги и показал постолы, добавив: – Хоч не нові, а добрі, от і забув! – спохватился Юхим. – Стара Шмальчиха подарувала мені за мої послуги цілий чорний смушок з ягняти на шапку, спасибі їй!

Мы внимательно слушали бойкого мальчика, а он, вздохнув, снова обратился, широко улыбаясь:

– Я догадався зараз. Ви ж мабуть забули, що коли одірвався од дрог ваш пристяжний кінь, он той, що пасеться! – указал он пальцем на пасшихся вблизи лошадей. – Та гайнув прямо до Шмалька в шлеї з его посторомками без узди, він скинув її з голови, так то ж я приманив його до себе куском хліба, а старий Шмалько взяв його на бичовку та й приказав до вас одвести. То я ж до вас пристяжного привів!

– Правда, правда, Юхиме, – заговорил отец Пётр, – я винний перед тобою, забув про це все, про що ти зараз мені розказав, а то я й не питав би тебе про те, як ти попав до нашого куреня.

– От як воно вийшло, – сказал Юхим. – Тепер і я бачу, що ви не щитаєте мене брехуном.

Затем он подошёл к отцу Петру, сложил руки накрест вверх ладонями и произнёс:

– Благословіть, батюшка!

Отец Пётр благословил мальчика, поцеловавшего его руку, пообещав мальчику показать немецкий плуг, а если Шмалько не явится к своему куреню, то и отвезти на следующий день Юхима домой.

– Поїдем вдвох з тобою на дрогах; ти сядеш за кучера та будеш править парою коней, – прибавил отец Пётр.

– От коли б Господь Бог так зробив, щоб Шмалько не приїхав до свого куреня. Тоді б мені довелось править парой коней. Цього ж мені так хотілось би, – простодушно заявил Юхим.

Все мы, не исключая и отца Петра, покрыли заветные пожелания Юхима громким хохотом. Мальчик был посажен в ряд с нами и накормлен обедом. Он ел с большим аппетитом, но исподволь присматривался ко всем нам. Насытившись, он встал на ноги и, повернувшись лицом к востоку, набожно перекрестился, поблагодарил за обед и низко поклонился всем нам.

Окончание наших прений на совещании мы оставили до ужина и принялись за свои обычные работы. В это время после обеда не полагалось отдыхать, как в жару при полевых и степных работах – при сенокосении и уборке хлеба. Отец Пётр отправился пахать, взяв с собою Юхима, которому он позволил ходить не только погоничем, на что предьявил свои услуги сам Юхим как опытный погонич, но и ходить даже плугатырём сзади плуга. Радости и восхищению Юхима не было границ. Его радовали не столько самые работы, сколько то обращение, какого он удостоился. Так хорошо со взрослыми ему было впервые в жизни, как он отзывался об этом приключении впоследствии.

Ужинать мы начали рано с вечера при свете заходящего солнца. Юхим, посаженный за общий стол, держал себя не по возрасту чинно и серьёзно, видимо, всячески стараясь не скомпрометировать себя чем-нибудь. Несмотря на то, что отец Пётр заранее предупредил его, что он может остаться у нас на ночлег, он ещё раз спросил разрешения у отца Петра и у нас остаться на ночлег в нашем курене, обещая, что рано утром он сбегает к Шмальку, чтобы узнать, не приехал ли он.

За ужином после первого блюда – горячего кулеша со свиной, мы продолжили наше совещание. Разрешено было несколько мелких вопросов, но о посеве семян разговоры несколько затянулись. Затянул их Васька. Опираясь на то, что посев от руки – одна из важнейших операций в земледелии и что он очень опытен в этом отношении, так как дома в своём селе он не раз сеял пшеницу и рожь, и даже в одном случае – овёс, он пытался доказать, что работа эта должна быть пору-



чена ему, как имевшему уже практику при посеве семян. В это время никто из нас не имел ни малейшего представления о том, что существуют сеялки, при помощи которых густой или более редкий посев можно регулировать механически с большой точностью. Сеяние семян в землю производилось очень просто – от руки, и действительно требовало от сеятеля некоторого искусства. Сеяльщик навешивал себе мешок с семенами через правое плечо на левый бок, брал семена из мешка правой рукой и разбрасывал их по пашне. Сеяли «густо» и «редко», в первом случае – в расчёте на получение большого при урожае количества зерна, а во втором – на повышение качества его, но результаты урожая определялись погодой, солнечными днями, влажностью и ветрами. При «густом» посеве урожаю грозило «полягание» растений, а при «редком» – понижение сбора зерна. Земледельцы это знали, и каждый сеял по своим соображениям. Но были очень искусные сеяльщики, виртуозы своего рода, получавшие за своё искусство повышенную плату. Они, однако, считались редкостью. Васька из кожи лез, стараясь доказать, что он до тонкости владеет посевной техникой и сам превосходный сеяльщик, а урожай зерна определяется исключительно удачным посевом его. По свойственной Ваське запальчивости, он хватил через край, выразившись, что из сотни земледельцев едва ли один найдётся сеяльщик, умеющий даже «разбрасывать зерно, куда попало».

В разгар этих прений слушавший их внимательно Юхим не утерпел и обратился к Ваське:

– Та воно ж зовсім не трудно сіять або, як кажете ви, рукою розкидати зерно. У нас в станиці всі хлопці, і самі маленькі, уміють посипати, чи сіять, зерно на Новий рік. Інший сіє тихо та гарно, що не чути в хаті, як стукотить горох або квасоля, перемішані з пшеницею або ячменем, а інший нарощне так шмальне, що од посіву аж стекла в вікнах брязчать. Отак, – произнёс он, став на ноги, – на щастя, на здоровля, на Новий рік! Роди, Боже, жито і пшеницю і всяку пашницю. Поздравляю вас з празником, з Новим Роком! Що ж тут трудного? – обратился он к Ваське. – Хіба у вас в селі не посипають? У нас не тільки старші люде уміють сіять зерно, але і хлопчакі. Розкидати зерно не трудно, а от зібрати його дуже важко, – философски закончил свою речь Юхим при общем хохоте присутствующих.

Молчали только Васька и Юхим. Васька не нашёлся, что сказать, а Юхим, видимо, уверен был, что он сказал всё, что требовалось, и сказал серьёзно, не для смеха.

Прения прекратились. Вынесены были два постановления. По первому из них решено было, чтобы в интересах ассоциации все умели сеять, и практически определилось, кто из нас самый искусный сеяльщик, а по второму постановлению выступить первым сеяльщиком предоставлено Ваське, и если он окажется самым искусным техником, то за ним и оставить эту профессию. Уменьше сеять зерно действительно было деликатной операцией в то время, и Васька, во всяком случае, был поставлен в должные границы, не оскорбительные для его самолюбия.

Я привожу все эти подробности с той целью, чтобы по сообщаемым мной фактам видно было, в каком направлении шла практическая деятельность нашей земледельческой ассоциации и в какой степени примитивности находилось местное хозяйство и вообще экономика в крае. Станица Бриньковская принадлежала к числу самых глухих и слабо затронутых культурным влиянием извне станиц, несмотря на очень благоприятные естественноисторические условия: обширный Бриньковский лиман, самая мощная степная река – Бейсуг, «князь степных вод» в переводе с татарского языка, обширная плодородная степь и огромный запас тепла в умеренном поясе земли. Но вся северо-западная часть Черноморья была первым этапом на пути развития Кубанского края в экономическом отношении, по культуре и агрикультуре и по завязавшимся торговым сношениям с Западной Европой. Несмотря на то, что на обширной степной площади этого района преобладающим занятием было ещё степное скотоводство, находившееся уже в последнем периоде своего исторического изживания, слабые проблески быстро растущей зерновой культуры становились основным двигателем экономики. Отсюда через портовый город Ейск пошли немецкие плуги, а потом – американский и другие усовершенствованные земледельческие орудия, и особенно сильно началось влияние международных торговых условий на производство тех продуктов земледелия, которые в обилии стали появляться в крае и экспортировались в Западную Европу. Наша земледельческая ассоциация попала уже в этот круговорот разраставшейся экономической жизни и роста Кубани.

Начало слегка темнеть, когда мы решали последний вопрос, возникший на совещании. Несмотря на то, что наша репутация находилась на хорошем счету у местного станичного населения, мы хорошо понимали, что нам необходимо было вести себя так, чтобы не только не поколебать этой репутации, но и сделать что-нибудь такое, что ещё

более связывало бы нас с населением. Отцу Петру пришла в голову мысль, что хорошо было бы, если бы мы образовали хор и пели в церкви. Это, несомненно, сблизило бы нас со станичниками, что важно было бы в целях пропаганды идеи ассоциации в среде местного населения. Все схватились за эту мысль, и всем казалось, что мысль эту легко осуществить. Отец Пётр был бы регентом, можно было бы завербовать в нашу компанию Нифонта и ещё какого-нибудь казака, который недурно пел на клиросе басом. Мы уверены были, что оба эти лица охотно примут участие в хоре. Возлагались большие надежды на Грачёва, который близко к сердцу принял мысль отца Петра и сам заметно оживился. Он дирижировал бы хором на клиросе. Одним словом, так или иначе, а осуществить мысль отца Петра оказалось возможным. Но как это сделать?

С ранней весны, целое лето и до поздней осени мы будем в степи, из которой хору нужно выезжать в воскресные и праздничные дни в станицу. Но это дни нашего отдыха, особенно летом, в страдную пору. Положим, отдых можно заменить прогулкой. Тем не менее, надо будет спешить в станицу и обратно, чтобы не потерять времени богослужения в станице и своих работ в степи. Такая прогулка, близкая к повинности, иной раз с неохотой будет исполняться. Отец Пётр нашёл возможным в горячее время работ, таких, как при сенокосении и уборке хлеба, совершать служение без певчих. Тогда и прихожан бывает мало в церкви. Только в такие праздничные дни, как Троица и два дня святков Петра и Павла, можно свободно и отдохнуть, и побывать в церкви, не нарушая налаженного хода работ. Вообще присутствие певчих в церкви важно в высокаторжественные дни, когда люди переполняют церковь. Все согласились с предложением отца Петра.

Возникло другое затруднение. Уезжая из степи, мы не могли оставить без всякого призора курень, имущество и скот. Васька раз уже оставался при курене и охотно соглашался на это и впредь. Но когда возникла мысль о хоре, он не хотел и слышать о том, чтобы оставаться в степи. Он непременно хотел быть в хоре и петь на клиросе. Другого кандидата на место Васьки не было. Все желали быть в станице и участвовать в хоре. Случайно я взглянул на Юхима. Он внимательно слушал наши споры, но сидел в позе пригорюнившегося мальчика. Меня осенила блестящая мысль.

– Юхим! – обратился я к нему. – Що ти робив у Шмалька?

– Що? – повторил он. – Усе, що требувалось, і погоничем ходив, волів пас, напував, і казанки та посуду банив, і сторожем був біля куреня...

Я перебил мальчика и обратился к отцу Петру.

– Побалакайте з Юхимом, – сказал я ему. – Може ми однімем мальчика у Шмалька. Все одно прийдеться взяти якого-небудь хлопця.

– А мене? – спросил Юхим, услышав последние мои слова.

– Тебе, – ответил я Юхиму, – ставлю я на перше місце. Ти самий бажаний для нас хлопець, й ми...

Юхим перебил снова меня. Он вскочил на ноги, подошёл ко мне и, упав на колени, прислонил свою голову к моим коленам со словами:

– Спасибі вам! Спасибі!

Что он хотел выразить этим, я не задумывался, но Юхим тронул всех нас. Ясно было, что он понял мою мысль и желал остаться у нас, а не у Шмалька.

– Все одно у нас багато таких робіт, на які нам самим не слід тратити сили, – заговорил я вслух. – Юхим може і волів пасти та напувати, і курінь, коли треба, постерегти, і нам буде веселіше з ним. Побалакайте, Петро Яковлевич, з ним; ви ж знаєте і його матір, і його самого.

Меня поддержали все товарищи. Случайно попавший к нам живой, умный и находчивый хлопец всем понравился, и главное – развывал вопрос об охране куреня и об уходе за скотом во время отъездов наших в праздничные дни в станицу.

– Так, значить, Юхиме, – обратился отец Пётр к нему, – Шмалька по боку, а ти будеш у нас на хазяйстві.

– Хоч і по двох боках, так ще краще буде, – прибавил Юхим.

– Чого ж ти так напустився на старого Шмалька? – спросил его отец Пётр. – Хіба він до тебе дуже ворожий дід?

– Нехай Бог милує од цього! – воскликнул Юхим и замахал протестующе руками. – Він не ворожий дід та й не дуже гарний. Їжа у його гарна, і їж, скільки хочеш. Дуже він ворчливий і часто сердиться. Він не міг зрозуміти мене, як слід, зробиш гарно, він тебе лає, зробиш погано і сам це бачиш, а він не тільки не гримає на те, а ще й хвале та дякує. Більш всього шпигує. Та буває і так, що інший раз за чуба як схопе, то аж до землі пригне, а то і стусана по потилиці як дасть, то полетиш од його, як бомба. Старий, а силу і кулак добрий ще має.

Поднялся весёлый смех. Когда же он затих, то Юхим снова заговорил, обращаясь прямо к нам, а не к отцу Петру.

– Про вас же люде кажуть, що ви за чимирь тільки німецький плуг берете, а такого хлопця, як я, буцімто і пальцем не торкнете, – проговорил Юхим, слегка конфузясь и краснея. – Це ж правда?

– Правда! – ответил за нас отец Пётр.

– Ось бачите! – более уверенно заговорил Юхим. – У вас і харч такий, який мені тільки на Великдень та на Різдво приходится куштувати. Он і чаєм з сахаром мене напоїли, а я ж його, може, в другий чи то в третій раз п'ю за все своє життя. Так чого ж мені ще треба? Аби прийняли, а я зумію, що треба зробити, – закончил Юхим свою речь тоном бывалого взрослого парня.

Отец Пётр подробно расспросил Юхима, почему мать решила отдать его внаймы к Шмальку, а не к кому-нибудь другому. Оказалось, что матери было безразлично – отдать Юхима в наймы кому бы то ни было, лишь бы дали хорошую плату. Если ж она узнает, что Юхим поступил к отцу Петру, а не к Шмальку, то сильно обрадуется этому. Что же касается Шмалька, то когда он узнает об этом, «то тільки потилицю поскребе, а нічого не скаже, бо він ні за що не піде проти отця Петра».

Таким образом, сразу были разрешены два в высшей степени важных в нашем положении вопроса – об организации церковного хора и о найме Юхима для ухода за скотом и охраны куреня с имуществом. Я сразу же предложил окончательно выяснить условия, на каких мы можем взять Юхима к нам в помощь, чтобы знал это сам он и его мать. Это же пожелали выяснить и остальные члены ассоциации. Отец Пётр предложил самому Юхиму выбрать одно из двух условий: или получит деньгами девять рублей за шесть месяцев пребывания у нас, или же ему будет шито всё новое: чоботы, штаны, балахон, шапка и суконная свитка от дождя. Юхим предпочёл одежду деньгам, но со своей стороны добавил, что новой шапки не следует покупать, а надо только пошить из того смушка, который у него был уже. Когда же, по соглашению с товарищами, я сообщил Юхиму, что если будет урожай хлебов, который даст нам деньги, то мы доплатим ему и девять рублей деньгами за то, что он будет стеречь хлеб от потравы и хорошо ходить за скотом, Юхим растерялся и не знал, кого и как благодарить, кланялся отцу Петру, кланялся мне, Ваське, Попке и Грачёву.

Придя в себя, Юхим разразился целой речью:

– Оце я не ждав, не гадав, серцем не відчував, яким щастям на мене повіяло. Саме все без мене зробилось. Дуже я радію, і мати порадаються. Восені я буду вже майже повний козак. Все буде у мене, а

черкеску та кинджал на той рік зароблю. Інший на моєму місці співав би та танцював, а я тільки одного бажаю, щоб був врожай на хліб та на гроші. Буду зранку і звечора Господу Богу молитися, щоб він послав урожай мені на поміч. А тепер, що прикажете, буду зразу усе робить, а про що забудете приказать, про те я і сам догадаюсь!

Юхим сразу произвёл на всех нас прекрасное впечатление, а меня поразил он своим выступлением и умением держать себя самостоятельно. Разговоры наши закончились весело. Отец Пётр, чтобы придать компании ещё больше оживления и весёлости, шутливо обратился к Юхиму:

– А ти, Юхиме, щоб було усім веселіше, то заспівав би нам, або потанцював.

– Е-е! – произнёс протяжно Юхим. – Танцювать я не буду й не можу.

– Чом? – спросил его отец Пётр.

– Не люблю танцювать, – сказал Юхим. – Коли хто танцюристий, то то вже і зазнавака. Ніс угору дере, а про те забувається, що він чваниться не головою, не розумом, а ногами.

Мы весело хохотали и донимали друг друга остротами и шутками. Так как в это время сильно стемнело уже, то мы поддерживали довольно яркий костёр. Отец Пётр продолжал шутливый разговор с Юхимом.

– А співать же ти умієш? – говорил он Юхиму. – Ну, повесели нас, хоть заспівай нам!

– Це можна, як усі цього бажають, – изъяснил своё согласие Юхим.

– Усі, усі бажаєм! – закричали с разных сторон.

Юхим откашлялся, приготавливаясь к пению, и на том месте, где стоял, сел на землю, принял позу пригорюнившегося хлопца и чистым, звенящим голосом, упёршись подбородком в приподнятую руку, запел:

Як зачула моя доля,  
Що й не бути хлопцю дома.  
Бути йому у неволі,  
У залізах у замкові  
Молодому козакові.

Я не помню рифмованного конца песни, но в ней ярко оттенялось трагическое положение рекрута, казака-украинца, отданного в солдаты. Эту песню Юхим усвоил от украинцев, приходивших в Черномо-

рию на заработки в пору сенокосения и уборки хлебов. Юхим пел с большим воодушевлением. При полной тишине в степи яркий костёр хорошо освещал лицо и позу пригорюнившегося певца, а чисто гармоничные звуки его голоса, казалось, летели вместе с искрами костра вверх, в степную темноту.



Глава IX

## Начальная работа земледельческой ассоциации

**В** то время в земледельческом хозяйстве казаков станицы Бриньковской, как вообще в Черномории, преобладали весенние посевы. Культура озимых хлебов была слабо развита. Сеяли обыкновенно одну озимую пшеницу. Ржи не было и в помине. Местное население совсем не потребляло ржаного хлеба, а дети, подростки и многие взрослые даже не видели его, зная лишь, что это чёрный, а не белый хлеб. Весенние же посевы охватывали целый ряд хлебных растений, корнеплодов и овощей. Сеяли два вида пшеницы – «арновку» и «гирку», или «красную», ячмень, овёс, просо и лён; на баштанах хорошо родили арбузы, дыни, огурцы и тыквы; в недостаточной степени развито было ещё культивирование картофеля и свёклы; кукуруза как лакомство в виде варёных кочанов культивировалась большей частью на баштанах, на которых торчали также и подсолнухи; мало возделывалось фасоли, гороха. Мы решили ограничиться поднятием одной десятины целины: три четверти её – под баштан, а остальную четверть – под пробные посевы проса и льна. Для распашки под эти культуры требовалось пустить сабан. Решено было в первую очередь и заняться этими работами, так как с баштаном мы немного опоздали. Целину мы подняли сабаном в четыре пары волов.

Плуг удалось так хорошо наладить, что пятая пара волов оказалась излишней. И этот факт послужил нам на пользу.

– Вони ж, – говорили казаки о нас, – і цілину – орють чотирма парами волів, а ми без п'ятої пари не обходимося.

Вместе с тем начала слагаться и устанавливаться и наша внутренняя жизнь – регулярные работы, хлопоты по мелочам, короткие промежутки работ от еды до еды – до завтрака, до обеда, до полдника и до ужина, часы товарищеского времяпрепровождения после ужина и часы крепительного сна ночью. Так проходили наши степные будни. Праздники или собственно воскресенья, дни отдыха после длительных напряжённых работ проводились частью в курене, частью в станице, когда являлась возможность петь хором. При работах, которые не терпели отлагательства, интенсивно велись до позднего вечера в субботу и требовали напряжения сил с раннего утра в понедельник, мы не покидали степного куреня. Тогда воскресный день предназначался для отдыха и любимого времяпрепровождения по вкусам и наклонностям каждого члена. Когда смежные с воскресеньем дни проводились не на напряжённых работах, требовавших ускорения или окончания цикла их, ранним утром в воскресенье мы уезжали в станицу, пели там хором в церкви и поздно вечером возвращались в степь.

Наш несравненный Юхим оказался прекрасным помощником в этом отношении. Благодаря ему мы имели возможность посещать станицу, а его уход за скотом развязывал нам руки при ведении работ. Мы полностью использовали наши силы при вспашке земли и посевах и привыкли к известному соизмерению труда с условиями его приложения, заранее учитывая, какой урок и в течение какого времени мы могли выполнить. Часов – ни стенных, ни карманных – у нас не было, но мы умели мерить время промежутками между едой, сообразно с требованиями зубов и желудка и указаниями солнца. В течение первой недели мы возились с распашкой целины – пять дней ушло на пахоту, а шестой – на посадку семян на баштане и на посев проса и льна. Затем, во всё остальное время, работы производились в две смены: двое пахали мягкие земли немецким плугом, а двое скородили вспаханную землю и сеяли; они же вели кухню – готовили обед, а завтрак, полдник и ужин мы устраивали все сообща.

Нельзя сказать, что дело шло, как по маслу, или, по нашему выражению, колесом. Несколько дождливых дней нарушили заведённое чередование работ. Всё время приходилось или просто отлёживаться в курене, или приводить в порядок мелкий инструмент: сбрую, гра-

бли, зубья для них, или же, наконец, кейфовать: спать, читать, вести разговоры. К нашему счастью, промежутки перерыва в работах были непродолжительными и не внесли сколько-нибудь заметных осложнений в обычный ход основных работ. Вспашка земли и посевные работы были окончены далеко раньше, чем началось сенокосение, и у нас образовались своего рода каникулы, когда мы изредка лишь были заняты одним чищением баштана от сорных трав и растений. Хлебных злаков мы не пололи. Пшеница и ячмень, на которые была затрачена главная масса работ, вышли более или менее удовлетворительны с незначительной засорённостью травами и растениями.

Всё время мы работали не только усердно, но и дружно. Никаких ссор и пререканий между нами не было. При обилии работ даже Васька забыл свои привилегии на посев зерна, охотно предоставлял сеяние зерна другим, кто желал поучиться этому искусству, а сам рьяно брался за неотложные работы. Можно сказать, что эти первые шаги практической деятельности ассоциации были если не образцовы, то, во всяком случае, безукоризненны. Я не ожидал столь удачного движения наших дел – не потому, конечно, что сомневался в понимании своих обязанностей и в моральном настроении товарищей, а потому, что для нас это было совершенно новое дело, и если не особенно сложное, не головоломное, то, во всяком разе, не для всех технически знакомое. При работах никто не терял времени, не жалел своих сил, но быстро усваивал несложные приёмы работ и умел обращаться с орудиями – с плугом и боронами. Не было даже надобности в каком-либо руководстве или дирижировании сложившимся ходом работ. После совещания отец Пётр фактически сложил с себя обязанности руководства; дело по своей простоте и посильности само собою двигалось вперёд, день за днём шли одни и те же всем доступные и посильные операции, и каждый старался тщательно выполнять их, в силу лежащих на нём обязанностей.

Но время отдыха было временем полной свободы, каждый отдыхал по-своему. Все вообще старались в течение двух ночей, а иногда и с захватом части воскресного дня выспаться вдоволь, до полного восстановления израсходованных сил. Независимо от ночи, все понемногу днём кейфовали, лёжа на подстилке или на зелёной траве и расправляя свои уставшие члены. Больше всех любил кейфовать Попка.

Обыкновенно Грицько полулежал в полузабытьи и любовался полётом птиц, произнося по несколько раз некоторые изречения, чаще всего: «Ты воспой, воспой, млад жавороночек, сидючи весной на про-

талинке». Васька, также в полулежачем положении, или что-нибудь под нос себе мурлыкал, или же заботливо разбирался в каких-нибудь вещах – собственных и хозяйственных. Грачѳв в праздники верхом на савраске уезжал домой в станицу. Я же чаще всего брался за книгу. Отец Пѳтр выписывал журнал «Дело», и я от крышки до крышки поглощал содержание журнала. Нужно сказать, что моему примеру почти никто не следовал. Иногда журнал «Дело» я тискал в руки своему другу Грицьку Попке. Обыкновенно он молча брал книгу в руки, лёжа перелистывал её, изредка прочитывал страницу или две, но потом клал её рядом с собой. Но чаще всего он просто любовался степью, когда при подходящей погоде она наиболее ярко блестела и просилась в глаза.

Степь оживляющим образом действовала на нас обоих. В минуты отдыха мы любили осматривать её в разных направлениях и ловить малейшие движения в её жизни. Не степняку трудно понять чувства степняка, пожирающего степь глазами и улавливающего ухом бесконечные трели насекомых и птиц. Не степняк ноет и томится в степи, поражаясь кажущимся её однообразием и монотонностью. Степняк, наоборот, нигде не чувствует такой близости к природе и единения с ней, как именно в степи. Небесный свод и ровная ширь под ним дают его взорам полный простор для наблюдения природы в её жизни и движении. В кажущемся сообразном покрове степи таится своеобразная красота степной растительности и целый мир живых существ, начиная с мелких, почти микроскопических козявок и насекомых и оканчивая пернатыми и млекопитающими. Высоко-высоко в небесной синеве парят цари птиц – орлы – на своих огромных и мощных крыльях, а внизу на земле копошатся божьи коровки, ползающие на стебельках растений и при движении красиво раскрывающие свои маленькие крылышки с перламутровым беленьким отблеском. Кто посмеет сказать мощным орлам и крошечным божьим коровкам: «Вы ничто в степной природе»? В одном месте мерно и величественно ходят дрофы, высоко поднимая на длинных шеях зоркие головы, а всюду по степи сотнями и тысячами голосов жаворонки поют гимны матери-степи. Это ли не родные дети родной их матери – степной природы?

В степи спаяны и тесно переплетены жизнь и движение животных организмов с организмами растительного царства. В таком виде и самая степь является не мѳртвым балластом мѳртвой материи, а чем-то большим, жизненным и цельным. Степь живѳт и меняется не по временам года, но в каждый момент меняющихся условий. При ясной

погоде и полной тишине весенняя степь как бы замирает в сладостном томлении. Она не движется и не шумит. Но чуть лишь коснѳтся лёгкое дуновение ветерка поверхности степи, как степь оживает, шелестит и отзывается, точно шѳпотом разговаривают между собой встревоженные растения. А если лёгкий ветерок заменяется настоящим ветром, то по степи проносится степной говор, и кажется, что степь вступила в жаркий спор с ветром. Когда же на степь нагрянет сердитая буря или свирепый ураган, то она приходит в сильное волнение, и по её поверхности ходят такие же волны и буруны, как в открытом море или в безбрежном океане.

И не раз мы вдвоѳм с Попкой были свидетелями того, что гордая, в полном расцвете весенних сил и красоты степь ни перед одной стихией не клонила своей головы. Ни буря, ни ураган, ни сокрушительный ливень не в силах были сломить степь в её весеннем росте и расцвете. Пройдѳт буря, перепутает она степные растения, растреплет и разорвѳт нежные лепестки растений и цветов, но пройдет день или два – и под живительными лучами солнца степь снова появляется во всѳм своём блеске и красоте. Точно так же грянет стремительный ливень, смочит растения от верхушек до корней, померкнет лоск степи на обильно орошѳнных дождевой водой растениях, но как только проглянет солнце и согреет свою теплотой растительность – и снова во весь свой рост воспрянет степь в полной красоте и силе. Стройно выравниваются растения, показываются новые побеги и цветы, и ослепительной зеленью покрывается и горит вся степь из края в край. В борьбе со стихиями она остаѳтся стойким, бодрым и несокрушимым в своей красоте великаном.

Но странная участь постигала степь в полном развитии её сил и расцвете красоты. Не буря, не ураган и не ливень были её смертельными врагами, а крошечная полоска железа со стальным лезвием. Коса в руках человека или в косильной машине несла смерть степи, срезая под корешок её растения. Ещѳ страннее было положение обожателей красот степи. Я не могу без комизма и горечи вспомнить того момента, когда мы, поклонники и обожатели красот степи, с жадной жаждой наслаждений ожидали смерти той же степи. Заранее мы отбивали и острили косу, приправляли её к деревянному косовищу и, взяв правую рукою за ручку косовища, а левую – за его верхний конец, пробовали взмах косы. Молча и напряжѳнно мы проделывали устрашающие степь приѳмы, а наши позы и сокровенные намерения без слов и восклицаний, казалось, любезно грозили нашей излюбленной краса-

вице: «Обожди, прелестная степь, мы тебе покажем кузькину мать!» Без прикрас и разъяснений суровой необходимости мы обращались из эстетов и обожателей красавицы степи фактически в её разбойников и палачей. Это ли не злая насмешка над жизнью органических существ и не трагикомедия разумного существа – человека?

Пока степь ждала нас к себе в гости с косами, граблями и вилами в руках, мы успели в этот короткий промежуток отдать должную дань станице. В первое же воскресенье, когда мы в составе шести человек заняли правый клирос в маленькой станичной церкви, она была переполнена народом не только внутри её, но и вне, в церковной ограде. То же повторилось и на второе воскресенье. Наше выступление в церкви произвело на население едва ли не большее впечатление, чем решительная победа над немецким плугом. Жители не по рассказам, а воочию увидели хор и слышали его пение. Наше, нельзя сказать, стройное и артистическое пение принято было, тем не менее, с надлежащим вниманием и с не в меру увеличенными похвалами. Маленький храм никогда ещё не оглашался хоровым пением. И в этом уже крылся залог нашего успеха. Присутствовавшие в храме, наверное, не улавливали тех, правда, немногих моментов, когда мы вздорили и пели по поговорке «кто в лес, кто по дрова». Важно было, что мы пели. Факт был налицо. И нас во второй раз признала станица желательными пришельцами. На большее, понятно, мы не могли рассчитывать, но это был, во всяком случае, факт. Под ногами, казалось, чувствовалась твёрдая почва для дальнейшей деятельности и выступлений. На степи мы почти не говорили об этом успехе и не строили на нём многообещающих предположений. Достаточно было для нас одного голого факта. Нас знало население, и мы знали его отношение к нам.

Но кроме рядового населения, собственно трудовой массы, были у неё и верхи – паны офицеры и одиночные представители, или, скорее, представительницы, близкие к нам по молодости лет в их рядах. По слухам, верхи, так же, как и рядовое население, отнеслись к нам со вниманием. Кроме отца Петра и диакона Грачёва с его семьёй, мы не были знакомы ни с кем из верхнего слоя местных жителей. Но на нас, по рассказам отца Петра и Грачёва, господствующий класс смотрел, как на людей своей среды, и отдельные лица из неё выражали желание познакомиться с нами. Выехав из семинарии с закваской в голове протестанта против привилегированных классов, от верхов я не ожидал ничего полезного для преследуемых нами целей и не особенно рвался

к знакомству с людьми, которые могли косо отнестись к нам как к демократическим сторонникам трудовой массы. Но мои товарищи и отец Пётр проще смотрели на ту среду людей, в которой они как свои вращались. То обстоятельство, что мы всё-таки считались своими, а как интеллигенты – даже интересными незнакомцами, добровольно спустившимися с верхов на низы физического труда и трудовой массы, признавшей нас, окончательно решило вопрос о наших отношениях к верхним господствовавшим слоям казачьего населения. В лице старых офицеров, людей, по преимуществу, демократических, мы нашли несомненных сторонников, не гнушавшихся лично физическим трудом и умевших ценить его. В среде же молодёжи у нас была уже сторонница, родная сестра Грачёва, молодая и симпатичная девица, дружественно встретившая нас, когда мы неожиданно появились вместе с её братом в их семье. Мария Аггеевна по своей простоте, сердечности и непритязательности была неизменной приятельницей чуть ли не всей местной молодёжи и имела в лице одной, самой близкой её подруги, живой и экспансивной красавицы, демона-искусителя. И вот не столько Мария Аггеевна, сколько её энергичная приятельница поставила дело нашего знакомства с молодёжью на надлежащую почву. Прежде чем мы надумали завести знакомство с казачьей знатью, нас атаковала в самой степи, на лоне степной природы, эта приятельница Марьи Аггеевны – молодая, красивая, энергичная, остроумная и жизнерадостная девица. Это было неожиданное для нас происшествие. В нашей глухой степи с серыми её буднями и напряжённой утомительной работой появился демон-искуситель.

После первого или второго посещения нашим хором церкви, на следующее воскресенье мы не поехали в станицу, а остались на степи в курене, чтобы хорошо отдохнуть и закончить возможно скорее наши главные работы перед наступающим периодом сенокосения. Стояла тихая и тёплая весенняя погода. Пообедав очень рано в воскресенье, не прибегая к завтраку в расчёте на более длительное и безмятежное отдохновение, мы расположились возле куреня на подстилках и предались созерцательному времяпрепровождению и соблазнительной дремоте. Попка лежал на спине и, вперив при этой позе глаза в небо, внимательно следил за летавшими высоко жаворонками. Васька полулежал с носогрейкой в зубах и высказывал искреннее сожаление о том, что мы остались в степи и не пели громогласно в церкви.

– Эх, хотя бы разок как следует грянуть «Многая лета», – мечтал он в чайнии проявления своего баса во всей его силе.

Грачёв, почему-то не уехавший домой в станицу и часто утверждавший, что нет более приятного сна, как в степи весной при тёплой погоде и лёгком ветерке, сладко спал на подушечке возле нас. Повалившись на правый бок, глядел и я на ту часть небосклона, которая доступна была моему зрению. Следя за тем, как плавали на отдалённом горизонте небольшие тучки, и сравнивая их фигуры с разного рода зверями и птицами, я чувствовал прилив сладостных ощущений одолевавшего меня сна. Тишина была поразительная. По случаю воскресения и пребывания степных тружеников в станице, не было ни малейшего движения ни на дорогах, ни вообще в степи. Открыв спавшиеся уже от дремоты глаза, я вдруг заметил, как на нашей дороге показались небольшие дроги в одну лошадь и восседавшие на них две незнакомые при значительном расстоянии от нас фигуры. Сонливость, как рукой, кто-то снял с меня. В степи были редкими явлениями проезды, чужие дроги и неведомые пока лица.

– Здається, хтось їде до нас! – предупредил я товарищей, сидя на подстилке.

Все встрепнулись и, направив глаза на дорогу из станицы, стали всматриваться в неведомые фигуры, недоумевая: кто бы они были?

– Это не мужчины, а женщины, – высказал предположение Попка.

Васька был того же мнения.

– Удивительно! – воскликнул я, хорошо различая женские костюмы.

Ни одна женщина не посещала ещё ни нас, ни нашего куреня. Разбудили местного жителя – Грачёва:

– Дивись, Кирило, хто до нас їде?

Кирилл поднялся, протёр глаза и сразу же узнал, кто были наши посетительницы.

– Та то їде, – сказал он уверенно, – моя сестра Маруся, а з нею – «краса природы и совершенство», – продекламировал он взятое им откуда-то изречение и звонко поцеловал кончики своих пальцев.

Нас заинтересовал этот приём Грачёва и необычное посещение нас, кавалеров, двумя барышнями. Мы вскочили на ноги, привели костюмы наши в порядок и всею группой встретили наших посетительниц с явным удовольствием и с нескрываемою радостью.

Сестру Грачёва мы хорошо знали, так как были приняты её семьёй, и особенно самой Марьей Аггеевной, ведавшей кухней и столом, как свои близкие люди. Это была взрослая девица лет девятнадцати, тихое, смиренное и симпатичное существо. Несколько ниже среднего ро-

ста, она выглядела довольно полной по фигуре девицей, белолицей и краснощёкой, блондинкою, с правильным овальным складом лица, с доверчивым светлым взглядом и мерными движениями при разговоре и в обращении. По внешним признакам она сильно напоминала своего отца и брата Кирилла, но резко отличалась от них своею флегматичностью. Она считалась большой приятельницею отца Петра, который с уважением относился к ней и очень ценил её дружеские отношения к нему. Впоследствии, когда отец Пётр снял с себя священнический сан и рясу, они поженились и обвенчались. Марья Аггеевна была для нас, следовательно, своим человеком и приехала в степь к своему родному брату, в первый раз почему-то не явившемуся в воскресный день домой в станицу. В приезде её к нам не было ничего странного и незаурядного. Она приехала к брату и действительно была несколько встревожена его появлением в обычное время в семье. Но кто такая была подруга Марьи Аггеевны, при одном воспоминании о которой Грачёв целовал кончики своих пальцев? Мы были в большом недоумении, так как не успели расспросить Грачёва об этой особе. Но достаточно было самого беглого взгляда на незнакомку, чтобы вполне понять тот восторженный приём, который пустил в ход Грачёв, образно передавший свой отзыв о незнакомке.

Это действительно была удивительная казачка-красавица. Но в ней поражала не сама по себе античная красота, сколько проявление её в духовной экспрессии и в полных изящества и гармонии физических движениях. Я ни фамилии, ни отчества нашей гостьи не помню, но помню, что она была дочерью какого-то больного старика, войскового старшины по фамилии Мулява, за которым она ухаживала с истинно дочерней привязанностью. Не успела ещё Марья Аггеевна отрекомендовать нам близкую и любимую ею подругу и познакомить её с нами, как Анюта уже вошла в свою роль и, указывая красивым жестом на свою лошадь, товарищеским тоном обратилась к нам:

– А ну лишень, козаченьки, візьміть мою коняку та розгнуздайте їй дайте їй отої зеленої травки, – и она указала на кучу свеженакошенной травы.

Со всех ног, как говорится в таких случаях, Васька бросился «до коняки» и быстро выполнил приказание приехавшей к нам экстравагантной незнакомки, сразу пленившей нашего привередливого товарища и невоздержанного спорщика.

Надо заметить, что наши черноморки вообще отличались отсутствием напускной важности и женского жеманства, вели себя непри-



нуждённо и при разговорах в карман за словом не лезли. Тон и манера обращения Анюты с нами были характерной чертой черноморок, раз они знали, с кем имели дело и в каких условиях приходилось им действовать. Но Анюта поразила меня и Попку своею утрированной, казалось нам, развязностью. Одновременно я и Попка взглянули на стоявшую в элегантной позе Анюту и переглянулись друг с другом. Наши мимические движения не ускользнули от зорких глаз гости, и, обращаясь к нам, она с очаровательною улыбкою произнесла:

– Вибачайте, панове, що я так панькаюся з своєю конякою і не прошу вас – будьте ласкаві, а просто по-козачому натякаю, що коняку треба погодувати, дати корму коневі – діло хлопчаче, а не дівоче. Та й я ж таки ваша гостя, хоч і кажуть, що непрошений гость гірше татарина. Ви кругом в цьому винуваті. Чом ви не співали в церкві? Я нароще приїхала із хутора в станицю, щоб вас у церкві послухати, а вас немає. «Де вони?» – питаю Марусю. «На степу», – каже Маруся. «Поїдем на степ», – кажу я. От і приїхали. А тепер і в голову не візьму, з чого мені починати у вас. На що ви розгартіяш такий наробили, що дівчата до хлопців привалили?

И Анюта так громко и заразительно расхохоталась, показывая красивые и белые, как слоновою кость, зубы и комически угрожая нам рукой, что мы сразу перестали церемониться и все искренне хохотали. Не было уже ни переглядывания, ни принужденности. Казалось, что все мы свои и давно друг друга знаем.

Простота Анюты, шуточный тон её речи и естественные изящные движения без всякого намёка на спекуляцию своей красивой фигурой и красивым лицом произвели на всех нас сильнейшее впечатление. Анюта как бы не знала и не обращала внимания на то, чем наградила её природа, и, видимо, не особенно заботилась о шегольском костюме и одета была в какую-то смешную ярких цветов кофту с удлинённой в виде хвоста задней частью. При начавшемся оживлении в нашей компании она подошла к стоявшей Марье Аггеевне и слегка облокотилась на её плечо. Две фигуры были перед нашими глазами, точно кто-то нарочито поставил их рядом для сравнительного сопоставления. Обе они сильно отличались одна от другой и наружным видом, и темпераментом, и манерой обращения с людьми, но были так близки и сердечно связаны между собой, как редко это встречается у людей.

Маруся была значительно ниже ростом Анюты, но не портившая девичьей фигуры полнота с поразительною наглядностью оттеняла и

выдвигала на глаза зрителя её высокий рост, стройность и гибкость девичьего торса и на диво гармоничное сочетание всех форм в фигуре красавицы Анюты. Природа не погрешила ни против гармонии, ни против изящества частей в целом, ничего лишнего не прибавила и ничего нормального не испортила в красоте и симметрии её фигуры, в изящных движениях и в выражении лица.

Белолицая Маруся с широко разлитым румянцем на щеках её милого лица, отражавшего добродушие и приязнь, мало походила, однако, на Анюту, у которой сквозь чересчур заметный загар щёк также слабо проглядывал румянец, но от каждой жилки её красивого лица, казалось, веяло экспрессией внутренней психической силы.

Спокойная и уравновешенная блондинка Маруся производила впечатление флегматичной натуры, а энергичная и подвижная шатенка Анюта горела в сангвиническом темпераменте. И это с особою силою отражалось в движениях обеих девиц. Маруся была воплощением часового маятника, методично отбивавшего её добродушие и сердечную теплоту, а Анюта представляла живую фигуру, из которой фонтаном били задор, остроумие и жажда духовного общения.

И вот эти две девицы, подруги, близкие между собой и как бы дополнявшие одна другую особенностями их натур (одна – спокойная и уравновешенная в своих моральных поступках, а другая – стремительная и одарённая избытком физической красоты и духовных сил, рвавшихся наружу), были инициаторами нашего знакомства и взаимных отношений с нами и с молодёжью их круга. Они втянули нас в атмосферу знакомой нам жизни от тяжёлого физического труда. Коноводом была, конечно, Анюта.

Не получив от нас ответа на вопрос, с чего она должна была начинать, Анюта решительно обратилась ко всем нам:

– Так от що я скажу вам – співайте мені усі зараз! Бо не даром же я приїхала в станицю, а із станиці аж до вас?

– Що ж прикажете співати, – отвечая красавице в тон, спросил её Попка, – чи «аллилуя», чи «Исайя, лікуй»?

Анюта ничуть не смутилась, подошла к Попке, встала рядом с ним в пару и сказала:

– На увесь степ співайте «Исайя, лікуй!», – чем ошеломила расхраб्रившегося Попку.

Вместо пения «Исайя, лікуй» раздался оглушительный хохот. Анюта смотрела на нас укоризненно, покачивая своей красивой головой. Мы провалились в главах Анюты. Никто не нашёлся, чтобы заты-

нуть «Исайя, ликуй». Когда хохот стих немного, Анюта с мнимо сердитым видом разразилась:

– Ну що це ви наробили? Ви ж самі себе покарали – свадьбу в степу пропустили і мене на увесь степ осоромили – вдовой мене по степу пустили!

Раздался снова громогласный хохот.

Около четырёх часов прогостили у нас Анюта и Маруся. Веселье, что называется, лилось рекой через край. Главным действующим лицом была, конечно, Анюта, поражавшая всех остроумными выходками и никого не оставлявшая в покое. Грачёву, которого она с детства знала, по-товарищески отпустила комплимент:

– Ви поганій грак, але добрий шпак, бо грак каркає по-грачиному, а шпак співає по-людському. Це вам більше личе.

Ваське Анюта сказала:

– По дорученню коняки, дякую вас за зелену траву, яку коняка поїла і дуже вас за ту траву хвалила.

Со мной Анюта учинила форменное состязание, характерное для того времени и для той молодёжи, в среде которой я вращался как равноправный её член в часы коротких отдыхов от физических работ. Анюта подошла ко мне почти вплотную и пресерьёзно спросила:

– Мені сказали, що на німецькому плузі ви собаку з'їли. Невже ж ви собачину кушаєте, і хіба це правда?

– Правда, – ответил, – та тільки така, як та що буцімто плуг, як собака, гавкає, а собака, як плуг, землю оре.

– Вибачайте! – заговорила она быстро. – Про що вас питаю. Що ви маєте у себе в роті – чи язик, чи бритву? – со смехом спросила меня, поддержанная смехом всей компании.

– Про це ви мене не питаєте, – ответил я, – а краще пошліть через мої зуби в мій рот свої тоненькі пальчики. Нехай вони пощупають, що там, у мене в роті – чи язик, чи бритва?

– Так пальці не балакають і нічого мені не скажуть, – возразила она.

– Ні, ви помиляєтесь. Вони вам скажуть, як мої зуби з ними побалакають, – пояснил я.

– Та вас, мабуть, не переспориш! – махнула Анюта рукой, уходя к Марусе.

Уезжая, весёлая и довольная своим знакомством с нами Анюта взяла с нас «честное слово», что при переселении из степного куреня в станицу мы не откажемся от дальнейшего знакомства с ней и с близкой

к ней молодёжью и будем так «гарно і цікаво балакати і шуткувати, як балакали і шуткували в степу біля куріня». Мы обещали, конечно, исполнить её желание, да и трудно было отказать ей. Мы поголовно были очарованы тонкой, умной и красивой девицей. Ещё до приезда к нам Анюты Грачёв уже целовал кончики своих пальцев. Попка видел в лице Анюты желательного члена для нашей ассоциации и сожалел, что мы не пропели «Исайя, ликуй» и не «обвенчали» его с ней. Мне Анюта сильно напоминала ставропольскую матушку, которую она, по моему мнению, превосходила и физическими, и духовными качествами, но я считал мимолётным наше свидание, чтобы сказать, что она, в сущности, представляет собой.

– Такой девицы, – откровенно сказал я товарищам, – в ассоциации не удержишь, – расходясь с Попкой в возможности приурочить её к нашей ассоциации.

Но более всех Анюта очаровала Ваську. Это было для всех нас, да, вероятно, и для Васьки, неожиданностью. Всё время, не спуская глаз с Анюты, он держал себя серьёзно и солидно и непрерывно крутил свои подстриженные усы. От зорких глаз Анюты не скрылось, конечно, поведение Васьки, и это, видно, льстило ей. Но на беду Васьки, он не выдержал до конца своей серьёзной и молчаливой роли, не поняв ни шутливых приёмов, ни благосклонных намёков очаровавшей его красавицы.

– Ну, чого ви это надулись, як горобець на морозі, – шутливо с пленительной улыбкой говорила она Ваське. – Краще було б, як би ви хоч губами своїми дули та мороз од себе і од мене здували, тоді тепліше було б і вам, і мені.

В устах Анюты это была поощрительная благосклонность к такому серьёзному и солидному кавалеру, каким казался ей Васька. Но у того, как порох, вспыхнуло самомнение. Со своей стороны он решил удивить красивую девицу своим умом и сравнительным остроумием.

– Я, мамзель, не казак и не умею по-казачьи тары-бары тачать, – заговорил с улыбкой и Васька. – А если я воробей, то и вы – синица долгохвостая, – Васька заметил висящую сзади у Анюты часть кофты в виде хвоста и громко захохотал сам от своей остроты.

– Мерсі вам, гаспадин кавалер, – с поклоном ответила Анюта, стараясь придать своей украинской «мові» русскую фонетику. – От тепер і я бачу, що ви – не козак. Бо хоч і по-козачому вуси крутите, а вуси у вас не козачі. Скажите, гаспадин кавалер, чи не миші вуси вам внизу обгризли?

Морозом обдало Ваську, хотя он и покраснел, как рак, глядя на очаровавшее его божество, но у него отнялся язык, замерла речь.

Длиннохвостая синица сторицей отплатила за свой длинный хвост надутому на морозе воробью.



Глава X

## Моё недомогание и поездка домой в Деревянковку

Очень памятным осталось у меня то недомогание, которое длилось некоторое время при весенних работах в поле за несколько недель до начала сенокосения. Это была целая вереница болезненно жутких дней и бессонных ночей. При упадке физической силы мне мерещилось катастрофическое крушение моих надежд на будущее. Живо представляю я себе эти сумрачные дни и ночи. Не то затяжная лихорадка, не то простуда, не то просто переутомление от непомерного физического напряжения, не то всё это вместе взятое было причиной моего недомогания, которого я всячески старался не обнаружить. Серьёзное внимание на моё обессиление обратил даже не сам я, а Васька, который, заметив, как я собирался отправиться на работу, со свойственной ему грубостью разнёс меня в пух и прах и выругал, строго приказав сидеть в курене и «не рыпаться». Вышло это несколько комично. Своей особою Васька напоминал не грозного патрона к провинившемуся в чём-то члену ассоциации, а непомерно раскудахтавшуюся наседку, со своей скрипящей речью, всклоченными волосами и взмахами рук вместо крыльев. Зная хорошо Ваську и его манеры решительных воздействий, я смеялся, хохотала и вся компания.

Нужно было напоить тот скот, который был в работе. Бодро снял я путы с трёх пар волов и приготовился гнать их к колодцу, когда и Юхим, лениво переваливаясь с ноги на ногу, как разжиревшая утка, присоединился ко мне. Медленно погнали мы волов к колодцу, у которого я взял из рук Юхима ведро с верёвкой и начал таскать из колодца воду в корыто. Я быстро достал несколько вёдер воды – с большим, однако, напряжением и усилиями, но потом, несмотря на усиленное желание продолжить работу, я никак не мог справиться с ведром воды, чтобы вытащить его из глубокого колодца. В несколько приёмов, с передышкой и остановками, я вытащил, наконец, ведро наверх, но взять его рукой и вылить воду в корыто у меня не хватило силы.

– Юхим! – отчаянно позвал я Юхима, который в это время лежал вблизи меня на траве брюхом вверх и наслаждался кейфом после сытого обеда.

Встревоженный Юхим подбежал ко мне, схватил замотавшуюся на моей левой руке верёвку и быстро размотал её, отчего ведро снова попало вглубь колодца. Юхим достал его, поднял меня и провёл на своё место, на котором я слёг не для кейфа, а для передышки. Когда, вдоволь напившись воды, волы двинулись на пашу, я поднялся с места, и мы с Юхимом погнали их к куреню. Сначала оба мы шли рядом за волами. Я выбивался из сил, чтобы не обнаружить снова своей слабости, но начал понемногу отставать, а когда Юхим пригнал волов к куреню, я плёлся далеко ещё сзади. Юхим немедленно сообщил товарищам, что произошло со мной у колодца. Все сразу бросились ко мне. Впереди мчался Васька. Подбежав ко мне, он схватил меня под мышку за руку и тревожно, без ворчания и ругани, спросил меня:

– Что с тобою?

– Нічого, – слабо проговорил я. – Мабуть, я трохи утомився.

В сопровождении товарищей Васька довёл меня под руку к куреню, устроил мне постель, и сам, усадив меня на землю, принёс корец холодной воды, смочил ею виски и голову, расстегнул воротник рубахи и снял казачий пояс, туго стянутый на мне. Чуть ли не на руках уложил меня Васька в постель. Всё это он делал так уверенно и спокойно, что товарищи, часто потешавшиеся над его порывистостью в спорах, беспрекословно повиновались ему.

– Подогрейте самовар, – раздался его голос, и двое бросились к самовару.

– Принесите мне чистое полотенце из моего мешка, – и снова в точности было исполнено его приказание.

Затем Васька распорядился, чтобы заварили свежий чай, налили его в стакан внакладку с сахаром, на что мы смотрели как на роскошь и на лакомство, и сделал ещё какие-то распоряжения. Всё это быстро, без возражений исполнялось.

Я не мог следить за всем этим, но только кое-что слышал, лёжа в изнеможении на постели, и передаю мелочи, конечно, не со скрупулёзной точностью, а по сопоставлению их с основным фактом. В мою память, или, выражаясь образнее, в мою голову и сердце крепко засело воспоминание о том, как тепло и сердечно отнеслись товарищи ко мне, особенно сильно встревоженный Грицько Попка, и не в меньшей мере – Васька, удививший товарищей выдержкой и тактом, чего ему часто недоставало. Я не знаю, прилагал ли Васька свои медицинские познания в силу усвоенных им практических правил, почерпнутых им чисто опытным путём, но я беспрекословно исполнял то, что он требовал от меня. Вероятно, я делал это не столько под давлением тревоги за исход моей внезапной болезни, сколько под влиянием того тёплого чувства, которое обнаружил Васька по отношению ко мне. Твёрдо помнится мне лишь то, что я, как и все, слушался Ваську. С не меньшей реальностью помнится мне одно чисто курьёзное обстоятельство. Как лечебное средство Васька преподнёс мне стакан сладкого-пресладкого чаю. Грешный человек, и в немощи я выпил сладкий чай внакладку, как лакомство, с большим удовольствием. Чай, впрочем, поднял моё самочувствие. Вообще же все мы поголовно были до того беспомощны и невежественны в области лечения болезней и лечебных средств, что теперь трудно даже представить себе это.

Более недели я лежал в постели, окружённый сердечными попечениями и заботами обо мне товарищей. Васька лечил и заботливо хлопотал о моих удобствах, вставал даже ночью и спрашивал меня, когда я не спал, не требуется ли мне чего, а Попка приподнимал моё настроение своим присутствием. В свободные от работ минуты он приходил и садился возле меня, и это нравилось обоим нам. Изредка мы перекидывались короткими фразами, но одно уже присутствие моего Грицька напоминало мне, что у меня есть друг, который не покинет меня. Соприкосновение моё с товарищами ограничивалось, однако, минутами, коротким общением; в остальное время, днём и ночью, не переставали грызть меня тоска и тревожные мысли о том, что же со мной будет и что предстоит нашей ассоциации.

Никто из товарищей, даже Грицько Попка, не догадывался о том, что происходит в моей психике. Трогательное отношение их ко мне

благотворно, оздоравливающе действовало на меня, но наедине всё время я терзался мыслью о том, не потерял ли способности к физическому труду в такой степени, как чувствовал я себя до болезни, и не служит ли самая болезнь признаком моей физической непригодности. Мысль эта преследовала меня, как я ни старался разубедить себя. Мне ведь грозило если не изгнание из ассоциации вследствие слабосилия, то, во всяком случае, жалкое положение в роли малопригодного инвалида на такие работы, как надсмотр за пасущимся скотом или стряпанье и варка горячей пищи для товарищей. Но этим рушились мои мечты о более широкой и активной деятельности. Что это было – временное ли болезненное состояние, или же проснувшаяся память о том, как в бурсе меня величали «козиной смертью» и грубо напоминали о том, что я не пригоден для жизни, – я не помню и не могу дать себе отчёта в этом, но мысль о моей физической беспомощности угнетала меня, и я крепился и молчал.

По мере того, как я начал выздоравливать и набирать силы, меня начало беспокоить другое обстоятельство. Со времени отъезда из города Ставрополя я не уведомил ни сестру Домочку, ни старшего брата Васю о том решительном шаге в моей жизни, который я сделал. Деревянковка была в тридцати пяти верстах от станицы Бриньковской, а я не съездил ещё к сестре и брату. Меня всецело охватили заботы об ассоциации и рьяное увлечение работами. «Как только немного оправлюсь, – раздумывал я, – непременно надо съездить домой в Деревянковку хотя бы дня на два или на три». Своё намерение я держал в секрете и поведал о нём лишь Грицьку Попке, который одобрил мой план, считая поездку целительным лекарством для полного моего выздоровления. Грицько, конечно, не удержал в тайне моего намерения, как я просил его об этом, и не только поведал его остальным двум товарищам, но предложил им дать мне отпуск на поездку – недели две или три. Васька и Грачёв охотно поддержали его предложение. Весенние работы в поле были на исходе, и наступал перерыв в них, так как через две недели начиналось сенокосение. Когда товарищи сообщили мне о своём решении, я был обрадован точно так же, как радовался когда-то, уезжая на летние каникулы из училища в Екатеринодаре, но в то же время у меня явилось сильное желание непременно принять участие в начале новых работ ассоциации. Я умел сносно «клепать косу» и владел ею настолько, что накашивал тогда травы для Гнедого дня на два или на три, товарищи же мои, кроме Васьки, едва ли держали косу в своих руках, да и сам Васька говорил лишь о том, что он прекрасно

владел серпом и хорошо жал хлеб, но ни разу не обмолвился о том, что он косил траву. И удивительное дело! Эти случайно осенившие меня соображения так подействовали на меня, что, сидя на постели, я быстро вскочил на ноги. Со второго дня я свободно сидел и вставал с неё, но Васька почему-то закричал на меня:

– Что ты? Что ты? Лежи!

Я не лёг и заявил, что я не поеду в Деревянковку на такой долгий срок, как три недели.

– Почему? – разом раздались три голоса.

– Потому, что хочу быть здесь в начале сенокосения, – объяснил я.

С этого момента Васька изменил деликатное отношение со мной.

– Куда ты, к чёрту, годишься? – разразился он обычной своей бранью. – Что мы – дети, что ли, и не справимся с сенокосом без тебя?

Я стоял на своём и требовал заранее назначить день, с которого должно было начаться сенокосение, так как только тогда я мог сообразить, на сколько дней поеду в Деревянковку.

Согласно с установившимися в местном населении периодами смены весенних полевых работ и с состоянием растительности, решено было приступить к сенокосу не раньше двух недель или пятнадцати дней. Один Васька ворчал, будучи недоволен моим преждевременным порывом оставить раньше времени моё лечебное ложе в курене.

Но Васька ошибся в своём диагнозе. Деревянковка, родной дом, семейный уют с близкими родными лицами, а затем, в перспективе, сенокосение ободряюще подействовали на меня. Я почувствовал подъём настроения и влияние нормальных условий – ночью хорошо спал, без тревожных мыслей о мрачных картинах будущности, на другой день, когда все ушли из куреня, я также вышел из него и в радужном настроении ожившего больного разгуливал по зелёной траве вблизи куреня. Во время обеда я совсем оставил свою больничную постель, обедал за общим столом и в первый раз после семи дней пребывания в курене ел, казалось мне, борщ и кашу с большим аппетитом. Мои опасения о физической непригодности точно рукой кто-то снял. По совету с Попкой, я решил, что в степи с товарищами я пробуду ещё трое суток в целях полного выздоровления, с таким расчётом, что двое суток уйдёт у меня на поездку в Деревянковку и обратно, а семь суток я погостю дома у сестры и брата.

На другой день с утра я направился со всей компанией на работы. Васька, пристально поглядывая на меня, сурово спросил:

– Ты куда это направляешься?

- Туда, куда и ты, – ответил я.
- Зачем? – ещё суровее спросил он.
- Хочу подивиться, що ви там робите, – объяснил я.
- Разрешается, – авторитетно произнёс Васька.

В это время производилось полоть сорных трав на озимой пшенице, засеянной отцом Петром прошлой осенью. Как и все, я также взошёл на ниву. Товарищи немедленно принялись за полоть сильно засорённой нивы. Сначала я просто с интересом смотрел, как дружно взялись за дело полотьщики, но не утерпел и нагнулся, чтобы вырвать огромный куст молодого чертополоха. Васька, зорко следивший за мною, быстро подошёл ко мне со словами:

– Ты куда это залез, как баран в чужое стадо? Тебе тут нет места. Марш с нивы! – и бесцеремонно потащил меня с нивы при дружном хохоте Попки и Грачёва.

Я, повинувшись Ваське, покорно шёл и тоже смеялся под влиянием тёплого чувства при этом грубом обращении со мной, но, несомненно, искренней заботливости о моём здоровье сурового патрона. Покорившись этой опеке, я отправился осматривать другие посевы.

Через день вечером, накануне моего отъезда, по моей просьбе Юхим привёл к куреню нашего лохматого мерина Ваську. Я собственноручно оседлал его казачьим седлом и в присутствии всей публики показал, с какою ловкостью я садился на лошадь и вскакивал с неё, чтобы убедить неугомонного Ваську в том, что я вполне годен для поездки верхом на лошади в Деревянковку, в чём он сомневался. Конь Васька сильно стонал и кряхтел от моих кавалерийских упражнений, а человек Васька, обращаясь к Попке, Грачёву и Юхиму и указывая на меня пальцем, поощрил меня в обычном своём тоне любезностью:

- Ну и шут с ним. Пускай себе едет в свою Деревянковку.
- Покорнейше благодарю, – ответил я при общем хохоте.

Приехал я в Деревянковку весьма удачно, без всяких приключений и препятствий по пути. Переночевав в станице, выехал на другой день так рано, что отец Пётр ещё спал. Дорога из Бриньковской на Новодеревянковку проходила через мало посещаемые людьми места и дебри – через пятивёрстные плавни по Бейсугу, семивёрстную пересыпь между огромным Сладким лиманом и плавнями Горького лимана и вообще по столь глухой местности, что почти до самой Деревянковки, на протяжении тридцати вёрст, я не встретил ни одной души и только в пяти верстах от неё обогнал воз с песком, добытым на мощных залежах у Сладкого лимана. Вёз его в станицу незнакомый мне казак. Но

мне была прекрасно знакома местность, прилегавшая к Деревянковке, западная часть которой с церковью, мельницами и садами у белеющей водной поверхности реки ясно была видна.

Чем ближе подъезжал я к Деревянковке, тем разнообразнее становились в голове мои детские воспоминания. Издали я видел уже чёрную полосу длинной гребли, которую запруживали воды реки Албаша. По гребле с перерывами двигались из полей или степи подводы, направляющиеся в станицу. С другой стороны реки, по дальнейшему её руслу от гребли, бросалась в глаза впадавшая в речной водоём Слабизионова балка с хуторами Слабизиона, Даценка и Ткаченка. Ещё ближе к станице, в версте от неё, я с улыбкой посматривал на памятное мне речное плёсо в камышах, на котором из черкесской винтовки я убил в охотничьем увлечении неожиданно для самого меня дворового гуся – серого, а моя молочная мать Оксана Касалапа пустила на этой подкладке по станице сенсационную «утку», что я убил настоящего серого дикого гуся, и неожиданно для меня я попал в ряд видных деревянковских охотников. А вот то болото, на котором мой приятель Яцько любил убивать камнями крупных зелёных лягушек. У самой гребли, ниже её, блестела примыкавшая к ней полоса воды, до которой, при весеннем половодье, из Азовского моря через озёра, лиманы и плавни проходила разного рода рыба, метавшая икру, – тарань, сула, чебак, короп и даже осетры и севрюги, но дальше через греблю не могла уже проникнуть и возвращалась обратно в море. Проезжая через греблю, я с любопытством присматривался к тем местам её со стороны реки, в которых казачата ловили обыкновенно раков.

Чем ближе подвигался я к станице, тем чаще встречались люди на подводах и без них. В последний раз я бросил взгляд на видневшийся вдаль по ту сторону реки хутор есаула Притулы, с окаймлявшим его огромным садом и большими зарослями крупной породы камыша, служившего в детстве для меня и моих сверстников-казачат высоко ценимым нами материалом для приготовления из него ретивых верховых лошадей, ружей, сабель и кинжалов. Въехав в станицу, я встречал казаков, казачек и детей, сновавших в разных направлениях. С одними я раскланивался, приподнимая фуражку или наклоняя голову, а другие первыми здоровались со мной и раза два громко приветствовали меня:

– Здрастуйте, Андріевич!

Очевидно, это были деревянковцы, узнавшие меня, но мне все казались просто одностаничниками. Под наплывом новых впечатлений прервалась и нить моих детских воспоминаний. Я с нетерпением

ем двигался вперёд к моему родному жилищу, охваченный буквально трепетным желанием поскорее увидеть его.

Был вечер перед заходом солнца, та пора в этот перемежающийся период весенних работ, когда обыкновенно возвращались из степи и поля жители на ночь в станицу и сновали в ней казаки, казачки по разного рода справкам и делам ввиду выезда ранним утром из станицы на следующий день. Некоторое оживление в станице после целого дня верховой езды по глухой безлюдной дороге не могло, однако, потушить моего возраставшего желания скорее добраться к брату и сестре. Мне даже не приходила в голову мысль о том, что брат и сестра могут встретить меня с укором, так как раньше положенного времени я опрометчиво оставил семинарию. У меня жизненным огнём горели лишь близкие родственные чувства. Но мой въезд в собственный родной дом сопровождался совершенно неожиданным обстоятельством. Лишь только я отворил, сойдя с лошади, скрипнувшую калитку во двор, как из кухни стремительно выскочила полногрудая девица среднего роста и крепкого физического сложения. Энергично размахивая руками, она на бегу кричала мне:

– Нащо то ви хвірточку одчинили? Чого вам треба?

– А де ж панич та... – начал было я, но энергичная дивчина, пылавшая, казалось, гневом, перебила мою речь новым криком:

– Який панич? У нас ніяких паничів немає. Повертайте назад!

– Так я ж в'їжджаю у свій... – пытался я уяснить дивчине, кто я.

Дивчина снова перебила меня и, прикрикнув: «Гайда назад!» – подбежала к лошади и пыталась схватить её за узду, чтобы выдворить непрошеного гостя со двора. Но перед этим на крики девицы только что прибежала к нам маленькая собачка Дамочка. Обнюхав меня, она радостно, с тьяканьем упёршись передними ногами в мои колена, как бы пыталась пробраться ко мне на грудь. Тронутый радостью узнавшей меня собачки, я нагнулся и начал её гладить, приговаривая:

– Дамочка! Гарна моя Дамочка!

Дивчина растерялась, сразу замолчала, точно с ней сделался столбняк. Придя в себя, она виновато произнесла:

– Так це, мабуть, ви будете панич Федя?

– Який там панич? Я не люблю, щоб мене називали паничем, – оборвал я дивчину, выбившую меня из нормальной колеи при встрече людей и радостного настроения по случаю приезда в родной дом.

– Ну, нехай буде просто Федя, – скромно произнесла обескураженная дивчина. – Я ж не знала, як по-вашому треба величать вас.

Обидві баришні у попової сестри в гостях, – проговорила она скороговоркой. – Я зараз позову їх додому, – и она так же стремительно, как атаковал меня, понеслась через площадь к поповой сестре.

Оставшись один во дворе, я невольно рассмеялся при этом неожиданном и не столько смешном, сколько, в сущности, печальном казусе. Никто из родных не встретил меня, как я мечтал об этом, идеализируя мой приезд в родную станицу и в родное материнское гнездо; не нашлось даже живого приятеля или приятельницы, которые встретили бы в родном дворе, узнав меня. Но меня встретила и узнала маленькая и чёрная, как вороново крыло, Дамочка, дочь памятной мне и такой же ласковой и привязчивой к человеку, как она, старой Дамке. Я рад был этой встрече, будившей во мне светлые детские воспоминания, и всё время, пока устраивал в сарае Ваську, я не отпускал Дамочку от себя, а она ни на шаг не отходила от меня, выразительно, точно хотела мне что-то сказать, поглядывая своими чёрными блестящими глазёнками, помахивая хвостиком и преуморительно охватывая лапками мои ноги, когда я неподвижно стоял на одном месте.

С приходом домой сестры Домочки с Копочкой выяснилась комическая сторона происшедшей между мной и атаковавшей меня дивчиной сцены. Касалапой Оксаны не было уже в нашей усадьбе. Эта дивчина была тоже Оксана, но другая, которой деревянковцы дали впоследствии название Оксана Руда, так как при её мощном, округлённом корпусе, красивом лице и «грудастом» торсе, живом нраве и стремительных манерах у неё были роскошные рыжие волосы. Оксана Руда недавно появилась в Деревянковке, придя в Черноморию на заработки из Полтавской губернии. Сестра и Копочка, случайно встретившие Оксану, наняли её на подённую работу для «шпарування» и побелки горницы и кухни. Оксана, оказавшаяся весёлой дивчиной и искусной работницей, сильно понравилась приятельницам, и они предложили ей наняться на год. Оксане, в свою очередь, понравились барышни по своей простоте, доступности и непритязательности, и она охотно приняла их предложение. И вот когда приятельницы уходили в гости к поповой сестре, приглашавшей их на чай, то Домочка строго приказала нанятой недавно прислуге:

– Гляди ж мені, Оксано, без нас нікого не пускай ні в двір, ні в хату.

– А як хто буде лізти у двір або в хату і не послухає мене, так того можна й вигнати із двору? – спросила положительная Оксана.

– Жени, Оксано, прямо в шию! – шутливо произнесла Копочка.

Оксана приняла шутку за чистую монету и устроила мне реприанд неожиданный. По разговорам сестры с Копочкой она узнала, что у хозяйки было два брата в Ставрополе, в духовной семинарии – Вася и Федя, и один, Андрюша, – в станице Ладожской, в учительской семинарии. Васю она даже видела при проводах в Ставрополь, когда на глазах её и целой группы других девчат он уезжал из станицы в город. Когда бросилась ко мне, как к своему, маленькая Дамочка, она поняла, что я Федя, так как слышала, что это имя собачке дал я и что та была сильно привязана ко мне. Пока Копочка характеризовала мне в юмористическом духе Руду Оксану как решительную и настолько исполнительную особу, что, наверное, она вступила бы со мною в открытую борьбу, если бы её боевого пыла не охладила собачка, пока сестра рассказывала о том, как Вася усердно готовился к экзамену на студента семинарии целых полтора года перед отъездом в Ставрополь, Оксана, не спрашивая ни меня, ни Домочки, нашла топор, кол и длинную верёвку, забила кол во дворе на траве, росшей рядом с садом, и привязала Ваську на длинной верёвке к колу, так как во дворе не было ни сена, ни накошенной зелёной травы. Затем она поставила самовар и пришла к нам с докладом и за ознакомлением о дальнейших распоряжениях хозяйки. Сестра Домочка утвердительно кивнула головой, а я только руками развёл, узнав, что сделала и как поступила Оксана, глядя на неё с нескрываемым удивлением, что, видимо, заметила и девушка и тоже не скрывала своего удовольствия, глядя на меня с весёлой улыбкой, как бы говорившей: «Вот какая я!» А Домочка и Копочка вскочили на ноги и со смущением почти в один голос воскликнули:

– Це ж ми за розговорами забули спитать тебе, що ти, може, з дороги голодний?

Но я успокоил их, рассказав, как на Сладком лимане я разложил костёр из старого камыша, поджарил огромный кусок сала на вертеле мелкими кусочками, с аппетитом поел его и запил холодной водой из криницы, а часть зажаренного сала и полхлеба я привёз даже в Деревянковку.

– Чаю же, – добавил я, – выпью с удовольствием.

Оксана внимательно слушала меня и поощрительно улыбалась, а когда я окончил свой рассказ, она с обращёнными ко мне словами:

– А у нас ви нап'єтесь чаю с перепічками та с коржиками на маслі! – быстро оставила нас.

Сестра и Копочка сейчас же накрыли стол и поставили на него свежую речную рыбу, зажаренную на масле к обеду. Я с усердием

принялся за это лакомое блюдо, а Оксана в это время притащила пыхтящий самовар, и пока Копочка заваривала чай, на столе появились пахучие, издававшие пар перепички с горячими коржиками, которые Оксана, видимо, раньше подготовила, прежде чем спросила разрешения испечь их. Я с удовольствием напился чаю с этими деревянковскими деликатесами. Сестра тактично не спрашивала меня о том, как и почему я попал в Бриньковскую станицу, а Копочка знакомила меня с местными новостями, пересыпая их шутками и остротами. Но я, несмотря на вкусный и обильный ужин и ухаживание за мной аж трёх девиц, явно симпатизировавших мне и баловавших меня, так устал, проехав в течение целого дня тридцать пять вёрст верхом на лошади, что это всем сильно бросалось в глаза Домочка настояла на том, чтобы я немедленно отправился спать. Было уже десять часов вечера, когда я лёг в постель и заснул, как убитый, в счастливом настроении домашнего уюта и родственной связи.

По обыкновению, на другой день я встал с постели рано утром – около четырёх часов. Сестра и Копочка спали ещё, спали, казалось, все во дворе, даже Руда Оксана. Но лишь только потихоньку я отворил дверь из сеней на крыльцо, как ко мне бросилась Дамочка. Спала ли она под дверями у входа в дом всегда или же, вероятнее всего, поджидала моего выхода, так как у неё не было здесь логовища, но моя приятельница весело кружилась вокруг меня, посматривая и помахивая хвостиком. Я начал гладить и ласкать милое животное и вспомнил, что и вчера я ласкал Дамочку, а не догадался накормить её. Немедленно я отворил дверь и направился обратно. За мной не побежала, а как-то странно, переступая с ноги на ногу и озираясь, поплелась в комнату и Дамочка. В комнате она не вертелась, а смирно сидела, пока я доставал из дорожного мешка недоеденные кусочки сала и хлеб. На крыльце Дамочка снова оживилась, но когда я отдал в её распоряжение все кусочки поджаренного сала, то она с такою жадностью набросилась на них, что, казалось, совсем забыла обо мне. Я один ушёл с крыльца во двор к Ваське, а Дамочка осталась при сале и не сопровождала меня. Только в тот момент, когда Васька доедал последние кусочки хлеба, которым я кормил его, быстро примчалась ко мне и Дамочка. Не обращая никакого внимания на Ваську, она бросилась ко мне и снова начала вертеться около меня, всячески напрашиваясь на моё внимание. Васька, съев хлеб, перестал интересоваться мной и начал мотать головой. В детстве пастух Охтиан не раз говорил мне, что лошади мотают головой, чтобы ослабить зуд, причиняемый конскими гнидами, гнездящимися на шеё



лошади. Я взял валявшуюся на земле щепку и начал чесать ею шею Васьки. Конь благодушно отнёсся к моему участию в походе на гнид и перестал мотать головой, предоставив в моё распоряжение шею.

Но особенно удивила меня своим поведением Дамочка в комнате. Позже я узнал от Копочки, что решено было совсем не пускать собачку в комнату. Она была большой лакомкой, и хотя вела себя в комнате самым благородным образом, но часто забиралась в кладовую и «шкодила» там, лакомясь съестными припасами. За это наказывали её, но она не исправлялась. Когда же в последний раз, забравшись в кладовую и желая полакомиться молоком, она опрокинула несколько кувшинов молока и обратила пол кладовой в молочную лужу, то, отдув её надлежащим образом, решено было совсем не пускать её в комнату и бить даже тогда, когда она пыталась проникнуть в неё. Частые побои убедили Дамочку, что вход в комнату был ей воспрещён. Она боялась даже подходить к комнатным дверям. Этим и объяснялось поведение животного, рискнувшего войти в комнату за мной.

Несмотря, однако, на благоприятно начавшееся для меня утро, моё весёлое настроение сильно понизилось, когда я вошёл в сад. Хотя сопровождавшая меня Дамочка резвилась и всячески старалась вовлечь и меня в весёлую для неё прогулку, но я вспомнил проказы старика Полкана в мой приезд к безнадежно больной матери, и печаль заползла в мою голову, напоминая прошлое. Давно умер мой друг Охтиан, неизвестно было мне, что случилось с Явтухом и Костюком, не было старого Полкана, не знал я, где Гнедой, но главное – не было в живых моей любимой матери. Всё это вереницей тянулось в моей голове, и хотя не приводило меня в ужас и отчаяние, как когда-то, но всё же сильно печалило меня. В таком настроении вышел я из сада.

В это время все встали уже в доме в полной уверенности, что я ещё сплю. Руда Оксана подоила уже коров и гнала их в череду. Я вспомнил, что не посетил ещё могилы матери, и направился в церковную ограду. Здесь, в печальном месте рядом лежавших в сырой земле отца, матери и брата Тимоши, повеяло на меня, тем не менее, несколько освежающей струёй. На могиле были разбиты грядки и красовались цветы. Это сделали собственноручно Дамочка и Копочка, что отчасти подбодрило меня и повысило моё настроение. Я обошёл несколько раз вокруг цветников над умершими, инстинктивно дав полную свободу глазам, прикованным к розам, гвоздикам, маку и другим надгробным украшениям из живой растительности, и отправился домой.

Там на крыльце накрыт был стол, шумел самовар и сидели рядом сестра и Копочка.

– А ми думали, що ти ще спиш з дороги й не хотіли тебе тривожити, та Оксана сказала нам, що ти пішов за ограду, – говорила Дамочка, обращаясь ко мне.

– А нашу роботу бачив? – спросила меня Копочка.

– Бачив, – ответил я. – Гарно зробили.

Мы принялись за чай и начались разговоры с той же печальной окраской, которою отличались и встревожившие меня воспоминания. Умерли Харитон Захарович и судья Иван Степанович Москаленко, лица, которых я уважал и относился к ним с большой симпатией; Яцько, мой детский приятель, попал в строевую службу, женился и из него вышел горький пьяница. Перечислены были другие умершие лица, которых я знал. Всё это не настраивало нас, однако, на более или менее живой обмен мыслями. Но когда я спросил Дамочку: «А где же наш Гнедой?» – а она мне сказала: «Ми з Васей продали його», то я с изумлением, в приподнятом настроении воскликнул:

– Нащо?

– Як нащо? – изумилась, в свою очередь, и сестра. – Він вже не возив, як слід, і його приходилось годувати, як старця. Ну ми й продали.

– За скільки? – поинтересовался я.

– За три цілкових, – ответила сестра. – Та більше він і не стоїв. Хіба і купили його на шкуру і зараз же убили. Зняли шкуру і, кажуть, бідкалися, що шкуру його трудно було продати і за п'ять карбованців, такий він був старий та захлявний.

«Гнідого, нашого неутомимого коня, которого ми з Андрюшой признали багатирським конем, продали за три рублі на шкуру?» – мелькнуло в моей голове удивление, резанувшее меня, точно острым ножом, и я не сдержался и с укоризною сказал сестре:

– Дуже погано вдвох з Васею ти зробила.

– От тобі і на! – воскликнула сестра. – Він же ні на що вже не годився!

– А хіба він мало приніс нам усім добра? Хіба сам Вася не казав, що Гнідий спас його од смерті в метелицю, як заблудили вони с маменькою? – заговорил я в защиту Гнедого. – Я плакав би, мабуть, якби бачив, що шибаї убивали його на шкуру, – чистосердечно сознался я.

– Та хоч би і плакав, а все ж трьох рублів не виплакав би, – защищалась сестра. – Даром грошей ніхто не дає, а без грошей не проживеш.

На этом и кончился наш разговор об участии Гнедого, не перешедший в неприятный спор, не нарушивший, однако, наших близких отношений.

Но когда сестра, после долгого молчания, поставила, наконец, вопрос о том, как и почему я попал в Бриньковскую станицу, а я подробно объяснил ей, в чём заключалось проводимое мной предприятие, то тут уж сестра была недовольной стороной. Наши взгляды и взаимное понимание так расходились, что многое из того, что для меня было так ясно, понятно и неопровержимо, как дважды два – четыре, сестра плохо понимала и стояла на такой твёрдой позиции, что трудно было сбить с неё:

– Ты покинув семинарію, а от Вася скінчив її, а все ж таки поїхав додержувати екзамен на студента. Сам ректор сказав йому: «Приготуйся до екзамену і як видержиш, получиш місце учителя в тому духовному училищі, в якому сам учився». І буде учителем, і буде получать по 900 рублів в год жалування – от як! А ти зовсім покинув семинарію.

Против этих слов сестры у меня не было веских возражений, и чтобы успокоить её, я сказал, что и я во всякое время могу додержать экзамен в философском классе и поехать потом учиться в университет или в Петровскую академию.

– Та то добре було б, – заметила сестра, – так воно ж поки що вилами на воді писано.

На этом мы и окончили спор. Сестра, видимо, успокоилась тем, что я не оставил совсем семинарию. Она была убеждена в неудаче нашего предприятия, и тогда я сдам экзамен в семинарии, чтобы учиться в университете или в Петровской академии, что в нашей семье считалось верхом духовного просвещения.

Иначе к нашему спору отнеслась Копочка. Хотя она всё время и молчала, считая неуместным вмешательство в спор сестры с братом, но, в конце концов, не выдержала и проговорила:

– А мені, Федя, здається, – заговорила она, – що ви добре задумали. Коли гуртом будете дружно робити, то чого ж краще? Це хоч би і мені, так і я в таку кумпанію затесалась би.

– Тю-тю, дурна, Копочко! – сердито оборвала её Домочка.

– Чого дурна? – воскликнула Копочка. – Там же весело у них. Вони ж вкупі живуть і все роблять, як брат з братом. Мабуть, Федя, сідлай оту твою кобилу чи коня. Сідай верхи, а я візьмусь за хвіст коняки, та й гайда до вас на степ у Бриньків, – шутила она.

– Оце добре було б! – воскликнул я.

У меня уже вертелась мысль в голове о том, что Копочка, как старшая между нами, хорошо знавшая домашнее хозяйство, умная, весёлая, энергичная и находчивая, была бы настоящим кладом для нашей ассоциации, я задумывал даже действовать в этом направлении.

– А мені воно, ще добріше! – продолжала шутить Копочка. – Я хоч зараз готова їхати до вас. Зараз! – воскликнула она энергично.

Сильно взволнованная сестра, видимо, близко приняла к сердцу эти шутки. Она растерянно и смущённо бросала взоры на Копочку и меня и со слезами на глазах обратилась к своей подруге:

– Так це вже і ти, Копочко, хочеш покинути мене одну в Дерев'янковці!

Копочка почувствовала, что зашла слишком далеко в шутках. Мне тоже стало жаль сестры, и мы стали успокаивать её.

В это время неожиданно явилась к нам двоюродная сестра Марфа Онисимовна, прослышавшая, что я приехал в станицу. Она давно уже устроилась на своём хозяйстве, жила так дружно и счастливо на этом хозяйстве с мужем Василем Кирилловичем, что все завидовали ей, и имела уже своих детей. Настроение сразу же переменялось у нас. Я спросил её, как она поживает, а она, в свою очередь, задала мне вопрос:

– А що ви там в Бринькові затіяли?

Я поражён был этим вопросом и спросил её, откуда об этом она узнала.

– Та це ж мій Василь Кириллович про вашу якусь мудрацію, як він каже, узнав, – ответила двоюродная сестра.

– Що він каже про нашу мудрацію? – поинтересовался я.

– Каже, що це діло козаке і ви добре робите, що затіяли його, але треба так робити його, щоб уся станиця за це діло ухопилась та щоб громада й приговор свій постановила. Бо, каже, як пристане до діла один або двое козаків, то з цього толку мало буде.

Василь Кириллович Лукаш был одним из умнейших казаков в молодом поколении деревянковцев, и впоследствии я убедился, насколько он правильно учитывал условия для лучшей постановки ассоциации в казачьей станице.

Но ещё сильнее Марфа Онисимовна поразила нас новостью, которой не знали ещё ни Домочка, ни Копочка.

– А чи чули ви, – спросила их Марфа Онисимовна, – що вона, ні к вам річ і не до вашої честі, принесла вже?

– Кто вона? Що принесла? – спрашивали Домочка и Копочка гостью.

– Притулівна, – пояснила Марфа Онисимовна. – Принесла собі дочку чи сина.

– Та невже ж?! – воскликнули подруги.

– Вся ж станиця про це вже знає, – подтвердила гостя.

Рождение девицами незаконнорождённых детей считалось в станице самой высшей степенью позора девицы и её семьи. Рождению незаконнорождённых детей замужними женщинами население не придавало такого значения. Грех барышни Притуливны был не только позором, но и глубоко трагичным явлением в жизни Деревянокки.

Домочка и Копочка ничего не знали о новости, сообщённой им Марфой Онисимовною, потому что вели несколько изолированную жизнь. Прежний кружок их «сверстниц и сверстников» сильно поредел. Две дочери есаула Люльки вышли замуж: младшая – за пожилого войскового старшину Стояновского, а старшая – за какого-то торговца в село Глафировку. Кавалеры также поженились и несли военную службу. Налицо остались только четверо из всей группы – Домочка и Копочка, Елизавета Васильевна, попова сестра, и жена Кузьмы Крикливого Прасковья Михайловна. Они как бы замкнулись в тесный кружок. Из молодёжи пополнять его было некем. Единственная кандидатка, которую весь кружок желал иметь в своём кругу, была Притуливна. Все принимали меры, чтобы втянуть её в свой кружок, но родная её мать, старая Притулиха, держала свою дочь «на привязи», по выражению деревянковцев, или в тяжёлом изолированном положении.

Давно умерший Притула известен был в станице под этой уличной фамилией и был настоящий черноморский пан, а его жена Притулиха – настоящая, чистокровная и упорнейшая москочка. За всю свою жизнь с мужем и после смерти его она не произнесла ни одного слова по-украински и буквально ненавидела этот язык. Как супруги сошлись и поженились – неизвестно, но они жили в супружеском единстве и в розни по своим взглядам и влечениям. Эта рознь не так бросалась в глаза деревянковцам, пока жив был старший Притула, но когда умер он, властная от природы Притулиха оказалась такой деспоткой, какой трудно было найти во всей Деревянокке. Три сына, учившиеся вне дома, на стороне, ускользнули из-под материнской воспитательной ферулы и были черноморскими офицерами рядового типа. Но единая дочь с малых лет и до девичьего возраста находилась в таких тисках материнского воспитания, каких не было, вероятно, и в древних мо-

сковских теремах. Мать не отпускала своей дочери ни на шаг от себя. Притулиха задалась целью воспитать свою дочь чистокровною москочкой, решила сделать из неё нечто вроде копии с себя. Она выучила её говорить на русском языке так, как на нём говорила и сама. Но и только. В хуторе, кроме матери, не было ни одной московской души. Девочка вращалась среди братьев и, соприкасаясь с прислугой, прекрасно усвоила украинский язык, ибо именно он был для неё живой и свободный, язык же матери воспринимался ею как обязательный и принудительный. Девочка полюбила украинский язык как язык общения с живыми людьми, с которыми соприкасалась ежедневно.

Когда она вступила в девичий возраст, мать ещё строже стала держать её в своих руках, заключила её в собственном доме, как в тереме, и никого из посторонних не допускала к дочери и не позволяла ей заводить даже знакомств с девицами того круга, к которому по своему рождению и по положению родителей она принадлежала.

– Чтобы не испортили моей дочери эти поганки-казачки, – рассуждала чадолюбивая мать.

Девица вышла красавицей, богато одарённой духовно, свободолюбивой и от природы живой, страстной по натуре. Её страшно угнетало устроенное матерью затворничество, и она со всей силой молодости рвалась на свободу и стремилась к общению с молодёжью.

На летние работы Притулиха усилила штат служащих и наняла молодого, сильного и красивого парубка Платона, считавшегося лучшим работником в станице. С первого же взгляда барышне Притуливне очень понравился парубок Платон, а парубок Платон, на которого барышня бросала пламенные взгляды, сразу воспылал страстью к красавице. Молодые люди улучили удобную минуту и перекинулись несколькими словами, а в другой раз, не мудрствуя лукаво, условились встречаться ночью, в саду. Но зоркая Притулиха как-то уловила взаимное влечение молодых людей и, придравшись из-за какого-то пустяка к Платону, немедленно уволила его, приказав не показывать носа в её хутор. Платон, однако, ночью переезжал «на каюке» через реку и появлялся в обширном хуторском саду, проводя в нём с барышней всё время. «Рассчитав» Платона, старая Притулиха успокоилась и с меньшим усердием стала следить за дочерью. Но через девять месяцев неожиданно для Притулихи и для всех родных дочь, которую она с таким рвением обращала в чистокровную москочку, родила сына или дочку, как сообщила об этом Марфа Онисимовна. То была громовая новость для всей станицы. Все знали, в каких тисках находилась молодая При-

туливна у старой Притулихи, и с симпатией относились к красивой девушке, которая появлялась на людях только в церкви. Мы с большим участием отнеслись к виновнице зловещей новости и искренне сожалели о несчастной жертве духовно слепой и жестокой матери. Исковеркана и разбита была жизнь молодого и многообещающего существа. А старая Притулиха, по рассказам, свирепствовала, как зверь, и кляла «на чём свет стоит» и родную дочь, и всех парубков, как отъявленных преступников хохлацкой породы, зная, что «парубоча громада» выбирала атаманом самого сильного парубка, который собственноручно жестоко избивал парубков, прельщавших молодых казачек и невинных девушек, и который не оградил её, почтенную есаулышу, от позора и худой славы. Озлобленная мать не понимала, что главной виновницей её несчастья была сама она, а второстепенным естественным виновником – красивый парубок Платон, которого она предусмотрительно выгнала из хутора в шею.

В своей долголетней жизненной практике я неоднократно останавливался на воспитательном значении трёх стихий – материнской любви, материнского языка и общекультурных условий – при развитии и формировании отдельных личностей. В драматическом положении молодой Притуливны решающую роль, несомненно, играл не материнский, а материнско-народный язык и общенародные культурные условия. Истинной материнской любви, очевидно, не было у старой Притулихи.

С каждым днём моего пребывания в родном гнезде мы как бы снова свыкались друг с другом и укрепляли взаимную связь, так сказать, единым родственным духом, не считаясь с различием во взглядах и в жизненных стремлениях, свойственных нам. Даже Домочка, которую я ближе ознакомил с целью моего внешкольного предприятия с чисто моральной точки зрения о службе и помощи всем людям, в окончательном результате этого раздумья выразилась:

– Я не знаю, що сказала б тобі маменька, а батько, мені здається, похвалив би тебе.

На этом мирном и хорошо сформулированном пункте я окончательно помирился с сестрой, расставаясь с ней.

Копочка, или Капиталина Васильевна, один на один со мной откровенно сказала:

– Я долго не думала б, а зразу поїхала б до вас на товариське хазяйство й взяла б частину домашних забот в свої руки. Ваше діло –

добре діло. Так як же я зоставлю одну Домочку? Це неможливо ні для неї, ні для мене.

Я хорошо понимал искреннюю и благородную натуру Копочки, присоединившейся к нашей семье после того, как умер её жених Тимоша, а потом и маменька, которую она любила, как родную мать.

Остальные четыре дня я прожил в родном доме в таком уюте, мире, удобствах и спокойствии, каких ни разу ещё не испытывал после смерти матери. Тёплые, чисто материнские заботы сестры, особенно после того, как я рассказал о моей кратковременной, но тяжёлой для душевного спокойствия болезни, дышащие весёлостью и юмором рассказы, шутки и проделки Копочки, тактичные и предупредительные действия воительницы Рудой Оксаны, встретившей меня в боевом порядке при въезде в родной двор, так обаятельно и укрепляюще действовали на меня, что не раз в мою голову воровски лезло желание остаться в этих пленительных условиях если не на целый месяц, то хотя бы на два-три дня. На моё счастье, никто из гостей, кроме сестры Марфы, не тревожил нас. В счастливом положении я даже для своей приятельницы Дамочки выпросил право входа в дом, в комнату и пребывания в ней со мной. Нужно было посмотреть, как боязливо, поглядывая по сторонам, Дамочка входила в комнату и осторожно ставила на пол свои маленькие лапки, точно она шла не по деревянному полу, а по скользкому льду. Видно, хорошо учили и наставляли её на ум воспитательницы. Но всего удивительнее, что при всех прелестях моего пребывания в родном доме лохматый и неуклюжий конь Васька проявил некоторые признаки внимания и приязни ко мне. Когда я подходил к нему, он поворачивал в мою сторону голову и заранее шевелил губами в ожидании тех приятельских кусков хлеба, которые я приносил ему с разрешения сестры. Одним словом, выражаясь вычурным витиеватым языком, я по несколько раз в день выпивал полную чашу внимания, приязни и наслаждений до дна. Обратю в Бриньков и в степь к товарищам я ехал в бодром настроении и с готовностью крепко взять в руки косу и энергично начать сенокосение. Я совершенно забыл о своём недавнем заболевании. Мой друг Грицько Попка не ошибся в том, что родное жилище и родные люди окончательно восстановят мои силы и здоровье.



Глава XI

## На сенокосе

**П**осле моего приезда из Деревянковки в течение двух дней мы готовились к сенокосению. У отца Петра был один полный набор косы с её принадлежностями, то есть металлическая коса, ручка к ней – косовище, или «кисся» с «рифю», то есть железным кольцом для прикрепления косы к косовищу, также «бабка», на которой «клепают», или отбивают лезвие притупившейся косы, с молотком и для острения косы, брусок и «мантачка» (лопаточка, осмоленная «шевской» смолой, смешанной с мелким песком). Отец Пётр купил в станице Каневской ещё четыре таких набора, чтобы каждый член ассоциации имел свой полный набор, а для всех вообще – две бабки, два молотка, четыре бруска и два фунта «шевской» смолы, необходимой для мантачек. Мы внимательно осмотрели все эти препараты, и возник вопрос, как же распределить между всеми косы. Васька предложил бросить жребий на четыре новых косы, кому какая достанется, а старую косу отбраковать как малопригодную.

– Смотрите, – говорил он, – как она скосилась – полотно у неё совсем узкое.

Предложение Васьки поддержал Грачёв, а Попка молчал в ожидании, что скажу я. Убедившись в том, что ни Васька, ни Грачёв не знают толку в косах, я внёс своё предложение, изъявив желание взять для себя старую косу, а на четыре новые косы бросить три жребия, и

если кому не понравится доставшаяся ему коса, то он может поменять её на четвертую, запасную. Ваське понравилось моё предложение.

– На тебе это старье, а мы бросим жребий, – произнёс он насмешливо и, как бы для усиления насмешки, взял старую косу и преподнёс её мне.

Бросили жребий. Ваське не понравилась выпавшая по его жребию коса. Ему хотелось иметь косу с широким полотном, каким отличалась четвертая, свободная от жребия коса. Ею он заменил свою косу. Я взял косу, доставшуюся Попке, и отбракованную Васькой, и попробовал звук обеих кос и проверил на эластичность, что я проделал раньше со старой косой и на что никто из моих товарищей не обратил внимания. Звук по силе отбракованной косы показался мне чище, мелодичнее, а самая коса – эластичнее сравнительно с косой Попки. Я предложил последнему обменять свою косу на отбракованную Васькой косу.

– Так! – произнёс Васька насмешливо, когда Попка менял косу на отбракованную им.

Грачёв отнёсся безразлично, заранее заявив, что он предпочитает грабли косе, так как граблями он хорошо владеет, а косить совершенно не умеет и будет только учиться и, чего доброго, и хорошую косу поломаёт.

Несмотря, однако, на занятую Васькой насмешливую позицию и его уверенность в правильности выбора косы, он внимательно следил за моими приёмами пробы кос, заподозрив, что у меня есть какие-то знания в этой области, как были у меня некоторые знания о плугах.

– Зачем ты делал выкрутасы с косами? – спросил он меня.

– Затем, чтобы знать, какая коса лучше, – ответил я.

– Как же ты узнаешь, какая лучше? – спросил он снова.

– Раньше я рассказывал бы это тебе и всем, если бы спросили меня, а теперь, когда выбор кос состоялся, во избежание споров и недоразумений, я расскажу только при том условии, что сделанный уже выбор кос останется неизменным. Согласны?

– Согласны, – последовал ответ.

Тогда я рассказал, как учил меня Явтух узнавать качество косы. Чем звонче и мелодичнее звук, издаваемый косою при ударе концом тыловой части её о дерево, тем лучше в ней были по качеству железо и сталь, по мнению Явтуха. Произведён был опыт с обеими косами. Все отдали преимущество отбракованной косе. Васька почесал затылок, что было равносильно неудовольствию. Затем Явтух говорил мне, что чем больше «гнучкости», то есть эластичности в косе, тем выше она

по качеству. И снова я показал этот признак. Отбракованная Васьюкою коса извивалась, как змея, по выражению Грачёва, а коса, доставшаяся по жребью Попке, «як цурупалок», следовательно, и на глаз отбракованная коса имела огромное преимущество. Васька снова почесал затылок, взял в руки обе косы, чтобы проверить собственноручно, и, видимо, окончательно понял, что отбракованная им коса несравненно лучше взятой взамен. Васька выругался:

– Чёрт бы побрал душу этих кос, – и плюнул.

Все смеялись, а Попка сострил:

– А що, Васька, виміняв шило за швайку?

Грачёв же усилил остроту, спросив:

– Хіба у кос є душі?

Васька молчал, сильно сопел и чесал затылок. Но вдруг он ожил и весело обратился ко мне:

– Ну, чёрт побери! Рассказывай, что дальше будем делать с косами. Ан, нет, – перебил он сам себя, – Расскажи нам, почему ты взял себе старую косу.

– Потому, – ответил я, – что она кажется мне лучше новых.

– Да неужто?! – воскликнул он.

– Попробуй! – ответил я.

Васька попробовал старую косу. Коса звенела, как колокольчик, и отличалась особой эластичностью.

– Смотри ты на него! – произнёс Васька, указывая на меня рукой. – Недавно ещё еле доползал до куреня от колодца, а вкус в косах, леший его побери, имеет.

Я не помню, как я относился к выходкам Васьки, но они меня не сердили, а наоборот, мирили с ним. Наши отношения всегда были дружественны. Я ценил в товарище его честность, безукоризненное отношение к обязанностям, работоспособность и активное проявление её, несмотря на его невоздержанность в языке, некоторую долю самомнения и другие мелкие грешки. Нас обоих, несомненно, ещё более сблизила болезнь. Я чувствовал признательность к нему за его сердечные отношения ко мне и заботливость, а он стал сдержаннее, уступчивее и доверчивее. То же замечалось в отношениях его и к другим членам ассоциации по мере того, как они входили в круг нужд и интересов нашего общего предприятия, а за мной, после истории с плугом, он признавал и некоторый авторитет в делах хозяйственных. Провалившись на выборе кос, он стал ещё доверчивее и предупредительнее относиться

ся ко мне, как к опытному и знающему сотоварищу в области казачьей экономики и хозяйства.

– Ну, плугатырь и косарь, шут тебя надери! – обратился ко мне весело и задорно Васька. – Командуй, что же нам дальше делать с косами.

– Тебе зараз же привести косы в порядок, – ответил я. – Беріть кожний свої причандалля.

Все собрали косы и принадлежности к ним.

– Коси, косовища, рифи й мантачки у всіх єсть? – спросил я.

– Єсть! – слышались голоса.

Я прибавил, что клинья для прикрепления кос к косовищам я и Попка как столяры приготовим.

– Бабки, молотки, бруски, смола и пісок – це гуртова справа, – и вдруг с тревогой я воскликнул: – А відра?

– Як відра? Нащо нам відра? – слышались голоса.

– Як нащо? Відро ж з видою, бруском і піском треба для того, щоб точить косу перед почином кожної нової ручки, – объяснил я.

– Так! Треба! – раздалось голоса.

– Треба, – повторил я, – і не одно відро, а два або три, бо нам іноді прийдеться косить не всім вкупі; обніжки, скажем, зручніше косить в одиночку або вдвох. А у нас ні одного відра немає. Про це отець Петро забув і відер не купив.

Решено было взять ведро кухонное или то, которым мы поим скот. Клинья для прикрепления кос к косовищам, по моему предложению, стали сразу делать все. У нас был древесный материал, топоры, пилы и стамески. Васька и Грачёв пилили дерево кубиками и передавали их мне с Попкой, а мы кололи их и приготавливали клинья. Дело кипело. Скоро косы были прикреплены к косовищам. Все запаслись также кубиками, так как приготовление из них клиньев было настолько простым, что каждый мог смастерить клин для замены старого, износившегося.

Последняя подготовительная операция поставила меня в тупик. Её нельзя было передать на словах или так легко оборудовать, как клинья. Нужно было «отбить», или «поклепать» косы. Отбивка или клепанье кос давалось нелегко. Я долго учился «клепать косу», и притом – под руководством такого знатока, каким был Явтух. Товарищи же мои, не исключая и Васьки, не имели никаких представлений об этой работе. Я указал на это затруднение.

– Да ты только покажи или расскажи, как клепают косы косари, – обратился ко мне Васька, – а там мы, может быть, и сами приспособимся. Я видел одним глазом, как косари отбивают косы, а сам никогда не клепал, потому что у нас в селе сенокосение производилось тогда, когда я был в училище или в семинарии.

Я взял бабку, то есть маленький примитивный вид наковальни, забил её нижним острым концом в деревянную колоду, наложил косу на бабку, показал ширину лезвия косы (в мизинец), подлежащего отбивке, и начал отбивать острым концом молотка намеченную полосу линией равного размера по ширине.

– Так, значит, косари делают ровную линию на глаз? – спросил меня Васька.

– Нет, – ответил я, – они равняют линию не на глаз, а по пальцу.

– Как по пальцу? – осведомился Васька. – Покажи.

Я положил левую руку на полотно косы так, что большой палец пришёлся боком у лезвия отбиваемой полосы, и отбивал её, постепенно утончая к низу, усиливая удары в этом направлении.

Увидев, как я это делал, Васька с криком: «Пустяк!» – побежал к своей бабке, вбитой в колоду.

Напрасно я кричал ему:

– Осторожнее, Васька, бей молотком по полотну косы, чтобы не задеть молотком большого пальца!

Васька на ходу успокаивал меня:

– Ладно, ладно! Сумею бить и не отобью своего пальца!

Когда я учился отбивать косу, то три раза, если не больше, попадал молотком по большому пальцу и каждый раз разрывал покровы тела, причиняя сильную боль в ранках и кровотечение, а один раз так усердно ударил молотком не по косе, а по пальцу, что едва не сорвал ноготь. Несколько дней я носил повязку на руке, пока не зажила ранка. Рассказав об этом Грачёву и Попке, я предложил им клепать косу не по пальцу, а наметив отбиваемую линию мелом или угольком, как пришёл мне этот способ тогда в голову. Я передал им бабку и молоток. Доставшаяся и мне старая коса оказалась настолько острой и исправной, что я решил косить ею первый день, не клепавши её, и пошёл к Ваське, чтобы поведать ему о том, как пришла мне мысль в голову о разметке на косе линией мелком или угольком, чем можно было избежать поранения пальца.

Васька усердно отбивал косу и на моё предостережение ответил:

– Я и без твоей пометки отобью косу, как следует. Видишь же, что палец у меня целый, я об него молотка ещё не разбил.

– Вижу, – подтвердил я, – что молоток цел и невредим, но ведь у тебя отбивная полоса с выемками вверху.

– Невелика наука, – сказал Васька. – Научусь! – и ещё усерднее принялся за работу.

Я возвратился к Попке и Грачёву. Они отбивали попеременно свои косы «с рассуждением», как выразился Попка. Один клепал косу, а другой присматривался к его приёмам. Они обращались осторожно с молотком, поняв, что шагом нужно овладеть «механически», так, чтобы, не думая, попадать в надлежащую точку. Хотя рассуждения эти и замедляли работу, и сами они мало преуспевали, но не было никакого сомнения, что они овладеют заинтересовавшим их несложным искусством «бить молотком не по пальцу». Так как свободного времени у нас было много, то мы завели разговор и смеялись над тем, кто был в первом низшем классе, а кто в подготовительном. Вдруг раздался сильный крик:

– Ой-ой! Чёртов молоток, чтоб у тебя пузо лопнуло!

Это кричал Васька. Мы бросились к нему. На полотне Васькиной косы алела кровь, а Васька взял в рот палец и высасывал из него кровь, чтобы приостановить её истечение. Но кровь не унималась. Васька заодно предавал проклятию и молоток, и палец, от боли в котором он кричал. Была принесена холодная вода и чистая тряпочка. Палец Васьки был обмыт и перевязан. У нас не было ни марли, ни бинтов, ни каких бы то ни было лечебных принадлежностей. В случае порезов и ранений на них мы накладывали паутину и завязывали чистою тряпочкою. Это у нас было универсальное средство при травматических повреждениях. Ранка на пальце Васьки была хотя и глубокая, до костей, но ноготь не пострадал, и покровы тела не были сильно разорваны. Так как ранка была на левой руке, которой при кошени травы слегка придерживался конец косовища, а нажим на косу и движение ею производились исключительно правой рукой, то через два дня Васька мог свободно участвовать в сенокосении.

Таким образом, в нашей подготовке к сенокосению проявились различные степени практического знакомства и технической приспособленности. Знания были не сложны и легко давались, а техника требовала практики. В этом отношении мы действительно как бы состояли в разных классах обучения. Благодаря наставлениям моего руководителя по земледельческому хозяйству с детства – Явтуха, я оказался в высшем классе, за мной следовал Васька, а в хвосте плелись Грачёв и Попка, которые были мало знакомы с техникой сенокосения и вообще со всей постановкой этого дела.



На другой день после обеда к нам приехал отец Пётр, чтобы принять участие в сенокосении, в начале этого рода работ. Мы обрадованы были появлением его и тормозили гостя со всех сторон вопросом:

– Що ви, Петро Яковлевич, нового привезли?

– Мяких паляниць та гарних коропів і м'яса привіз вам, як новинку, – смеясь, говорил отец Пётр. – Ще ж станиця уверх ногами не перекинулася.

В это время мы вообще настолько близко сошлись со своим хозяином, что запросто обращались с ним, как со своим товарищем, и он так же относился к нам.

– А як у вас пливуть чи біжать діла? – обратился он к нам с вопросом.

– Та нічого, – ответил я. – Здається, все діло зовсім налагодилось і вавтра ж можна почать і косовицю.

Но едва я произнёс этот успокоительный ответ, как из разных сторон раздались голоса:

– А відра, Петро Яковлевич, відра?

– Які відра? – с недоумением спрашивал он.

– Відра для води, – хитроумно отвечали ему товарищи, желая потешиться над ним.

– Та у вас же єсть відра для води. Хіба у вас нічим пойти скот та до куреня води принести? – недоумевал отец Пётр.

– Та ми не про ті відра питаєм вас. А де ті відра, в яких треба держать воду с піском та бруски тоді, як ми почнемо косить траву? – говорили уже со смехом товарищи.

– Дивись ти! – воскликнул отец Пётр и растерянно бил себя по бокам руками. – Про відра я і забув.

Все мы весело смеялись над опешившим хозяином, а кто-то проговорил:

– Та нічого! Ми будем у вашому брилі воду з піском та з брусками носити! – и ещё веселее смеялись все, так как священник отец Пётр носил самую непрезентабельную и сильно потёртую шляпу.

Приезд отца Петра как бы совсем развязывал нам руки и давал волю языкам. Мы совсем уже покончили с подготовкой к сенокосению на завтрашний день. До ужина ещё оставалось не менее двух часов. Поставлен был самовар, а мы уселись возле куреня и завели разговор в ожидании чаю. Отец Пётр осведомился, понравились ли нам купленные им косы.

– Всі коси уже добре виклепані і прилаштовані до косовищ. Завтра будемо і косить ними, – ответил уклончиво я, так как предпочёл старую косу купленным новым.

– Значить, нові коси ви розібрали по рукам, а на мою долю оставили стареньку косу? – спросил отец Пётр.

– Нет, старая коса досталась не вам. Вот кто овладел ею, – произнёс Васька, указывая на меня пальцем.

– Ви будете косить старою косою? – обратился ко мне отец Пётр. – Чого же ви дали перевагу старій косі перед новенькою?

– Того, – ответил я, – що вона показала мені кращою нових.

– Та воно, мабуть, так і буде, – проговорил отец Пётр. – Робітник мій Остап, которого я перед вашим приїздом розщитав, дуже просив мене, щоб я подарував цю косу йому або продав. «Вищитайте з мене, – каже, – хоть два карбованця та оддайте мені цю косу». А я цілий же год промучився з цим ледащом та так вік уївся мені в печінки, що я наодріз одказався подарувать або продать йому моє добро, яким він зацікавився. «Коли ця коса дуже добра, – подумав я, – то кому-кому, а тобі, брехуну, лежебоку та шкодливій людині не подарую і не продам». Так і зробив, бо і мені наш коваль-козак казав, що такої коси трудно достать.

Слушая историю старой косы, которую и я после рассказа отца Петра признал драгоценностью, я тухнул-таки немного и прямо спросил:

– Так це, Петро Яковлевич, може й в мене одберете косу?

– Ні, ні! – воскликнул отец Пётр. – Косить ви старою косою. Ви ж її пригнали, і вам вона до масті. Я ж не кошу, хоч завтра і попробую попрацювати з вами. По правді вам сказати, я не знаю, як вона і в мій двір попала.

Я свободно вздохнул.

Тогда же, за чаем, мы решили начать сенокосение со степи, чтобы занять по возможности близкую часть её к нашему куреню, а густой пырей, росший на «обніжках наших нив», скосить позже. На другой день рано утром, нагрузив воловий воз бочонком воды, кухонными принадлежностями, провизией, забрав с собой и лошадей с дрогами и поклажей отца Петра, приехавшего к нам на одни только сутки, мы двинулись в степь. Степь находилась от нашего куреня в двух или трёх верстах, и, во избежание потери времени, мы предпочли целый день проводить в степи. Вблизи куреня оставался один Юхим со скотом.

Когда мы прибыли на место, где должно было начаться сенокосение, я быстро «набив на кісся» свою косу и начал обкашивать место



для стоянки. Моему примеру последовал Васька. Скоро скошена была трава на довольно значительной площади. Грачёв и Попка с граблями в руках собрали траву в кучу, а отец Пётр забил в землю три кола – два для лошадей и особо – один для волов.

Трава была перенесена ближе к животным и пошла им в корм. А мы взяли в руки косы, чтобы начать сенокосение; даже отец Пётр вооружился косой, сняв с себя длиннополый подрясник и связав ленточкой на затылке свои длинные волосы. Но тут же сразу возник вопрос: как мы будем косить траву – все вместе или же разобьёмся на две части, чтобы слабо владевшие косой члены ассоциации не задерживали работы других, хорошо владевших косой? Но трудно было, однако, произвести такое деление, не зная работы отдельных членов. Отец Пётр предложил произвести нечто вроде экзамена всем косцам, не исключая и его.

– Пусть, – говорил он, – каждый из нас пройдёт одну ручку. Тогда будет видно, кто из нас и как косит.

Предложение это было принято всеми.

– Начинай, Васька! – обратился я к Ваське.

– Ну нет, брат! Покорнейше благодарю за честь, – отозвался Васька. – Я уже раз начинал плугатырём пахать землю. Довольно с меня этого удовольствия. Начинай теперь ты.

Все обратились с просьбой ко мне, чтобы я повёл за собой косарей. Я без всяких возражений и условий хорошо наточил косу бруском, попробовал косу в пятке, крепко ли она скреплена рифой и клиньями, и не спеша прошёл одну ручку, или ряд шагов в тридцать длиной. Коса оказалась у меня превосходной, с такой лёгкостью резала траву, что я не ощущал никаких усилий, срезая, как бритвой, ряды густой зелени. На протяжении всей ручки только один раз я поострил мантачкою косу, до того она была остра и беспрепятственно двигалась в плотных зарослях. Пройденная мною ручка оказалась чистой, без всяких огрехов, по общему отзыву товарищей.

Вторым после меня косил Васька. Он почти с такой скоростью, как я, прошёл свою ручку, два раза мантачил косу и сделал три или четыре огреха, так что всем были хорошо видны небольшие пеньки плохо захваченной косой травы. Ручку товарищи признали нечистой и потому по качеству ниже моей.

Третьим пошёл отец Пётр. Он почти в два раза медленнее, чем Васька, прошёл свой ряд, часто останавливаясь, чтобы срезать замеченные им огрехи. Его ручка вышла несколько чище, чем ручка Вась-

ки, но длительность работы сильно понижала работоспособность косца. Отца Петра товарищи признали третьим косцом.

Попка и Грачёв заранее заявили, что они не считают себя косарями и будут только учиться тому, как следует косить, и что поэтому их испытание, может быть, излишне. Мы настояли, однако, на том, чтобы и они показали своё искусство, и были приятно удивлены тем, что оба они сразу овладели косой и косили хотя и неважно, но можно было рассчитывать, что и они путём практики сделаются настоящими косарями, особенно Попка.

На основании этого экзамена отец Пётр предложил поделить косарей на две группы – двое будут косить так, как косят вообще настоящие косари, а двое пусть подучиваются, пока не втянутся в работу. Все молчали, но я нашёл непрактичным такое деление, так как настоящие косари, работая с учащимися искусству сенокосения, ничего не потеряют в работе. Догнав медленно двигавшихся учеников, они могут переходить на их ручки и работать снова впереди. Общая работа будет повышать и общее настроение, вызывая вместе с тем и соревнование. Учащиеся сенокосению будут иметь на глазах живые примеры, как следует косить, и легче будут усваивать технику производившейся на их глазах работы. Моё предложение было принято единогласно, и решено было косить в четыре косы, так как отец Пётр не мог принимать участия в работе.

Но тут обнаружилась другая загвоздка в производимых работах. Все мы – и косари, и обучавшиеся искусству сенокосения – скоро уставали от такого усиленного напряжения, какое вызывалось непрерывностью сенокосения. Благоразумие требовало в первые дни сильно не налегать на непосильные и затяжные работы. Решено было не гнать работу, а постепенно втягиваться в неё, пока наши руки, ноги и вообще организм не приспособятся к непосильным в первое время работам. В этот раз мы косили непрерывно только до обеда, а после обеда хорошо отдохнули и ограничились в работе коротким промежутком времени. Отец Пётр отправился прямо в станицу, а мы передвинулись к куреню. Там Юхим разложил костёр и варил нам на ужин кулеш. Солнце в это время уже скрылось, а костёр служил нам домашним светилом, но мы, справившись с привезённым нами скарбом, быстро двинулись не к огню греться, мы и без того потели от движения, а ближе к котлу с кулешом. Ещё быстрее мы поужинали и, изнемогая от усталости, вызванной напряжённой непривычной работой в течение не менее семи часов, сразу завалились спать.

Но и спанье оказалось не тем обычным отдыхом, в котором мы обыкновенно сладко засыпали после тяжёлых работ. В этот раз мы и сонные продолжали косить невидимую траву. Я имел некоторые представления о таком сне со слов других. На что силён был физически в кошени травы и хлебных растений наш Явтух, но и он, по его рассказам, первые три ночи в начале сенокосения непроизвольно косил во сне траву, то есть дёргал руками и отчасти всем корпусом в самом крепком сне. В этом отражался переход организма от мелочных разнообразных повседневных работ земледельца при обычном ведении хозяйства к напряжённым непрерывным движениям рук и отчасти всего организма. Только по мере того, как косарь ежегодно втягивался в эту работу, приучался и организм к нормальному сну. Косили ночью, по рассказам, целые партии косарей, работавших артелями, при начале сенокосения. Я и мои товарищи косили во сне в первый и второй годы наших работ при сенокосении. Утром на следующий день поделившись впечатлениями от ночной работы организмов, на которую некоторые из нас не обратили должного внимания, принимая её за сон, мы в следующие два дня не особенно налегали, часто делали небольшие перерывы и тщательнее стали ухаживать в буквальном смысле за своими орудиями, усердно наостривая их мокрыми брусками и мантачками при кошени травы и периодически через несколько дней отбивая на бабке молотком. Хорошая коса – истинный друг косаря.

Я не останавливаюсь на мелочных работах при уборке сена, на работах граблями и вилами, когда сено сгребали «в валки», а потом из них возводили копны и так далее. Достаточно и приведённых фактов, чтобы иметь ясные представления о том, как при всей мелочности и кажущейся простоте незатейливых, но разнообразных сельскохозяйственных работ они туго и упорно даются в руки земледельцу. Когда, бывало, едешь по степи или в поле и видишь, как ряд косарей мерно и ритмически взмахивает косами, поднимая и опуская их разом, как бы в такт, то эта самодвижущаяся машина из живых людей кажется таким простым и естественным явлением, что над ним, бывало, не задумываешься, а только невольно любуешься. Но нужно было не бравшему никогда в руки косу человеку попасть в то положение, в какое попали члены нашей ассоциации, чтобы на опыте понять эту простую и красивую, живую из живых людей машину. Теперь, с появлением косилок, мёртвых машин, рассказанное мной – «дела давно минувших дней», но в то время кажущейся простоты и тяжёлой естественности затрачива-

лась уйма труда тружеников, омытая их потом и покрытая напряжением мускульной силы.

Не знаю, как чувствовали себя мои товарищи, но я никогда не косил ночью более трёх ночей. Мне казалось, что через три дня мы все покончили с ночным сенокосением. Наши руки и весь организм настолько уже приспособились к новой работе, что мы не задыхались, а свободно дышали лёгкими, не натужились, а без усилий, механически махали руками. Ещё через две недели, к концу сенокосных работ, все мы в четыре косы косили, как настоящие косари, все умели хорошо отбивать косы и в совершенстве овладели сенокосной техникой.

Об этих прошлых днях и ночах земледельческого труда и тревожений лично в моей памяти остались очень странные, но приятные воспоминания или, точнее, может быть, приятные следы в моём организме. Когда я увижу человека, косящего траву не только в поле или в сенокосных местах, но даже в саду, в парке или на алее, например, в Праге, то мне и в восемьдесят с лишком лет хочется взять в руки косу и косить зелёную, испещрённую цветами траву. Что это такое?





Глава XII

## Съёмка с корня хлебных посевов

**С**енокос и его несложные, но непрерывные, поступательно следовавшие одна за другой работы послужили для членов ассоциации хорошей школой практики по подготовке к главному периоду летней работы, так называемой страдной поре. С наступлением этой поры всё менялось вокруг нас – и внешний вид природы, и состояние атмосферы, и наше отношение к окружающей среде. Весенняя, зелёная, пестревшая обилием цветов растительность постепенно, как увядающая красавица, меняла свою блестящую окраску, принимая более однообразные тоны признаков наступающей зрелости и плодоношения. Серела дряхлевшая травянистая растительность, заменялись плодами цветы на деревьях и кустарниках, золотились зеленеющие нивы хлебных злаков, и хотя стволы этих растений грубели и слегка окостеневали, но их золотистые верхушки гордо увенчивались колосьями зерна. Мы с живым интересом это замечали, потому что всё это происходило на наших глазах. Мы были в это время ближе к природе, чем когда-либо. Менялись наши впечатления и видоизменялись наши настроения и чувства, питаемые к природе; строже работал разум и настраивалось мышление. Казалось, сама природа говорила нам: берите, молодые люди, немедленно мои плоды, не теряйте понапрасну времени, иначе вы останетесь на бобах. И мы не теряли времени.

Весной, корпя над серыми будничными сельскохозяйственными работами, мы любовались красотой цветущей в разнообразных комбинациях и переливах окраски природы и наслаждались благоуханием её растительности, а дары природы будили нашу мысль и настраивали на разумную деятельность. Мы, как и колосья на ниве, созрели, чтобы дружно приняться за дело. Ибо все члены ассоциации были годны для него – умели хорошо косить косой, втянулись в физический труд и не боялись ни жары, ни каких-либо осложнений в работе. Мы горели, одним словом, желанием активно проявить свой труд, чтобы пожать необходимые плоды с наших посевов.

При обилии в то время свободных земель в Черномории и слабо используемых степей земледелие находилось на низкой ступени развития. Преобладала переложная система хозяйства с самым тщательным расчётом эксплуатации природы, как покладистой дойной коровы, с возможно меньшими затратами труда и капитала. Хлеб не жали, а косили на голую косу, и многие не знали даже, что такое серп, и ещё больше было таких, которые знали это, но не видели самого инструмента. На всю Черноморию, может быть, один забравшийся в неё Васька искренне мечтал о чудодейственном серпе, как мечтал он когда-то о прелестной сохе, но, научившись хорошо косить, и он изменил серпу. Он заранее условился со мной, что мы будем косить вдвоём с ним всякого рода хлеб – и ячмень, и пшеницу, и просо, и овёс. Коса стала любимым оружием Васьки, так как он в руках с ней преуспевал на арене любимого им сельскохозяйственного труда.

Стояла жаркая и душная погода. Солнце немилосердно жгло растительность. В природе всё как бы застыло в сладком сне и нежной доле теплоты; ничто не двигалось в ней, и даже о слабом ветерке забыли люди, звери и птицы. Одни миражи отражались вдали в виде каких-то двигавшихся в мглистом воздухе неопределённых причудливых фигур.

– То, – утверждали маленькие казачата, – святой Петро гоняет овец на пашу.

Хлеб созрел, казалось, не по дням, а по часам. Особенно беспокоил нас ячмень. Под посевом его у нас было целых шесть десятин, а погода стояла такая, что если бы самый искусный косец начал с одного конца нивы, то пока на двенадцатый день он дошёл бы до конца последней, шестой десятины, и начал бы косить её, то от малейшего прикосновения косы к ячменю в колосе его не осталось бы ни одного зерна – оно высыпалось бы на землю от переспелости. Мы решили

скосить и немедленно убрать ячмень в копны в течение шести дней. Я и Васька должны были косить ниву по расчёту полдесятины в день на брата, а Попка и Грачёв – немедленно сгрести скошенный ячмень в валки и складывать их в копны.

И вот при этой первой работе страдной поры мы испили до дна чашу трудовой обязанности или долга и оценили её сладость надлежащим образом. Ячмень на корню отличался жёстким стеблем и не так легко, как молодая трава, давался косе. Лучший косец мог скосить в сутки не более полдесятины в течение четырнадцати часов работы, отчисляя остальное время суток – шесть часов на ночной сон, два с половиной часа на завтрак, полдник и ужин и полтора часа на обед и короткий послеобеденный сон. Мы вдвоём с Васькой решили непременно осуществить этот план – во что бы то ни стало.

На наше несчастье господствовала в воздухе невыносимая жарница. Трудно было дышать при обыкновенном даже движении на воздухе, и тяжело приходилось работать лёгким, когда мы, по меткому выражению косарей, «тянули косу». Пот лил с нас не каплями, а струями, мокры были рубахи и портки, в которых мы косили, и двигались мы как машины, взмахивая косами, и редко переговаривались друг с другом. Не до разговоров было, да и язык не ворочался.

Не знаю, как чувствовал себя мой партнёр Васька во время этой работы, но я, насколько мне помнится теперь, не чувствовал, а обращался в какую-то бесчувственную машину. Не приходили в голову мысли, не тешили глаз яркие картины живой природы. Окончишь обыкновенно одну ручку или ряд, медленно двигаешься обратно, с наслаждением ступая с ноги на ногу с косою на правом плече, а не дёргая её руками в густых порослях ячменя. Подойдя к ведру с водой и брусом, станешь одним коленом на землю и точишь поставленную на пятку косу мокрым брусом. Коса чуть слышно не то визжит, не то боязливо протестует полуглухим скрипом. Встав на ноги, непременно пропустишь несколько глотков холодной воды из кувшина, который тщательно наполняли свежей водой Попка или Грачёв, занятые более лёгкой и неспешной работой, чем мы с Васькой. Стоя потом в начале ручки, помантачишь косу и начинаешь косить, как бы передохнув немного. И так гонишь ручку за ручкою всё время с утра до вечера.

Странное самозабвение находило на меня в то время, когда, потея в тяжёлой работе и не обращая на это внимания, как на обычное для организма явление при жаре, тянешь, бывало, косу. Изредка, как быстрый метеор на отдалённом горизонте, захватит тебя какая-нибудь

мысль или представление, которое с такою же быстротой появляется, как быстро и исчезает куда-то безвозвратно. Работаешь, как машина, целые часы и буквально ни о чём не думаешь и ничего вокруг себя не замечаешь, направив глаза и внимание в те маленькие полоски, по которым скользила коса, чтобы не наскочить на пенёк или на кочку и не попортить косы. Не раз, помнится, я пробовал над чем-нибудь серьёзно задуматься и поработать духовно всласть, отвлечься от мускульных усилий, но ничего из этого не выходило. Я или плохо работал, или даже бессознательно останавливался. Заметив это, косивший сзади меня Васька кричал: «Надмись!» – и я снова превращался в недумавшую машину, механически махал косою и напрягал внимание на досмотр того, что находилось впереди меня перед носом и острыми зубьями косы. Если коса в этом случае была для растительности зверем, лишавшим жизни живые организмы, то я, человек, превращался в безжизненного манекена. Так влиял на моё душевное настроение напряжённый труд в союзе с косою, которая, в свою очередь, только тогда была верной союзницей, когда её хорошо острил. Тогда она, почтительно слушаясь меня, жестоко, как палач, расправлялась с живыми растительными организмами, лишая их жизни. В то время эта мысль не приходила мне в голову, а теперь я ставлю логически вытекающий из фактов вопрос: зачем же допускает эти безобразия господин Труд, восплаемый поэтами и возносимый до небес экономистами, философами и моралистами, раз он, в блестящем мундире идеализации, но в позорной роли палача тиранит и лишает жизни живую органическую природу? Много теснится за этим вопросом ясных для людей, как божий день, явлений и ещё больше, может быть, неразрешённых загадок.

Мы с Васькой с честью исполнили взятую на себя трудовую епитимию за разбойничьи проделки Труда в мире живых растительных организмов Матери Природы. Через шесть дней на шести сплошных десятинах буйного и чистого, без сорных трав, ячменя, по которому, как по водному пространству, плавно ходили волны даже при малейшем ветре, теперь скромно пряталась огромная, чистая от растительности площадь с правильно расположенными на ней тридцатью четырьмя копнами скошенного ячменя. Урожай, как говорили наши соседи казаки, «в царини батюшки дуже добрий вийшов – семинаристи, мабуть, візнуть по сто двадцяті мірах з десятини».

Казаки правильно оценили наш рабочий подвиг, и мы очень гордились этим. Главная часть вложенного в первый раз на поле труда принадлежала мне и Ваське. Мы пахали землю под ячмень и сеяли его,

мы и снимали его с корня безо всяких потерь зерна. Но не меньше в это общее дело вложено было труда и нашими товарищами – Попкой и Грачёвым. Они вели, конечно, более лёгкие и посильные работы, но скорее нас справляясь с ними. Они ежедневно подходили к нам раза по два, брали из наших рук косы и косили по часу ячмень, представляя нам полный отдых. В эти моменты мы с Васькой бессовестно валились на землю спиной к ней и глядели вверх на безоблачное небо. Но от этого гляденья в чистое безбрежное пространство у нас как-то сами собою слипались глаза, и мы слегка похрапывали. Наш сон, однако, был чуток. Когда тихо дребезжала коса от трения по ней бруска или мерно шуршали по косе лёгкие удары мантачки, мы быстро вскакивали на ноги и принимались за работу, набравшись новых сил и терпения.

Нужно сказать, что один только ячмень потребовал от нас тяжёлой и напряжённой работы в течение недели. При сильной жаре и солнцепёке этот вид хлеба быстро созревал и плохо в зрелом виде держал зерно в колосе. Мы по необходимости должны были спешить и чрезмерно напрягать свои силы при снятии ячменя с корня. С другими хлебами не требовалось такой спешки, и мы снимали их с корня сообща в регулярном порядке – или косили их все вместе и потом всей группой убирали их в копны, или же делились на двойки, и когда одна двойка косила, другая убирала скошенный хлеб, меняясь этими работами.

В этих случаях я работал в паре с Попкой, а Васька с Грачёвым. Тут имело значение не только то, что мы с Васькой как первостепенные косари равномерно делили и распределяли свои силы, но ещё в большей степени другое, чисто побочное обстоятельство. Дело в том, что я не курил табаку, не курил в то время и Попка. Таким образом, помимо личной нашей дружбы, меня сближало с ним и сходство наших привычек. Грачёв же и Васька были завзятыми курильщиками и часто обращались друг к другу то за табаком, то за спичками, то за папиросной бумагой. Ну и работать вместе для них было сручнее.

Уборка пшеницы – озимой и яровой, а также проса и льна, посеянных в виде пробы, производилась вообще неспешно и сообразно с текущими обстоятельствами. Очень значительными были посеы пшеницы, площадь которых вдвое превышала площадь ячменя. Это был главный хлеб, урожаями которого обеспечивались его доходность и устойчивое положение в зерновом хозяйстве. В этом сходились все – отец Пётр, и казаки, и мы по неопровержимым данным. К тому же созревание пшеницы происходило медленнее, чем ячменя, и обуславливалось, главным образом, временем посева. В различное время со-

зревала озимая пшеница и пшеница яровая. Последняя делилась по времени посева на раннюю и позднюю. Ранняя яровая пшеница раньше и поспевала, а поздняя – вслед за ней. Всё это ставило нас в условия планомерных и упорядоченных работ. Приходилось придерживаться, главным образом, состояния погоды. Когда погода стояла ясная и не было никаких признаков дождя, мы косили всей группой вместе и вместе затем убирали скошенный хлеб в копны. Если же на небе появлялись тучи и пахло дождем, то мы делились на две пары – двое косило, а двое убирало хлеб в копны, чтобы дождь не замочил скошенный хлеб в рядах или в валках. Но и этими работами обе пары менялись большей частью так, что до обеда одна пара косила, а другая подбирала скошенный хлеб, после обеда же наоборот – подбиравшие скошенный хлеб косили, а косившие подбирали за ними хлеб. В этом отношении у нас ни разу не возникало никаких расхождений и препирательств, а царили мир и согласие.

Но характер и напряжённость работ не зависели ни от времени исполнения их, ни от видов хлеба. Работы косой считались несравненно тяжелее и утомительнее работ граблями и вилами. Состояние погоды – дуновение ветра или пасмурная от покрытого тучами неба погода – одинаково влияло на оба вида работ, одинаково умиряя для них летнюю жару. Также в одинаковой мере отражалось на обоих видах работы и усиление жары. Работе же с косой, особенно производившейся непрерывно в течение дня, и тем более – в течение нескольких дней подряд, были присущи те особенности, в зависимости от которых мы становились машинами и теряли настроение к активной духовной деятельности. Плохо работала голова, когда напряжённым физическим трудом заняты были руки, и соответственно приходил в движение весь организм. Это все чувствовали. Главной причиной утомления и понижения духовной энергии была собственно жара. Духота в воздухе, происходившая от высокой температуры его при полнейшей тишине, в высокой степени влияла на ослабление духовной энергии в прямой зависимости от напряжения физических сил. Я задумывался над этим, казалось мне, вполне понятным и естественным соотношением физических и духовных сил. Но моя мысль невольно перескочила на сравнительный путь, который чаще всего наводил меня на правильные выводы и решения.

Я сравнил наше положение в Ставрополе и в степи и ясно увидел, что мы организовали семинарскую ассоциацию и двинулись в Черноморию в целях лучшей постановки ассоциационного дела на широких

основаниях под влиянием в обоих случаях идейных побуждений, с мыслию о пропаганде наших идей практическим путём. А что же произошло на самом деле? Каковы были наши достижения? Оказалось, что мы учились, и учились хорошо, но мы преследовали специально наши интересы, способствовавшие лучшей организованности нашего предприятия. Мы научились обращению с плугами и в известной мере подняли свой престиж в населении, но ни один казак не купил немецкого плуга, следуя нашему примеру. Нам хорошо далось искусство косить траву, но разве многие казаки косили не лучше нас? Успешно сеяли мы разные виды хлебов, но и это была не новинка для казаков. Они то же делают и часто делали, может быть, несравненно лучше нас, обучавшихся ещё делу практически.

«Как же быть? Не бросать же дело в самом начале его, тем более что, собственно, у нас оно хорошо налаживалось?» – путался я в своих соображениях. Попробовал я завести разговор на эту тему с Васькой, но, не входя ни в какие рассуждения, он коротко ввёл меня в надлежащие границы поговоркой:

– Взавшись за гуж, не говори, что не дюж.

Несколько раз останавливались мы с Попкой на вопросе о нашем положении в степи и в рабочих условиях, и опять-таки не двинулись дальше наших непосредственных интересов. Оба мы были в выигрыше в степи чисто с точки зрения укрепления нашего здоровья. Оба мы чувствовали, что в течение двух с лишком месяцев физически мы окрепли и свободно справлялись с такими работами, которые раньше казались нам труднопреодолимыми. Кратковременное моё недомогание не помешало мне быть настоящим работником при сенокосении и снятии хлебов с корней. Не бравший никогда в руки косы Попка быстро научился косить и хорошо владеть косой. Обоим нам, числившимся в разряде чахоточных по наследству, не требовалось лечиться шалфеем, рекомендованным нам отцом диаконом Грачёвым. Одним словом, всё и всех нас толкало к тому выводу, что надо было довести дело до конца, а в чём должен был выразиться же данный конец, в этом отношении у нас также не было ничего определённого.

А между тем жизнь не церемонилась с нами, и её степные условия и обстановка не всегда баловали нас. Наши весенние работы до сенокосения прошли более или менее благополучно. Дожди хотя и были, но не особенно мешали нашим работам и не причинили на наших посевах никакого урона или разрушений. Были ветры, но не было бурь, выпадали дожди, но не производили они размывов. Сено-

косение прошло споро и благополучно, и сено вышло сухое и душистое, не пострадало от дождей. Снятие хлебов с корня началось и всё время продолжалось при самой благоприятной погоде. Ни одного разрушительного ливня и опустошительной бури не было. Были тихие и жаркие дни и ночи, но эта тишина и обилие тепла благоприятно действовали на цветение хлебов и завязь в них зерна при лёгких ветерках. Со своей стороны мы приняли все меры к тому, чтобы своевременно снять с корня хлеба и не допустить их сырости от влаги и гниения от дождей. Работы приходили к концу, и мы радовались тому, что всё было вовремя сделано и на наших нивах царил образцовый порядок. Все нивы были гладко скошены, скошенный хлеб чисто убран, не подобранных колосьев совсем не было, и если бы была жива библейская Руфь, то ей нечем было бы поживиться на нашем поле, которое всюду было увенчано правильно расставленными рядами копен. Мы потирали руки от удовольствия и наслаждались тем, что совершили на возделанном нами поле.

Но последние два дня при окончании наших работ показали нам, по выражению Васьки, «кузькину мать». В первый день несколько раз срывался дождь и, слабо смочив землю и растительность, быстро прекращался. Часть скошенного и слегка смоченного хлеба оставлена была не убранной в рядах в том расчёте, что на следующий день покажется солнце. Так, казалось, и случилось; расчёт был сделан верно. С утра показалось солнце и почти высушило оставленный в рядах хлеб. Но едва мы все четверо взялись за грабли и вилы, чтобы сгрести его в валки, с шумом, крупными каплями полил порывистый дождь. Мы бросили работу, но и дождь перестал. Пришлось снова оставить не убранной в рядах хлеб до следующего утра в надежде на помощь благодетельного солнца. Это была последняя нива, на которой мы косили хлеб, и к смоченным рядам мы прибавили ещё несколько вновь скошенных, чтобы поскорее пошабашить на следующий день эти работы и приняться за перевозку валков к току и молотьбу на нём хлеба.

К вечеру всё небо было покрыто тёмными зловещими тучами, и подул постепенно усиливавшийся ветер. Ни зорек, ни луча света ниоткуда не было видно. Не горели обычные в таких случаях костры ни у нас, ни у соседей, потому что, несмотря на ветер, на землю изредка прорывался дождь. Наступившая со всех сторон темнота, казалось, мощно охватила в свои объятия нашу царину и всю природу и будто душила в этих мощных объятиях степь и всё, что было на ней. Издали откуда-то неслись раскаты сильного грома.

– Це, мабуть, святий Ілько їде до нас у гості на своїй колесниці! – сострил Грачів, но нікто не засмеялся и не поддержал его игривое настроение.

Невольню жуть охватила всех нас. Я и Попка не протестовали даже, когда Васька и Грачів свернули с бумажек чѣртовы ножки и закурили в душном курене свой вонючий табак. Всѣ-таки сверкали хоть слабые огоньки в этих чѣртовых ножках. Свечей у нас не было, а каганца мы просто не употребляли. Порывы ветра усиливались, а раскаты грома раздавались уже над куренѣм и над нашими головами. Что-то зловещее несли они нам.

Приблизительно с десяти часов ночи началось настоящее светопреставление. Это была так называемая «горобина нічъ». Точно боролись и дрались между собой три рассвирепевшие стихии: необыкновенная буря, сильнейший ливень и потрясающие, казалось, небо раскаты грома, сопровождавшиеся сверкающею в разных направлениях молнией. Каждую секунду молния с такой силой освещала курень, что буквально до боли ослепляла наши глаза. Волны света заливали курень, освещавшийся двумя крошечными оконцами, казалось, свет то быстро загорался, то быстро потухал.

Молния резала глаза непрерывной частотой своих резких ослепительных вспышек. Нам не видно было, как своими зигзагами она резала тучи, но маленькие оконца в курене, как вулканы, миг за мигом извергали в курень волны яркого света. Мы сидели, как затворники, нельзя было показать даже носа. Под завыванье бури слышно было, как лил, точно из ведра, дождь и как вода плескалась и билась об крышу и стенки куреня. Вода начала проникать к нам через порог, плохо прикрывавшийся нижнею частью двери. Мы молча швыряли Грачіву, сидевшему у двери, пустые мешки и всякого рода хлам, а он запихал эти материалы в щель под дверь, чтобы прекратить проникновение дождевой воды в курень. Других материалов у нас не было под рукой. Мы почти не говорили. Молчание изредка только прерывалось короткими восклицаниями: «От так штука!», «Ну, та й дощ!», «Ой, та й страшний грім!». А Васька несколько раз изрекал:

– Вот так кузькина мать! Даѣт себя знать!

Сколько длились неистовства, по выражению Васьки, кузькиной матери, а по украинскому народному лексикону – «горобиною нічи» («воробьиной ночи»), мы не знали и не могли определить. У нас не было часов. Мы мерили течение времени приблизительно. Казалось, что яркая Молния, слепившая глаза, танцевала какой-то стремитель-

ный и лёгкий танец; Молнию сопровождал с потрясающими раскатами кавалер Гром, а ревнивая Буря, врываясь в промежутки между этими раскатами Грома, потрясала всю степь.

Три стихии, сливаясь в одну, гасили мысль. В быстрых аккордах этой неистовой гармонии не было никакой возможности даже приблизительно учитывать время проведения этих потрясающих сил Матери Природы. Неистовствовавшие стихии влияли на наше внимание неточностью своих проявлений и грозными силами, мешавшими маленьким головам людей спокойно думать и заниматься счетоводством по учёту времени. Ибо и само время тонуло в глубине неистовых и причудливых сплетений Света, Звуков и Завываний.

Но ведь всему бывает конец, и нет такого явления в природе, которое не тянулось бы, как нитка в иголке, во времени. Я не раз в своей жизни переживал смутные и жуткие минуты «горобиною нічи», и у меня сложилось единое общее впечатление от её грозных и величественных проявлений на лоне Матери Природы. Я передал самые общие, простые и логически понятные черты этих грозных и величественных явлений Природы в моей сводной концепции. Когда я сидел внутри куреня поповой царины в Бриньковской степи и когда до моего слуха стали долетать раскаты грома, мне казалось, что «горобина нічъ», как какое-то невидимое чудовище, делала наступление на нашу царину. По мере того, как чудовище это надвигалось, усиливались его неистовства, достигшие высшей степени напряжения в тот момент, когда оно находилось в зените. Затем, перемахнув наш маленький, как пылинка, курень и направляясь далее от него, чудовище постепенно меняло в моём слухе и глазах силу своих неистовств, и, наконец, наступил момент, когда стала ослабевать и совсем глохнуть громогласная трескотня, а за нею – меркнуть и совсем гаснуть яркие вспышки молнии.

Мне хорошо помнится именно этот момент в курене, ибо тогда мы ожили и зачирикали, как воробьи после ночной спячки. Да, такой момент был, когда ушла вдаль от нас «горобина нічъ». Мы ожили и заговорили, точнее засловословили. Какое было это упоение собственною славою и успехами! Какие чудные изречения падали через наши сладкогласные уста! Молодость и самомнение – это вы! Вместо того чтобы, не теряя времени, лечь спать, мы стали наслаждаться словами и хвалиться своею предусмотрительностью. Вот истинно хозяйственные головы! Вот борцы в труде и кудесники в предвидении будущего! Мы ведь убрали почти весь хлеб в копны и привели в образцовый порядок всю нашу царину до нашествия на наше поле «горобиною нічи». Шутка



ли это? Как это хорошо! Как это умно! Как это предусмотрительно! И в этом медоточивом самомнении мы сладко заснули.

Но утро мудрее вечера, а освещённое пространство яснее тёмной ночи. Проснувшиеся утром ревнители ассоциационных идей бросились из куреня на свежий воздух – неодетые, неумытые, босые, в одном нижнем белье. Чудное утро, живительный воздух, очищенный «горобиною ніччю», приятная прохлада охватили их. Нужно было только восхищаться этими дарами Природы. Но точно на грех нам, у всех членов ассоциации были глаза, и притом – очень зоркие. Мы протёрли заспанные глаза и кинули взгляд на своё блестящее в предыдущий день порядком и чистотою поле. О ужас! Что же это такое?

– Копиць наших немає! – кричали мы в один голос вдвоём с Попкой.

– Копны наши пропали! – вторил нам Васька.

– Та ні! То ж вони клаптиками розкидані по всій царині – пояснил Грачёв.

Точно подкошенные острой косой, мы чуть-чуть не попадали на землю. Необычный контраст с обычным видом наших хлебных нив поразил нас в самое сердце. Давно ли мы восхищались нашею прозорливостью и умением предусмотрительно вести наше ассоциационное дело – и вот тебе: что случилось? Наш стройный порядок на нивах и поразительная чистота, вложенные в наше дело, нарушились и помрачились.

Как? Почему? Мы были так поражены, что не могли сразу ответить на эти вопросы. Только когда посетил нашу царину сосед Свиридонович, узнавший о нашем несчастье, и, покачав головой, сказал:

– Чом же ви не закрутили копиць перевеслами? – мы опомнились, но было уже поздно.

Один только Васька затянул старую песню:

– То ли дело серп? Если бы копны были сложены снопами, никакая буря не разметала бы их.

– А коси, значить, уже не треба? – сердито пробурчал Попка.

– Да нет, и коса того... – Васька не договорил и поперхнулся.

Увы! Он влюбился уже в косу, как влюблён был когда-то и в матушку соху.



Глава XIII

## На току и около тока

**П**ри молотье в степи на току у земледельца развязывались, что называется, руки. Как и зимой, он чаще располагал в эту пору свободным временем. Не было таких спешных работ, как снятие с корня поспевшего хлеба в определённые моменты. Молотье хлеба была тоже спешной работой, требовавшей вовремя, при благоприятной погоде, получения результатов всех хозяйственных операций – чистого и неповреждённого зерна, но самое добывание его на току обставлено было такими лёгкими и несложными работами, которые позволяли на время отлучаться от них части рабочих. Можно было в короткие промежутки посещать соседей, присматриваться к их работам и делиться новостями или обмениваться мнениями. Мы об этом знали и заранее рассчитывали использовать свободные минуты на общение с соседями. К нашему сожалению, неожиданная буря с ливнем помешала нам приступить вовремя к молотье хлеба. Мы отстали в этой работе от соседей более чем на неделю.

«Горобина ніч» наделала нам больших хлопот, и хотя не причинила существенного урона зерну снятых уже с корня хлебов, но значительно осложнила общий ход наших работ. Появились, собственно говоря, совершенно новые работы, вызванные бурей, которых мы не ожидали. Более недели ушло у нас на то, чтобы привести в надлежа-



ший вид скошенный уже и сложенный в копны хлеб. Не снятого с корня хлеба было так мало, что я и Попка с утра и до обеда совершенно закончили с ним. Попавшего в рядах хлеба под дождь было ещё меньше, и с ним легче было справиться, чем с хлебом, разбросанным бурей по всему полю, потому что он лежал в правильно расположенных рядах. Находившиеся же в копнах хлеба были размётаны бурей большими и малыми кучами по всей царине и ещё больше – клочками с торчавшими в разные стороны колосьями. Не тронутых бурей или слабо тронутых копен было очень мало. Большая часть их была разрушена бурей если не до основания, то в значительной степени.

Предстояли две скучные и кропотливые работы: нужно было высушить весь сильно намоченный ливнем хлеб и потом уже сложить его в копны. Наученные горьким опытом, мы изменили законченный уже план работ, приурочив новые работы не к возобновлению разрушенных копен, а к возведению на местах всеобщей разрухи возможно больших ометов и одновременно к возке частями к назначенному для тока месту того хлеба, который скоро высыхал. К нашему счастью, после «горобиной нічи» снова настала тихая и тёплая погода. Хлеб быстро высыхал под палящими лучами солнца, особенно в мелких кучках. Туда, где можно было разбросанный хлеб кучить большими ометами, мы и направили наши соединённые силы. В то время, отправляясь с утра на работы, мы запрягали три пары волов в три имевшиеся в нашем распоряжении воза, которые и расставляли в местах просушки. Высохший хлеб мы сразу клали на возы и перевозили к будущему току – большей частью вечером, а иногда к обеду.

Самая же усиленная и кропотливая работа происходила там, где предполагено было сложить хлеб в большие ометы. Скученный здесь хлеб в немногих местах приходилось предварительно сортировать по видам его, выделяя, например, овёс, попавшийся на пшеничных нивах. Но главные работы здесь состояли в том, что приходилось разворачивать кучи хлеба, расстилая его тонкими слоями для скорой просушки, тем более что в некоторых же местах разметанный хлеб лежал в лужах дождевой воды, так силён был ливень.

Так или иначе, через несколько дней мы справились с работами по осушке хлеба и окучиванию его в большие ометы. Ометы были хорошо вывершены, а вершины их закреплены перевеслами. Вообще мы придали им такой вид, что они могли выдержать всякую непогоду, служа главным фондом для молотбы хлеба на току. Возобновительные работы велись тщательно, но нивы не отличались прежней чи-

стотой. На них было чем поживиться и Руфи. Была небольшая убыль отдельными колосьями. Надо было спешить и все усилия направить на то, чтобы произвести молотбу хлеба при возможно благоприятной погоде до наступления дождей. На очереди стояло оборудование тока. Старый, прошлогодний, был расположен не на ровном месте, и поверхность его была рыхла, а местами – с большими выбоинами. Помня уроки, преподанные мне Явтухом, я был уверен, что на этом току попадёт в зерно много земли, и этим сильно будет обесценен урожай всех наших хлебов. Из поездок с Кузьмою Крикливым в Ейск в роли писаря, заносившего в книгу число пудов и цены купленного хлеба, я знал от этого мелкого скупщика зерновых хлебов, что приезжавшие в Ейск иностранные хлеботорговцы неохотно брали сильно засорённый хлеб и платили хорошие цены за хлеб чистый, а чтобы получить чистый хлеб, нужно было оборудовать хороший ток.

Место для тока было заранее мною намечено вблизи куреня, и тут я воспользовался теми сведениями, которые вложил мне в голову ещё в детстве Явтух. Он предпочитал оборудование тока не на мягкой земле или на ниве, а на целине, и непременно на ровном месте, на котором не росли ни кустарники, ни вообще крупные с большими корневищами кусты.

– Треба, – говорил он, – щоб земля була глиниста та кріпка, як залізо або засохша бичача шкура.

Пользуясь этими указаниями моего ментора по хозяйственной земледельческой части, я и наметил такое именно место вблизи куреня. Ток устраивался обыкновенно в форме правильного круга, на котором железной лопатой снимался верхний слой земли с мелкими и неглубокими концами травы. Вдвоём с Попкой мы взяли на себя устройство тока. Установив центр избранного для тока места, мы забили в этот центр кол, привязали к нему верёвку и другим концом её наметили математически правильный круг, обойдя с этой верёвкой в руках по окружности. Казаки этого не делали, а намечали круг на глаз, даже сам Явтух не практиковал этого способа, да, вероятно, и не знал его. Нам хотелось оборудовать ток на славу и в некоторой степени воспользоваться математикой, изобразив правильную геометрическую фигуру. В этом отношении мы пошли дальше казаков и самого Явтуха, применив к отделке поверхности намеченного круга свои способы. Сняв верхний слой земли, мы заделали глиной все те места, где оказались ямки и выбоины или рыхлый чернозём. Затем мы хорошо утрамбовали ручными трамбовками весь ток, выравнивая неровности на по-

верхности его, смазали липкой глиной всю поверхность, дали хорошо высохнуть глине и там, где образовались трещины, заделали их снова глиной, а после всего этого решили сделать «накат», то есть применить тот способ трамбовки тока, который практиковали казаки. Сначала обильно полита была водой лоснившаяся уже от нашей предварительной работы поверхность тока, и когда вода испарилась от действия лучей солнца, мы накрыли ток равномерным слоем, в полторы четверти толщиной, мягкой, слегка присохшей травой. Ток переночевал в этом наряде, а на следующий день впряжены были в возы волы с нагруженной тяжёлой поклажей, а сзади воза ещё две пары волов таскали за собой два каменных катка, и целый день мы кружились, трамбуя этим способом ток. Когда снята была с тока настилка травы, поверхность его, по выражению одного казака, блестела как зеркало и была крепка, как сталь хорошей казачьей сабли.

Началась молотьба хлеба. В первую очередь мы пустили пшеницу, как наиболее ценный продукт, сначала озимую, а потом яровую, особо раннюю и особо позднюю, чтобы определить количеством добытого зерна урожайность каждого вида пшеницы. Так хлеб за хлебом и тянулось всё время молотьбы. Последними обмолочены были просо и лён, небольшие порции их, посеянные возле баштана в виде пробы. Помнится даже точный учёт их урожайности на количество квадратных сажень, бывших под посевом.

Благодаря всё той же «горобинной ночи», мы работали днём и ночью. Днём молотили на току, а ночью перевозили к нему стоявший в ометах хлеб. Работы были не утомительны, но не в равной степени. При неблагоприятных условиях велась перевозка хлеба с поля к току и легко давалась молотьба, благодаря обмолачиванию хлеба на току волами. Обыкновенно кто-нибудь из нас сидел на переднем возе и правил верёвками, привязанными к рогам волов, а сзади за возом шли ещё две пары волов, запряжённых в каменные катки. Правящий волами свободно мог, сообразно с ходом работ, увеличивать или уменьшать круги, по которым ходила передняя пара волов.

Остальные члены ассоциации занимались в это время кто чем хотел. Грачёв и Васька чаще всего курили или насвистывали арии, так как насмешками и усиленными просьбами мы отучили Ваську от его песнопений, а я и Попка лежали на мягкой соломе вблизи тока, созерцающая, как вверху над нами ходили облака и как они менялись в своих формах, принимая самые причудливые очертания. Иногда мы перекидывались замечаниями об этих изменениях или же храпели «во все

завертки», по выражению Васьки. Через определённые промежутки времени сидевший на возу товарищ кричал нам:

– Перевертайте!

Мы быстро поднимались на ноги, брали в руки грабли и переворачивали настилку на току обмолачиваемого хлеба, поднимая нижние части настилки со слабо вымолоченным зерном наверх – под ноги волов, под колёса и под катки. Одновременно мы выносили на деревянных лопаточках помёт волов с тока в кучи, которыми и пользовались потом, когда помёт высыхал, как топливом. Молотьбу хлебов на току волами мы называли «ленивым походом». С утра, после обеда или завтрака очередной дежурный по распоряжению работами на текущий день кричал обыкновенно:

– Ану в ленивий поход!

И ленивый поход начинался. Лениво ходили волы по току, лениво мы возлежали возле тока в промежутки между переворачиванием соломы и лениво даже погонял вола сидевший на возу товарищ, изредка клевавший косом.

Иной характер носила подвозка хлеба из ометов к току. Она производилась большей частью ночью, так как днём волы всё время ходили в ярме по току, ночью же мы брали их только на короткое время для передвижения возов, нагруженных хлебом, от ометов к току. Это была более утомительная работа исключительно потому, что велась в непривычное время и в непривычной обстановке. Приходилось работать большей частью в темноте, плохо различая даже охапки хлеба, взятые на вила и укладываемые на воз. Кое-как, однако, с грехом пополам, мы накладывали хлеб на воз, лишь бы дотащить с ним до тока. Самая перевозка тяжело нагруженных хлебом возов производилась медленно и осторожно, чтобы не опрокинуть в темноте без дороги воза или не попасть в такую рытвину, вытащить из которой тяжёлый воз с трудом удавалось волами при дружных криках и подталкивании воза сзади и с боков за люшны всей компанией. В этих случаях приходилось испытывать не столько тяжесть работы, сколько неприятные ощущения, вызываемые теми ненормальными условиями и обстановкой, при которых производилась возня с возом и волами. Добравшись с нагруженным возом до тока, каждый из нас с успокоенным сердцем вздыхал, ибо подвоз хлеба к току не всегда обходился благополучно.

Мне помнятся два наиболее достопамятных случая этого неблагополучия. Один раз поломалась ось в возу, и остановились волы, а правивший повозкой Грачёв, не заметив в темноте, что произошло с

осью, начал кричать на волов: «Гей-гей-гей!» – и так усердно стегал их кнутом, что выбивавшиеся из сил волы заревели с натуги и от сильных побоев. Тогда только Грачёв догадался осмотреть воз, но едва он двинулся к нему, как заорал во всю глотку: «Ой, Боже ж мой!» – наткнувшись на колесо поломанной оси, высунувшееся из-под воза, и полетел чрез него кубарем. Это был комический случай. После мы не раз подтрунивали над Грачёвым.

Другой случай оказался не столько комическим, но отчасти и трагическими. И этот случай стряхнулся над Грачёвым. Васька вёл волов в поводу, а Грачёв шёл сбоку воза. Обоим казалось, что они сопровождали воз по совершенно ровной местности, какой она и была в действительности. Оба они насвистывали какие-то мотивы в благодушном настроении. Темнота была ужаснейшая. Васька не заметил большую и сильно заросшую старую кротовину, а огромный, нагруженный хлебом «до небес» воз так толкнулся о кротовину, что с накренившегося воза скошенный хлеб, слегка придерживавшийся верёвкой, пополз, а за ним и накренившийся от кротовины воз перекинулся на бок, накрыв массой скошенного хлеба Грачёва. Катастрофа произошла так неожиданно и стремительно, что Грачёв только раз успел зычно крикнуть:

– Васька, рятуй!

Встревоженный Васька оббежал вокруг воза и, не найдя Грачёва, в свою очередь, крикнул:

– Где ты, Кирило?

Но не получив ответа от Грачёва, он сердито прикрикнул на него:

– Да кричи ж, чёртов ротозей, где ты? – в тот момент, когда мы с Попкой, сопровождая второй воз сзади, прибежали на крики Грачёва и Васьки к месту катастрофы.

– Одгрібайте хліб од воза! – кричали мы разом с Попкой.

Быстро откидывая в сторону хлеб, мы добрались до ног Грачёва и, не теряя времени, схватили его за ноги и общими усилиями быстро вытащили Грачёва из-под хлеба. У Грачёва оказались слегка исцарапанными колючими растениями физиономия и руки, без всяких других повреждений, но сам он едва дышал, попав в столь рискованное положение, так как он упал спиной при навалившемся на него хлебе и никак не мог под тяжестью его подняться на локти грудью вниз в менее рискованное положение. Очнувшись и придя в себя, Грачёв обратился с вопросом к Ваське:

– За що ти мене лаяв? Я це ще чув.

– Чудак ты какой! – ответил Васька. – Я ж толком тебе кричал: «Где ты, Кирило?» – а ты молчал, вот я и рассердился.

Мы с Попкой громко рассмеялись, смеялся слегка и Грачёв, выслушивая это объяснение, один Васька молчал, считая свой ответ основательным. А когда мы все обстоятельно ознакомились с происшедшей катастрофой, то, обсуждая её, пришли к тому заключению, что при перевозке хлеба ночью в темноте один должен править волами, а другой идти впереди и присматриваться к местности, как поступали потом.

Таким образом, оба случая, благодаря комическим моментам и поистине катастрофическому одному из членов ассоциации положению, остались очень памятными в истории нашего предприятия. Надо вообще заметить, что крепко оставались в памяти все те случаи, которыми резко нарушался обычный ход раз направленных работ или которые сопровождались исключительными по своей резкости подробностями, как опрокинутый воз, поломка оси, поломанная при работе лучшая коса, потерянные на культуре хлеба труды, вследствие градобитий или повреждений его вредными насекомыми, проданный по очень высоким или низким ценам хлеб, купленные удачно орудия или неудачно инструменты, расходы и доходы на откармливаемый скот и тому подобное. Случаи в этом роде послужили мне впоследствии, когда я занялся земской статистикой и устанавливал свои способы для возможно точного учёта тех реальных явлений, которые приходилось регистрировать и изучать в таких трудноуловимых областях, как монографические исследования в бюджетной статистике, оценочной регистрации промыслов при подворных переписях и тому подобное, о чём ещё будет идти речь в моих воспоминаниях за последующие годы.

Возвращаясь к характеристике наших работ на току, следует сказать, что монотонные и скучные операции собственно молотбы хлеба на току сменялись более оживлённой общей работой всей ассоциации вечером при уборке тока. Молотба всегда подгонялась так, чтобы к вечеру была совершенно обмолочена от зерна настилка. Зерно с мякиной оставалось на току и поступало в общий ворох, а солома удалялась с тока. Затем поверхность тока чисто подметалась метлами и покрывалась новой настилкой. Эта работа нравилась всем нам, потому что она производилась всеми вместе, сопровождалась шутками и остротами, а окончание её приковывало наше внимание к одному интересовавшему всех нас предмету – к вороху зерна с мякиною. Это служило как бы мерилем работы в общих наших достижениях. Молотили ли мы пшеницу или ячмень, мы обменивались мнениями об ожидаемом по

размерам вороха сбора того или другого хлеба, подводя тем как бы предварительные итоги общих наших достижений. Приём был очень шаткий, но лучшего пока практика не дала нам.

Самою же интересной работой на току была последняя на нём операция – веяние хлеба, превращавшее в чистое зерно обмолоченный с мякиною хлеб. В самом начале этой операции мы наперерыв друг перед другом старались овладеть деревянной лопатой, на которой набранное с мякиной зерно подбрасывалось вверх против ветра, отвеивавшего лёгкую мякину от тяжёлого зерна. Каждому хотелось хоть несколько раз проделать эту операцию, и конкуренция между членами ассоциации превращалась как бы в детскую забаву.

Чтобы упорядочить работу, решено было веять зерно всем по очереди, а затем для большей успешности производить веяние зерна в двух местах обширного тока двумя парами с более частым чередованием желающих веять хлеб. Может быть, на эту спешку участия в новой для всех работе повлияло то обстоятельство, что мы два дня ждали, когда при сильнейшей тишине подул, наконец, тихий ветер. С течением времени всеобщее стремление к этой работе значительно охладело, так как она оказалась соединена с большими и неприятными последствиями для работающего. Так как веяльщик хотя и становился вполборота к ветру, но лёгкая пыль и мелкие частицы мякины покрывали веяльщика с головы до ног, причём страдали понемногу физиономия, глаза и лёгкие. Эти антигигиенические неудобства, разумеется, не останавливали нас в работе. Мы мало с ними считались, и энергия наша не ослабевала. Все мы стремились к тому, чтобы после двукратной с помощью ветра очистки зерна от мякины получить одно зерно, и успокаивались лишь тогда, когда в ветре не было уже надобности. Но этим очистка зерна не оканчивалась. В зерне были ещё мелкие и порченные частицы и всякого рода пыль. Нужно было и от них очистить зерно.

В то время хотя изредка встречались уже в хозяйственном обороте черноморцев веялки и сортировки, но в Бриньковской станице не было ни одной ручной машины этого рода. Никто из моих товарищей не видел их, а я видел в городе Ейске и в станице Старощербиновке только мельком в продаже в лавках и не видел их в работе. Дальнейшая очистка зерна поэтому производилась у нас с помощью больших размеров решета на треножниках, и для работы на таком решете требовалась практика и навык. Отец Пётр приобрёл два решета и два треножника к ним. Мы попробовали произвести чистку зерна на этих решетах, но она двигалась у нас очень медленно и с большими недочётами. Необхо-

дим был для нас специалист, который научил бы приёмам обращения с решетом. Тогда я обратился к нашему соседу Свиридоновичу, чтобы он помог нашему горю, как помог когда-то я ему, открыв секрет немецкого плуга и правильно установивши его плуг. Свиридонович охотно прислал к нам на целый день одного из своих сыновей, вполне обладавшего искусством точить «провіяний на вітрі хліб на великому решеті». Он научил нас приёмам этого искусства, и двое – Васька и Попка – оказались хорошими точильщиками, а я и Грачёв – вполне подходящими им помощниками. Много помог нам и прекрасно оборудованный ток. В нашем зерне совсем почти не оказалось ни крупинки земли, очистке от которой мало помогало и большое решето.

Не помню, как относились мои товарищи к этим конечным результатам очистки зерна, но мои глаза не отрывались от растущей кучи очищенного в том или другом хлебе зерна. Хлеб казался мне не то уродливым, не то подпорченным без такой очистки, а совершенно очищенный хлеб выглядел не просто чистым, а как бы нарядным и щегольским; зёрна, подходящие одно к другому, будили в моей голове представление о чём-то гармоничном и симметричном, свойственном садовым деревьям или крупным ягодам в корзине. Особенно любил я смотреть на огромные кучи очищенной от мякины и сора пшеницы. Этот золотистый на солнце хлеб буквально приводил меня в восторг своим блеском и чистотой. Я пожирал его глазами, наслаждаясь чисто эстетически. Признаюсь откровенно, и сейчас бы с огромным наслаждением смотрел бы на кучу блестящей на солнце пшеницы. Красотой, чарующей красотой веяло на меня на току, и никогда, сколько помнится мне, эти ощущения или чувства не смешивались с холодным расчётом о том, сколько денег доставила бы мне в продаже пшеница. В земледельческом производстве это обаяние пшеницы всегда было для меня одним из сильно действующих моментов наслаждения дарами совокупных сил природы и человеческого труда.

Наряду с нашими работами по оборудованию тока, возки к нему снятых с корня хлебов и особенно молотьбы хлеба, у нас происходили, при нашей изолированности от местного населения, крайне желательные для нас общения с соседями в степи. Это были редкие и мимолётные посещения казаками нас в одиночку или чаще – небольшими группами. Они заходили к нам как мимоходом, так и с целью посмотреть на наши работы и поговорить о делах общего характера и о новостях. Так как благодаря повреждениям, причинённым нашей царине в «горобиную нічь», мы запоздали более недели с молотьбою хлеба, то казаки

видели все те изменения, которые мы сделали в царине, заменив копны ометами и тщательно оборудовав ток. В разговорах черноморцы любили вообще шутки и остроты, отпускаемые в незадорном, юмористическом тоне. Этой обычной манере общения следовали и наши соседи.

Как-то, когда мы возились ещё с приведением в порядок разбросанных бурей копен, к нам подошли два незнакомых молодых казака, застав нас за возведением большого омета из разбросанных бурей копен. Поздоровавшись с нами и пожелав нам Бога в помощь, один из них, улыбаясь, спросил нас:

– На що це ви такі величезю скирди робете?

– Та це ми лякаємо ними «горобину ніч», – пошутил Попка.

– Вона ж давно уже провалилась в тартарари, – заметил улыбающийся казак. – Не вже ж ви сядите на скирду з вилами в руках та доженете «горобину ніч» і дасте їй духопельки? – проговорил насмешливо казак.

– Ні! – находчиво возразил Попка. – Ми по стройовій службі ніколи не служили та й тепер не служим. Це вже ваша часть. Як маєте охоту, то, пожалуста, беріть в руки наші вили, сідайте на скирду та й гайда в поход на «горобину ніч», справа наліво кругом!

– Мовчи, Пилип, бо ти вже до скирди прилип! А я, їй-Богу, не хочу цього, – обратился другой казак к нам.

Раздался дружный хохот, в котором принял участие и смущённый Пилип. Но мне не понравилось наше знакомство с шуток, и я объяснил выгоды в нашем положении возведения больших ометов сравнительно с копнами. За недостатком времени нам предстояла возка хлеба к току ночью, и нагрузка хлеба при этом условии могла производиться сручнее и значительно скорее в одном пункте, чем из разбросанных куч в разных местах.

– Та це резонт, – сказал Пилип. – Мабуть, і я зробив би так.

В таком духе велись вообще наши редкие разговоры с казаками. От взаимных шуток нередко мы переходили к серьёзным вопросам. Соседей особенно интересовал оборудованный нами ток, на который они приходили взглянуть большею частью вечером, когда была убрана обмолоченная настилка с тока и его поверхность особенно сильно блестела своей отшлифованностью и крепостью, плотность которой постепенно усиливалась и самой молотью.

Однажды, когда мы молотили пшеницу, к нам явилась группа молодых и весёлых казаков.

– От тік, так тік! – воскликнул один из пришедших, глядя на лоснившуюся поверхность тока. – Усім токам, як що не батько, то дядько!

– Який там батько чи дядько? Це ж панська заля, на якій кандрилю танцюють, – вставил своё замечание другой казак.

– Чого ж це тобі кандрелі захотілось? – обратился к нему третий посетитель. – Хіба на цьому танцюристу гармані наші молодіці та дівчата не з'уміють вдарить такої дрібушечки, що і мертві вискочать із гробів та й почнуть танцювати! – острил третий.

– Та й то правда твоя, – добавил четвёртый казак. – Он же камінні котки щоб вибивать гопака, а вони ж не живі, – подтвердил четвёртый казак, вызвавший общий смех.

В это время показалась фигура нашего ближайшего соседа Свиридоновича, долго не бывшего у нас. Молодёжь расступилась, давая место всеми уважаемому старику.

– Чудовий тік! – воскликнул Свиридонович. – Настоящий франт, чоботи в рант!

Молодёжь громко засмеялась в ожидании выступления казачины, отличавшегося колючими выражениями в своих сатиричных выступлениях.

– І нащо ви такого красуна зробили? – обратился Свиридонович ко мне, пожимая руку.

Молодёжь насторожилась, с любопытством поглядывая то на меня, то на опытного казака.

– Як нащо? – переспросил я Свиридоновича. – На те, щоб тік був зроблений хозяйственный й по хозяйственному розщоту.

– Вибачайте, Андреевичу, вашому току може всього багато, а от хазяйственності немає нітрішечки, – сделал новое замечание Свиридонович.

Казаки сдерживали себя, чтобы не засмеяться.

– Чому ви, Свиридонович, так думаєте? – осведомился я.

– Ось через що, – ответил мой оппонент. – Над нашим током двоє працюють один день, а над вашим, як казали мені, двоє працювало три чи чотири дні. Яка ж тут хазяйственность?

– А така, – проговорил я, – що наша хазяйственность вищої проби, а ваша нижчої.

– Не похоже, – заметил, усмехнувшись, Свиридонович. – Попробуем зробити розщот. Скажем, поденний платіж хай буде одинаковий – карбованець за день. Наша проба покаже, що нам тік стоє два карбо-

ванця, а по вашій пробі тік обходиться вісім карбованців. От що проба каже.

Раздался оглушительный смех, так как казакам ясно, как Божий свет, казалось, что Свиридонович разбил в пух и прах мои мудрствования.

– Тепер я вас про кой-що спитаю, – обратился я к Свиридоновичу.

– Та питайте, – снисходительно ответил он.

– Ваш тік потрошки лупиться, і земельки через те попадається в зерно стільки, що це видно і на око? – продолжал я спрашивать Свиридоновича.

– Та воно так, – сказал в явном смущении Свиридонович. – Коли тік лупиться, то й земелька в зерно попадає, і це на око видно.

– Я чув, що в Сійському городі та й на Ясенській косі ціни на пшениці однакові; за добру пшеницю з земелькой платять за десятипудову четверт по восьми карбованців, а за чисту без земельки пшеницю – по десяти карбованців. Так? – спросил я Свиридоновича.

– І я про ці ціни теж чув; проти цього я нічого не кажу, – ещё с большим смущением оговаривался Свиридонович, видимо, уловивший, к чему я клонил свою линию.

– Так от тепер і давайте пощитаєм по двох пробах, – предложил я Свиридоновичу.

Тот молчал, а молодые казаки с изумлением поглядывали на него.

– Подивіться на нашу пшеницю, – продолжал я. – Наша пшениця чиста без землі, і за сто четвертей її ми візьмемо тисячу карбованців, а на вашому току ви одержите тільки вісімсот. От воно як по двох пробах виходе: ви за свій тік зберегли шість карбованців, а за пшеницю з нього двісті карбованців не добираете, а ми на за свій тік шість карбованців переплатили, а на пшениці переберемо двісті карбованців. Чий же тік більше хазяйственный – ваш чи наш?

Точно бомба разорвалась среди группы казаков, всё время поддерживавших Свиридоновича и явно фрондировавших против меня. Этот правдивый старик давно уже молчал и всё время махал рукой, что, видимо, означало: да перестаньте вы мучить меня, опростоволосившегося. Но припёртый, что называется, к стене, он чистосердечно сознался в своём промахе.

– Я не з того боку дивився, з якого ви, – заговорил он, обратившись ко мне. – Бо ми привыкли до свого току, а до вашого ще не придивились та й не поняли, чого ви над ним мудрували. От воно і вихо-

де, що ми заднім розумом маракуєм, а ви переднім. Вибачайте мене за мою помилку. Кінь с чотирма ногами, та й то спотикається, – говорил он, прощаясь со мной.

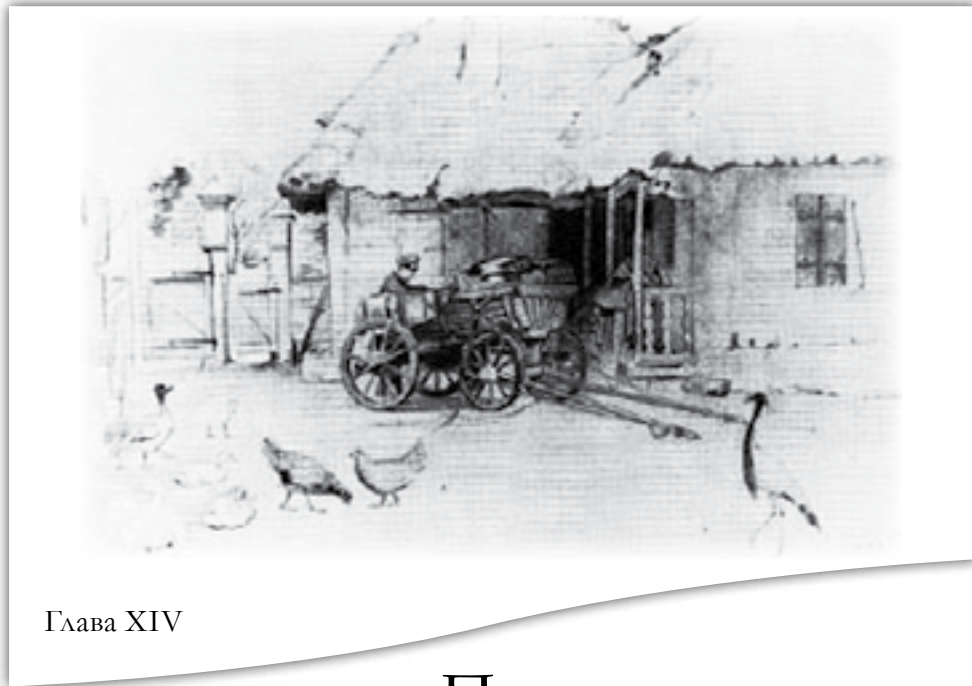
Казаки пошли домой, оживлённо разговаривая и сильно жестикулируя. Кто-то из них громко поучал:

– Свиридонович нам казав, що у них кінь – то й тік, що од заднього розуму утік, а наш тік – не кінь, а кобила, що нас хвостом до заднього розуму причипила.

Слушая этот комментарий к изречениям Свиридоновича, вся компания громко хохотала.

Мы не подражали им и не смеялись, но находились в радужном настроении, бодрее чувствуя себя. Нам казалось, что спором с Свиридоновичем мы несколько смыли с себя тот промах, который допустили, не закрепив своевременно копен перевеслами. Сильно обескуражила нас «горобина ніч».





Глава XIV

## Переход к новому сельскохозяйственному году

**Я** буду говорить не о том новом годе, который празднуется обыкновенно людьми по календарю, а годе сельскохозяйственном, начинающемся осенью. Наши работы за истёкший год были закончены на току в конце августа-месяца. Нужно было реализовать часть полученных продуктов на обороты в следующем сельскохозяйственном году и начать осенние работы в поле. Урожай хлеба оказался очень хорошим. Зерном был наполнен весь амбар отца Петра в станице. Рабочий скот, земледельческие орудия и весь рабочий инвентарь не требовали особых расходов. Всё было в наличии и почти всё было в исправности. Рабочего скота было достаточно, ценных орудий не требовалось покупать, да они были нам и не по карману, преждевременно было затрачивать средства даже на те орудия, покупка которых была для нас особенно желательной. Купленные раньше времени веялка и сортировка всё одно стояли бы без употребления почти целый год до нового урожая хлеба. Требовались лишь небольшой ремонт и незначительное пополнение инструментов, починка сбруи, приведение в исправность возов, колёс.

Ясно наметились как неотложные дела лишь распашка земли для посевов под озимый хлеб и сбыт части полученного урожая для

денег на текущие расходы, что и подлежало решению общего нашего собрания.

Все мы были уже в станице. Полноправным хозяином в поле и курене остался один Юхим с конём Васькой и с частью рогатого скота. Когда мы уезжали все в станицу, всегда бойкий и весёлый Юхим был грустен, оставаясь в поле и в степи одиноким, но он был настолько мужественный хлопец, что не расплакался. Ему, впрочем, скоро был послан «в распоряжение», по выражению отца Петра, Архип, мужчина двадцати семи лет от роду, человек чрезвычайно скромный и послушный. Мы заранее были уверены, что Юхим не будет эксплуатировать и притеснять Архипа, но «распоряжаться» им будет.

Наше собрание в полном составе отличалось деловитостью и прошло в полной согласованности. Обсуждались осенние, на новый сельскохозяйственный год, работы. Мы почти не спорили и не задирали друг друга. Казалось, что некоторые мысли, несмотря на их новизну, сразу как бы одинаково всем нам лезли в головы. Быстро улавливались предложения, вносимые на обсуждение, и оценивались доводы, отличавшиеся логичностью и деловитостью. Это, несомненно, был естественный результат нашей спаянности на хорошо знакомых нам работах. Для нас, в самом деле, не было ни «секретов» в плугах, ни недостижимости в производимых с помощью их работах, ни вообще особенных препятствий во всём цикле операций по вспашке земли, боронованию, посевам и заделке хлебных семян. Удовлетворительно исполненные уже работы в этом роде воспитывающе подействовали на нас и дисциплинировали. Мы знали, о чём говорили, и быстро разобрались в деталях, сходясь и расходясь в них. Даже Васька, отличавшийся задором в спорах, вёл себя сдержанно, не спорил с непреклонной горячностью и нередко с двух-трёх слов соглашался с оппонентом, раз доводы противной стороны не расходились с фактами и логикой. Он в значительной мере потерял свою прежнюю запальчивость. Одним словом, весенний и летний периоды земледельческих занятий благотельно повлияли на наш внутренний склад организации, на наши взаимные отношения и ясное понимание в практическом отношении предстоящих и в наступавшем новом году задач земледельческого дела. Мы без особых расхождений, за исключением одного случая, решили основные задачи предстоящих осенних работ в поле – распашку земли под озимые посевы, предельное число десятин под этот хлеб и размеры использования старых, не раз бывших уже в обороте нив. Вторая задача была тесно связана с третьей. Не останавливаясь на этих двух за-



дачах, мы просто решили определение предельного количества земли под озимые предоставить погоде – пахать только при благоприятных условиях её.

Вопрос о видах озимого хлеба породил, однако, спор и расхождение. У Васьки не погас ещё согревавший его огонь преимуществ родного села в Ставропольской губернии над казачьей станицей в Черномории. Васька предложил сеять на зиму не одну озимую пшеницу, но и рожь. По его словам, рожь давала более обильные урожаи, чем пшеница, а горячий ржаной хлеб был пахуч и вкусен, почему и следовало бы посеять рожь как новинку, чтобы научить уму-разуму в земледелии и казаков.

Замечание Васьки об уме-разуме задёрнуло нас как казаков, и с нашей стороны кто-то резко возразил ему, что черноморские казаки не такие дураки, как ставропольские крестьяне, чтобы менять наши «пшенишні паляниці на житні ковриги та лепешки». Со своей стороны я прибавил, что сеять «жито» не стоит не только потому, что казачье население привыкло к пшеничному, а не к ржаному хлебу, и не захочет заменить высший сорт хлеба низшим, а главным образом, потому, что в Ейске совсем не поступает в продажу рожь, и её не отправляют за границу. Зачем же нам тот хлеб, который население не захочет есть, а продать его некому? Васька быстро сдал свою первоначальную позицию и стал доказывать, что, может быть, у нас рожь будет давать такие большие сборы, что её можно пускать в корм животных, как это делают казаки с хорошо родящим ячменём, и поэтому нам нужно посеять рожь в виде опыта, как посеяли просо и лён. К постановке вопроса в такой форме присоединились отец Пётр и Грачёв Мы вдвоём с Попкой оставались в меньшинстве.

Но тут мою голову осенила новая мысль. Не помню, где я и от кого слышал о так называемой сурже, смеси ржи и пшеницы, – не то при поездке к дяде отцу Максиму в село Высоцкое от Златоуста, не то на Старой Линии или даже в самой Черномории. Я не видел даже этого хлеба ни в зерне, ни в растениях на ниве, но знал, что это не особый вид хлеба, а просто помесь ржи и пшеницы. Ничтоже сумняшеся, я заявил, что посев ржи вреден для пшеницы в культурном отношении.

– Как? Почему? – кипятился Васька.

– Потому, – ответил я, – что рожь засоряет пшеницу, и тогда появляется особый сорт мешаных двух зерновых хлебов – суржа, низшая сравнительно с чистой пшеницею смесь по качеству.

– Но ведь это особый род хлеба, – говорил неуверенно Васька.

– Нет, – возражал я. – Это мешанина двух хлебов вместе, и в Ейске, наверное, и не будут покупать этот мешаный хлеб.

– Да хотя бы и так, то всё-таки не мешает посеять рожь в виде опыта. Ты вот говоришь о культуре, а сам идёшь против опыта, и значит – против культуры, – стремился донять меня Васька новым доводом.

Но этот довод затронул и моё самолюбие. Я не сдержал себя и резко ответил ему:

– А ты, насадитель высших культур, чем ты хочешь облагодетельствовать казаков? Ты ведь говоришь им: повертайте, казаки, назад от пшеницы ко ржи. Если ты стоишь за культурный опыт, то правильнее было бы произвести опыт посева высшего сорта пшеницы или хотя бы китайского проса, о котором рассказывают казаки, как о лучшем корме для свиней, скота и птицы.

Васька замолчал, так как меня все поддержали. Этим спором, без всяких последствий в наших взаимоотношениях, развязан был вопрос о посеве осенью лишь одной озимой пшеницы.

Второй неотложный вопрос о сбыте нашего хлеба нелегко дался нам в разрешении его с практической стороны. Все мы хорошо знали, что высшие цены на хлеб и наиболее обеспеченный сбыт его производился в единственном пока в Черномории портовом городе Ейске, откуда хлеб шёл непосредственно за границу. В ограниченных размерах производился сбыт хлеба в приморском посёлке Ахтари вблизи станицы Бриньковской, что было нам с руки, но там лишь урывками, по случаю грузился хлеб на каботажные суда, перевозившие его в Керчь и другие порты, причем цены на хлеб в Ахтарях были несравненно ниже, чем в Ейске. Такие же низкие цены на хлеб стояли во внутренних черноморских станицах – Брюховецкой и Каневской, в которых как ближайших к нам пунктах производилась «ссыпка хлеба». Отсюда хлеб попадал для продажи в Ейск, и понятно: производитель много терял в цене хлеба в пользу разного рода торговых посредников. В конце концов, мы остановились на пробной продаже хлеба в Ейске.

Первоначально решено было повременить дней на десять с осенней распашкой земли, нагрузить три воловьих воза и нашу огромную повозку всеми видами хлеба и направить этот транспорт в Ейск, поручив оборудовать это дело мне, Ваське и Попке. Этот способ сбыта хлеба нам был не выгоден тем, что при расстоянии от Бриньковской до Ейска в восемьдесят вёрст нам приходилось терять не менее двенадцати дней на поездку туда и обратно, и две или три поездки на волах, даже



при благоприятной погоде, лишили бы нас возможности произвести вовремя, да и совсем, может быть, озимый посев. Но на другой же день после нашего решения отец Пётр узнал, что местный торговец лесом ищет попутчиков для доставки из Ейска закупленного им там леса – брусьев, досок, обаполов, балок, слег и других лесных материалов, на условии отправки туда для продажи своего хлеба возчиками, а оттуда за плату по шесть рублей с воза за доставку ему леса. Мы нашли очень подходящим этот случай и решили отправить в Ейск только две подводы с пшеницей и ячменём, чтобы на третьей паре волов немедленно начать распашку земли под озимый посев.

Я, не раз бывавший в Ейске и имевший там родственников и знакомство с одним из мелких скупщиков хлеба, взялся везти хлеб один на двух подводах, так как ехал туда в партии со знакомыми казаками, возлагавшими на меня надежды при продаже хлеба; отец Пётр и Васька должны были отправиться в станицу Каневскую для разведок об условиях продажи в ней хлеба; а Попка и Грачёв взяли на себя распашку земли под озимый посев. Таким образом, без споров, с общего согласия, и проведён был этот план наших новогодних (в земледельческом смысле) работ и начинаний.

В этот раз обстоятельства благоприятствовали нам. Через восемь суток я справил свою работу; в течение пяти дней отец Пётр и Васька основательно ознакомились со сбытом хлеба в станице Каневской, и отец Пётр вошёл в предварительные условия со знакомыми ему скупщиками зерна о продаже им хлеба; а Попка и Грачёв распахали две десятины земли под озимую пшеницу и засеяли их.

Мой извозный промысел вышел удачным вдвойне. Я выгодно продал пшеницу и ячмень за сто девяносто два рубля и заработал двенадцать рублей извозом на двух подводах. Двести четыре рубля по тому времени была большая сумма, и её было совершенно достаточно для покрытия текущих расходов в осенние месяцы и на некоторые закупки. Я остался в высшей степени доволен моим чумацким промыслом, богатыми и разнообразными личными впечатлениями и знакомством с менявшимися условиями знакомого мне с детства города. Правда, поездка потребовала от меня большой энергии и ещё большего напряжения в исключительных случаях физических сил, и вообще восьмисуточного бодрствования, но я был вознаграждён тем, что после монотонных занятий и скучного времяпрепровождения в степи окунулся в круговорот жизни торгового приморского городка и провёл с пользой и интересом время в компании с весёлыми и остроумными попутчи-

ками нашего извозного транспорта. Я остановлюсь на моём личном участии в этом случайно сложившемся предприятии, характерном как с казачье-бытовой стороны, так и со стороны примитивных зачатков хлеботорговли в степном крае. То, что кажется теперь мелочью, было нередко целым событием для населения или неведомой новостью.

В определённый день отправлявшиеся с хлебом в Ейск казаки и я с ними собрались за станицей, чтобы всем вместе двинуться в путь. Нас оказалось восемь подводчиков с девятью подводами. Один я шёл при двух подводах, а все остальные везли на одной подводе свой, как и я, хлеб. Кто-то в партии крикнул:

– А кому перед вести?

Названы были три или четыре фамилии, и начались переговоры: «Ти!» и «Ні, ти!» Я предложил, чтобы первым впереди шёл со своею подводой тот, кому хорошо были знакомы проезды через плавни реки Бейсуг. Дорога от плавней до Сладкого лимана по степи была «битая» и всем хорошо известна.

– А там дальше, – добавил я, – їхать попереду буду я хоть до самого Ейска; там знакома мені пряма дорога.

Моё предложение было принято, и два казака, на обязанности которых лежал, по распоряжению станичного правления, присмотр по дороге «через понтоны» и плавни, «повели перед» всего обоза. Понтоны, на которых около сотни лет тому назад был сооружён мост, через который проводил войска генерал Бринкин, по имени которого и названа была и станица Бриньковская, давно уже не существовали, и никто из жителей недавно поселенной станицы не видел их, а сооружена была довольно плохая, с широким «містком» для прохода речной воды гребля, но место, где были понтоны, существовало под этим названием. Выбравшись из плавней Бейсуга в открытую степь, казаки завели речь о том, где мы сделаем первую остановку для отдыха и кормления волов. Я предложил остановиться вблизи Сладкого лимана, чтобы дать хороший отдых волам, так как семивёрстная «пересыпь» между Сладким и Горьким лиманами состояла из труднопроезжей полосы, покрытой местами песком, а местами – выбоинами и рытвинами с водой. Пока волы отдыхали, можно было осмотреть проезд по пересыпи. Хотя я недавно и проезжал через пересыпь, когда ездил в родную Деревянковку, но дожди могли попортить дорогу. Казаки, имевшие представления о езде по пересыпи, также поддержали меня.

– Хоч до Сладкого лимана і далеченько, – заметили они, – але нехай воли понатужаться. Біля лимана дамо їм добрий оддых.

Я хорошо понимаю, что эти подробности многим могут показаться излишними в воспоминаниях по своей мелочности, но в то время и вся жизнь слагалась здесь из подобных мелочей, и кардинальный для земледельца вопрос о реализации продуктов его трудового года на торговых рынках так был опутан разного рода мелочами, как паутиной.

Мы благополучно перебрались на другую сторону Сладкого лимана – ось ни в одном возе не поломалась, хотя из «ковдобин» раза два или три приходилось общими силами вытаскивать возы. Отсюда, с целого ряда лиманов, начиная от Сладкого и кончая Круглым, начинался юрт моей родной станицы Новодеревянковской и шли две дороги на Ейск: одна – вправо, через Новошербиновку, а другая – влево, мимо хуторов Белого у Горького лимана и Курганского мимо лимана Круглого. Меня, понятно, тянуло в Новошербиновку, но это была более длинная дорога на Ейск, чем прямая через степи. В интересах партии и сбереженья вообще времени, я повёл обоз по прямой дороге. Вечерело, наступала темнота, когда я избрал место для ночлега у Горького лимана, за которым тянулся лиман Кушеватый до хутора войскового старшины Курганского, впоследствии моего зятя, женившегося вторым браком на моей сестре Домочке.

В этой местности водилось несметное количество болотной дичи разных пород – журавли, лебеди, дикие гуси, всевозможные утки, лыски, колпицы и разные виды куликов. Я не раз охотился здесь и хорошо знаком был со всей местностью. Можно было на другой день всласть поохотиться при медленном движении волов. У меня было охотничье ружьё, приобретённое ассоциацией ещё в Ставрополе. Каждый казак брал обыкновенно с собою ружьё в дорогу, а два казака в партии были завзятыми охотниками, которым, как и мне, сильно хотелось поохотиться. Мы условились втроём заpastись на дорогу дичью, сообщили об этом остальным попутчикам и, не разводя даже костра, поужинали припасами, взятыми на дорогу, установили очереди для надзора за пасшимися волами и завалились спать.

Можно сказать, что первый день нашего чумачества прошёл довольно прозаически, без происшествий и приключений. Да и мы, что называется, не спелись ещё, хотя и действовали сообща. У нас не было ни выборного атамана, ни вообще какого-либо главаря. Произошло это отчасти потому, что, попав в партию попутчиков, я сам изъявил желание «вести перед» в знакомой мне местности, и никакой организации не требовалось. Только на ночь назначены были очереди для надзо-

ра за пасшимися волами, но опять-таки в порядке простого сговора. В порядке такого же соглашения оставили мы наши подводы на попечение партии, а сами направились по берегам Горького и Кушеватого лиманов в поисках дичи. Я наметил удобные места для подхода, разбив дугообразно расположение лиманов на три участка. В первых двух участках остались мои товарищи, а на третий – самый дальний участок – почти бегом по прямой линии направился я, условившись приготовиться, но не начинать стрельбы, пока я не произведу первого выстрела. Мой участок изобиловал утками, на среднем участке преобладали лыски, а на первом – попадались и гуси. Лебеди водились в таких укромных и отдалённых местах, что нечего и думать было об охоте на них. Нужно было стрелять ту птицу, которая попадала под руку. Товарищи заняли в зарослях и в камышах удобные места вблизи плававшей на воде птицы и вслед за моим выстрелом почти одновременно выстрелили по дичи, которую они стерегли.

Охота удалась, да иначе и не могло быть. Три выстрела на значительных расстояниях один от другого произвели такой переполох в птичьём царстве, что во многих местах поднялись огромными стаями разные породы уток и куликов, а на первом участке Горького лимана и гуси; лысок была такая сплошная масса, что черные спины их как бы сплошь прикрывали большие площади воды, точно чёрным, необъятных размеров ковром, и только от ближайшего к ним выстрела они тяжело пошлёпали свои крыльями по воде, убегая вглубь лимана. Мы несколько отстали на лиманах от обоза, который, по моим указаниям, должен был передвинуться по довольно широкой и местами крепкой из наносов земли, глины, сгнивших растений и песка полосе, отделявшей от лимана Кушеватого лиман Круглый. По ту сторону лиманов на возвышенном месте было назначено место отдыха и кормления волов. Быстро справившись с охотой, мы подошли к месту стоянки в тот момент, когда волы были уже распряжены и пущены на пашу. Я нёс пять уток, другой товарищ – утку и несколько лысок, а третий – пару гусей, молодых самцов. Добытой нами дичи оказалось столько, что её хватило нам на двое суток, до самого Ейска, а в обозе восторженно встретили нас криком:

– Ой-ой-ой! От так пластуни!

Все немедленно взялись за дело. Птица была ощипана, осмолена и разделена. Часть её была отделена на наш сильно запоздавший завтрак, часть оставлена на поздний обед и ужин, а остальная – на следующий день.

Пущены были в дело все котелки, какие нашлись в обозе. Отправляясь в дальнюю дорогу, казаки обыкновенно брали с собой дорожные котелки с разными принадлежностями к ним и с кухонными приправами. По числу восьми попутчиков у нас было котелков различной величины приблизительно на три персоны каши или кулеша. Их, однако, не хватило на то, чтобы сварить в них сразу всю мясную провизию, да на это требовалось много времени, которым мы не располагали. Но как ни дружно и ни энергично мы действовали, в наших действиях не было ни настоящей дисциплины и согласованности, ни чьего бы то ни было руководства. Во многих случаях мы действовали обособленно, каждый по-своему, не считаясь с действиями других. По дороге мало было взято сухого камыша для костров, и пришлось потом за четверть версты бегать за ними к лиману. То же случилось и с водой, так как наши дорожные баклаги не наполнены были достаточным количеством воды. Только у одного из казаков оказался треножник, на котором без возни и приспособлений можно было сразу подвесить котелок на огне. Вследствие этого обоз простоял на месте лишнее время, что шло вразрез с нашей основной задачей по возможности быстрого и беспрепятственного продвижения к Ейску.

Таким образом, сам собой возник вопрос об упорядочении наших взаимоотношений в обозе. Решено было выбрать атамана, который руководил бы всем обозом. Неожиданно была выдвинута моя кандидатура в атаманы. Я опешил, всячески стал отказываться от этой почётной должности, но попутчики энергично настаивали на своём решении. Сообразив, что казакам я был нужен не столько как атаман, сколько как грамотный человек, могущий лучше других разобраться в торговом деле и предотвратить те плутни и обман, которые широко практиковались при продаже зерна разного рода скупщиками, я предложил атаманские обязанности разделить на две части: одну часть – порядки в обозе при езде и остановках – должен был вести атаман, а другую – продажу зерна, сдачу его, расчёты по получении денег – возложить на другое лицо – на писаря при атамане.

– Оце добре! – почти в один голос закричали казаки.

Моё предложение вполне отвечало их намерениям. Они хотели использовать мои знакомства и знания в торговом деле именно в намеренных мной обязанностях писаря.

По моему предложению был единогласно избран атаманом один из старших по возрасту казаков, а меня без всяких предложений казаки избрали так же единогласно писарем. Атаман был почтенный и

чопорный с виду мужчина лет за сорок от роду, хорошо сложенный, с моложавым, слегка загорелым лицом, в хорошей фуражке и в приличном балахоне, полы которого были тщательно заложены под казачий пояс спереди так, что они не болтались и не мешали ему свободно ходить и работать. Красивое лицо атамана было окаймлено роскошными каштанового цвета бакенбардами. Судя по этому признаку, я принял атамана за артиллериста, тем более что он был и широкоплеч. Но оказалось, что он служил в кавалерии, был отличным наездником, мог любую лошадь усмирить, обладая необыкновенной физической силой. Проявлению этой силы был и я свидетелем. Когда в одном месте при переезде через речку Ясени воз попал задними колёсами в глубокую «колдобину», из которой никак не могли вытащить тяжёлый воз сильные по внешности воля, атаман подошёл сзади, спросил хозяина:

– Чи надежный у тебе задок в возі?

Получив утвердительный ответ, он со словами:

– Поганяй, кричи: «Гей!» – приподнял обеими руками задок тяжёлого воза, который мы решили, было, до прихода атамана поднять ваговым дрючком.

– Ну, у нас і атаман! – сказал я казакам по уходе его к передним возам.

– Та він у нас такий, що не тільки вола за хвіст, а і самого чорта удерже! – произнёс один из казаков.

Попав по собственному плану и предложению в положение писаря, я невольно задумался над сложностью и ответственностью избранной мной роли. Я хорошо знал, что большие партии хлеба охотнее покупались и выше расценивались, чем скупка хлеба по мелочам, на которой всегда «накрывали» производителя мелкие скупщики – шибай и фаринники, то есть обмеривали и обсчитывали, и задумал поэтому произвести продажу всего зерна одной общей партией. Когда я заговорил на эту тему с моими спутниками, то оказалось, что и они хорошо понимали эту сторону дела. Таким образом, вопрос о продаже хлеба одной партией легко поддавался решению.

Но предстояли затруднения в другом отношении. У нас могли быть разные виды хлеба и разное качество зерна в одном и том же хлебе. Трудно было и продать такое разнокачественное и разнородное зерно, и произвести точные расчёты между продавцами. На первой же остановке обоза я осведомился, кто и какой хлеб вёз для продажи. К моему удовольствию, больше всего было пшеницы и ячменя. У одного казака оказался целый воз овса, а у другого – проса, четыре воза

было пшеницы и три воза с ячменём. Всё это хорошо укладывалось в одну партию, но меня пугала разнокачественность зерна. Осмотр показал мне, что наша пшеница была значительно чище пшеницы в остальных трёх возах. В меньшей степени замечалось различие в ячмене. Взять на себя расценку зерна разных качеств я не мог и не знал, как выйти из затруднения. Необходимо было участие в расценке зерна сведущего человека. Порешил, что в этом случае мне поможет или мой родич Стрига, живший вблизи Ейска по нашей дороге в посёлке Широчанском, или же хорошо знакомый мне скупщик зерна Кузьма Хрипливый. На Стригу, знатока в хлеботорговом деле, я надеялся, как на каменную гору. По моему предположению, мой родственник, поставивший в Ейск в эту пору свой хлеб из больших производимых им в степи запашек, непременно был дома, но Кузьма Хрипливый мог и не быть в Ейске. К тому же и в самом Ейске я не знал его адреса.

Всё это смущало и волновало меня, но я не подавал виду, что меня что-то беспокоит. Казаки всю дорогу вели себя самым беззаботным образом, полагаясь на атамана и на меня, и предавались веселью. Они то вели бесконечные разговоры, пересыпая их остротами и мешая серьёзные вопросы с повседневными мелочами и нередко даже с необычными, то затягивали песню и старались придать ей силу и эффект, то притаптывали ногами, то пускались в настоящий пляс. При остановках же обоза для отдыха и кормления волов казаки задирали друг друга и боролись. Шалило, собственно, несколько человек молодёжи, а остальные добродушно молчали и нередко посмеивались над проказами «молодыков». Иногда неожиданно для меня в степи на её широких просторах возникали пикантные сцены, точно между казаками появлялись истые актёры сценического искусства, приводившие меня в изумление. Мне помнится один очень характерный в этом отношении эпизод.

На одной стоянке скромный с виду и воздержанный на язык казак, не произнёсший за всё время нашей поездки ни одного не только ругательства или «чортиканья», как выражались казаки, но даже резкого слова, сидя возле своего воза, вдруг громко пропел шаблонный припев:

Ой, гоп-гоп, гопака!  
Моя доля така,  
Щоб горілочку пить  
Та дівчаток любити!

– Тю-тю, дурний! – закричали разом все казаки. – Жонатий, а що верзе? – и осыпали казака злыми шутками и укорами.

Казак стойчески вынес этот общий натиск на него, затем, когда всё стихло, он встал, подбоченился и пресерьёзным образом обратился ко всем:

– Чого ви, як гуси, заг'елкали на мене – г'ел, г'ел, г'ел! Хіба я шуліка або кобець, що перелякав вас? Яке ви маєте право заперечувати мені співати пісню?

– Яке право? – снова обрушились казаки на певца. – Хіба тобі не соромно про дівчаток співати? Ти ж жонатий!

– А про горілку можна співати? – спросил певец.

– Чом не можна? Можна. Це ж відоме діло. Співай! – послышались голоса казаков.

– Добре! – заметил певец. – О тепер і я – вибачайте! – вам скажу: тю-тю, дурні! Ви горілку п'єте й даєте мені дозволу про неї співати вам. От я потихеньку, щоб ніхто не чув, заспіваю. Чи хто-небудь із вас в минулу неділю горілки не напився так, що не в силах був дойти до дому, а приліз, як рак? Мовчить рак, бо він пісні тієї, що можна співати, не хоче почати. Хто із вас якось так укоптенувався горілкою, що став дівчаток не любить, а нахабно цілувати, і хлопці за це побили йому пику? Мовчите, бо на це права співати не маєте?

Казаки смеялись, желая сначала придать изумившей меня сцене шуточный характер, но казак продолжал черпать из жизни, очевидно, казаков некрасивые факты. Натянутый смех прекратился, и наступило естественное молчание. Один из казаков насильственно зевал и крестил рот, другой бил пальцами по своим губам, издававшим слабые звуки – «бринь, бринь!», показывая тем, что его более интересует эта детская забава, чем едкие реплики певца, а иные просто внимательно смотрели себе на ноги.

Заметив силу своих выступлений, певец в заключение прибавил:

– Ви ж знаєте, що я горілки не п'ю і капостей, як п'яна людина, слава Богу, не роблю. Яке ж ви право маєте заперечувати мені пісню співати та мене соромити?

Казаки молчали, только один сердито пробурчал:

– Та перестань! Ти ж не піп, щоб нас поучати!

Я диву давался, поражённый тем, что запел «гопака» казак, к которому меньше всего подходил неожиданный для него поступок, и что казаки замолчали, почувствовав колючие уколы, видимо, относившиеся к некоторым из них. «Что такое? В чём дело?» – ставил я себе во-

просы и не мог дать никакого ответа на них. Политично заводя с казаками разговоры по поводу происшедшей в степи неожиданной сцены, я мало, однако, узнал. Казаки подтвердили, что певец действительно водки не пил, хотя раньше «і займався цим зіллям».

– Він у нас якийсь чудний, – говорили казаки. – Як наскоче щось на його, то отак, як піп в церкві, і нападає на всіх.

Только позже, когда я познакомился с появившеюся в Черномории сектой шалопутов, или «людей божьих», как они называли себя, рассказы мне самих шалопутов о способах их пропаганды навели меня на мысль о том, что певец был сектант, тем более что, по рассказам казаков, он несколько раз ездил в Екатеринодар, в котором жила какая-то вдова диакона, пользовавшаяся огромным авторитетом у сектантов.

Так неожиданно и при исключительных условиях в степи, при дружеском единении нескольких лиц, желавших выгодно продать добытый их трудом хлеб, сама жизнь натолкнула меня на одно из интереснейших в то время явлений в новых течениях мысли и моральных идеях, внедрившихся в казачью среду черноморцев.

Но и в самом мне совершенно также неожиданно появилось новое для меня настроение. Ни в детстве, ни впоследствии я почти не принимал участия ни в любительской борьбе, ни в кулачках. Борьба меня интересовала лишь в такой степени, как интересовали подобные зрелища зевак, а не спортсменов, а кулачки совсем не нравились мне и часто возмущали, особенно когда появлялась кровь на разбитых физиономиях.

И вот, когда на стоянках молодые казаки, задирая друг друга, схватывались и в шутку боролись, явилось желание и у меня бороться. Стоял я в качестве зрителя и смотрел на борющихся, и вдруг меня осенило желание бороться, так сказать, в условном виде: «А я, мабуть, поборов би його». Но я тушил это неожиданное побуждение, не желая колебать свой авторитет, который я, несомненно, имел в партии, и поставить себя в смешное положение: противник одолеет меня, да ещё, пожалуй, с таким фокусом, что казаки «од сміху аж покотяться». Каждый раз, когда казаки боролись, появлялось у меня желание бороться. Это, очевидно, был естественный порыв попробовать свою силу. В течение четырёх месяцев после моего кратковременного недомоганья я заметно изменился физически – был лучшим косарём и не пасовал ни перед какой физически тяжёлой работой. Целительный воздух в степи, хорошее питание, регулярная, хотя и утомительная работа, и главное – духовный подъём оздоровевшего человека и такие успехи, как откры-

тие «секрета» в немецком плуге, популяризовавшие меня в среде трудового казачества, бодрили меня и действительно так повлияли на меня, что физически я окреп и стал набирать силы. Мы с Попкой не ошиблись в предположении, что степь и регулярный труд помогут нам в физическом развитии и подействуют на нас оздоравливающе, когда решили оставить семинарию под влиянием овладевших нами идей и доморощенных идеалов.

Обоз наш благополучно пропутешествовал по степи, как кающийся грешник по мытарствам; ни у кого не поломалась ось в возе и не захромал вол, упавший на одну ногу от натуги при проезде через глубокие выбоины. Когда мы проезжали вблизи немецкой колонии, в которой отец Пётр купил плуг, то сами казаки спросили меня:

– Отут отец Петро купив плуг?

Я ответил утвердительно, а станичники, издали оглядывая колонию, делились своими замечаниями.

– І у німців, як у козачих станицях, улиці по шнуру розбиті, – говорил один казак.

– Та й дерева посаджені по шнуру в ряд по улиці, – прибавил другой. – А у нас цього немає.

– А свині, як і у нас, по вулиці гуляють, – сострил третий.

– А як же інакше? – заметил четвёртый. – У свиней одинакові права. От вони і ходять по улиці одинаково у німців і у нас, бо ми ж і німці однаково любим ковбаси.

Скоро обоз достиг Широчанского посёлка. Я попросил приостановиться и отправился к своему родичу Стриге. Но ни его, ни его «красивой тётки», супруги, не оказалось дома. Они были в Старощербиновской и, по словам прислуги, должны были приехать «как не сьогондя, так завтра». Меня как обухом по голове ударило это сообщение. Направляясь к обозу, я не знал, что сказать казакам. Не желая, однако, обескураживать их, я высказался условно, что родственника своего я не застал дома, но, вероятно, увижусь с ним в Ейске, помыслив слабые надежды на то, что он туда приедет, узнав от прислуги мою просьбу о желании непременно увидеться.

Мы двинулись в Ейск. Я повёл обоз по знакомой мне дороге к базару в городе, и мы остановились там в одном из постоянных дворов. К большому моему смущению, я не знал ни адреса, по которому я нашёл бы Кузьму Хрипливого, нашего деревнянковского ссыпщика хлеба, ни кого-либо, кто бы сообщил мне, находится ли мой приятель в городе. Недолго думая, я сообщил об этом затруднении нашему атаману,

и мы решили немедленно отправиться по кабачкам, по которым как-то водил меня Кузьма Хрипливый, разыскивая нужного ему шибая. Атаман одобрил мой план и согласился сопровождать меня. Я знал четыре «вертепа», как называл кабачки-харчевни Кузьма. В первом вертепе поиски были безрезультатны, но во втором в большой компании мелких скупщиков зерна за большим столом, с торчавшими на нём графинами, бутылками, тарелками с закуской, сидел и мой приятель. Я давно виделся с Кузьмой, и он обрадовался, встретившись со мною, пожимая мне руку, но моей радости не было границ. Шепнув Кузьме, что я приехал с партией хлеба и что нам с ним необходимо немедленно поговорить по этому поводу наедине, без тех свидетелей, за столом с которыми он сидел, я попросил его отправиться со мной к обозу.

– Ну, господа капиталисты! – обратился Кузьма Хрипливый к компании, которая тщательно следила за нами. – Вы кончайте здесь с делами, что на столе, а я отлучусь на полчаса, чтобы устроить своего земляка-одностаничника, – указал он на меня, – и немедленно ворочусь к вам.

– Что ж ты? Разве не желаешь познакомить с нами своего земляка? Стол ведь широк! – заговорил какой-то длиннорослый мужчина в длинной поддёвке.

– Он придёт сюда со мной, и тогда я познакомлю всех с ним, а теперь нам некогда, – дипломатически ответил Кузьма, направляясь со мной к двери.

– Ох, вертопрах тебя побори! – кричал вслед нам бородач. – Не солги! Не солги!

Проходя мимо хозяина харчевни, Кузьма сказал ему:

– Запишите на меня то, что брал я, – и мы быстро с ним и с атаманом вышли на улицу. Здесь я познакомил Кузьму с атаманом, а через несколько минут мы были в обозе.

Было совсем темно, но Кузьма обошёл все возы и, тыча пальцем в каждый из них, спрашивал:

– Что здесь?

После опроса он заявил, что хлеб можно продать одной партией, но что только завтра при свете, когда он осмотрит весь хлеб, он сможет сказать, как и по каким ценам можно будет продать в большую контору.

С моих плеч точно стопудовую ношу снял Кузьма Васильевич. Я горел от радости. Доволен был и атаман, и все казаки столь быстрому ходу нашего общего дела.

– Ну теперь, Фёдор Андреевич, пойдём ко мне, – предложил мне наш комиссионер. – У меня найдётся место переночевать и отдохнуть с дороги.

Я поблагодарил его, но сказал, что я не пойду к нему, а ночевать буду на своём возе.

– Зачем? – спросил меня приятель. – Волы ж и возы останутся в обозе, да ещё на постоялом дворе.

Казаки с разных сторон также кричали:

– Та ідіть ночувать до Кузьми Васильовича! Вози ваші не втечуть од нас, а воли не будуть плакати, що їм нічого було їсти.

Я не сказал ни «да», ни «нет», а отправился на квартиру к своему приятелю. Там я достал свои записи о хлебе в обозе и сообщил ему как о хлебе нашей ассоциации, о которой Кузьма слышал уже от своей жены, жившей с ним в Деревяновке, откуда он разъезжал по своим торговым делам, так и о разнокачественности нашего хлеба с хлебами казаков.

– В случае необходимости, – сообщил я ему своё соображение, – пшеницу можно продать по одной цене.

– Зачем? – возразил Кузьма. – По-благородному всё будет сделано. Каждый получит свои деньги за своё добро. Хорошо, что каждый хлеб особо на возе лежит.

– Как же это сделать? – интересовался я.

– Дюже просто, – ответил Кузьма. – Ты на каждый воз сделаешь записочку, чей хлеб, а сколько на возу пудов и сколько за него следует денег – напишут в конторе, когда назначена будет цена и взвешен будет хлеб. А там уж и дурак не промахнётся в счёте. Понимаешь? Каждый возчик будет иметь в руках записочку на свой воз.

– Понимаю, – ответил я. – Ну а насчёт цен, как оно выйдет?

– Я сказал уже, что сначала я сделаю расценку зерна на глаз, а если казаки будут сомневаться, то пустим зерно «на пурку» в контору. Пурка покажет, сколько у кого и в каком хлебе земли и прочего браку. Только это длинная материя. Целый день придётся возиться. Лучше всего, чтобы казаки согласились на мою расценку. Мы это сделаем только для того, чтобы, придерживаясь моей оценки, торговаться в конторе. Пойдём в контору втроём – я, ты и атаман – и будем набивать там цену сверх того, что я обозначу. Понял?

– Понял, – снова ответил я. – Всё это хорошо. Ну а как насчёт весов? – политично спросил я.

– Будь покоен. Никакой фальши не будет. Контора ведь большая и иностранная, не русская. Весы в ней правильные, а взвешивать будут сами казаки.

– Превосходно! – воскликнул я с явным удовольствием. – Теперь мне всё ясно. Скажи мне, Кузьма Васильевич, какой процент ты назначишь за свою комиссионную работу.

– Самый большой! – со смехом ответил он. – Только это не моё дело. Проценты бывают различные, смотря по партии хлеба, бывает один или даже полпроцента, а бывают и три, пять и даже десять. Процент пусть назначают сами казаки. Только с угощением по окончании всего дела. Такой уж у нас тут обычай со своими людьми.

Поговорили мы с Кузьмой ещё о своих личных делах: я – об ассоциации, а он – о своих торговых операциях. Кузьма знал меня с малых лет, и в этот раз говорил откровеннее и как равный с равным. Когда мы коснулись щекотливого вопроса о его близких отношениях с «мошенниками шибаями», то Кузьма сказал мне, что без них как ему, так и торговым конторам нельзя обойтись. По его словам, жена его, начитавшись книг, потребовала, чтобы он не обвешивал, не обмеривал и не обсчитывал простых людей.

– Я послушался её, – говорил он чистосердечно, – а если бы женился на другой, то был бы настоящий шибай и ловко бы объегоривал людей. А знаешь, почему я переменялся? – спросил он вдруг меня.

– Почему? – повторил я его вопрос с нескрываемым любопытством.

– Когда моя Прасковья Михайловна залила мне за шкуру сала, как говорят наши деревнянские казаки, и я начал вчистую дело вести, то скоро понял, что так дело бойчее и надёжнее идет. Ей-богу ведь, когда кругом мошенники, а ты один честно дело ведёшь, то к тебе, как мухи к мёду, обиженные липнут. Убей Бог мою душу! – божился Кузьма.

– Ну а шибай знают, что ты не обмериваешь, не обвешиваешь и не обсчитываешь? – полюбопытствовал я.

– Знают и не верят. У тебя, говорят, секрет какой-то есть, – сказал Кузьма.

– Какой секрет? – недоумевал я.

– Да есть же он, по правде сказать. Я ведь не говорю им, что вести дело на чистую прибыльнее, чем на нечистую. Вот в чём мой секрет, – объяснил мне Кузьма и по обыкновению произнёс: – Ей-богу!

Я только руками развёл, вспомнив мой секрет с немецким плугом. К сказанному Кузьма прибавил, что и боязнь расправы со сторо-

ны казаков с шибаями наводила его на чистые способы закупки зерна, но главной причиной, по мнению моего приятеля, была в чистом деле прибыль, а не честность сама по себе.

– Благодотству в торговле, – говорил он, – мало места.

Я стал собираться к возвращению в обоз на постоялый двор. Кузьма снова настаивал на том, чтобы я остался у него ночевать, но когда я сказал ему, что я в первый раз работаю в компании с казаками и что они очень доверяют мне, почему мне и не хотелось бы возбудить к себе недоверие нашей близостью с ним, Кузьма согласился с тем, что я прав.

– Так и мне часто случается, – говорил он мне. – Веду я дело с казакотом благородно, начистоту, а он ко мне присматривается так, точно у него на морде написано: «Знаю я тебя, ты ведь мошенник!» Убей меня Бог! – правду говорю.

Придя на постоялый двор, я направился к своему возу, чтобы потихоньку улечься на нём спать, но казаки тоже не спали.

– Це ви, Андреевич? – спросил меня дежурный по обозу.

– Це я, – раздался мой ответ.

– Чого ж ви прийшли, а не заночували там? – слышались голоса с разных сторон.

– Та що ви торочите, наче я дурний чи що? – напустился я на казаков. – Мені ж доручено дві пари волів і два вози хліба. Я не маю права кидати ні волів, ні возів, та у чужих людей бенкетувати та прохладжати. А що як нещастя тут скоїлось би, а мене не було б у парти і біля атамана? Як би я тоді дивився в очі отцу Петру і товаришам та і вам?

– Та воно так-таки так, – слышались голоса, и вся партия, видимо, довольна была моим наступлением на неё.

– Нічого мені було і гаяться у Кузьми Васильовича, – добавил я своё объяснение. – Я вже скінчив з ним наші діла і дуже гарно.

Казаки осведомились, кто такой Кузьма Васильевич. Я рассказал им.

– Ви давно, значить, його знаєте, і він людина надежна? – раздалились голоса.

– Дуже надежна, – подтвердил я. – За це я ручаюсь, – и рассказал им, что Кузьма покупает хлеб и продаёт его без обмера на нерке и обвеса на весах, не обсчитывает и никакой фальши не допускает.

– Це добре, як воно правда. Це ж сам він розказував вам. Знаєте, береженого Бог береже, – заметил политично атаман.

– Чому і чого треба берегтися? – спросил я прямо атамана.

– Він же шибай і з шибаями водиться, – ответил в прежнем тоне атаман, – а шибайв казаки скрізь б'ють і до смерті забивають. В'їдливі вони, як гниди, до нашого добра.

Тогда я рассказал, как Кузьма Хрипливый дошёл к тому, что производит покупку хлеба без обмана выгоднее, чем с обманом. В таком виде дело прибыльнее для покупателя и гарантирует его от диких расправ с шибаями при самосуде.

Казаки согласились с тем, что Кузьма разумно поступает и правду говорит.

– А все ж шибайв не поменшається щось, – отозвался атаман.

Чтобы окончательно рассеять у казаков все сомнения относительно практичности и выгоды предложенного Кузьмой плана, я подробно ознакомил их с ним. Казаки внимательно слушали меня и временами прерывали моё сообщение восклицаниями:

– Ну й розумна голова!

– От майстер свого діла – так майстер.

– Просто чудо, що попалась така людина між шибаями.

В конце концов, однако, казаки всполошились. У них закралось подозрение, что нас проведут в конторе на взвешиваньи зерна.

– Я ж вам сказав уже, що все чесно и благородно буде зроблено, – пытался я успокоить своих попутчиков.

– Та воно так, – шутливо заметил один из казаков. – Тільки гирі із заліза, а не з честі та благородства, а от руки та совість у людей не тільки честь й благородство, а й залізо ламають.

Тогда я передал казакам, что мы сами будем взвешивать зерно.

– Вагу зерна, – прибавил я, – на квитку у кожного хазяїна в конторі напишуть і там же проставлять ціну, по якій продано буде зерно. По такому квитку кожний буде знати, скільки пудів зерна і скільки йому грошей за зерно причитається. Чого ж кращого ще хочеться вам? – спросил я всю партию.

– Та кращого і всі шибай вкупі не видумают, – заметил один из казаков при одобрительном смехе всей партии.

Но сомневавшийся в правильности взвешивания зерна не унимался.

– І це добре, – заметил он. – А скільки могорича потребує з нас сам Кузьма Васильович за своє пильнування? Питали ви його про це? – обратился он ко мне.

– Питав, – ответил я, – і він мені сказав: «Багато, тільки це, – прибавив він, – не моє діло. Нехай, – каже, – самі казаки назначать мені процент за проданий хліб, по своєму бажанню».

– Та невже ж? – закричали казаки. – Це ж зовсім не шибайські манірі.

И тут же ночью было решено повести продажу зерна по системе Кузьмы Хрипливого, а сверх процента угостить его чаем и красным вином в харчевне. Мне осталось только прибавить:

– Цього він і сам бажає, щоб зав'язать, каже, з нами зв'язки.

Утром на следующий день Кузьма установил предельные цены на все виды зерна, ниже которых, по его мнению, не следовало продавать зерна, а практичнее обождать день или два, так как цены не понижались, а суда из-за границы прибывали в порт.

– А за надбавку на наши цены, – прибавил Кузьма, – будем в конторах крепко торговаться.

С пробами зерна с каждого воза мы отправились в самую крупную по торговым операциям контору. Разговоров было мало о качестве зерна, партия признана была подходящей для конторы, но торговался Кузьма действительно «крепко», десятки раз доводы свои он сопровождал клятвой «убей меня Бог» или «убей Бог мою душу», но служащие в конторе как-то вяло относились к его клятве. Тогда Кузьма предложил «пустить зерно на пурку». И к этому предложению служащие также отнеслись вяло. Обязанность их и в конторах, как у шибаяев, сводилась к тому, чтобы купить зерно возможно дешевле. Решающее значение имело слово хозяина конторы или заведующего ею. Появился, наконец, заведующий конторой, которого Кузьма, видимо, и поджидал, затягивая свой крепкий торг. Управляющий, или главный конторщик, как называл его Кузьма, внимательно осмотрел каждую пробу, перебирая на ладони пальцами зерно, назвал зерно хорошим и без лишних разговоров согласился на небольшую надбавку сверх предельных цен Кузьмы на пшенице и ячмене. Его обязанность состояла в расширении оборотов фирмы, раз сделки были подходящи и выгодны. Взвешивали зерно сами казаки, и все операции были проведены «поблагородному», как убедились в этом казаки. Кузьма получил за свои хлопоты три процента комиссионных, или тридцать рублей со всей партии, которую он продавал якобы от себя. С явным удовольствием за это вознаграждение он благодарил нас, пожимая каждому руку. Казаки, в свою очередь, говорили ему:



– Велике спасибі і вам, Кузьма Васильович! Хай тільки Бог не убиває вашу душу, – сострил один казак при общем хохоте.

Пригласив Кузьму в харчевню на вечерний чай и закуску, сами мы, пообедав, отправились на лесные склады, чтобы осмотреть тот лес, который мы подрядились перевезти в станицу Бриньковскую.

Осмотр лесных материалов не задержал нас долго, и мы пошли в город, отложив погрузку леса на подводы на следующий день. В течение полдня до вечера мы справляли свои личные дела. Казаки производили разного рода для семьи и хозяйства закупки, я купил фунт чаю и голову сахара, а всё время до вечера посвятил осмотру города, будившего у меня детские воспоминания. Город заметно расширился, появились новые дома, магазины и разного рода постройки, выросли деревья на бульварах и в скверике, усилилось движение. Я не преминул пойти к высокому обрыву, чтобы полюбоваться с него, как «плавают великі карабелі на білих парусах, неначе як церква на воді», но к моему разочарованию, ни одного корабля под белыми парусами не оказалось. При слабом ветерке тихо сновали лишь небольшие парусные лодки. Взглянул отсюда на пристань, но и там дымились трубы на пароходах вблизи пристани, а в открытом море виднелись два или три «карабелі», но они были без парусов и более, чем на церкви, походили на огромные скирды сена у панов или у богатых рогатым скотом и овцами хуторян.

К вечеру все мы были у своих возов на постоялом дворе. Зашёл вопрос о вечернем угощении Кузьмы Васильевича, но при этом встретилось небольшое досадное затруднение. Ни возов, ни находившихся на них закупок нельзя было оставить на постоялом дворе без сторожа. Кто останется при возах? Казаки решили бросить жребий, исключив из жеребёвки атамана и меня, как лиц, которые непременно должны были присутствовать на вечернем угощении. Решил этот вопрос тот казак, который пел «Ой, гоп гопака». Он сам изъявил желание остаться при возах.

– Мені, – заявил он, – нічого з вами там робить, горілки я не п'ю.

– Чай можеш пить, – заметил один из казаков.

– Та й чаю мені не хочеться пить, – повторил он свой отказ.

Мы, конечно, с удовольствием приняли его предложение. Собственно чаепитие не представляло ничего интересного и завлекательного. Все находились в благодушном настроении, но ни на пирушку, ни на кутёж оно не походило. Атаман и казаки вели себя сдержанно, Кузьма не был в ударе, выпили все кто по рюмке, а кто по две водки и принялись за чай да налегли на разговоры. Несколько бутылок красно-

го виноградного вина развязали компании языки, оживлённое пошли разговоры, появились шутки и остроты.

– Щоб ми тепер робили, якби не склалось так добре наше діло? – сказал один казак.

– Не інакше, як лаялись би з шибаями, а може й до мордобитія діло дійшло б, – сострил другой.

– Пакудне діло – оця продаж зерна, – заговорил третий. – І хліб, кажуть, святий, і працюють люде на святій землі, а появиться Божий дар – зерно, почнуться хитрощі, лайки, бійки і скандали.

Посыпались, как из рога изобилия, рассказы о столкновениях казаков и вообще производителей хлеба с шибаями и мелкими перекупщиками. Казаки трунили друг над другом и оттеняли смешные стороны в спорах и препирательствах земледельцев с покупателями зерна, но за шутливыми сценами и остроумными замечаниями резко проявлялось негодование казаков по поводу тех проделок, которых не стеснялись шибайи. В ту пору открыто велась борьба мелких производителей хлеба с мелкими скупщиками зерна. С одной стороны, ширилось производство хлеба и увеличивался приток его на рынки, а с другой – хлеботорговцы всячески стремились к тому, чтобы, по их терминологии, «зашибить деньгу» на торговых операциях с зерном. Это была форменная война из-за денег в ущерб труду. В Черномории тоже казаки воевали с шибаями или мелкими перекупщиками хлеба, о чём в своё время я печатал сообщения в газетах и статьи в журналах, например, в «Деле». Производители зерна и скупщики его, шибайи, сплочены были в два противоборствующих лагеря самых характерных примитивных форм хлеботорговли. Казаки при малейших вспышках столкновений поддерживали друг друга, даже если не были одностаничниками и даже были не знакомы между собой, а шибайи придерживались такой же тактики, действуя скопом. У крестьян не было такой «сноровки». В ближайших сёлах Екатеринославской губернии шибайи «стригли крестьян, как покорных овечек»; крестьяне не были так сплочены, как казаки, и не проявляли казачьего систематического отпора. В моей памяти не осталось ни одного случая столкновений крестьян с шибаями, носивших характер побоев или самосуда. Шибайи пускали в дело всевозможные способы и приёмы открытого хищничества и воровства при измерении зерна на меру, взвешивании его на весах и при денежных расчётах, а казаки, при явной бесцеремонности шибайев, разделялись с ними самосудом, как самосудом боролись они с конокрадами и отъявленными ворами. Чтобы охранить свои интересы

от шибает, от скандальных столкновений, многие казаки на базарах в Екатеринодаре и в торговых станицах вступали в торговые сделки при единственном условии, что сами казаки, проверив весы и гири, взвешивали и хлеб.

Интересно держал себя на чаепитии чествуемый нами гость Кузьма Васильевич. Как и казаки, при рассказах о мелких и ловких проделках шибает восклицал каждый раз: «Ах, и подлецы ж!» – как бы восхищаясь их техникой. Но когда казаки стали закидывать удочку насчёт того, как сам Кузьма ведёт свои операции, то он просто, без смущения сказал:

– Судите по продаже вашего хлеба. Свою небольшую ссыпку зерна я имею в одной Деревяновке, насколько позволяют мои капиталы, и часто уплачиваю за хлеб в рассрочку. Казаки меня знают. Продаю ж хлеб в Ейске большею частью так, как и ваш, знакомых казаков из Новодеревяновки, Новошербиновки и Новоминской станиц. Вот вам и весь мой оборот.

Так в действительности и было. Как мелкий скупщик хлеба Кузьма был фактически шибает, но от них отличался тем, что всегда действовал, как выражался он, «на чистую» или «по совести». Казаки знали это и доверяли ему при хлебных сделках, продавали ли они ему хлеб или же чаще продавал он их хлеб по их поручению на комиссионных началах. Свои закупки хлеба он производил во время затишья в хлеботорговле – зимой и в летнюю рабочую пору. Когда же, по окончании молотбы хлеба, начинался сильный приток зерна в Ейск или же после зимы начиналась навигация в Азовском море, Кузьма непременно сидел в Ейске. При удобном случае он продавал свой скупленный хлеб, но главным образом – в разгар хлеботорговли продавал хлеб знакомых ему казаков как комиссионер, завоевав себе своими операциями «на чистую» и «по совести» репутацию честного в хлеботорговле человека. Он и казакам развивал ту мысль, что, при сплошном мошенничестве, операции «по совести» дают больше дохода, чем мошеннические, потому что конкуренции честный скупщик не имеет, а нечестный ему помогает.

– Ведь вот что скажу я вам, – говорил он за чаем, – когда я улаживался с Фёдором Андреевичем о продаже вашего хлеба, то он сильно приставал ко мне, чтобы я заранее назначил процент за комиссию, но я настоял на своём, соблазнив его тем, что вы сами назначите процент. Ну, и вышло так, что он хотел накрыть меня, а я накрыл его и вас!

– Як? Що таке? – засуетились казаки.

Кузьма хохотал и, в свою очередь, спрашивал:

– А что, попались-таки на удочку шибаету?

Мы, в том числе и я, смотрели на чествуемого нами Кузьму Васильевича с недоумением, а он, казалось нам, издевался над нами и нашею доверчивостью к нему.

– Говорил я тебе, Фёдор Андреевич, что когда по совести дело ведёшь, то по совести и к тебе люди относятся? – спросил он меня.

– Говорил, – ответил я.

– Так оно и вышло. Я было заколебался, когда ты просил меня заранее комиссионный процент назначить. Думал: это ведь у меня первый случай в моей практике, да и свой знакомый в вашу компанию затесался. Куда ни шло, дай, думаю, скажу процент, возьму два процента, а ты совести поверил больше, чем мне. Вот я и говорю вам: так и вышло! Я два процента хотел с вас взять, чтобы и в другой раз иметь с вами дело, а вы «по совести» мне три процента дали. По совести вышло точка в точку, а если не верите мне, то пойдёте в контору и узнайте, какие проценты комиссионеру дают и за какие партии. По вашей совести своё я взял – вот чем я вас накрыл!

Поняв шутку Кузьмы после этого разъяснения, мы громко хохотали, хохотал и Кузьма, а казаки, сознавая и свой грех в заподозрении приёмов сделок по совести, кричали:

– Ну, тай налякав же ти нас, Кузьма Васильевич!

Но наше времяпрепровождение в таком настроении и духе прервано было неожиданным, комичным и некрасивым вместе происшествием. В то время, когда мы благодумствовали за своим столом, в харчевне появились две пьяные фигуры, ссорившиеся между собой и непозволительно сквернословившие. Нас неприятно поразило их поведение, и ещё неприятнее ошеломлены мы были, когда один из пришедших, увидев Кузьму, закричал:

– Ах ты, вертихвост и бессовестная морда! Кузьма, слышишь? Угощай нас в компании. Теперь ты не отвертишься от меня. Довольно, Дёмка! – обратился он к своему спутнику. – Пойдём к Кузьме за стол.

Это был тот длиннородый в длинной поддёвке шибай, который кричал Кузьме, когда я уводил Кузьму из харчевни, чтобы он познакомил его с нами, земляками. Другой шибай, с козлиной бородкой, но также в длинной поддёвке, был земляком и приятелем длиннородого. Оба они, по отзыву Кузьмы, при случае, когда им удавалось «объегорить» производителя зерна, кутили обыкновенно и безобразничали под влиянием удачно совершённой ими проделки.

Напрасно Кузьма кричал им:

– Не скандальте! Не лезьте, куда не просят вас! Я сам в гостях в этой компании!

– Наплевать нам на тебя и на твою компанию! Стол велик, место и нам найдётся в твоей компании! – кричал, в свою очередь, длиннородый шибай, подходя к нашему столу, на краю которого сидел атаман.

Когда шибай подошли шага на три или четыре к нашему столу, атаман поднялся из-за стола, сделал шаг вперёд и спросил шибаяев:

– Чого вам тут треба? Ми вас не просим в нашу компанію – ну і не лізьте!

– А ты кто такой? – кричал длиннородый шибай.

– Разве не видишь? Казак! – сказал ему товарищ.

– Казак! – воскликнул бородач. – Ну и дурак, коли нас не приглашаешь!

– Що ти сказав? Як ти смієш мене дураком обзивать? – повысив голос, напустился на него атаман.

– Вот как я смею! – ответил атаману бородач, плюнул себе в кулак и с криком: – Бей его, Дёмка, враз со мною! – размахнулся кулаком.

Но атаман быстро схватил его за руку и так стиснул её, что опешивший буян зашипел от боли. Дёмка, в свою очередь, размахнулся, чтобы нанести удар атаману, но тот быстро схватил левой рукой бородача, а правой поймал за руку Дёмку и столкнул их спинами друг об друга. Всё это так быстро произошло, что никто из нас не двинулся на помощь к атаману. Казаки, впрочем, знали силу и ловкость атамана. Кузьма, однако, поднялся, чтобы помочь атаману усмирить буянов.

– Сиди, Кузьма Васильович, на місці! – спокойно сказал атаман Кузьме. – А я ось як їх – не дураків, а умників – розуму навчу! – и начал их спинами толкать одного об другого. Дёмка попробовал было сопротивляться, но та же правая рука атамана так скрутила его, что он во всю глотку закричал:

– Ой, ой, ой!

– Пусти! Перестань! – кричал атаману бородач.

– Проси пристойніше! – спокойно ответил атаман.

– Паштенный! Пусти душу на покойние! – вопил бородач, пытаюсь как бы шуткой умиловить атамана.

– Хватай вище по чину! – отвечал атаман.

– Гаспадин казак! Умиловився! – просил шибай.

– Хватай вище! – продолжал твердить своё атаман, стучая спиной бородача о спину Дёмки, который окончательно растерялся и не просил даже пощады.

– Ваше благородь! Будя! Проститя! – упрашивал шибай.

– Ваше высокоблагородь! – вторил и Дёмка. – Помилосердуйте! В ножки поклонюсь.

Сцена принимала характер некрасивой и жестокой забавы. Но казаки и несколько человек сторонней публики, сидевшей за другими столами, заливались громким смехом. В то время и в таких местах, как харчевня, где свободно бесчинствовали и безобразничали низшие слои населения, расправа атамана с шибаями носила поучительный характер в глазах толпы, и казаки после рассказывали, что наш атаман «усовіщував двох шибайв». Атаман приостановил свои «усовіщування» зазнавшихся буянов, услышав покаянную просьбу Дёмки. Повернув обоих шибаяев лицом к двери, он скомандовал для общей потехи публики: «Направо кругом, марш!» – и вытолкнул обоих шибаяев за двери харчевни.

Несмотря на то, что хохотали казаки, и их дружно поддерживало несколько человек публики, пока атаман «усовещивал» шибаяев, настроение в нашей компании понизилось и изменилось после изгнания из харчевни шибаяев. Не было прежнего благодушия и непринуждённой весёлости. Хохотавшие раньше казаки присмирели, затихла и сторонняя публика. Кузьма первый опомнился как следует.

– А не пора ли и нам по домам? – спросил он компанию. – А то ведь, чего доброго, а наши непрошеные гости, которых господин атаман с таким почётом выпроводил за двери, опомнятся, наберут со злости целую шайку своих приятелей и снова двинутся к нам за стол. Тогда уж выйдет настоящий скандал, и дело, пожалуй, не обойдётся без полиции.

Соображения Кузьмы Васильевича признаны были основательными, и мы двинулись восвояси.

На другой день мы нагрузили подводы лесными материалами, но при нагрузке и я попал в число пострадавших неожиданно и по своей оплошности. На мои подводы грузились длинные строевые доски. Были разведены оба воза – на передние оси с ящиками и на задние оси. Одними концами доски были уложены на переднюю ось с ящиком, а другими прикреплены на заднюю двухколёсную точку. Получились две длинные гусеницы, с которыми немало было возни в дороге и на крутых спусках. Одну из этих гусениц я благополучно оборудовал с

одним из казаков, с которым я нагрузил предварительно его воз. Но нагужая второй воз, я в начале работы так сильно прищемил тяжёлой доской три пальца на одной руке, что мне показались повреждёнными если не кости пальцев, то несомненно – суставы в пальцах. Боль была невыносимая, и кровоизлияние – сильнейшее. Невыносимую боль я пересилил и не кричал, стыдясь собственной своей неосторожности, но рукой я не владел и не мог ни работать, ни править волами. Недогруженный воз догрузили мне попутчики, заботливо отнёсшиеся ко мне и взявшие на себя все работы и уход за двумя парами волов и за двумя подводами. Всю дорогу я состоял в положении одноручки, ни на что не пригодного попутчика. Меня до глубины души трогали те тёплые отношения ко мне товарищей, которыми они окружили меня. На моё счастье, оси оказались настолько крепки, что длинные гусеницы благополучно доползли до самой Бриньковской, тогда как в других возах не обходилось без поломок не столько от плохих возов, сколько от невозможно плохих дорог и переездов на лиманах. Только два раза ломались оси, и приходилось заменять их новыми, которые имелись у всех хозяев в запасе.

Тем не менее, мы приехали в Бриньковскую станицу, по тогдашним понятиям о невозможных дорогах, благополучно, ибо не понесли никаких убытков. Две поломанные оси были сущий пустяк в непустьячных условиях передвижения.



Глава XV

## На осенних работах

После моего возвращения из Ейска должны были начаться наши систематические осенние работы. Других занятий у нас не было на примете. Рыболовством с осени и зимой занимались только на больших, хорошо оборудованных и обставленных заводах – преимущественно на море. Местное население в названные два периода не занималось этим промыслом, рыба находилась в море, а в Бриньковском лимане её было мало. Извоз был редким, случайным занятием, как это показала моя поездка с хлебом в Ейск. Свои ограниченные ремесленные знания, приобретённые нами в Ставрополе, невозможно было приложить в станице. Не только по переплёту книг, которых в станице почти не было, но даже по столярному ремеслу заказчиков не было, а о сбыте поделок и думать было нечего; сапожничество же было нам не с руки, потому что знаком был с этим ремеслом один Васька, но и он был не в курсе казачьих привычек в обуви и невеликой руки мастер, а чинить обувь умели чуть ли не все казаки. Оставалось одно – налечь на земледелие. На этом мы и остановились. Решено было засеять возможно больше озимой пшеницы. Если этот хлеб, рассуждали мы, выйдет из зимы к весне в таком виде, что можно будет рассчитывать на хороший урожай, то тогда мы будем обеспечены пшеницей, а если он не удастся, то, во всяком случае, виднее станет, как лучше распорядиться весенними посевами.

Но меня по приезде в станицу очень беспокоило моё поранение трёх пальцев на руке. Если оно и не грозило мне инвалидностью, в чём я был убеждён, то всё-таки некоторое время я был негоден для работы. Сам я не знал, чем кончится моё поранение, а осведомиться у кого-либо, обладавшего медицинскими знаниями, не было возможности. Отец диакон Грачёв, лечивший чахотку всеисцеляющим шалфеем, не предполагал таким же универсальным средством для лечения травматических повреждений. Он советовал мне лишь прикладывать к ранкам на пальцах, как пластырь, паутину. Я же просто ничем не лечил раненых пальцев, привыкнув с детства полагаться на веру целительной природы организма – «оно само заживёт». И действительно, это оказалось единственным медицинским средством, если не считать промывок ранок тёплой водой. Опасения мои были сильно преувеличены. Промывки пальцев скоро показали, что даже кожа не особенно сильно пострадала, а кости и суставы, видимо, были совсем не повреждены. Меня просто сильно ударила упавшая с значительной высоты на пальцы тяжёлая строевая доска, и боли в пальцах чувствовались только в дороге при движении и толчках. В станице, при спокойном состоянии, боли сразу ослабели, и скоро я мог безболезненно слегка двигать пальцами, а потом брать сахар и держать кусочки хлеба. Оставаясь троё суток, до воскресенья, в станице, я носил лишь повязку на пальцах, забыв про боли в них и мои опасения о невозможности работать. Погода стояла прекрасная, и меня потянуло в степь и царину, где товарищи приступили уже к работе. В воскресенье вечером я был в царине, а на другой день приступил даже к работам в поле.

В понедельник предстояла двоякого рода работа: вспашка третьей десятины под посев озимой пшеницы и перевозка сена в станицу. Пара волов оставлена была под немецкий плуг, а две пары с возами назначены были для перевозки. Побывав в долгой дороге в Ейск и обратно, остался в курене для распашки вдвоём с Попкой земли под озимую пшеницу, а Васька и Грачёв должны были перевозить в станицу на двух возах сено. В таком составе и велись эти работы. Но в курене, кроме нас четырёх, были ещё двое – Архип и Юхим. На них возложены были кухонные обязанности, уход за волами, конём Васькой и гулевым скотом, а также сбор топлива про запас, так как в сентябре ночи были уже холодноватые, и появилась нужда в кострах в вечернюю пору и ночью. Все имели определённые занятия, и дело шло в должном порядке и с надлежащим успехом. Появление в нашей среде Архипа, взрослого рабочего, объяснялось тем, что отец Пётр нанял его

для своих личных нужд по хозяйству, не входивших в круг деятельности ассоциации, – уход за частью рогатого скота, за парой лошадей, находившихся в личном пользовании и распоряжении отца Петра, при поездках с ним. Фактически трудно было провести разграничительную линию между общим ходом работ в хозяйстве и работами особого работника, не входившего в состав ассоциации, Архипа, который так же, как и Юхим, жил с нами и работал в царине и степи. Архип должен был, например, везти сено в станицу для лошадей отца Петра и в то же время возиться с гулевым скотом в степи. Сено повезли в станицу Васька и Грачёв, а Архип нёс поварские обязанности и заготовку топлива на всех в царине. Так он попал к нам и такое положение занимал в нашей, чужой ему по рабочим обязанностям, ассоциации.

Симпатичное по душевному складу существо и странную по внешним признакам фигуру представлял собой Архип. Это был мужчина лет двадцати семи от роду, немного выше среднего роста, хорошо физически сложенный, тихий, скромный и покорный по поступкам и поведению. О таких людях обыкновенно говорят: «он и воды не замутит». Но при взгляде на него получалось какое-то странное впечатление. В его правильном, продолговатом, без усов и бороды лице резко бросалось в глаза какое-то птичье выражение: то он вытягивал голову и шею, как поражённый чем-то молоденький петушок, то жался и ёжился, как воробей в зимнюю стужу. Лицо у него было в порядке: длинный тонкий и слегка согнутый на кончике нос, сжатый рот, тонкие губы, выпуклый лоб, сплюснутые щёки и очень маленький подбородок, но спереди коротко остриженной головы торчал непокорный чуб, который, как ни приглаживал его рукой Архип, упорно поднимался вверх, точно это был Ванька-встанька. Смотришь, бывало, на сидящего, задумчивого и неподвижного Архипа, и кажется тебе, что внутри его сидит какой-то дух или просто, может быть, непрерывно действующий аппарат, который вызывал в его позе и на лице то удивление и стремление, то покорность и опасение. Чуть только проявится какой-либо шум или движение вблизи Архипа или просто скажешь ему: «Архип!» – как он меняется, принимает тот или другой вид, выражающий или готовность к движению, или смирение к забвению. Но в этой кажущейся безличности Архипа таилось что-то действовавшее на психику наблюдателя. Меня Архип всегда поражал своей скромностью и непритязательностью, и при малейшем нарушении кем-либо этого душевного состояния я готов был стать на защиту Архипа, но сам я боялся коснуться его, как редкого по оригинальным узорам сосу-

да, чтобы не разбить его. И вот в этом отношении я и ошибался в Архипе. Он был не хрупкий сосуд, а устойчивый по своей природе субъект.

Странные отношения установились у нас почти сразу, как я встретился с ним в царине у нашего куреня. Несмотря на скромность и податливость Архипа, будившие у меня представления о слабосилии и незащитности его, я поражён был тем, что однажды довольно большой бочонок с водою Архип без особых усилий переставил на другое место, а в другой раз с такой же лёгкостью он взял мешок с пшеницей пуда в три весом и в руках, а не на плече или на спине, перенёс его из куреня на воз. Скромный и податливый Архип обладал, несомненно, значительной физической силой. И вот это обстоятельство послужило причиной смешного спортивного состязания между нами.

К нашему общему удовольствию, в царине и в степи всё время стояла в течение двух недель прекрасная осенняя погода. Тихо и тепло было не по сезону, ярко сверкало солнце, и редко скрывалось оно под слабым покровом лёгких, как бы блуждавших по небу облаков, степь и поле зеленели и не столько вызывали необходимость к обычному тяжёлому и упорному на них труду, сколько желание к наслаждению жизнью в природе. Хотелось любоваться, лёжа на боку, дальней перспективу степи или, упёршись спиной в землю, глядеть в беспредельное воздушное пространство и бесцельно думать о том, что происходит там, в этой трудно уловимой дали. Все мы охотно работали, постепенно, без всякого рвения к быстрой и напряжённой работе. Кончали мы работы рано, до захода солнца, после обеда давали приличный отдых себе и находившимся в работе волам. Самыми тяжёлыми работами были вспашка земли и укладка сена на возы. Других более обременительных работ не было. Ну и работали мы не спеша, «с повагом», как выражаются украинцы, хотя и медленно, но методично, а вечером и после обеда шлодничали и потешались чем-нибудь – пением, игрой, и нередко – борьбой. Более двух недель велись так работы, и мы наслаждались чарующей осенней погодой и возможностью рабочих людей повольничать. Раза два или три приезжал к нам в царину отец Пётр и принимал такое же, как и мы, участие в тихом, но в правильном, как тиканье маятника, ходе работ.

Как-то, когда возле куреня Попка и Грачёв возились друг с другом – не то боролись, не то отнимали один у другого какую-то вещь, в стороне стоял Архип и, видимо, с интересом наблюдал это состязание. Глядя на него, я подумал: не попробовать ли и мне побороться с Архипом? Желание бороться или попробовать свою силу вновь появилось у

меня, как в обозе при борьбе казаков. О весеннем недомогании я совсем забыл, а помятые пальцы действовали, как пружина. Я был здоров, и, видимо, задор здорового человека толкал меня на борьбу. Мне казалось, что я совладаю с каждым в отдельности – с Васькой, с Попкой и с Грачёвым, но я ни разу не пробовал с ними бороться, зная по опыту, что я лучше их кошу, как не раз это обнаруживалось и на деле, и что, как и они, я ни разу не пасовал при тяжёлых работах. Борьба же с Архипом – иное дело. Он, несомненно, здоров, и если поборет меня, то не будет издеваться надо мной, а если верх будет на моей стороне, то ведь тогда я совершенно успокоюсь относительно моего здоровья. Насколько я помню теперь, побудительным мотивом к борьбе служили не столько мои соображения, сколько безотчётный задор померяться своими силами.

– Архип! – обратился я к нему.

– Чого? – отозвался он.

– Умієш ти боротися? – спросил я его.

– Та хто його знає? – заговорил он. – Я тільки тоді, як був малим хлопцем, боровся, а тепер не знаю, як воно у мене вийде. Та й з ким мені боротися? Вони ж мені в свою кумпанію не приймуть, – ткнул он пальцем в Попку и Грачёва.

– Хочеш, зо мною поборемся, – предложил я.

– Та як то треба, то й поборемось, – согласился он, окидывая меня взглядом. – Це ж у шутку ми будем боротися?

– У шутку, – подтвердил я.

– Це добре. Боротися на іграшки – не гріх, – как бы успокаивая себя и меня, проговорил Архип.

– А як же ми будем боротися – в ручки, чи в обхват? – спросил я Архипа.

– Як ви скажете, так і будем боротися, – ответил он.

– Давай боротися в обхват, – произнёс я, входя и сам в азарт.

И мы крепко схватились грудь в грудь, обняв руками обеими один другого за талию.

Оба мы были одного роста и близкой комплекции. Сначала мы только ходили, сцепившись друг с другом, и топали ногами, не решаясь перейти в наступление. Я попробовал сломить Архипа, но он не поддался. То же повторил и Архип. Занятые своим состязанием Попка и Грачёв не обратили сначала внимания на нас или, может быть, просто не заметили нашей борьбы. Но сидевший у куреня Васька, увидев нас борющимися, вскочил на ноги и бросился к нам с криком:

– Фёдор и Архип борются!

Услышав этот крик, Попка и Грачёв прекратили своё состязание и бросились к нам. Лежавший, по обыкновению, на спине лицом вверх Юхим также вскочил на ноги и направился к нам. Мы окружены были зрителями и все усилия напрягали, чтобы побороть один другого, но ничего не выходило. Мы были равносильны. Мы долго ходили, обнявшись и топя ногами, и хотя «то тот, то оный на бокгнулись», но крепко держались на ногах, не отступались и не падали. Находя безрезультатной нашу борьбу, и главное – почувствовав себя в силе, я предложил Архипу отложить борьбу до другого раза.

– Якщо треба, – покорно проговорил Архип, – то давайте перестанем.

И мы прекратили борьбу, обливаясь оба потом. Окружавшие нас зрители весело забили в ладоши, а Васька не то с удивлением, не то с укором сказал мне:

– Что с тобой случилось? Бес, что ли, тебя попутал?

Не раз ещё мы схватывались с Архипом, но каждый раз борьба оканчивалась вничью. Без зазрения совести я пустился на хитрости и стал озорничать. Архип ходил в широких холщовых штанах украинского покроя. Во время борьбы я подбирал то одной, то другой рукой эти широкие халоши штанов, подтягивая их вверх, и Архип боролся с оголёнными ногами, напоминая своею фигурой, с большими сборками поднятых к поясу штанов, турка, что крайне смущало и обескураживало работника, а присутствовавших зрителей чрезвычайно забавляло и смешило. Каждый раз, когда мы приступали к борьбе, мужчина просил меня:

– Та не робіть, будьте ласкаві, мені цього!

Я молчал и каждый раз последовательно проводил своё озорство, предполагая, что, поставив Архипа в смешившее всех положение, я тем самым всё-таки поборю его.

Раза два или три при осенней вспашке приезжал к нам отец Пётр. Узнав о моей потешной борьбе с Архипом, он попросил меня показать своё искусство в борьбе. Я согласился и предложил Архипу побороться, но, к удивлению моему, Архип, охотно боровшийся со мной, в этот раз категорически отказался от борьбы. Я настаивал, а он упорно отказывался, ссылаясь на то, что он будто бы «не сдужає і на ліву ногу, як слід, не може ступати». Ни мои доводы, ни даже просьбы не могли сломить упорства Архипа. Заподозрив, что он не хочет бороться в при-

сутствии отца Петра, я шепнул этому последнему, чтобы он попросил Архипа побороться со мной.

– Архип! – обратился отец Пётр к нему. – Покажи ж і мені, як ти з Федором Андрієвичем борешся.

– Та якщо треба, – проговорил упавшим печальным тоном Архип, – то поборюсь.

Подойдя ко мне, он стал упрашивать меня:

– Молю я вас і благаю, не торкайтесь моїх штанів!

Я и в этот раз смолчал, зная, что для зрителей весь эффект борьбы состоял в том, чтобы при борьбе я превратил Архипа в голоножку. Лишь только я начал понемногу подтягивать халоши кверху, как Архип в отчаянии начал шептать:

– О-о! Вже началось! Та не треба робить цього, прохаю вас!

– Та я невисоко підніму штани, – успокаивал я его.

– І за це дякую, – произнёс, казалось, несколько успокоенный Архип.

Но воспользовавшись этим моментом, так высоко поднял халоши вверх, как это редко случалось мне, а отец Пётр, увидев смешную фигуру Архипа, громко захохотал.

– Отець Петрій! Батюшечка наш духовний! – вопил сквозь слёзы Архип. – Та скажіть хоч ви їм, щоб цього не робили зо мною!

Я чуть не выпустил из рук Архипа, увидев, как катились крупные слёзы по щекам Архипа. Совесть кольнула меня. Я выпустил из рук халоши архиповых штанов.

– Спасибі вам! – шепнул тяжело дышавший Архип. – Хай Господь Бог ще більше прибавить вам сили!

Архип так тронул меня, что я тут же решил совершенно прекратить с ним борьбу.

– Давай перестанем бороться, – сказал я Архипу.

Мы сняли друг с друга наши скрестившиеся руки. Так и окончилась наша борьба вничью. Прекратив её с Архипом, я всячески старался стать в самые дружеские отношения с этим человеком, казавшимся мне маленьким послушным ребёнком. Не раз я заводил с ним разговор о том, что, собственно, так смутило его при нашей борьбе, когда я обращал его в голоножку, но я не мог уловить мотивов его протеста, исходившего, очевидно, из каких-то моральных побуждений. Чувством он улавливал какую-то обиду или надругательство над ним, а мышлением не мог ясно формулировать волновавшие его эмоции. Единствен-

ный аргумент, на который он опирался, заключался в повторяемой им неоднократно фразе:

– Так це ж таке, що і малі діти на вулиці будут на мене кричати: «Безштанько – курячий дядько!»

Но меня он понял, и понял по-своему, опять-таки чувством. Как-то осторожно, с явным смущением, Архип спросил меня:

– І чого то ви все боролись зо мною?

Я рассказал ему, что у меня отец и старший брат умерли от чахотки и что мне тоже все – и врачи, и товарищи – предрекали чахотку, от которой я скоро умру. Вот когда я приехал в Бриньков, пожил в степи на чистом воздухе да работе и хорошей пище, поздоровел и набрался силы, то я и боролся, чтобы узнать, есть ли у меня сила или её ещё мало, чтобы можно было окончательно избавиться от чахотки.

– От дурний я! – воскликнул Архип. – Я ж цього не знав і не догадався, чого ви боретесь зо мною. От головонька моя бідна! Так знаєте, що ми зараз зробим?

– Що таке? – поинтересовался я.

– Давайте ми зараз же почнемо уп'ять боротися! – с неподражаемою готовностью предложил мне Архип.

У меня не было с Архипом таких миндальных отношений, при которых следовало бы крепко обнять этого большого ребёнка. Я только громко рассмеялся и, товарищески трепля Архипа по плечу, сказал ему:

– Та нам з тобою не треба боротьби; ми і так здорові, як бики-трепки. Хоч зараз запрягай у віз – повезем.

Архип громче меня рассмеялся. Ему понравилось моё сравнение.

Почти две недели подряд баловала нас чудная осень. Погода стояла благоприятная, у нас не было тяжёлых, неотложных работ, спешить нам с посевами озимой пшеницы не предстояло надобности, так как, согласно принятому нами севообороту, посеяли за это время шесть десятин пшеницы на зиму, и у нас не было даже посевного зерна на большее. День со дня, при тихой и тёплой осенней погоде с обновившейся зеленью – с густой и сочной отавой в сенокосных местах, которую можно было косить во второй раз на сено, и со всходами озимей первого посева, ожили мы и наши надежды на будущее. Несмотря на короткий осенний день, у нас было достаточно свободного времени утром, после обеда и вечером не только для отдыха, в котором, собственно говоря, мы и не нуждались, но и для весёлого времяпрепровождения. Все мы были бодро настроены, включая смиренного Архипа

и бойкого Юхима. Утром шутили и смеялись, собираясь на простые и необременительные работы; после обеда не спали и не отдыхали, а кейфовали и возлежали, пока волю оканчивали свои порции свежей и зелёной отавы и пили холодную воду у колодца; вечером же, закончив очередные работы и убрав скот, мы зажигали огромный костёр из сухих сорных трав и кустов, с прибавкой к ним соломы, не имевшей буквально никакой цены при обилии сена и зелёной травы. Тогда всей группой заседали мы вокруг костра, варили ужин и тут же и ужинали. Сытно и весело поев, наш запевало Юхим начинал свою любимую и популярную у всех нас песню «Як зачула моя доля, що не бути парню дома», а мы дружно хором подхватывали его припевы. И далеко-далеко по царине и ближайшей к ней степи неслась наша песня, а наши соседи казаки, услышав её, обыкновенно восклицали:

– О! Уже началась вечерня в поповій царині. Пора й нам шабашить!

Но погода вдруг изменилась и как бы сразу толкнула нас от царины и степи к станице. Начались почти непрерывные дожди, неспешно сеявшие, как из решета, капля за каплей дождевую воду из обложивших небо облаков. Хотя и не длительные, но регулярные работы прекратились. В обычные рабочие часы приходилось или понемногу мокнуть на дожде при уходе за скотом, или же сидеть неподвижно в курене и заражать друг друга скукой. Ибо темнота не только ночью, но и днём, благодаря сплошным и плотным, как хороший студень, тучам, не пропускавшим солнечных лучей, не позволяла глазам остановиться на чём-либо ясном и жизненном в степной природе и сковывала язык и человеческую речь. Тоска одолевала, и не о чем было говорить под влиянием слабого, но надоедливого шлёпанья дождевых струй и капель.

Несколько дней продежурили мы в курене в ожидании перемен в погоде, но наступившая слякоть не сдавалась и не считалась с нашими надеждами и желаниями. Когда же обложной дождь смилоствивился и перестал, с севера подул холодный ветер, а к утру в курене без печки и топки было так холодно, что впору было сидеть в нём в шубе, но и шуб у нас не было. Не рассчитывали мы, что попадём впросак. Это совершилось в большой праздник, первого октября по старому стилю, в день Покрова Пресвятой Богородицы. В своё время мы заранее решили, что будем участвовать в этот день в богослужении в церкви, и отец Пётр с нетерпением ждал нас. Но октябрь в праздничном мундире посетил нас в курене, а не в церкви.

Безобразно и возмутительно вела себя та погода, гнавшая нас из царины и степи в станицу. Она не только гнала, но всячески донимала



нас, упорно и настойчиво. Точно мы были для неё надоедливими мухами, которых казачки выгоняли рушниками и платками из хаты на двор с пожеланием: «Щоб ви подошли, остогидні!» Три врага нашей осёдлости в царине – дождь, ветер и холод – вооружились и повели наступление на нас, выполняя в общей борьбе каждый соответствующую роль. Дождь, любовник плодящей земли, лил и мочил, ветер, приятель людей и природы в минуты чарующей тишины, как буян, рвал и метал всё и всех, и холод, наступавший с севера, как проныра, бесцеремонно совал свой нос в нашу царину в промежутки между проделками дождя и ветра. Точно враги эти сговорились, чтобы непрерывно досаждают нам днём и ночью. За всю мою жизнь я не помню такого неудачного и терзавшего нервы и душевное настроение изгнания из вольной степи в крошечную сравнительно с нею станицу. Мы, конечно, пыжились и усиленно напускали на себя мужество и энергию, но ничего из этих театральных приёмов не выходило. Всё, казалось, было против нас.

Как бы в подкрепление гнетущей непогоде, мы обезоружены были почти полным неимением одежды и обуви. Две свиты из грубого сукна так намokли и отяжелели от скопившейся в них дождевой воды, что, превратясь в двухпудовую тяжесть, обременявшую плечи, оказывались в работе при дожде совершенно лишней обузой. Обувь у всех была такова, что в неё не только проникала вода, но и лезла жидкая и липкая грязь. А обогреться, как след, негде было – дождь заливал костёр вне куреня, а в нём не было никаких приспособлений для согревания грешных тел и для получения целительной теплоты. Нам не удавалось даже сварить горячей пищи, и мы питались сухим хлебом и свиным салом.

– Просто, – говорил Юхим, любивший поесть всласть, – хоч кричи калавур!

Тем не менее, под дождём и при низкой температуре воздуха, в течение двух суток мы нагрузили три воловьих воза земледельческими орудиями, кухонной посудой и разного рода малопригодной рухлядью – потёртой сбруей, поношенной обувью, дырявыми мешками, разного рода верёвками. Всё это предоставлено было в распоряжение дождя, мы не прикрыли возов даже сеном, которое в намоченном дождевою водою виде только увеличивало бы тяжесть поклажи.

– В станице большой сарай, – говорили мы. – Там высушим.

Брезентов и даже войлоков у нас не было. Был только один брезент, купленный ещё в Ставрополе, но он оставлен был для повозки, в которую предположено было вложить самые деликатные вещи –

праздничную одежду, бельё, мелкие инструменты, самовар и книги. Так подготовив наш обоз, с утра на третьи сутки мы двинулись в станицу.

Наше шествие открывал Васька-конь, запряжённый в сильно перегруженную повозку и управляемый Васькой-человеком. За ним двигались три воза, перегруженных также разного рода кладью на волах. У первого воза шёл Архип, лучше всех нас защищённый от дождя своей лёгкой свиткой, не пропускавшею дождя, но в необычайно промокших постолах, которые хляпали и шипели, цепляясь за растения и липкую грязь. Рядом с остальными двумя парами волов, посматривая то на одну, то на другую пару, бодро ступал в сильно намokшем осеннем пальто Грачёв, единственный из всей компании обладатель хороших, не пропускавших внутрь ни грязи, ни воды, сапог. В арьергарде находился Юхим с гулевым скотом. Я и Попка были в запасе на случай возни с волами и возами.

А между тем дождь лил и лил, не переставая. На наше счастье, мы двигались хотя и медленно, с остановками, но более или менее благополучно, без особых происшествий. Не было ни поломок осей, ни каких-либо совсем необозримых препятствий. Дорога была ровная, но чрезвычайно грязная. Местами эта грязь была полужидкая и потому не особенно липкая. В таких местах Васька-конь и волы свободно двигались со своими экипажами. Но большая часть дороги покрыта была глубокой, густой и липкой грязью. На колёса грязь так налипала и забивалась между спицами, что они обращались в грязные круги и не двигались. Тогда обоз останавливался, волы не везли, а мы общими силами бросались на помощь не к волам и лошади, а к колёсам, чтобы освободить их от налипшей грязи. Я и Попка несли в руках небольшие крепкие шесты и ширяли ими в колёса между спицами, вытаскивая оттуда грязь, Васька, Грачёв и Архип заканчивали нашу работу, так сказать, в деталях, освобождая колёса от грязи в не захваченных нашими шестами местах. У каждой подводки по бокам от колёс мы наваливали нередко полностью по шестнадцать куч грязи – по числу четырёх с четырьмя колёсами подвод. Местами наша напряжённая работа ограничивалась одной или двумя подводами, задерживавшими движение обоза. На каждой версте мы останавливались не менее двух раз, оставляя, таким образом, по всему пути наглядные, узорчатые следы из куч грязи нашего ухода из степи в станицу. Это сильно тормозило наше передвижение и угнетающе действовало на нас. Хотелось отдохнуть, ибо мы всё время были на ногах, к которым не в таких, конечно, размерах,

как к колёсам, а всё-таки липла и приставала крутая грязь. В полдень мы осилили только полпути до станицы. Appetит напоминал нам о пище, а усталость – об отдыхе, но мы находились в этом отношении далеко в худшем положении, чем волы и Васька-конь. При каждой остановке обоза для очистки колёс от грязи волы и конь отдыхали, и мы давали им остатки зелёной травы, захваченной на два воза. Волы и конь отдыхали и ели, а мы не догадались даже хлеба с салом положить в повозку так, чтобы дорогой достать их и довольствоваться на ходу этими продуктами, заложив их на самое дно повозки в посуде, накрыв остальными вещами, хорошо и тщательно закрепив верёвками накинутый на всё это брезент. Мы были в полной уверенности, что обедать мы будем в станице. Получилось трагикомическое положение, но все молчали, и никто не заговаривал о том, чтобы «распечатать» повозку. Один, может быть, Юхим блаженствовал в арьергарде. Он, наверное, чем-нибудь съедобным запасся на дорогу.

Вечерело, когда мы подъезжали к станице. Всё время мы боролись с грязью, молча, угрюмо, насупившись, как сычи, чтобы этим видом показать, что мы не пали духом. Да так на самом деле и было. Не отчаяние нас одолевало, а безотчётная злость лезла в душу, когда вблизи станицы мы попали в непролазную грязь, которую все подводы станицы и весь скот превратили в клейстер. Тут уж лопнуло и наше телячье терпение. Васька громко проклинал всех чертей и леших, неизвестно даже, по какой причине. Всегда уравновешенный Грачёв возмущался не перестававшим мочить нас дождём, обращаясь неизвестно к кому с вопросом:

– I чогу йому треба?

К дороге никаких претензий он не предъявлял, дорога осталась уже позади нас, и мы были в станице, но дождь не переставал и падал с неба. Мы с Попкой молча переглядывались друг с другом и ни на что не роптали, чтобы не увеличивать той дисгармонии, которая происходила в природе и стала заползать в нашу среду. Один Архип стоял на своей твёрдой почве и всё время, даже тогда, когда мы въезжали в станицу, громко во всеуслышание утверждал:

– А все-таки ми доїдемо додому!

Но все именно с Архипом радикально расходились во мнении. Мы не доехали до дому, а дошли – обмокшие, усталые и проголодавшиеся.



Глава XVI

## С осени на зиму

**К**огда мы перебрались в станицу, обогрелись, обсушились, переоделись и с аппетитом поели, то хотя и не растерялись от той взбучки, которую учинила над нами осенняя непогода, но мы не знали или, правильнее, не уясняли себе, за что и как нужно было взяться на завтрашний день. В царине мы были сильны в этом отношении. Все работы были у нас на примете и на учёте, в каждый момент мы знали, какие работы стояли на очереди и что предстоит в тот или другой текущий момент. Но в станице вся рабочая обстановка и обыденные жизненные условия были уже не те. Не помню, что говорили мои товарищи по этому поводу и как вообще отнеслись они к этому изменению жизненных условий и обстановки, но мою голову стали тревожить вопросы. Что мы будем делать? За какие работы возьмёмся? Как мы поведём их? Я ещё в царине мечтал о том, что зимою в станице можно взяться за книги и заняться умственным трудом. «Это вполне осуществимая работа, – думал я. – У нас много будет свободного времени, не будет ни вспашек, ни посевов, ни кошения травы или хлеба, ни молотбы, но на наших руках будет скот – предмет наших работ и ухода. Можно будет ездить в плавни за камышом для топлива и хозяйственных нужд. А ещё что? Больше ничего». Промыслов ни в станице, ни вблизи её не было никаких. Взяться за школьное дело и обучать грамоте детей? Но никто из нас на это не рассчитывал, никто

этим не занимался и на этом не специализировался. А как население отнесётся к нам в этом отношении? Всё это ещё более смущало меня, чем побуждало на активную работу в определённом направлении.

Но к Бриньковской станице прилегал огромный Бриньковский лиман, по которому при ветре ходили почти такие буруны, как на море. Весной же при половодье в устьях впадавшей в лиман реки Великого Бейсуга в течение нескольких недель производилось в огромных размерах рыболовство местным населением, пока заходившие из моря разные породы белой рыбы «метали» в плавнях Бейсуга икру. Вот на этом промысле я остановился, как только мы осели в станице. Помимо интереса, я рассчитывал и на большой заработок для ассоциации. По крайней мере, весной мы будем иметь возможность обзавестись одеждой, бельём и обувью. На добытые земледелием средства я не надеялся полностью удовлетворить все наши потребности.

Недостаток одежды, и особенно – сапог, был большим местом в ассоциации. Меня приводило в содрогание одно воспоминание о том, как в изорванные сапоги заползала скользкая и холодная, как лягушка, грязь и липла к нагретым теплотой тела кальсонам, и снизу, через калоши, – и к тёплому телу. Нет ничего несноснее для рабочего человека, как проникновение при работе воды и грязи в обувь в сырую и холодноватую погоду, а мы именно к концу осени и началу зимы были несостоятельны в этом отношении.

Васька ходил в какой-то потрёпанной длинной хламиде, мы с Попкой в не меньшей мере были потрёпаны, и у всех трёх не было сколько-нибудь сносной обуви, даже у Васьки, специалиста по сапожному ремеслу в семинарской ассоциации. У одного Грачёва, благодаря тому, что он жил в родной семье, была приличная одежда и хорошая обувь, а я не только задумывался над недостатком у нас одежды и обуви, так неожиданно проявившимся при осенних работах, но просто мечтал о сапогах с длинными, до колен, голенищами, как мечтал об обильных весенних уловах рыбы вентером на Бейсуге. Теперь мне просто смешным кажется мечтание о сапогах с высокими голенищами. Я видел у забродчиков сапоги, в которых они закрепляли голенища ремнями выше колен, и ещё в детстве сапоги эти приводили меня в восторженное состояние. После же передряг при осенней непогоде я оценил их с полным пониманием их гигиенического значения для рабочего человека и о подобных сапогах мечтал. Только тот, кто испытывал, как в сырую и холодную непогоду жутко и мучительно прикосновение к тёплой коже ног холодной воды и грязи, поймёт меня, почему я, стре-

мившийся превратить при помощи ассоциации родную Черноморию в экономический рай, мечтал о сапогах с высокими голенищами, не пропускавшими внутрь ни воды, ни грязи.

В первое время нашего пребывания в станице, скажем, в два-три дня или около того, мы попали в положение баловней и сибаритов. Грачёв снова осел в своей родной семье с отцом и прочими членами её и не показывал носа. Мы ели, пили, говорили, смеялись, изредка заглядывали в книги с картинками и просто кейфовали. Это было положение не очумевших как следует людей от осеннего ненастья в курене и кошмарного передвижения по топям степной грязи из царины в станицу. Новые жизненные условия и соответствующая им обстановка неожиданно окунули нас в то положение, в которое мы попали. Всё, о чём мы ежедневно заботились в царине, было готово и предоставлялось к нашим услугам. Мы точно забыли, что мы – рядовые рабочие в земледельческом деле, и буквально ничего не делали, что относилось бы непосредственно к хозяйству, не возились с попавшим с нами в станицу рабочим скотом и не ухаживали даже за конём Васькой. Для этого у нас имелись Архип и Юхим, они всё и делали. Так самый уклад станичной жизни влиял на нас. Никто из нас даже на улицу и на церковную площадь не глядел, потому что непрерывно моросил осенний дождь, и за окном не было видно не только людей, но и таких неугомонных животных, как свиньи и собаки. Как же нам, после заключения в курене и невыносимых злключениях при передвижении из царины в станицу, не сидеть было безвыходно в сухом и тёплом помещении?

Но в один из дней утром проглянуло из-за туч солнце, не было ни дождя, ни ветра, на площади и на улице показались люди, по дворам перекликались петухи, и где-то самодовольно хрюкали свиньи, обычные свидетели в станицах угомонившихся стихий. Я вышел также во двор, и завернул, прежде всего, в довольно вместительный сарай. С одной стороны в этом сарае стояли три воза и наша повозка. Взглянув на них, я заметил, что грязь на их колёсах застыла. «Вот теперь хорошо было бы очистить колёса от грязи», – мелькнула у меня мысль, но она не перешла в действие. Я перевёл глаза на другую сторону сарая, где за длинными яслями на привязи стояли три пары волов. Одни из них «ремигали», пережёвывали жвачку, другие ели сено, а третьи тупо куняли, лёжа на боку в собственном навозе. Волы, казалось мне, совсем не обратили никакого внимания на мой приход. Точно так же и я к шести волам относился безразлично, все они были серыми и одинаково похожими один на другого. И с этими шаблонными впечатлениями

я вышел, не чувствуя никакой надобности в волах ни для распашки земли, ни для перевозки сена или хлеба, ни просто для езды. Волы и возы были для меня совсем ненужными силами и орудиями для таких несложных операций во дворе, как перенесение в кухню охапки дров или ведра воды.

Рядом находилась конюшня. Я заглянул туда. Там стояла на дощатом помосте пара рослых красивых лошадей отца Петра, на которых он обыкновенно ездил. Сытые хозяйские лошади зашевелились, глядя на меня, а в углу конюшни просто на земле ел сено и чвакал наш Васька, но он не обратил на меня никакого внимания. «Почему? – блеснуло у меня в голове. – Ведь он знает меня». Мне захотелось непременно войти в общение с Васькой, как я любил это делать с животными, с которыми часто соприкасался. Немедленно я отправился на кухню, взял там приличный кусок хлеба, вернулся в конюшню. Васька косо, одним оком взглянул на меня и, не то увидев в руках у меня кусок хлеба, не то почуяв свежий запах его, повернул в мою сторону всю свою лошадиную морду и потянулся так ко мне, точно он хотел сказать: «Дай же мне хлеба». Я немного подразнил старика, поднося к нему хлеб на таком расстоянии, что он не мог достать его зубами, так как этого не позволял ему недоуздок, которым он привязан был к яслям. Когда же он начал вытягивать ко мне не только голову, но и губы, то, глядя на этот смешной и целесообразный приём животного, я всунул ему прямо в зубы кусок хлеба, будучи уверен, что Васька будет отныне взглядывать на меня и тянуть ко мне свою морду, когда я буду проходить вблизи его. Это общение с Васькой оживляюще подействовало на меня, точно я совершил что-то необходимое, входившее в круг ежедневных мелочей обычной деятельности ассоциации. Может быть, тем, кто никогда не имел общения с животными, покажутся эти мелочи излишними и неинтересными, но я всю свою жизнь практиковал тот приём, описанный выше. Я давал обыкновенно животным хлеб или что-нибудь съедобное, и они понимали меня, различным образом выражая это понимание, а я понимал их.

Войдя в комнату, я натолкнулся на нечто более реальное и необходимое нам в нашем новом положении. В комнате на низенькой скамеечке сидел Васька-человек и внимательно рассматривал сильно поношенный сапог, соображая, видимо, сколько и в каких местах сапога надо поставить заплат. Это, естественно, навело меня на мысль о том, что мы с Попкой могли бы сделать что-нибудь если не для себя, то для других. Почему бы нам не соорудить пару табуретов или хотя бы ма-

леньких скамеечек? Лесу для таких поделок у отца Петра много, столярные инструменты были у нас. Попка в это время лежал на кушетке и ловил правой рукою мух, тщательно следя за теми из них, которые садились на его одежду или вблизи него на кушетку.

– Грицько! – обратился я к нему. – Дивись! Васька odkрив уже свою майстерню. Чом би нам с тобою не зробить хоч би пару табуреток та пару скамеечек! Вставай! Ходім лишь зо мною під сарай. Там можна столярувати, матеріялу там багато.

– Ну і іди та починай там, – отозвался он.

– А ти чом не ідеш? – изумился я.

Мух было так мало осенью, что я не видел ни одной.

– Та мені хотілось піймать десять мух, а я убив тільки сім. Піймаю ще три, тоді прийду до тебе, – пояснил деловито мой приятель свой план.

Я со смехом направился в сарай и начал там пристраивать доску взамен верстака. В это время скрипнула калитка, и показался отец Пётр, воротившийся откуда-то домой.

– Що то ви затіваєте? – спросил меня отец Пётр. – Хиба ви мало напрацювались у царині та в степу? Оддихнули б ще днів два або три.

– Це буде верстак, – объяснил я. – Ми з Грицьком думаєм зробить хоч пару скамеечек та пару табуреток.

– Добре діло, – заметил отец Пётр. – Воно і нам требається, та тільки не більш, як по парі, а то нікуди буде дівать їх. А де ж Григорій Анфимович? – спросил он меня.

– Він прийде сюди із кімнати. Зараз дуже зайнятий там. Мух лове та б'є, піймаю, каже, ще три, щоб десять було, тоді й прийду, – со смехом объяснил я, где находится Анфимович.

Хохотал и отец Пётр, направляясь в комнату со словами:

– Та тепер десятку можно, тільки по одній мусі!

Скоро показался и Попка.

– На що ти підвів мене під посміх? – сказал он мне недовольным тоном. – Отец Петр потребував у мене рахунок, скільки я убив в його хаті мух, щоб у суд жалобу подать.

– А ти, мабуть, так-таки не доловив до десятка мух? – продолжал я шутить.

– Еге ж! – подтвердил Попка. – Насилу ще одну піймав, – и расхохотался.

Подобрав необходимый материал и работая над ним, мы серьёзно задумались над вопросом, что всей ассоциацией, да ещё при со-

действии Архипа и Юхима, будем делать осенью и зимой, и пришли к заключению, что следовало бы безотлагательно обсудить вопрос сообща.

На следующий день вечером мы обсудили вопрос о работах в течение осени и зимы и не нашли ничего нового сверх того, что пришло мне в голову, но при этом сразу же натолкнулись на самую резкую особенность разрешаемого нами вопроса. Намечая общий план наших работ, мы единогласно установили, что мы располагаем для проведения этого плана значительно большим количеством ртов и рабочих рук, чем сколько нам требовалось. Архип и Юхим оказались совершенно ненужными для предстоявших хозяйственных операций. Их нужно было рассчитать. Когда Грачёв за неимением работы предложил оставить его до весны на хозяйстве отца, все охотно согласились с этим. Но мне и товарищам неприятным казалось выбросить, так сказать, за борт Юхима, и особенно – Архипа. Отец Пётр, однако, предложил отпустить Юхима, так же, как и Грачёва, на дом к матери до весны, сделав ему надбавку к условленной раньше плате за безукоризненную и рачительную службу. Что же касается Архипа, то отец Пётр имел на примете службу сторожа и обещал устроить его на этом месте, что и сделал впоследствии. Мы трое – я, Попка и Васька – взяли на себя все хозяйственные работы и хлопоты, включая в них и поездки с отцом Петром по его хозяйственным и служебным делам. На нас троих легли занятия по уходу за рогатым скотом, часть которого отец Пётр выделил и передал на зимовку какому-то хуторянину, и за тремя лошадьми, заботы и работы по добыванию камыша для топлива, поездки по хозяйственным делам ассоциации, таким как продажа хлеба, закупка необходимых предметов, и по другим нуждам и мелочам.

Лично я в высшей степени доволен был разрешением вопроса о весеннем рыболовстве. Отец Пётр как местный священник имел право в местном станичном обществе на одну ставку, как называлось расположение на реке Бейсуге вентера с длинными от него крыльями из сетей к двум противоположным берегам реки. Ставки распределялись по жребию между жителями Бриньковской их общественным сходом, или громадой. Чтобы дать возможность получившим жребий на ставку хозяевам оборудовать как следует снасти и принадлежности к ним, жеребьёвка производилась осенью станичным правлением в определённом порядке соответственно с установившеюся практикой и обычаями.

В урну или просто в шапку станичного атамана клались свёрнутые трубочкой одинаковой формы и размера записочки с имена-

ми и фамилиями претендентов на ставки, а в особом списке ставки отмечались номерами. Номером первым обозначалась первая ставка в устье Бейсуга, то есть при входе полчищ рыбы из лимана в реку, а затем вверх по реке шли последовательно номера. Все ставки под этими номерами расположены были в тридцати саженьях одна от другой. Первый и второй номера ставок, в которые попадало наибольшее количество рыбы, как наиболее ценные по улову, сдавались с торгов до жеребьёвки. Кто давал наивысшую арендную цену на них на предстоящий улов, за тем они и оставались, а вырученные за ставки деньги шли в общественные доходы на нужды станицы. Жеребьёвка же ставок начиналась с номера третьего. Станичный атаман и другое уполномоченное лицо вынимали из урн один номер ставки, а другой – записочку с фамилией занесённых в список претендентов на ставки. Писарь читал обе записочки и отмечал в списке, кому из претендентов какой номер ставки достался. При жеребьёвке отцу Петру достался, если память не изменяет мне, номер 17-й ставки, то есть ставка на расстоянии версты от устья реки.

Вот на этом месте и предстояло нам вдвоём с Попкой оборудовать ставку: огромный вентерь вместимостью на 20 тысяч шарана или на 16 тысяч судака, два длинных крыла к вентеру из сети, не пропускавшей рыбы: одно крыло – «глухое», на правый берег реки, а другое – с проходом для рыбы вверх по реке мимо конца его, у левого берега. Кроме огромных сетей на крылья по ширине реки, требовался целый ряд «тычек», или шестов, для закрепления крыльев, затем «каюк», или лодка, багры и тому подобное. Ставка отца Петра пришлась не на реку, шириной от тридцати до сорока саженьей, а на её разливе. Соответственно с этим пришлось нам увеличивать и длину крыльев.

Таким образом, на нашу долю – мне и Попке – достались довольно большие и сложные работы по подготовке снастей для ставки и оборудованию её. Огромный вентерь – в сажень в диаметре и в две сажени длины – на общем совещании решено было купить новый и возможно крепкий, а крылья сделать частью из новой сети, а частью из сетей, бывших уже в употреблении. У отца Петра не было ни вентера, ни сетей на крылья, ни лодки, то есть самых главных принадлежностей ставки. Нужно было всё это купить, но новые сети для крыльев предстояло сплести из новых нитей. Одним словом, нам двоим работы и забот предстояло достаточно на осень и на зиму.

Обязанности Архипа при поездках с отцом Петром нёс Васька. При этих поездках была продана ещё часть добытых нами земледель-

ческих продуктов. Мы располагали уже известным запасом своих денег и берегли их, как зеницу ока, для обеспечения наших нужд. Нужда в деньгах уже назойливо была по нашей энергии; уже происходили между нами маленькие разногласия по этой причине. Двое из нас не курили табаку, а двое курили. Деньги требовались на чай, сахар и табак. Некурящие находили неправильным расходование денег на табак, а курящие заявляли, что они скорее откажутся от чаепития, чем от курения табаку. Это, однако, не ослабляло нашей общей энергии – ни спорами, ни пессимистическими сетованиями. Мы верили в успех предпринятого нами дела, в чём убеждал нас и хороший урожай зерновых продуктов. Имея же в руках хоть небольшой, но свой фонд денег, мы ожили в ожидании близкого удовлетворения наших наиболее назойливых нужд. Дожди и беспутница держали нас на привязи в станице, и мы с нетерпением ожидали установления сколько-нибудь сносного пути, чтобы съездить в станицу Каневскую для покупки необходимой нам одежды и обуви.

Скоро осень сменилась зимою. В одно утро мы увидели покрытую снегом землю. Дожди заменились снегом, а осенняя слякоть – небольшим холодом. Снег понемногу падал ежедневно, но его напало так много, что редкостью это считали даже старожилы. Быстро установилась хорошая санная дорога. Решено было съездить в станицу Каневскую по нашим делам. Одновременно потребовалась туда же поездка и отцу Петру за покупкой предметов для церковных нужд. В этот раз ехать с отцом Петром пришлось мне, так как мне была поручена закупка одежды и обуви для себя и для товарищей. Я с большой охотой отправился в эту поездку. Меня манили встречи с новыми людьми и с новыми условиями станичной жизни после монотонного течения степной обыденщины. У отца Петра была пара прекрасных, откормленных и сильно застоявшихся на конюшне лошадей, приготовлены были для этой пары к зиме крепкие и вместительные сани, меня он снабдил для дороги большой, тёплой, из овечьих овчин шубой, а для защиты от холода сильно поношенных, с дырами сапог я запасся небольшим войлоком, чтобы окутывать им ноги. Мы сели рядом в сани, я взял в руки вожжи, а Васька и Попка держали взнузданных лошадей за поводья. Ворота были заранее открыты, и лишь только я произнёс: «Пускайте коней!» – как они рванулись с места вперёд, подняв целую тучу снежной пыли. Версты две или три пришлось мне сдерживать, и мы быстро помчались по мягкой снежной дороге без всякой встряски от скользивших по снегу саней.

Стояла чудная зимняя погода: тихий безветренный день, умеренный холод и яркое зимнее солнце. Золотистые лучи солнца, падавшие на снег, хотя и слепили глаза, но придавали красивый колорит степной природе в её простом и однообразном зимнем уборе. Степь, точно сплошь залитая снегом, как молоком, белела на необъятном пространстве тонувших, как в бездне, её далёких границ и золотыми блёстками сверкала на извилистых и резких переходах её поверхности. Лишь изредка на этой белой мантии земли резко выделялись стога сена в огромных белых сверху их папах.

Ни людей, ни даже птиц не видно было ни вдаль, ни по дороге. Лишь изредка показывались одинокие соколы и коршуны в степи, но и они, как дезертиры, где-то прятались в пропитанном холодом воздухе. Оба мы молча любовались не пестротой и разнообразием природы, а однообразием, ярко красивым зимним покровом степи, и редко перекидывались краткими фразами. Лошади быстро бежали, пуская обильный пар из ноздрей, мы спокойно сидели в удобных санях, точно плывя по мягкой дороге, как по тихой воде, а я как бы для приличия держал в руках вожжи, не понуждая ими дружно бежавших лошадей. При общем покое окружавшей нас зимней степи лишь лошади срывали своими копытами в немногих местах небольшие вспышки лёгкой снежной пыли. Через несколько часов после полудня мы были в станице Каневской.

Двое суток с полуднем пробыли мы в этой торговой по тому времени станице с пользой для ассоциации и с удовольствием для себя, весело и с интересом проводя в ней время. В большом напряжении и со сдержанной осторожностью производил я закупки для ассоциации в первый раз на заработанные собственным трудом деньги. Особенно тщательно подбирал я сапоги по своему вкусу для себя, по указаниям Васьки как знатока сапожного ремесла для него и для Попки и Грачёва, согласно их желаниям.

Не столько удовольствие, сколько живой интерес возбудил у меня знакомство с особами, встреченными мной в этой станице. Два раза мы гостили у товарища отца Петра по семинарии, популярного священника отца Константина Евмениева, и оба раза у него собирался небольшой кружок местной знати из полуинтеллигенции и полубуржуазии – из духовенства с офицерами и из торговцев, а также приезжих, как мы, знакомых. Были мужчины и дамы, большей частью, почтенного возраста и не было детей. Гости пили чай, закусывали разными домашними печеньями и деликатесами, мужчины периодически

подходили к столику с напитками и пили по рюмке кто чистой водки, кто наливки, а кто виноградного вина; в одном месте сидели дамы и вели свои разговоры о мелочах местной жизни, на двух столах играли в карты: одни – в преферанс, другие – в винт. Я любил игру в преферанс, недурно играл, и сильно хотелось мне принять участие в этой игре, но игра велась на деньги, и я не решился рисковать средствами ассоциации. У меня совершенно испарились из головы воспоминания о тех лицах, с которыми случайно столкнулся я здесь и в первый раз на чрезвычайно короткое время. Не закрепились в моей голове эти воспоминания, может быть, потому, что времяпрепровождение большинства лиц казалось мне мелким и неинтересным, а частью и потому, что это были особы почтенного возраста и почти не обращали на меня никакого внимания.

Но две фигуры резко врезались мне в память – сам хозяин отец Константин и войсковой старшина Григорий Львович Миргородский. Это был гигант казак, поразивший меня своим ростом и мощностью фигуры. Добродушный по своей открытой физиономии войсковой старшина вёл с отцом Петром и с отцом Константином деловые разговоры по поводу цен на хлеб, на скот и лошадей, не выпуская трубки изо рта. Не принимая никакого участия в карточных играх, каждый раз, когда хозяин приглашал мужчин к столу, он охотно подходил к компании, выпивал полную рюмку водки со всеми, кто с ним чокался рюмками. Мне казалось, что он выпивал двойную порцию чистой водки и наливок сравнительно с другими гостями. Несмотря на это, он, что называется, и в ус себе не дул, всё время был бодр, серьёзен и методичен в разговорах, точно он совершенно не прикасался ни к одной рюмке. Все относились к нему с заметным уважением и почётом.

Отца Константина я хорошо знал, прежде всего, потому, что он был родным братом Василия Алексеевича Евменьева, известного впоследствии врача, который учился одновременно со мною в Кавказской семинарии и хотя был выше меня одним классом, но впоследствии мы были с ним большими однокашниками-приятелями. Это, впрочем, было чисто побочное обстоятельство в моём знакомстве с его старшим братом. Сам отец Константин поразил меня своею интеллигентностью и тем разговором, который он завёл со мною. Он хорошо знал моего умершего брата Тимофея, с которым он читал лучших писателей того времени, чем сразу завоевал мою симпатию. Вообще в духовной среде он пользовался своими знаниями и начитанностью. Обо мне он знал по рассказам его младшего брата и отца Петра.

Разговор наш коснулся моего положения в ассоциации и самой ассоциации. От отца Петра он знал историю с немецким плугом и сильно смеялся, когда я рассказывал ему, как наш сосед Свиридонович хотел купить у меня секрет немецкого плуга, будучи убеждён, что я кудесник или колдун. К нам пристал и отец Пётр, и мы завели общий разговор о нашей ассоциации. Я и отец Пётр стояли на одной точке зрения в полной уверенности, что ассоциация – дело успешное, и её можно вполне привить в среде земледельческого населения, а отец Константин, считая ассоциацию хорошим в социальном отношении предприятием, не верил в возможность привития его в среде земледельческого населения. Оно до этого не доросло, по его мнению. В лице отца Константина я в первый раз встретил интеллигентного человека, заинтересовавшегося нашей ассоциацией и серьёзно относившегося к ней. Спор наш принял оживлённый характер. Я вспомнил мнение моего родича Лукаша, женатого на моей двоюродной сестре Марфе, который говорил, что нужно «всю громаду повернуть до асоціаціонного діла», чтобы казаки дружно взялись за ассоциации, и пустил в оборот эту мысль. Картёжники усердно занимались картами и не обращали на наш спор никакого внимания, дамы занимались своими разговорами и также индифферентно относились к нашему спору. К нам изредка подходил и вслушивался в спор Миргородский, но когда он сосредоточился на моём аргументе, Миргородский проявил видимый интерес. Отец Константин всё время донимал меня вопросом, как же заставлю я устраивать ассоциации всё общество, когда это и для нас, получивших хорошую школьную подготовку, оказалось делом новым, сложным и трудным. Я не мог надлежащим образом развить и реальными фактами осветить свой аргумент, всё время настаивая на том, что станичное общество нужно вразумить и научить его. Тут неожиданно вмешался в спор Миргородский:

– Та це ж таки й правда, що громада може в свої руки взяти це діло, тільки сама вона цілком не може цим ділом зайнятися, бо вона дуже велика і складна – як скінчається збор, то вони скрізь по дворах так розлізяться, як пшениця без мішка по землі розсипиться. Це діло церковних братчиків.

– У нас же, Григорий Львович, есть братчики, – заговорил отец Пётр. – Що ж громада зроби з ними?

– Які то братчики? – возразил Миргородский. – Нема у них ні казанів, ні своєї страви, і ніякого порядку. Один принесе книш, другий паляницю, а інший горщик борщу або каші – та й справляють таким



чином храмовий празник. Це ж голоштанні старці, а не братчики. Треба таких братчиків, щоб все своє громадське мали – і казани, і страву, та робили своє діло вкупі, як одна команда. Отаким братчикам громада може й повинна приказати: візьміть, братчики, три десятини чи скільки там землі, виоріть її гуртом, засійте, скосять і змолотять усе гуртом, а зерно продайте, і на ті гроші купіть ще казанів та харчів для страви та й нагодуйте усю станицю на годовий празник. Так ото і буде у братчиків настояще братське діло або храмове свято.

Все мы были поражены оригинальной мыслью Миргородского и согласились, что указанным им способом можно организовать ассоциацию из братчиков для устройства братского обеда на «храмовое свято».

– Та це ваше діло, отці духовні, – обратился он к обоим священникам. – Ви і зробіть його як слід. А мені, отець Петро, якби ви дали хоч одного братчика із тих, що у вас там працюють?

– Нащо це вам? – спросил отец Пётр.

– В мене ж є два маленькі «апостоли» Петро і Павло. Треба їх підучити, щоб помістити у гимназію або у кадетський корпус. Так от ви і дайте мені того братчика, що німецькі плуги краще коваля справляє.

– Е! Григорій Львович! Це ви вже не по правді робите, – заговорил отец Пётр.

– Як не по правді? – возразил Миргородский. – Я ж прошу.

– А так, що приказ братчикам ви раєте громаді давати, а у мене братчика хочете без громади однять. У них же є своя громада, хоч й маленька, – пояснил отец Пётр своє возражение. – Треба їхню громаду спитати.

– Ах щоб вас! – воскликнул Миргородский. – І це ваша правда. Як же мені це зробити? Може, до вас та до ваших братчиків приїхати, чи що?

– Не турбуйтеся! Це зараз можна зробити, – смеясь, ответил отец Пётр.

– Як зараз ви зробите? – удивлялся Миргородский.

– От як, – продолжая смеяться, заговорил отец Пётр. – Дайте лише вашу руку!

Миргородский подал отцу Петру руку, с удивлением посматривая на него. Отец Пётр подвёл его ко мне и сказал, указывая на меня пальцем:

– Ось його, Григорій Львович, спитайте про те, що ви казали мені.

– А ви ж хто будете? – обратился Миргородский ко мне.

Я молчал, а отец Пётр ещё с большим хохотом пояснил, что это и есть тот самый братчик, который «справляет плуги краще ковалів» и о котором он просил его.

– Чи може? – с удивлением воскликнул войсковой старшина и развёл руками.

Тут уж захохотали и картёжники, и дамы, и мы, потому что все заинтересовались, когда Миргородский принял участие в нашем споре, и, в свою очередь, внимательно прислушались к тому, что у нас происходило.

Объяснялось это недоразумение Миргородского и многих из присутствовавших тем, что я был единственным лицом, неизвестным гостям. Гости же как давно знакомые люди приходили к отцу Константину, здоровались и жали друг другу руки. Так и со мной здоровались, хотя отец Константин и не познакомил меня с каждым гостем. Только немногие, поздоровавшись со мною, спрашивали отца Константина потихоньку:

– Кто це такой?

Миргородский, поздоровавшись со мной, не осведомился, кто я.

Когда стих смех, Миргородский обратился прямо ко мне:

– Так як же у нас з вами буде? Ви чули, про що я з отцем Петром балакав? Вибачайте, я не знав, хто ви, а тільки подумав: «І відкіля отець Константин добув такого молодого парубійка та ще в таких гарних чоботах?»

Публика хохотала, а Миргородский божился:

– Їй-Богу, так подумав! – вызывая новый взрыв хохота своим добродушным объяснением. Я был в новых купленных сапогах.

– Не вийде у нас з вами цього діла, – ответил я. – Ні мої товариші, ні я сам не можем узятись за чуже діло, коли у нас є своє. Як би це відомо було нам з ранньої осені, то може і можна б було приспособить кого-небудь, щоб поучив в осені та зимою ваших маленьких «апостолів», а тепер ми всі при своєму ділі, од якого одірватись не можна.

– От горечко мое! – воскликнул Миргородский. – Ну, так я з вашого дозволу, як буду в станиці та у отця Петра, то зайду і до вас. Побалакаєм, може, ви що-небудь придумаєте та й мені порадете.

– Це можна! – ответили разом я и отец Пётр. – Милости просим – пожалуйста!

Всё это происходило накануне нашего отъезда в Бриньковскую станицю. Мы шли с отцом Петром, довольные и весёлые после проведенного у отца Константина вечера, и хотели было сразу проститься



с ним, чтобы выехать домой рано утром на следующий день, но отец Константин настоял на том, чтобы мы выехали после завтрака у него, упирая на то, что мы всё одно вовремя приедем домой на паре лошадей отца Петра, которыми он славился у духовных лиц и любителей лошадей. Отцу Константину хотелось ещё поговорить с нами о нашей ассоциации, а я готов был остаться хотя и на целый день по этой именно причине. У меня заработала голова по поводу тех возражений, которые делал нам с отцом Петром его интеллигентный товарищ, стоявший, главным образом, на том, что народу надо дать самое широкое просвещение, чтобы он самостоятельно мог понять и уяснить важность для него таких организаций, какую мы осуществляли. Очень меня занимала и оригинальная мысль Миргородского, легко осуществимая. Отец Пётр так же, как и я, сдался на доводы своего товарища. Мы пообещали прийти на завтрак к отцу Константину.

В действительности же мы с отцом Петром не только остались, но и зарвались. К отцу Константину на завтрак мы сильно запоздали, и он пенял на нас, так как мы пришли к нему почти к обеду, который, по его словам, будет готов через час, и нам нужно остаться до обеда, чтобы иметь возможность ещё раз обменяться мыслями. Мы без возражений сдались. Но обед запоздал у отца Константина, а после него мы так увлеклись разговором по поводу остроумного предложения Григория Львовича Миргородского, что ещё немало запоздали. У меня, кажется, тогда в первый раз появилась мысль о необходимости изучить у народа артели и все те формы, какие сходственны с идеализируемой нашей ассоциацией, и эту мысль впоследствии я осуществил в моём исследовании «О южнорусских артелях и общинно-артельных формах», изданном книгой в 1880 году.

Мы выехали из Каневской со значительным опозданием. Дорога была хорошая, я не жалел лошадей и усердно подгонял их. Так проехали большую часть пути, когда наступила холодная белая ночь, белевшая от снега и от освещавшего эту белую пелену степи месяца. Вдруг в одном месте крупный вороной коренник сильно рванул в сторону, а я едва успел подобрать вожжи, как от натиска коренника чуть не опрокинулись наши сани, но и коренник вдруг стал на одном месте, как вкопанный, болтая, однако, как показалось мне, одной ногой.

– Та кнутом добре вдарте його й виїжджайте на дорогу, – советовал мне отец Пётр.

Я «добре» стегнул коренника кнутом. Коренник сильно рванулся, и одновременно раздался сильный треск, а сани подались вбок. Я пере-

дал вожжи отцу Петру, встал из саней, ошупью выяснил по оглобле и ноге коренника, что он заступил одной ногой за оглоблю.

– Оглобля поломана, – сообщил я отцу Петру.

– Оце так окаязія, – воскликнул отец Пётр и также встал из саней.

Мы распрягли лошадей, осмотрели поломанную оглоблю, к большому нашему смущению, поняли, что ехать далее нельзя на одной оглобле, и стали придумывать, как бы выйти нам из беды. И мне, и отцу Петру одинаково казалось, что мы были недалеко от хутора одного из жителей станицы Бриньковской.

– Як би і пристяжний, як корінник, ходив під верхом, то ми сіли б на коней та й гайда до хутора, – высказал отец Пётр мне своё соображение.

– Так сідайте на корінника та їдьте на хутір, а відтіля скоріше пришліть за нами другі сани, – посоветовал я с своей стороны.

– Та хоч і так, – согласился отец Пётр. – Не замерзатъ же нам в степу.

Сняв с коренника седёлку, я с трудом усадил на него отца Петра в его медвежьей шубе.

Между тем мороз крепчал, а я так продрог, что у меня уже не попадал зуб на зуб. К тому же скинул с себя шубу, чтобы легче было возиться с лошадьми, санями и с отцом Петром. Я кое-как натянул на себя шубу и хотел, как говорится, размяться ходьбой, но и это оказалось для меня невозможным. Сани были не на дороге, а возле неё в снегу, и его было столько, что я, дрожа от холода и чувствуя на себе тяжесть шубы, с усилием выдёргивал ногу, несмотря на купленные ботфорты, которые не грели и не помогали. Чувствуя, что не в состоянии согреться ходьбой, я крепко привязал, насколько был в силах, пристяжную лошадь к саням и улёгся в них. Ощутив под шубой теплоту, я впал в приятную дремоту, стараясь, однако, не заснуть, но незаметно для сознания заснул. Разбудил меня пристяжной конь, который угодил ногой в сани и чувствительно сквозь шубу ударил меня по голени в щегольских сапогах. Открыв глаза, я заметил, что около нас кружилась какая-то птица. Вероятно, это был сыч, испугавший лошадь. Я очнулся и «взял себя в руки». Мне живо представилась моя приятная сонливость, которую я не мог одолеть, и разом вспыхнула мысль о том, что в положении, подобном моему, замерзают обыкновенно при сладком сне. Я твёрдо решил не спать и по возможности двигаться, так как мороз стал щипать пальцы моих ног. Отвязав лошадь от саней, я попробовал было сесть на неё верхом, но лошадь не стояла на месте и увёртыва-

лась от меня, а я в шубе не мог с надлежащею ловкостью взобраться на неё. Тогда, не пускаясь дальше ни в какие соображения, я направился по дороге к хутору с лошадьёю в поводу. «Якщо, – думал я, – не попаду я на хутір, то буду держаться дороги до самої станиці, а не замерзну».

Долго ли я шёл до хутора или не долго, ясных представлений я не имею. В памяти остались воспоминания о той трудности, которою сопровождалось моё шествие. Я подбирал шубу, чтобы она не болталась и не мешала мне идти, так как я даже вначале иногда спотыкался. Помнится мне, что в одном месте послышался лай собак. Был ли это действительный лай или акустический обман слуха, я не знаю, но я остановился и долго вслушивался. Однако ухо не улавливало лая, и я только заметил, что мой товарищ в пути – пристяжной конь – насторожил свои подвижные уши. «Должно быть, он знает, что хутор близко», – подумал я и пошёл дальше вперёд, с напряжением вытаскивая из глубокого снега ноги, и вдруг с ужасом заметил, что я иду не по дороге. Не мороз, а тревога охватила меня. Я решил идти небольшими зигзагами, чтобы не удаляться от принятого направления и снова как-нибудь попасть на дорогу. Это была самая томительная часть моего продвижения, но, наверное, я недолго производил выдуманные мною петли. Я натолкнулся на что-то твёрдое и поцарапал слегка кисть руки. Испуг снова охватил меня. Опомнившись, однако, я с облегчением выяснил, что это была ограда, утыканная терновником сверху. Я понял, наконец, что попал на хутор, и, охваченный радостью, громко закричал: «Гой-гой!» – чтобы подать о себе весть обитателям хутора. Услышали меня собаки, а не обитатели хутора, и громко залаяли. Пробравшись ко мне ближе внутри двора, они ещё с более ожесточённым лаем привлекли сюда и людей. Узнав по моему вопросу: «Чи нема у вас отця Петра?», кто я, они ответили: «У нас!» – и повели меня в хату.

В хате я застал отца Петра за столом с потухшим самоваром и с установленными яствами. Это неприятно покорило меня. Очевидно, отец Пётр не придавал надлежащего значения моей просьбе, сказанной мною ему при снаряжении его на хутор, чтобы он, найдя хутор, поскорее освободил из беды и меня с лошадьёю. Потухший самовар свидетельствовал, что отец Пётр не спешил с освобождением нас из беды.

– Кто вас сюди привіз? – с нескрываемым удивлением спросил меня отец Пётр.

– Я сам прийшов, – ответил я.

– А пристяжний де ж? – снова спросил меня отец Пётр, показалось мне, с тревогою.

– І пристяжного я привів з собою, – холодно произнёс я.

– А сани? – продолжался допрос.

– Стоять на місці, – отрывисто давал я ответы, чувствуя раздражение от той беспечности, которую проявил отец Пётр в трудных обстоятельствах, полагаясь на меня по охране саней и лошади.

Но отец Пётр не унимался и подлил масла в огонь последним вопросом.

– Там же в санях церковні вещи та й ваші, – произнёс он, как показалось мне, с укором.

– Там, – подтвердил я и замолчал.

Замолчал и отец Пётр, вероятно, поняв мою холодность и нежелание моё говорить ввиду его отношения к постигшей нас беде.

Через некоторое время сани с вещами были доставлены на хутор хозяином его, а утром на другой день мы были дома в станице.



Глава XVII

## В станичных условиях

**Б**лагодаря санному пути для поездки в станицу Каневскую, зима осчастливила ассоциацию долгожданным нами подарком, удовлетворением наших важнейших потребностей. Наиболее существенные нужды в одежде, белье и обуви были погашены. Это была и первая значительная затрата ассоциации из собственных средств, добытых напряжённым трудом её членов. Израсходованы были не все деньги, часть их была оставлена в запас. Таким образом, мы стали на собственные ноги как представители труда. Первый год нашего опыта показал нам, что мы – профаны в области земледельческого производства, но мы овладели общепринятыми способами его процессов, всячески стараясь придать им более или менее рациональный характер. Осев в одной из глухих её станиц, мы стали, так сказать, в те общие колеи, по которым двигалось земледелие казачьей трудовой массы в Черномории. Нас не сбили с нашей, казалось нам, боевой позиции такие неудачи и трудно переборимые препятствия, как сплошное разрушение копен хлеба в горобину ночь или осеннее утомительное бездорожье, явления, хорошо известные нам с детства. То и другое ведь натворила нам погода. Мы не потеряли ни веры в наше дело, ни желания продолжать его, действуя, однако, в большей степени под влиянием смутных идейных стремлений, чем реальных факторов действительной жизни. Наши незначительные успехи толь-

ко подогревали то идейное настроение, которым мы были осенены в бурсе Кавказской духовной семинарии в Ставрополе. Учитывая наши собственные успехи, мы не улавливали идейного воздействия с нашей стороны на ту народную среду, которую мы пытались осчастливить, но с которой у нас почти не было никакой связи. Более того, мы и не задумывались над этим, а лишь совершенствовали свою собственную организацию, изыскивая наиболее подходящие для её деятельности условия и выходы к лучшему. Дадим, мол, хороший пример, пусть посмотрят на него, оценят его выгоды и последуют ему. В таком смутно неопределённом характере проявлялись наши идеальные стремления. Вера нас двигала, но и жизнь брала своё.

Фактически мы далеко стояли от той массы населения, ради которой оставили семинарию. Со станичными властями мы совсем не имели никаких соприкосновений и не видались даже с ними, как с ненужными нам лицами, находясь под крылышками такой важной в станице особы, как местный священник. К громаде и к её сходам мы не имели совершенно никакого отношения. Местный обыватель Грачёв не интересовался ею так, как интересовался я своей новодеревянской громадой. А все мы были чужими людьми для громады станицы Бриньковской и не могли, конечно, принимать какого бы то ни было участия в её делах. Едва ли не с самым видным её в станице хозяином – Свиридоновичем – мы, или, собственно, я, сошлись, но Свиридонович принял меня за знахаря, учёного кудесника, владевшего таинственным секретом немецкого плуга, и пытался купить у меня этот секрет. Когда же он узнал, что никаким секретом я не обладаю, то всё-таки удивлялся тому, что я даром делился своими знаниями и опытом и не брал за это денег. Что же касается нашей ассоциации, то он считал её совершенно неподходящей для него формой хозяйственных операций. У него была, как заявил он, своя собственная ассоциация – семья, кровно организованная и крепко спаянная форма солидарности. Нифонт, самый умный и наиболее натёршийся в полуинтеллигентном круге станицы представитель казачьей молодёжи, ставил карьеру обеспеченного материально дьячка неизмеримо выше нашей ассоциации и её непонятных ему целей. Наконец, в среде сколько-нибудь мыслящей станичной интеллигенции нашёлся только в одной станице и один только священник отец Константин, с интересом и серьёзно отнёсшийся к нашей ассоциации, но и он исходил из чисто теоретических оснований производимого нами опыта, не придавая ему никакого значения как реальному явлению и не считаясь с аналогичными

стихийными формами в народной жизни. По его мнению, необходимо было двинуть народное просвещение, а потом уже строить в благоприятных условиях ассоциации.

Так ограничены были наши достижения в области пропаганды идеи ассоциации реальным практическим путём. Мы не замечали ни изолированного положения нашей ассоциации в окружавшей нас станичной среде, ни малого количества подходящих к нашим идеалам фактов. Наоборот, в самом маленьком благоприятном нам случае мы видели шаг вперёд в наших достижениях, отождествляя эти шаги наших собственных продвижений с идейными завоеваниями.

Я не помню, какое впечатление произвели на моих товарищей рассказы о нашем споре с отцом Константином, но все мы прекрасно понимали огромное значение просвещения для трудовой массы и ещё больше, пожалуй, необходимость пополнения образования для нас. Мы с Попкой всегда стояли на этой точке зрения. Грачёв относился безразлично к этому вопросу, а Васька отдавал преимущества артели перед образованием, так как она, по его мнению, скорее, чем образование, может поднять экономическое благосостояние массы, а там уже и сама масса примется за просвещение. Но у меня не уходило из головы наши увлечения в семинарии, когда мы считали ассоциацию мощным рычагом не только для переустройства народной жизни, но и как средство для того, чтобы добыть деньги для поступления в высшие учебные заведения. Я напомнил об этом своему другу Грицьку Попке и указал как на важнейший источник денежных средств на предстоявшее рыболовство с весны. Уловы рыбы в то время даже вентерями на реке Бейсуг были колоссальны. Это побудило нас ещё с большей энергией и заботливостью вести подготовку к рыболовному сезону. Веря в успех нашего ассоциационного предприятия, оба мы считали крайне необходимым и важным для нас прохождение курса наук в Петровской земледельческой и лесной академии.

В то время Петровская академия была популярным учебным заведением и у передовой учащейся молодёжи, и у передовых вообще людей, занимавшихся сельским хозяйством или интересовавшихся им. Она славилась составом известных профессоров, основательной программой изучаемых наук, лабораториями, опытным полем и вообще всевозможными научными и учебными кабинетами как для теоретического изучения наук, так и для практических занятий по земледелию, скотоводству, лесоводству, садоводству и по другим дисциплинам, имевшим отношения к сельскому хозяйству. Но что особенно тянуло

в это учебное заведение и передовую молодёжь, и всех, кто занимался сельским хозяйством или интересовался им, так это полная свобода изучения наук по желанию и усмотрению самих студентов. Для поступавших в академию не требовалось никаких документов об образовательном цензе. Поступить мог каждый желающий для изучения химии или ботаники, искусственного оплодотворения рыбы или агрономии и вообще различных отраслей сельского хозяйства. В аудиториях рядом с юным студентом, увлекавшимся изучением политической экономии, сидел почтенный землевладелец, штудировавший сельскохозяйственную экономию или зоотехнику. Бросая семинарию, мы не заботились о том, чтобы запастись необходимыми для поступления в высшие учебные заведения документами. Для нас Петровская академия представлялась как бы учебной для всех желающих изучать науки штаб-квартирой, в которую и нам были открыты двери.

Таким образом, поездка в станицу Каневскую затронула личный состав ассоциации с двух сторон: во-первых, были удовлетворены наши потребности гигиенического и эстетического характера. Мы оделись и обулись как следует и этим как бы раз и навсегда смыли с себя прилипшую к нам грязь через дыры в одежды и обуви, в корне истребив те неприятные ощущения, которые раньше дожимали нас. Мы стали приличны по внешнему виду и явно почувствовали чисто эстетическое наслаждение от одного уже прикосновения сухих, мягких и на вид красивых материалов одежды и щегольских сапог.

Во-вторых, нас, и во всяком случае – меня и Попку, охватил духовный подъём при одной мысли о Петровской академии, в которой можно было пополнить образование и ознакомиться с естественными и специальными науками.

Но одним общим порывом мы были охвачены при этом общем подъёме психики, все четверо, – неожиданным проявлением чувства к изящному. И какие же предметы вызвали у нас это чувство? Смешно сказать – сапоги, а не костюмы и их материя. Куплены были четыре пары сапог с длинными голенищами по одной и той же цене: две пары – для одинакового размера ног, третья – самого большого размера, и четвёртая – наименьшего. У нас с Попкою были одинакового размера ноги, у Васьки – большого размера, а у Грачёва – наименьшего.

При заказе размера сапог Попка сказал мне:

– Купи мені такі чоботи, як і собі.

Я купил две пары сапог, одинаковых по величине, форме и отделке. И вот эти именно две пары и привлекли общее внимание своей

красивой отделкой и изяществом. Всем хотелось щегольнуть ими. Это были сапоги с мелкими красивыми сборками в четыре ряда голенищ снизу у ступни. Упругие, как листовое железо, голенища блестели глянцем снизу до колен с красными кантиками на концах. Как только вынуты были из мешка все четыре пары сапог, Васька быстро схватил одну красиво отделанную пару и как бы в шутку закричал:

– Эти будут мои!

Следуя его примеру, Грачёв схватил другую красивую пару сапог и заявил:

– А це мої!

– Подождіть, подождіть! – предупредил я их. – Це ж не ваші чоботи.

– Какие там ваши и какие наши? Мне эти нравятся – и баста! – настаивал Васька.

– А оці мені до вподоби, – прибавил, со своей стороны, Грачёв.

– Ось ваші чоботи! – достал я две пары также хороших чёрных сапог, с мягкими голенищами, без глянцевой отделки.

– Возьми ты себе обе пары на память, – со смехом произнёс Васька. – Мне не надо ни одной.

– А якщо тобі, Василю, їх не треба, так на якого дідька вони мені здались, – проговорил Грачёв.

– Ви ж обидва заказали чорні чоботи з м'якими голянищами. Такі я і купив вам, – напомнил я.

– Мало чего ты не скажешь, – возразил Васька. – Может быть, ничего подобного я не говорил тебе, а тебе просто в голову залезло.

– І мені здається, що Васька не давав ніякого наказу, – вторил Ваське Грачёв.

Шуточный, казалось сразу, разговор перешёл в явный спор.

– За эти сапоги, – бил слегка пальцами по голенищам Васька, – может быть, дороже заплачено. Так я доплачу.

– Ціна всім чотирьом парам однакова. От тобі і щот од лаушника, – передал я счёт продавца Ваське.

– Ну, если цена одинакова, то нечего и говорить больше. Эти две пары сапог за нами и будут – за мной и Кириллом, – решительно заявил Васька. Он, как и всегда при дящемся споре, начал приходить в азарт.

Я вспомнил, что у меня сохранились обе бумажные мерки для величины сапог: одна – с надписью Васьки, а другая – с собственноручной надписью Грачёва. Чтобы произвести наибольший эффект при

окончательном решении спора, я передал большую пару спорных сапог Попке и попросил его:

– А ну, Грицю, попробуй, чи не налізуть оці чоботи на твою ногу.

Попка надел сапоги, прошёл несколько шагов по комнате и сказал:

– Шльопають на носі, як в багні. Великі для мене.

Я передал ему для пробы другую пару сапог. Эта пара оказалась слишком малой для Попки.

– Як же тепер буде у нас с чоботами? – спросил я.

– Это уж дело покупателя, а не наше. Коли накупил таких сапог, что ни к чёрту не годятся, то сам их носи, – с иронией ответил мне Васька и рассмеялся.

– Ні, – заговорил я, – я не буду носить чужі чоботи. Це ж твої. На тобі їх, надінь і носи, – и я поставил большую пару сапог у ног Васьки, а другую – меньшую пару – передал Грачёву со словами: – А це твої чоботи, Кирило, надінь гарненько та й носи собі на здоровля!

– Так что ж ты хочешь с нами сделать? – заговорил Васька. – Насильно хочешь надеть на нас те сапоги, которые нам не нравятся?

– Ні, я цього не зроблю, а ви самі це добровільно зробіте, – загадочно ответил я.

– Каким это чудом? – говорил со смехом Васька. – Ану, покажи свой фокус!

– На, прочитай сам. Фокус на записочці ти собственноручно написав, – и я передал обе мерке Ваське. – Прочитай, що ти там написав, та й поміряй чоботи, чи не твої вони?

– Ах, чёрт меня побори! – воскликнул Васька. – Про записочку-то я и забыл. Кирило! – заговорил он со смехом, желая ещё раз придать шуточный характер спору. – Ну зачем ты дал мерку, да ещё с своею надписью?

– А ти нащо дав? – ответил Кирило.

– Для науки вам, босяки, – пояснил Попка, и мы громко рассмеялись.

Громко смеялся и Грачёв, а Васька смеялся явно натянутым смехом, так как он почувствовал, что провалился в затеянном споре. Когда все смолкли, Грачёв объяснил, как и почему он встрял в невыгодный для него спор. Он понял выступление Васьки с первых его слов как шутку, почему и поддержал его, а когда спор зашёл далеко, и он понял сделанную им ошибку, то он поддерживал его, чтобы дождаться конца спора и вдоволь насмеяться, умолчав о том, какие Васька и он заказали сапоги, и о данной им мерке. Я и Попка протестовали против

сыгранной им роли, считая её недопустимой даже в шуточной форме, а Васька молчал. Грачёв согласился с нами, признав свою оплошность и неуместность шуток, доведённых до таких границ, до каких он допустил. Мы единогласно порешили не заводить таких споров, чтобы не портить наших взаимоотношений. Тогда, в свою очередь, я спросил Ваську и Грачёва, действительно ли они нашли наши сапоги лучше заказанных ими. Оба они ответили: «Да», – и прибавили, что сапоги очень красивы и соблазнительны. Это была оценка, по существу, и самого спора.

Я передаю эти мелочи курьёзного казуса в нашей станичной жизни, чтобы дать наглядное представление о тех условиях, в какие мы попали. Благодаря этим условиям, наша повседневная жизнь в станице совсем не походила на повседневную жизнь в царине, во многом уступая последней по благоприятным условиям. В станице не было природы, которою в минуты наших отдыхов мы любовались и наслаждались её красотами – босые, ободранные и переутомлённые тяжёлым трудом. Природа станицы – внутренняя жизнь её населения, которая могла зажечь в нашей психике более жизненные и возвышенные интересы, чем растительный мир, блеск солнца и чарующая погода, – вот эта социальная природа станицы была для нас за семью печатями. Мы не имели возможности не только непосредственно наблюдать природу человеческой жизни, как природу естественную, но у нас не было никакой связи с ней. Окружённые забором двора и его мелочами, мы вели надоедливые, не походящие на тяжёлые, но планомерные и капитальные работы в царине и в степи. Под влиянием непогоды – дождя, слякоти и холода – мы мечтали о непромокаемых сапогах, как о предмете первой необходимости для нас, а в станице, в тёплой и чистой хате с новыми сапогами в руках, завели нелепый спор о красивой отделке сапог. Правда, отделка сапог напоминала об особенностях станичной жизни как предмет моды и вкуса. Но что такое красивые сборки и блестящий глянец на длинных голенищах сравнительно с глубинами массовой психики трудового народа?

Таким образом, наша ежедневная жизнь, наши будни в станице не походила на ежедневную жизнь в царине, на будни на лоне природы. Большими праздниками для нас были поэтому день фактического удовлетворения наших насущных потребностей на собственные средства, факт – «есть у нас своё», и если не у всех, то у нас с Попкой, день духовного подъёма, когда вспыхнула мысль о пополнении нашего образования в высшем учебном заведении на свои опять-таки

средства. Но эти праздничные дни, как и всякие праздники, пришли и ушли. Сера и непроглядна была наша станичная жизнь в будни осени и зимы. Прежде всего, произошло некоторое расчленение в самой ассоциации. Грачёв редко к нам заходил. У него протекала жизнь в родной семье с её близким ему укладом, со знакомствами, приятелями и приятельницами. Отец Пётр также не всегда сидел дома и, помимо отсутствия дома по своим служебным обязанностям, водил знакомство с людьми, с какими мы не имели никакой связи. У нас как бы угасло знакомство с такими несомненно интересными лицами, как Нифонт и Свиридонович. Нифонт был личным приятелем Грачёва и виделся только с ним, а Свиридонович не мог, понятно, посещать нас с такою естественной простотой, как посещал он нас в царине, потому что мы жили в доме священника, а не в курене. Мы не виделись даже с Архипом и Юхимом, временными, но симпатичными нам сожителями. Сидя в будни втроём дома, как наседки на яйцах, мы корпели над разного рода мелочами серой обыденщины, не сулившей нам того, что сулили наседке яйца. Часть этих мелочных работ мы производили с Васькой, а в остальное время сидели с Попкой за нашим специальным делом по подготовке снастей для весеннего рыболовства. Эта последняя работа, питавшая нас надеждами на обильный улов рыбы, если и не оживляла нас по своей мелочности и монотонности, то поддерживала бодрое настроение в надежде будущих благ. Чиня старые сети и плетя новые, мы разговаривали, касаясь интересовавших нас вопросов и явлений. Но это были наши личные взаимоотношения, и не было того дружного единения, при котором протекала жизнь в царине. Иногда мы даже обедали и ужинали втроём, без отца Петра. Иногда, освободившись от общего надзора по хозяйству, заходил к нам Васька и подкуривал нас вонючей трубкой, но мы с трубкой мирились, лишь бы быть вместе.

Мы не лишены были, конечно, созерцания естественных красот природы. Было солнце, беспредельное небо, и бросался в глаза обширный лиман. Последний наиболее привлекал наше внимание. Особенно нам с Попкой был он дорог. Мы ждали, что оттуда, через этот лиман, из моря пойдут несметные полчища рыбы, которую предстоит нам ловить. Нас питали надежды на улов, и горело любопытство к предстоящему рыболовству, особенно у меня, близко соприкасавшегося с этой отраслью промышленности с детства, и я делился с Грицьком своим опытом и знаниями. Не раз мы с ним посещали то место, где надлежало оборудовать нашу ставку, и мы заранее не только строили проекции

соответственно той местности, которая определена была жребием для неё, но учитывали и те шансы улова рыбы, на которые наводили меня особенности реки по местоположению нашей ставки.

Прогулками к лиману и ограничивалось наше общение с природой. Дождь и снег если и привлекали наше внимание, то с отрицательной лишь стороны. В станице не на что было смотреть и любоваться делами рук человеческих. Церковь была маленькая и выглядела убогой. Она казалась мне маленьким строением сравнительно даже с деревянковой, также убогой церковью, которой в детстве я восхищался как зданием недосыгаемой величественности и красоты, а сравнительно с кафедральным собором в Ставрополе на горе или с гигантом собором, построенным черноморцами в Екатеринодаре, бриньковская церковь была просто букашкой. Больших строений – двухэтажных домов, магазинов, даже каменных зданий – в станице и в помине не было. Преобладали саманные лачуги, а строительными материалами служили глина и камыш. Не было даже не только железных, за исключением крыш на церковных уступах и куполах, но даже деревянных крыш. Всюду по улице торчали одни камышовые крыши то с желтоватой, то с грязно-тёмной окраской камыша, смотря по времени их покрывания. Если память не изменяет мне, то только в доме отца Петра и ещё в двух, не более, жилищах пристроено было крыльцо. Мальчуганы, шалившие на церковной площади, подходили к дому отца Петра и, тыча в сооружение в передней части дома пальцем, говорили детским важным тоном:

– Бач! Ото крыльце!

Не было также в станице никаких определённых мест для увеселений – ни цирков, ни балаганов, куда можно было бы пойти в часы досуга и насладиться кривляньями с выпачканными в муку физиономиями актёров в широких, как море, штанах. Только свадьбы, с их «поїздами» в первый день и с «цыганами» на другой день, привлекали изредка внимание станичной публики. Любило также население, в том числе и дети, смотреть на сборы громады в станичном правлении, но на них публика смотрела только издали, через забор, и зрители судили на глаз и по слуху о происходивших на сборе во время прений сценах – «як дід Охрім махав палицею», а дядька горластый Гаврило кричал: «Слухай громади!» Единственным всеобщим местом если не общения, то собрания, служила церковь. В ней все собирались и встречались, хотя и не всегда все помещались. И вот отсюда, из церкви, шли те таинственные нити, которые связывали нас с мест-

ной молодёжью. Мы находились в этом отношении в очень выгодном положении. В воскресные или праздничные дни, вообще когда отец Пётр совершал богослужение, мы обязательно пели на клиросе, а он являлся самым прекрасным обзорным пунктом в церкви. Клирос был сооружён на слегка повышенном месте в виде квадрата, три стороны которого – задняя и две боковые от неё – ограждены были стойками из окрашенных досок выше человеческого роста, так что сзади и отчасти с боков певчие совсем были закрыты от глаз молящихся, но с клироса можно было хорошо наблюдать почти всю публику в церкви. Этим удобством мы пользовались и заранее знали, кто из наших знакомых, или точнее – из нашего кружка, приехал из хуторов и был в церкви. Сообразно с этим устраивалось наше сборище в тот день, и в рождественские и пасхальные святки, и на масленицу на более продолжительное время.

Надо, впрочем, заметить, что мы не имели совершенно никакого общения с местной молодёжью рядового казачьего населения, за исключением немногих личных знакомств. Мы не примыкали к парубкам, да едва ли они приняли бы нас в своё сообщество, как лиц иного круга, но также не водили никакого знакомства с девушками, да, пожалуй, из-за них к нам очень недружелюбно отнеслись бы и парубки. «Не лізте до наших дівчат, – сказали бы они, – а то!» – и показали бы в пояснение своего «а то!» кулак. Знакомая нам молодёжь принадлежала, как и мы, к верхним слоям казачьего населения. Для нижних слоёв мы представляли нечто обособленное, и если вели сношения, то с такими лицами, как Свиридонович, и были в близких отношениях с самым важным в станице лицом – с местным священником. Одним словом, ни мы не были к масти у местной молодёжи с низов, ни она не шла навстречу нам.

Наши сношения с молодёжью духовенства и преимущественно казачьего офицерства с переходом в станицу перешли во вторую фазу. В первой фазе, почин которой положила красивая Анюта, мы только знакомились, сходились и присматривались друг к другу. Тесного единения не было между нами. Когда же мы осели в станице, то началась своего рода консолидация. Мы образовали группу или кружок. Выделилось небольшое число лиц, тесно сближенных между собой, около которых, как около центра, группировались случайные лица или те из них, которые не поддерживали с нами постоянного, непрерывного общения; в одно воскресенье они были с нами, а в последующие мы подолгу не видели их. Мы собирались в разных местах, в том числе и

у нас, или, собственно, у отца Петра. Но не было ни одного пункта, ни одного лица, около которого мы группировались бы. Чаще всего сборы наши происходили при посредстве сестры Грачёва Марьи Аггеевны, но только потому, что она постоянно жила в станице.

Но при второй фазе развития кружка в составе его произошли значительные изменения. Отец Пётр, изредка появлявшийся среди нас, стал постоянным членом нашего кружка. Он не принадлежал к зелёной молодёжи ни по годам, ни по своему положению, но естественно, так сказать, вошёл в наш кружок. В среде женского персонала появилась немолодая, лет за сорок, вдова Вера Корниевна Бурносивна, как называли её по фамилии отца, а не по фамилии мужа. Наконец, третьим членом из рядов не зелёной молодёжи был родной брат Веры Корниевны, офицер приблизительно её возраста, Василь Корниевич Бурнос. Хотя он и редко появлялся среди нас, так как жил вдали от Бринькова возле станицы Тимашевской, но мы считали его своим человеком. Станным кажется это единение с нашим кружком молодёжи поживших уже в круговороте казачьей жизни лиц, но тогда оно казалось нам вполне естественным, и все мы считали их близкими к нашему кругу людьми.

Ближе всех, собственно, для нас, членов ассоциации, был, конечно, отец Пётр. Он учился в одной с нами семинарии, принадлежал, как и мы, кроме Васьки, к составу казачьего духовенства, и главное – прикнуд к нашим взглядам на значение ассоциации как здорового и многообещающего нововведения в жизнь казачьего трудового населения. Местная молодёжь привыкла к отцу Петру как к простому человеку, весёлому и лишённому чопорности державших себя малодоступными особами священников. В силу всего этого близкое участие отца Петра в нашей молодой компании никому из нас не бросалось в глаза как нечто неподходящее, и все мы считали его своим близким человеком, а сам он в этом естественном положении ничем не выделялся и держал себя с нами на равной ноге.

Но брат и сестра Бурносы были лично для нас совершенно сторонними лицами и по своему положению ничего общего с нами не имели. Отец их – старый Бурнос – числился в ряду уважаемых войсковых старшин запорожского типа, а сын его, получивший образование в кадетском корпусе, представлял собой едва ли не самого оригинального хуторянина во всей Черномории. Он имел не только богатый хутор, но целый лес при нём с обилием фазанов, чего не было ни у одного пана хуторянина. Сестра же его, наоборот, не имела ни кола, ни двора

и, оставшись вдовой после смерти мужа, не жила с братом в хуторе, а поселилась у близкого своего родственника Григория Львовича Миргородского, но оба они, брат и сестра, резко выделялись своими фигурами и поведением в среде черноморского благородного сословия. Оба они отличались умом и остроумием, но обоим им присущи были некоторого рода странности или причуды, выделявшие их из того круга лиц казачества, к которому они принадлежали по своему рождению и положению.

Василий Корниевич был холостяк, и несмотря на то, что за него вышла бы замуж любая черноморская красавица как за красивого, богатого, образованного и остроумного офицера, при всех настоящих родственников и близких знакомых, он ни за что не хотел жениться.

– Щоб я пішов в одну команду з жінкою? – говорил он. – Ні, нізащо!

Точно это был сичевик Днепровской Сичи, не допускавший ни брака, ни женщин в Сичь. Но к женщинам Василь Корниевич не относился враждебно, не избегал их и был так же предупредителен и радужен, как и к мужчинам. Жил на хуторе Василь Корниевич одиноко, не отказывал в приёме заглядывавшим к нему лицам, но настоящее знакомство и дружбу водил с одними фазанами. Он очень любил этих красивых птиц и тщательно оберегал их от охотников. Каждое утро, когда он вставал из постели, фазаны прилетали из леса и располагались во дворе против окна его комнаты. Василь Корниевич выходил во двор с корзиной проса и кормил их. Я никогда не видел потом в своей жизни такого близкого общения человека с дикими птицами, какое приводило меня в восторженное настроение, как эта сцена кормления фазанов. У меня глаза разбегались при виде всех фазанов, а он знал, казалось, каждую птицу в отдельности. Несколько раз проездом я был у Бурноса на хуторе, каждый раз он угощал меня домашней птицей и ни разу – фазаном. Как-то спросил Василия Корниевича, стреляет ли он своих фазанов.

– Ні, – ответил он. – Хіба у мене качок та курей мало? – но потом, как бы спохватившись, прибавил: – Треба мабуть з одним попрощатися. Шкоде каналський; б'ється.

Он застрелил этого фазана и угостил меня.

Василь Корниевич редко бывал в нашей компании, но всегда вносил в неё большое оживление, смешил шутками и остротами и сам был доволен своим присутствием в нашей среде. Сейчас я спрашиваю себя: «Кто же был этот Василь Корниевич, и что тянуло его к нам?»



Точно ответить на этот вопрос трудно. Я мало соприкасался с ним, и притом в исключительных случаях, а сам он скуп был на слова о собственной личности. Но в моей памяти осталось отрицательное отношение его к тем изменениям, какие внедрялись в ту пору в казачью жизнь, главным образом, к внедрению в казачий строй не казачьих порядков, а в казачье население – не казачьих элементов, явно эксплуатировавших казака и его богатства. Это был протестант, замкнувшийся сам в себя.

Более открытой или, пожалуй, прямой противоположностью брату была его сестра. Она была также умна и остроумна, но отличалась, по мнению её недоброжелателей и недоброжелательниц, колкостью языка и несдержанностью в выражениях.

– Та вона така. Тільки подивитися на неї! – говорили её недоброжелательницы, намекая на наружные признаки Веры Корниевны.

И действительно, её внешние признаки не соответствовали внутренним качествам, её духовной натуре. В фигуре и облике Веры Корниевны проглядывало как бы несоответствие частей. Она была выше среднего роста, и по-видимому, природа предназначала её фигуру к стройному сложению, но соответственно её возрасту она была наделена полнотой, портившей фигуру. Её оригинальная физиономия казалась преждевременно увядшей не то вследствие болезни, не то широко проведённой жизни. Лёгкие морщины на лице и отсутствие свежей окраски его как бы противоречили её бодрости, умению давать отпор и привычке не считаться с устарелыми взглядами на поступки и отношения людей. Своего рода несоответствие отражалось и на физиономии. С длинным и некрасивым носом её как бы спорили находившиеся выше его изящно очерченные в форме чуть заметной дуги брови; серые ясные и выразительные глаза точно сбросили с себя чуть заметные ресницы; с тонкими и красиво сложенными энергичными губами явно спорил колючий, свободный в выражениях язык и говор; а вся фигура в минуты душевного оживления точно превращалась в грозную мину: «Тронь! Не боюсь вас!» Если прибавить к этому, что Вера Корниевна не носила длинных кос, а стриглась по-мужски под польку, и всех возмущала непрерывным почти курением табаку, то этим могут быть исчерпаны главнейшие внешние черты Веры Корниевны как особы нетерпимой и экстравагантной. Это был бы чистокровный тип черноморской нигилистки, если бы у неё не было доброго сердца и любви к молодёжи, как к наиболее жизненной части человеческих существ.

Внешние именно черты Веры Корниевны находились поэтому в явном противоречии с внутренними чертами её духовной природы. Брат жил одиноким холостяком, а сестра любила общество. По этой именно причине она, несомненно, и не жила с братом, а поселилась у своего дяди Миргородского в его большой семье, в которой всегда была жизнь ключом благодаря притоку к ней живых людей со стороны и радушному отношению к ним членов семьи, как и я убедился впоследствии, живя более полугодом в семье Миргородского. По природе своей Вера Корниевна была добрейшим и незлобивым существом, и если бы могла молчать, то была бы настоящим ангелом. Ей, как и брату, не по душе была не жизнь вообще, а мозолили глаза нежелательные изменения в женской среде, особенно у молодёжи. Она не переносила ни мод, ни франтовства, ни жеманства, ни вообще «усякої фальші», по её выражению. Она высоко ценила естественные отношения между людьми, основанные на взаимной приязни и искренности, почему и льнула к молодёжи и к нашему кружку. То, что ставили ей в вину, – колкий язык и несдержанные выражения – было основной чертой её характера. Любила она правду, резала её в глаза и называла поступки их настоящими именами. Вот эту струю она вносила и в женский персонал нашего кружка, который относился к ней дружелюбно и признавал за ней авторитет, а к нам, членам ассоциации, Вера Корниевна относилась, по поговорке, как «к своему брату». Мы, по её мнению, были не модники и не лодыри, не считались с насмешливым говором и пересудами ханжей и умников, а взялись за чёрный труд по собственной охоте и разумению. Это было в её вкусе и духе.

Таковы были те лица, с которыми мы сходились в станичных условиях по взаимному тяготению. Мы, включая в наш состав и помолодевшего отца Петра, составляли в кружке мужской персонал, а в женский персонал входили две наиболее активные и жизненные девицы – Верочка и Надя, дочери Миргородского, Маруся – сестра Грачёва, редко посещавшая станицу красавица Анюта и возглавлявшая весь женский персонал Вера Корниевна. Ничего деланного и дутого в нашем кружке не было. Все мы действовали под флагом естественных влечений к весёлому и беззаботному времяпрепровождению. Не было между нами ни старших, ни младших, ни бдительного ока и надзора родителей – мы были полноправны во всём: и в разговорах, и в играх, и в увеселениях. Не вели мы никакой пропаганды, не касались высоких материй, не решали головолomных вопросов, а брали лишь то и держались того, что давала молодёжи жизнь в станичных условиях: ели

и пили, говорили и смеялись, пели и играли, и дружно делились теми естественными чувствами и влечениями, которыми богата молодёжь в минуты общения в группе, а не в одиночку.

И вот это было самое лучшее и желательное, чем мы скрашивали в станице нашу серую, монотонную и неприглядную жизнь осенью и зимой, в ожидании оживлявшей всё весны.

Молодость – это ты живила нас!



Глава XVIII

## На ставке

**Н**а нашей улице праздник. Мы с Грицьком ликовали. Снег давно уже растаял в степи и на полях, а в станице только остались ещё следы от больших сугробов в тенистых местах под высокими заборами и строениями. Солнце согревало лёд на реке, и напор воды ломал его. Целые островки ледяного хлама разных величин и форм с торчащими льдинками и чернеющими из грязи или навозу пятнами уносились в лиман, а затем по реке шёл один шерех. Со стороны плавней, прилегавших к реке и к лиману, внешний вид местности менялся – местами блестела вода, а местами мелкий камыш и куга как бы тонули в воде. Вода становилась господствующей стихией. Мы с Грицьком по несколько раз в день ходили к реке и присматривались, как весенняя теплота расправлялась с залежами зимы и меняла внешний вид её. На открытых местах давно уже зеленела трава. Мы с Грицьком ожидали, когда же проснётся степь и скинет окончательно с себя зимний покров, когда на протяжении, по крайней мере, четырёхсот вёрст на восток от лимана через Черноморию и часть Ставропольской губернии степь пойдёт от себя с ложбин, уклонов, «балок и балочек» ненужные ей воды в три Бейсуга – средний, верхний и нижний, затем, слившись в одну реку Великий Бейсуг, передаст эти воды в Бриньковский лиман. Тогда и мы возьмёмся за работу.

Началось половодье. Мы торжествовали, потирая руки от удовольствия в ожидании великих благ от нашего промысла. Лишь только спадёт половодье и на противоположном берегу реки покажутся островки земли, как мы немедленно приступим к устройству ставки. Мы уже вывезли к реке на паре волов и на двух осях с колёсами – на передней, с ярмом для волов, и на задней, без ярма, – купленный отцом Петром каюк – рыболовную лодку, непохожую, однако, на настоящую – с широкими боками, острым носом и достаточно объёмистой и устойчивой кормой. В таком виде ни одного из этих трёх признаков лодки в каюке нет. Для его изготовления брался прямой ствол, сажени в три длиной, из самой толстой, какие только вырастают в черноморских садах и левадах, вербы. С одной стороны этого ствола снималась часть его до наибольшей толщины, или диаметра, ствола и внутри выдалбливалась древесина, как в корыте, почему каюки, особенно небольшого размера, назывались «довбанками». На всём протяжении каюка бока его были прямые, как палка, передняя часть в каюке слегка стёсывалась с двух сторон, и нос походил на рыло большого кабана, а корма была просто обрубком задней части ствола. Каюк, следовательно, представлял собой большой желоб, наглухо закрытый с двух сторон. По этому желобу мы с Грицьком свободно могли ходить в одиночку, благодаря его большой устойчивости, но при встречах должны были крепко держаться друг за друга, чтобы не полететь от столкновения в реку. Вот на такой неуклюжей лодке мы и разъезжали по реке, планируя нашу ставку. Когда оба берега реки ясно обрисовались, мы приступили к работе.

Наша ставка считалась у рыболовов неудачной. Рыбы здесь, говорили старые рыбаки, всегда попадало в вентерь мало. По моему же опыту на реке Албаша выходило, что рыбы в вентерь должно было попадать больше, чем на смежных ставках. У нашей ставки была большая заводь, в которой рыбе было где развернуться и зайти в наш вентерь. Коропы, например, любили такие места в нашей деревянковской реке Албаша, а коропчуки-однолетки постоянно прыгали из воды вверх и шлёпались об воду. Старые рыболовы говорили, что коропы и ночуют здесь в своих ямках. Сам я, купаясь в реке, нащупывал ногой эти круглые ямки, как бы гладко утрамбованные, но ночевали ли коропы в этих ямках, я не знал. Наша заводь казалась мне таким именно местом, так как мы с Попкой тщательно обследовали вёслами глубину воды и грунт дна, переговорили с ним относительно расположения на реке вентерья и крыльев и решили следовать опыту старых рыбаков и

расположить ставку так, как располагали все казаки. По общему правилу было установлено, чтобы по левому берегу реки от станицы, которую вода при половодье не покрывала, у каждой ставки был сделан проход для рыбы глубиной не менее полтора аршина и шириною не менее трёх сажень, или девяти аршин. По этому проходу и шли полчища рыбы вверх по реке в плавни, где она обыкновенно метала икру. У правого же берега реки крыло выносилось на сушу, так что рыба не могла проходить тут вверх по реке. Так и мы сделали. Сделали у левого берега реки от станицы проход в девять аршин шириной при полутора аршинах воды в глубину, поставили отсюда левое крыло по прямой линии до вентерья, расположенного на наибольшей глубине реки, а правое крыло провели также по прямой линии наискось до суши. Несколько суток расположена была так наша ставка. Рыба всё время шла сплошной массой, в передних двух ставках у лимана каждый раз вентерья были наполнены до верхов, в других, лежащих ниже ставках, улов был хорош, а у нас рыбы попадало в вентерь очень мало, и самый высокий улов был в двести штук крупного судака. В смежных, соседних с двух сторон к нашей ставкам улов рыбы был также выше нашего.

Я снова задумался над своей теорией ловли рыбы по моему опыту на реке в родной станице и нашёл простую, но огромной важности погрешность, на которую почему-то не обратил внимания сразу. Коропы в Албашах гуляли, а сула в Бейсуге шла только ночью сплошной массой, как полки людей один за другим. Вот это обстоятельство и привлекло моё внимание. Мне казалось просто невероятным, чтобы несметное количество рыбы проходило вверх по реке на протяжении шести вёрст таким узким проходом, какой мы давали рыбе в своих ставках, а между тем это был факт, в котором и я убедился. На реке было ведь около ста ставок, и всюду, казалось, не люди, а рыба диктовала свои порядки. Правду, видно, казаки говорили, что у рыбы, как у людей, есть свои командиры, и они командуют неисчислимыми полчищами рыбы.

Этим вопросом я заинтересовался ещё до постановки ставок, находя слишком маленьким проход для рыбы около вентерья. Но тогда и в момент ловли рыбы старые забродчики высказывали одну и ту же догадку, что у рыб существуют «коноводы», старые опытные рыбы, не раз ходившие уже весной по реке для нереста в плавнях, и что весной рыба сразу появлялась в большом количестве в лимане из моря. В старые времена, по их словам, слышно было с суши, как несметная масса рыбы подходила с глухим гулом к устью реки, производя у берегов

сильный шум. Тогда ловили её без ставок и больших вентерей. Ставили обыкновенно небольшой вентерь без длинных крыльев у левого берега, и рыба быстро заполняла его. Река была не заграждена, и рыба шла по всей реке. На этом основании некоторые казаки утверждали, что если бы не было ставок в виде заград, то и теперь вентерь с короткими крыльями, поставленный в любом месте реки, давал бы больше улова, чем получали на ставках.

Для меня ясно было, что рыба идёт из лимана в реку в известном порядке и что у неё действительно должны быть впереди какие-то вожаки. У меня явилась дерзкая мысль: нужно было сбить с толку этих вожаков, поставив левое крыло вентеря так, чтобы передовая рыба, проходя узким проходом, заходила бы широким проходом в нашу заводь, и тогда, наверное, больше будет попадать в наш вентерь. Обдумав этот план, я сообщил его своему приятелю. Мы вдвоём обсудили его по частям. Попка согласился со мной, что план мой – подходящий к данной на реке обстановке, но сомневался в большом успехе, полагая, что рыбаки как опытные люди применили бы давно такой план или вроде его. Но так как рыба всё одно плохо шла в наш вентерь, то решено было попробовать план новой постановки вентеря и его крыльев.

По выработанному мной плану мы расположили наши снасти таким образом: проход наш для рыбы по ширине был близок к установленному для всех ставок, то есть не менее двух сажений при глубине воды в полтора аршина. Мы расширили его до четырёх сажений с глубиной до двух аршинов у крыла. Крыло повели не по прямой линии к вентеру, а вначале на протяжении трёх сажений параллельно с берегом, а отсюда полукругом к вентеру. Такое расположение крыла, по моему мнению, должно было поставить в тупик вожаков и самую рыбу, которая из узкого прохода попадала в широкий, вдвое увеличенный, упираясь в крыло, не наискось стоящее, а на прямой линии с глубокой водой. Я полагал, что рыба, идущая тесными колоннами, попав в наш широкий проход, раздвинется, и часть её войдёт в нашу заводь, а оттуда – и в вентерь. Мы долго возились с установкой снастей на реке, вымеряя и соизмеряя проход для рыбы и расположение левого крыла, оставив вентерь и правое крыло на прежних местах. Наш сосед по ставке, находившийся впереди нас к устью реки, почтенного возраста казак, с которым мы сразу завязали добрые отношения, заметив нашу возню, крикнул нам:

– Що ви там куйовдितесь та марафети якись витіваєте?

– Та це ми хочем рибу з пантелику збити, – крикнул я в ответ.

– Як? – с любопытством спросил меня сосед.

– Обманути хочем сулу, щоб в вентерь до себе заманить та там і заперти її, – крикнул я.

Сосед наш громко рассмеялся.

– Та воно людина трохи розумніш риби, але і так буває, що не чоловік рибу, а риба чоловіка в облуду заведе. Помагай вам Боже, – пожелал нам, уходя из ставки домой.

В ту ночь я даже не спал как следует, вина себя в ненужной откровенности. Не хотелось провалиться, да ещё так торжественно, обнаружив умному соседу своё намерение, который не преминет посмеяться в случае неудачи. Но в то же время в голове моей, как гвоздём, крепко была прибита надежда на успех, и я не сомневался, что обману рыбу и получу приличный улов. Хотя я и плохо спал, но рано вскочил с постели, разбудил Попку, и мы отправились на ставку. Мы ранее всех пришли на реку. Было серое полутёмное утро, глаза слабо улавливали ещё даже общие очертания предметов. Сев немедленно в каюк, мы направились к вентеру. Я правил, а Попка торчал на носу и декламировал:

– Ты воспой, воспой, млад жавороночек, сидючи весной на проталинке.

Я не пел и не думал, а весь погрузился в ожидание, что даст нам вентерь.

– Піднімай же, Грицько, скоріше вентерь, – кричал я своему другу.

– Та не підніму вентерця; не знаю, що воно там таке; в воді нічого не видно. Неначе вентерь за щось зачепився, – сообщил Попка.

Я бросил весло в каюк и поспешил на помощь к Грицьку. Схватились вдвоём за верхний обруч вентерця и, приподняв его, при темноте мы не увидели в вентере рыбы, но она так заплескалась, что обдала нас брызгами.

– Риба! – в один голос сообщили мы друг другу, крепко вцепившись в вентерь, точно мы боялись, что рыба уйдёт от нас вместе с вентером.

Мы обманули рыбу и её вожаков. Целый день до позднего вечера мы выгружали свою добычу из вентерця, в который попало свыше двенадцати тысяч сулы, или судака, крупного, как на подбор, до полпуда весом в самых больших экземплярах. Мы возили на берег каюком нашу добычу, а Васька возил её во двор на Ваське-лошади. Соседи, казаки из разных ставок, прохожие диву давались, что в

удалённой от устья реки ставке такой обильный улов оказался. Правда, в эту ночь из лимана в реку ход рыбы был особенно силён, но только в арендных первой и второй у устья реки ставках улов был такой же, как у нас. Случай был исключительный, небывалый на нашей ставке. Вся станица говорила об этом с большим воодушевлением, чем с каким шёл в своё время говор о немецком плуге. Передний сосед наш поймал также тысячу судака, но это был максимальный улов на его ставке.

– Ну, – говорил он нам в обычном у него юмористическом тоне, – тепер і я таки бачу, що людина розумніша риби, та, на жаль, люде не рибу обдурюють, а самі себе обманом задовольняють.

Нечего и говорить, что все мы были в самом радужном настроении. Улов судака был так велик, о каком мы и не мечтали. Отец Пётр немедленно сходил к знакомому таловирщику, и так как арендаторы двух первых наиболее обильных ставок рыбу не продавали, приготовляя её впрок, а вяленая сула всегда была в цене, то отец Пётр выгодно продал весь улов таловирщику.

Я не помню размера той довольно огромной для нас суммы денег, которую мы добыли в один день в большем размере, чем сколько мы выручили за проданный нами хлеб, но в памяти у меня остался факт, что, по нашим расчётам, одним уловом рыбы мы покрыли все затраты, произведённые на рыболовные снасти и оборудование ставки, и что сверх того приличная сумма денег осталась в кассе ассоциации. Ни я, ни Попка нимало не сомневались в том, что мы на рыболовстве достанем денег и для образования в Петровской академии. В эту ночь мы, ошачливленные, спали, как убитые, без всяких тревог и нарушений сна. Утром на следующий день, отправляясь в самом весёлом настроении на ставку, мы были вполне уверены в хорошем улове рыбы, если, может быть, не в столь обильном, как в предшествующий день, то, во всяком случае, в ценной добыче.

Сели мы в каюк не с таким волнением и нетерпением, как в предшествующий день, а поехали, как настоящие забродчики, спокойные и уверенные в своей силе и уменье вести дело. И в этот раз я сидел на корме каюка, а Попка на носу должен был приподнять вентерь. Любопытство, тем не менее, одолевало нас обоих. Мы уверены были в хорошем улове рыбы, но каков он будет в действительности, мы не знали, и это возбуждало у нас любопытство.

Попка взялся за верхний обруч вентеря.

– Намись! – скомандовал он сам себе, поднимая вентерь, и без малейшей натуги поднял на поверхность воды его и тупо смотрел внутрь его, молча, как бы в оцепенении.

Я, тоже ясно увидев издали, что в вентере не билась и не плескалась рыба, потерял способность повернуть язык. Попка раньше меня очнулся и упавшим голосом произнёс:

– Нема ні однієї рибинки!

Я бросился к приподнятому вентерю и сразу же заметил в нём огромную дыру.

– Ти хіба не бачиш, чого в вентері риби нема? – спросил я Грицька.

– Чого? – спросил меня, в свою очередь, Попка, обернувшись ко мне лицом.

– Ти гарненько подивись на вентерь, а не на мене, – посоветовал я ему, заметив, что он стоял в таком положении, при котором ему не видна была линия разреза.

Попка нагнулся к вентерю, который он поддерживал на воде обеими руками, и, увидев порез вентеря, крикнул:

– Дірка!

Стало ясно, почему в вентере не было ни одной рыбки. Мы осмотрели весь вентерь, и оказалось, что в нём была не одна, а целых три дырки: одна, самая большая, которую мы сразу увидели, была проведена почти через весь вентерь сверху донизу, а две, меньшего размера, – снизу вентеря. Разрез стоявшего на воде вентеря был небывалым скандалом в станице, не ведомым и не свойственным рыболовам, которые вообще отличались примерной честностью в рядах всего населения. Мы оставили вентерь на воде и, выехав на берег, отправились к соседу нижней ставки, чтобы посоветоваться с ним о том, что следовало предпринять ввиду чрезвычайного казуса в практике рыболовства.

Сосед наш тоже был поражён неожиданным для него происшествием. Подумав немного, он сообщил нам свои соображения. Виновником порчи нашего вентеря был, по его мнению, тот, кто имел свою ставку. Его надо искать не в тех ставках, которые были расположены ниже нашей к устью реки, а в ставках выше нашей, расположенных вверх по реке, так как только этим ставкам выгодно было, чтобы наша ставка не задерживала той рыбы, которая могла попасть в их вентерь. Мы целиком согласились с его предположением.

– А де ваш вентерь? – спросил нас сосед.

– На воді, – ответили мы.

– Так от що зробіть, – предложил нам сосед. – Одв'яжить од крил вентерь и поставте його на березі так, щоб усякий бачив, які в ньому дірки, а дірки підлатайте тільки вечером, перед тим, як поставите вентерь на місце в річку.

Мы не знали, к чему наш сосед клонил, но в точности исполнили то, что он посоветовал нам сделать, и отправились домой, так как на ставке нам нечего было делать.

Когда мы пришли домой, то здесь вспыхнуло такое возмущение, произведённое нашим происшествием, что мы, наиболее потерпевшие в этот день, должны были принять меры для успокоения своих товарищей.

– От мерзавцы! – выругался отец Пётр и в ту же минуту бросился к рясе и стал надевать её.

– Куда ви, Петре Яковлевич, куда? – закричал я.

– В правленіє, до станишного отамана, – проговорил он в волнении, разыскивая свою шляпу.

– Нащо це? Не треба, – запротестовал я.

– Як нащо? Чого не треба? – горячился отец Пётр. – Нехай отаман найде того пакосника, який проробив цю мерзоту. Це ж страмовище для цілої станиці. Я ж знаю усі гріхи моїх прихожан, в яких вони каються мені на сповіді, і я ні разу не чув, щоб хто сказав на духу мені, що він порізав вентерь або зробив яку-небудь малу капость на ставках. Забродчики – на що вже п'ниці і гольтяї – а самі чесні люде. Недаром і Ісус Христос набрав собі учеників із рибарів.

Я знав, что отец Пётр успокоится после того, как «виговориться», и дал ему такую возможность. Воспользовавшись паузой, я рассказал ему, что предложил нам сделать сосед. Чужое участие в раскрытии виновника, причинившего нам существенный ущерб в деле, успокоило отца Петра.

Но едва отец Пётр уговорился, как ещё с большим воодушевлением обрушился на всех нас Васька.

– Вот вам ваши хвалёные казаки, какие каверзы вытворяют, – заговорил он, обращаясь к нам. – Вы считаете их лучшими людьми, а они, как завязтые проходимцы, пакости вам под нос тычут. Нет, у нас в селе – шалишь! – таких пакостей не вытворят.

– Чудак ти, Васька, – дружески обратился Попка к неугомонному спорщику, который в таких случаях всегда исходил из того положения, что его родное село выше нашей казачьей станицы. – У вас же в селі

ставок, вентерів та й судаків до них немає, а ти рівняеш з непорівнюючим і валиш в одну кучу те, що ріжниться, як небо од землі...

– То есть как это? У вас в станице небо, а у нас в селе земля – так, что ли? – задорно перебил его Васька.

– Ні, я цього тобі не кажу, – ответил Попка, – а от тебе спитаю, чи не забув ти, як заманював нас їхати до тебе в село, а не їхать до нас у станицю...

– Всего не упомнишь, – отозвался Васька.

– Так я тобі натякну, – сказал Попка. – Тоді ти хвастав, що такої чудової річки, як у твоєму селі, у нас в Чорноморії немає, що ти в ній раз відро раків наловив, а в друге страшенну щуку в аршин ростом піймав. Казав про це? – спрашивал Попка Ваську.

– Ну? – отделялся Васька, а мы хохотали.

– І у нас, – продолжал Попка, – є річка Бейсуг. Ти тільки один раз піймав страшенну щуку в своїй річці, а ми піймали в козачій річці дванадцять тисяч судаків зараз. Хиба ж таки можна одну щуку з дванадцяттю тисячами судаків рівнять та в одну кучу, як щось однакове, валять?

– Ну, нельзя! Так что ж из этого? Разве нельзя говорить о казаках-мошенниках? – возразил Васька.

– Ти уп'ять-таки за своє, – настаивал Попка. – Ми як про одну щуку, так і про одного козака балакаєм. Так і не валяй в дванадцять тисяч судаків одну щуку і не рівняй до усіх козаків одного проходимця, як що це був козак, а не який-небудь зайда до козаків.

– Я говорю не о казаках, а о казачьих порядках, которые сами же казаки и ломают, – защищался Васька.

– І це не так, – говорил Попка. – Ти ж сам признаєш, що козачі порядки гарні. І гарні вони і для козаків, чого ж ти кажеш, що козаки їх ламають, коли ніколи такої ломки не було. І це один такий випадок, та й тобі не відомо ще, чи козак, чи не козак порізав вентерь, а у тебе не один козак, а якісь козаки проходимці! І не один козак «порядок поламав», а «козаки їх ламають». Як же воно це виходе, що усе негарне ти до всіх козаків і в одну кучу валиш? Толком ти мені розтолкуй, про що ти зо мною спорив?

– Да тебя не переспоришь, – понизил свой задор Васька. – А ты вот что мне скажи: неужели твои хвалёные казаки не обнаружат того мерзавца, который наш вентерь порезал? – Васька кипел гневом на мерзавца, порезавшего нам вентерь, а словами в споре клеймил казаков.

На Васькин вопрос дал ответ наш сосед по ставке. После обеда мы все четверо отправились на берег реки к вентеру. Там оказался наш сосед, который не уходил домой, а всё время следил за тем, как подходили казаки к нашему вентеру и сообщали ему свои соображения о свершившемся казусе.

Когда отец Пётр спросил его, что он думает о порезе нашего вентера, то он условно ответил на это, что у него явилась «одна думка» в голове, как он только узнал о казусе с нашим вентером, но преждевременно он не поделится ею, пока она более не выяснится. Отец Пётр замолчал.

Между тем к нам начали подходить разные лица, увидев нашу группу. В числе этих лиц к нам подошёл типичный бывалый человек, одетый в длинную поддёвку, в сапогах с голенищами в бутылку и в тёплом, на вате, картузе. Как и все, он принял благословение от отца Петра и с удивлением, не обращаясь ни к кому, громко спросил:

– Зачем же здесь, а не на реке вентерь?

– А хіба ж ти не знаєш, що цей вентерь хтось ножом порізав в річці? – спросил его, в свою очередь, наш сосед.

– Неужто? – удивлялся русский человек, всплёскивая руками.

– От так чудо! – воскликнул и сосед. – Вся станица про це вже знає, а ти один, бідолага, не знаєш?

– Вот поди ж ты! – спокойно ответил «бедолага», подозрительно поглядывая на соседа. – Так вышло, что я только сейчас узнал, что какой-то негодяй чужой вентерь порезал.

– Це ж і я тобі кажу: негодяй! – серьёзно сказал сосед и замолчал.

Мы слышали этот разговор нашего соседа с бойким собеседником и не обратили должного внимания на самый разговор. Говорили и многие другие из стоявших в нашей группе и нас даже расспрашивали о казусе, но мы, кроме удивления говоривших о казусе как о необычайном происшествии, ничего не слышали и пропускали все эти разговоры и разговор соседа. Фигуру же ничего не знавшего о казусе с нашим вентером человечка мы хорошо знали, так как он всегда торчал у реки и у соседней от нашей ставки вверх по реке, и удивлены были, как и наш сосед, что он ничего не знал о происшествии на реке. Жил этот неведающий человечек вблизи реки в станице, на квартире у того самого казака, ставка которого находилась рядом с нашею вверх по реке. Как только началось устройство ставок, а потом и рыболовля, он всегда находился у реки, посещая её, однако, с перерывами, ежедневно и внимательно присматриваясь к ставкам и рыболовству «из любопыт-

ства», как говорил он, когда его спрашивали, не будет ли он скупать рыбу. Он приехал с мелким товаром в станицу, чтобы открыть небольшую «лавчонку», но жаловался на то, что покупателей в станице мало и что он ждал рыболовства, чтобы разведать, не пойдёт ли бойчее дело во время него и после. Приехал он из Ейска и до открытия лавки не отказывался от продажи товара тем, кто обращался к нему на квартиру. Товар его состоял, главным образом, из тех предметов, которыми сильно интересовалась женская половина населения. Казачки у него находили иголки, нитки, напёрстки, гарус, ленты, тесёмки, платочки, серёжки, кольца, намиста, помаду и тому подобное. Так как продажа этих предметов производилась на дому, не регулярно, а с перерывами, то его появление на реке вблизи квартиры казалось вполне естественным. Сам торговец был человек уживчивый, обходительный и умел со всеми ладить и вселять доверие к себе и приязнь.

И вот об этом субъекте наш сосед на другой день выразился, что разрез ножом нашего вентера был делом его головы, а не рук. Когда мы услышали этот отзыв, то я и Попка запротестовали, усматривая в словах соседа просто ни на чём не основанное недоверие, и завели даже спор с ним. Но тот не сдавался. Он сразу сбил нас с нашей позиции вопросом о том, почему торговец, всегда торчавший у реки, в тот день, когда обнаружилась порезка на нашем вентере, из дома, однако, не показывался и к реке не шёл, и только тогда, когда у вентера собралась группа людей, и в том числе мы и отец Пётр, появился на берег к вентеру.

Мы просили соседа высказать своё мнение по этому поводу.

– Він того прийшов до нас, що це йому треба було для одвода очей. Йому треба було сказати нам при всіх, що він нічого не знав і не відав і що це зробив якийсь негодяй. Пам'ятаєте, казав він це?

– Казав, – ответили мы.

– Бачте, – заметил сосед. – Казав, щоб себе вигородить та на всякий випадок ткнуть пальцем на якогось іншого негодяя.

– Чого ж ви думаете, що він сам порізав вентерь, а не хтось інший? – спросил отец Пётр соседа.

– Це така людина, що сам цього не зроби, а другого научи і приспособи, – объяснил сосед. – Це не просто мошенник, а пан мошенник, за якого інші, а не він, капості роблять.

– Відкіля ви це знаєте? – снова спросил его отец Пётр.

– Це вже, батюшка, інше діло. Як виясниться воно, тоді і ми з вами узнаєм.

Отец Пётр замолчал, и мы замолчали, понимая, что казаки ведут какую-то разведку.

Увидевшись на следующий день с соседом, мы с Попкою снова спросили его, не добавит ли он нам ещё чего-нибудь к сказанному вчера.

– Можна, – сказал он. – Воно і вчора можна було досказать, але я опасався того чоловіка, що з вами був, бо він балакав з вами не на нашій мові, на московській.

Сосед разумел Ваську и, услышав, что он говорит не по-украински, предположил, что он может быть знаком с торговцем и передаст своим людям сообщаемые нам сведения. В этот раз сосед передал нам такие подробности, которые убедили нас, что порча нашего вентера была связана с деятельностью таинственного торговца.

Сосед наш сидел всё время у реки и не ходил домой, как мы, даже обедать, следя за вентером и за торговцем, так как последний и его хозяин были уже в сильном подозрении у него и у других казаков. Казак – хозяин хаты – был утром на ставке, «трусил» свой вентер и снёс домой пойманную рыбу. С тех пор и до вечера он не выходил со двора, а постоялец его много раз останавливался вдали от реки и наблюдал за тем, что происходило у вентера. Сосед догадывался, что торговец ждал прихода к вентеру нас и отца Петра. И действительно, как только мы появились, явился к нам и торговец и разыграл описанную выше сцену. Для нас ясно стало, что сосед осведомлён был о том, чего мы не знали, и что его подозрение вполне подтвердилось произведёнными им наблюдениями и настолько оправдались, что сосед заранее знал, когда торговец подойдёт к вентеру, как будет вести себя и в каком духе будет говорить. Всё это он просил нас держать в секрете, так как он решил с казаками непременно найти виновника, порезавшего наш вентер.

Дело в том, что в станице Бриньковской и в других станичных обществах лица, не принадлежавшие к их составу, могли заниматься рыболовством как промыслом только в форме устанавливаемых на Азовском море обществами аренд, имели право устраивать рыболовные промыслы одни казаки, входившие в состав Кубанского казачьего войска. Ловить же рыбу для личных потребностей, а не с промысловыми целями, могли почти всюду и сторонние жители, и не казаки. Но так как всюду в рыболовных местах – в Азовском море, в больших лиманах, в таких реках, как Бейсуг или Кубань, – рыболовные промыслы давали большие, соблазнительные доходы, то пришлые люди,

не казаки, обладавшие значительными денежными средствами, необходимыми для оборудования предприятий по рыболовству, входили в фиктивные с отдельными казаками сделки и под фирмой этих подставленных лиц занимались рыболовными промыслами. То же проделал торговец и в станице Бриньковской.

Как только появился в станице этот «расейский человек», как называл его наш сосед, снял квартиру у бедного казака, у которого всё ценное имущество состояло в паре волов и в убогой хате, а этот бедный казак взял жребий на ставку, казаки, ревниво следившие за установленными местным обществом порядками, забили тревогу, на какие средства бедный казак, получивший ставку, будет устраивать её. Подозреваемый в сделке казак заявил, что его ссудил деньгами под пару волов постоялец его, появившийся в Бринькове торговец, и что на эти деньги он и устраивает ставку. С формальной стороны ничего нельзя было сказать против этой сделки, и казаки оставили в покое своего одностаничника, так как он ни в чём предосудительном не был обществом замечен, но, тем не менее, зорко следили за его сделкою, особенно наш сосед, человек очень разумный от природы и привыкший думать и подмечать на службе в пластунской команде, в которой он славился своей сметливостью, расторопностью и догадливостью. Больше ни мы, ни следившие за сделкой казаки ничего не знали о сделке бедного казака с обворожившим многих торговцем. Лично я был уверен, что ставка казака служила только скрытой фирмой предприятия его на каких-то условиях с казаком. Я знал, что в Ейске денежные купцы устраивали даже капитальные рыбные заводы на Азовском море под фирмой казаков. Хотя торговец и не был ейским купцом или мещанином, а просто «расейским человеком», но он, очевидно, заражён был похожими примерами.

Только через два с половиной месяца, когда мы работали уже в поле и убирали хлеб, забыв почти нашу беду с вентером, мы узнали подробности сделки казака с хитрым торговцем. Передал эти подробности сам казак, у которого заговорила совесть, и он «побоялся Бога». Ставка действительно принадлежала торговцу, а не казаку. Казак работал у торговца, жившего в его хате, из пая, кажется, из десятой доли улова рыбы. Хотя он был и богобоязненный человек, но сделку с торговцем он не считал грехом. Когда же в день нашего крупного улова судака торговец убедил ограниченного казака, что мы своим уловом нанесли существенный ущерб их ставке, перехватив часть рыбы, не попавшей в неё благодаря хитрому расположе-



нию снастей на нашей ставке, и на этом основании предложил казаку порезать наш вентерь, то казак категорически отказался совершить такой грех, за который Бог его накажет. Напрасно убеждал его постоялец, казак ни за какие посулы не согласился «взять грех на свою душу». Торговец, однако, скоро сообразил, как ему следовало действовать на казака, чтобы достичь намеченной им цели. Он убедил его, что мы «знались с чертями» и что мы не сами поймали двенадцать тысяч судака, а черти загнали в наш вентерь столько рыбы, и в том числе ту рыбу, которая наверняка попала бы в их вентерь. Казак колебался, чем и воспользовался постоялец, заявив казаку, что если он не верит в нашу близость с чертями, то он, торговец, примет даже присягу, что он говорит ему правду, и казак не только не согрешит перед Богом, а заслужит милость от Бога за свою борьбу с чертями, причинившими зло людям. Казак согласился, наконец, порезать дыры в нашем вентере под тем условием, что его постоялец примет присягу перед иконою и поцелует её. Постоялец без колебаний поклялся перед иконою, поцеловал и для большего воодушевления одуряченного казака научил его, как надо ему по-христиански отучить чертей от нашего вентерья.

– Перед тем, как ты станешь резать вентерь, – советовал он казаку, – три раза перекрестись и прорежь вентерь в трёх местах. Когда будешь резать первую дыру в вентере, снова раз перекрестись и скажи потихоньку: «Во имя Отца...», перед другою дырой перекрестись снова и скажи: «и Сына...», и перед третью дыркой последний раз перекрестись со словами: «и Святого Духа. Аминь».

– «А тоді стань, – каже, – кріпко на ноги, перехрести місце, на якому ти стоятимеш, – розказывал казак своєму приятелю, – сам ще три рази перекрестись, і, глядячи у порізаний вентерь, потихеньку скажи: “Згинь, втечи од вентерья, сатана”. Три рази дунь на вентерь і три рази плюнь у воду».

Казак в точности всё это проделал и прорезал вентерь в трёх местах, будучи уверен, что он не согрешил перед Богом и что Бог не накажет его за порез вентерья, так как он вёл борьбу с сатаной. Всё это сам казак рассказал под секретом своему приятелю, мучимый совестью и боязнью, что он, может быть, прогневал Бога, когда при порезе трёх дыр в вентере три раза, «як піп», произнёс: «Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амін».

Надо прибавить к характеристике казака, что одностаничники считали его человеком богобоязненным и, безусловно, ничем предо-

судительным и позорным не запятнавшим себя, но все они к своим благоприятным отзывам прибавляли:

– Тільки у його в голові дев'ятої клепки нема.

Узнав подробности о порезе нашего вентерья, одни казаки, по рассказам, хохотали до слёз, а другие поминали обворожительного торговца злым приговором:

– От бісова душа! І над нещасним чоловіком посміявся! Бога не побоявся!

Но к своему убогому одностаничнику казаки по-казачьи отнеслись. Первоначально они заранее предположили лишить его права на ставку и не допускать до жеребьёвки как человека неблагонадёжного и причинившего нарушением станичных порядков вред обществу. Так, вероятно, и постановлен был бы приговор общественного схода. Но когда они узнали подробности той проделки, какую совершил торговец над их убогим одностаничником, и об его тревожном состоянии из-за допущенной им неблаговидности, то оставили его в покое. Судя по тому, что о нём неохотно говорили казаки, никто не попрекал его и не издевался над ним, станичники отнеслись к виновнику, порезавшему вентерь, не как к преступнику, сбитому с толку проходимцем, но как к бедняку, желавшему заработать копейку на свои нужды и проявившему свой проступок не из злобы или мести. Казаки, несомненно, поняли, что совершил преступление не ученик, а учитель, не подневольный, а главарь, не убогий разумом и волей казак, а умный, бессовестный и пронырливый торгаш.

В станице ходили, разумеется, глухие и различные в подробностях толки по поводу казуса с нашим вентером, но они были вне моего и моих товарищей наблюдения и связей, а самому факту пореза нашего вентерья товарищи придавали значение лишь собственной нашей неудачи и убытка. А главное, все мы были на горячей работе в царине, а не в станице. Наиболее заинтересованным в выяснении деталей факта как бытовой особенности в жизни населения был я, мало знакомый с главными действовавшими лицами – с торговцем и его неудачливым компаньоном, и далёкий от тех первоисточников, из которых можно было черпать непосредственно сведения. В подробностях разнообразных толков и пересказов трудно было разобраться, но основные черты происшествия всеми изображались одинаково: вентерь был порезан в трёх местах, это я сам обнаружил и видели почти все рыбаки и многие жители; факт этот был признан чрезвычайным, небывалым в практике рыболовства при его демократических порядках, им было возмущено

всё население; порезал его убогий разумом и слабый волею богобоязненный казак – все так говорили; влиял на этого казака и руководил им умный, ловкий, но бессовестный и жадный до завладения чужим добром торгаш – это тоже было несомненным для всех. В несложном, но в ярком освещении для тогдашней станичной жизни происшествии, очевидно, смешались глубокое невежество с сильною страстью к наживе всевозможными способами до преступных включительно. Суеверие – с бесцеремонным и разнузданным попираем религиозных правил и моральных основ, и, наконец, стихийные народнические порядки – с отсутствием соответственных форм закона и охраны со стороны правившей краем центральной власти в государстве. Таким образом, доходившие до нас при таких условиях версии в деталях происшествия были, однако, тождественными в основных чертах. Но в то же время и в самой ассоциации, обособленной от станицы и отягощённой спешными и тяжёлыми летними работами, накопились новые неблагоприятные условия естественных явлений природы в течение зимы, весны и лета – с одной стороны, и появились изменения в форме притока к ней новых членов – с другой.

Ассоциация всё это переживала и доживала. В течение этого лета она вступила в серьёзный перелом.



Глава XIX

## Ассоциация в царине и новый член её

**Р**ыболовство на некоторое время задержало меня и Попку в станице. Когда мы приехали в царину, весенние работы в поле были в полном ходу. Природа ожила и мощными объятиями охватывала все живые организмы: зеленели степь и поле, красиво пестрели цветущие растения и мелкие степные кустарники, и в непрерывном движении находились полные оживлением и заботами живые существа – насекомые, птицы, четвероногие животные и люди. Одни уже питались и наслаждались дарами природы, другие в весенних гимнах славил бога любви Эроса, а люди влагали в природу свой труд в ожидании от неё благ в будущем. Природа блистала своей красотой, жизненностью и силой; она находилась в напряжённом движении своего творчества, и охваченные её натиском живые существа в неразрывной связи с ней участвовали в этом великом акте её жизненного движения. Всё, казалось, было не в противоречии, а в единении. В то время как человек в поте лица напрягал все свои силы, чтобы помочь природе в её созидательных процессах, поэтически настроенный жаворонок высоко в воздухе заливался своими очаровательными трелями, а где-то овца блеяла «ме». И труд человека, и песня птицы, и тихое блеяние насыщенной сочной зелёной травой овцы вносили во всеобъ-

емлющую природу, в весеннем праздничном наряде её, не диссонанс, разрыв и какофонию, а полную гармонию в красоте и разнообразии. Это ведь была степная природа, а не лиман и река, не одна вода, вода и вода, в глубине которой, как в тёмном склепе, всё сокрыто от глаз и слуха человека. Нет там ни красот природы, ни воздушных трелей певца степей жаворонка, ни бляний овечьих – более того. Невидимые глубины вод не утоляют даже жажды, а плодят и усиливают жадность человека к рыбе, вызывая чисто хищнические порывы и чувства, но не в виде хищничества и разбоя, а под благовидным предлогом добычи средств для поступления в Петровскую академию. Был задор в ловле рыбы, свойственный человеку, но были и высшие побуждения, не гармонировавшие с хищничеством и разбоем. И в царину мы прибыли с той же мыслью о добыче необходимых нам средств для образования, ради высших духовных целей. На природе и на прилагаемом к ней труде мы строили наши надежды и чаяния.

После рыболовных занятий, в бодром и полном этими надеждами и ожиданиями настроении находились мы при первом весеннем посещении царины на второй год. Мы ехали с воодушевлением работать и работать на пользу природе и себе, как не работали мы в ставке, работая там только для себя. Но каково же было наше разочарование, переходившее в горечь несбывшихся надежд, когда мы от созерцания красот природы перешли к трезвому осмотру прозаической действительности, в которую вложен был и наш труд. Мы слышали уже, что из зимы озимые вышли с плешинами от вымокания и вымерзания, но собственными глазами не видели этих потерь.

У куреня не было ни души. Распашки под яровые посева производились вдали от него, и там были все. Выпрягши из упряжи Ваську, мы отправились к плугу мимо озимых посевов. Болезненные чувства охватили нас при взгляде на труды наших рук. От густой зелёной растительности нив в раннюю осень остались лишь слабые следы, плешей было много, и некоторые значительны по размерам. Об урожае озимой можно было наперёд сказать, что едва ли он покроет затраченные на озимые посева труды. Это грозило уже нам частичным крахом по этой статье хозяйства, если даже вызволят нас из беды яровые посева. Мороз оказался жестокосерднее жадного торговца. Рыбы хоть раз мы всё-таки поймали горазд, а на озимой пшенице почти всё безвозвратно потеряли.

Понуро, в пониженном, невесёлом настроении мы направились к пашням под яровые посева. Это было первое ошеломляющее впечатление, которое было для нас свежо и тревожно; мы не свыклись ещё с

потерей – с поразившими нас печальными посевами озимой пшеницы. Но с места вспашки нив под яровые посева неслись задорный смех и крики Васьки:

– Привезли забродчики рыбы пахарям?

– Привезли! – ответили мы.

– Bravo! – кричал Васька. – Честь и хвала вам, ваша рыба по зубам нам, – пытался он дать нам ответ в рифму. Наш товарищ, видимо, был в самом весёлом настроении.

Когда же мы подошли к Ваське и он подметил наши понурые лица и невесёлое настроение, то, по обыкновению, встретил нас грубой нелюбезностью, свидетельствующей об его благожелательном к нам расположении.

– Что же это вы, водяные лешие, носы повесили? – спросил он нас.

– Вдоволь озимой нанюхались, – ответил я.

– Наплевать! На яровых доберём! – в прежнем весёлом тоне ободрял нас.

Васька пережил уж первые приступы горечи от неудачи на озимых посевах и, не переставая верить в будущую удачу, пытался и нас подбодрить. Своей бодростью и надеждой на лучшее будущее он отчасти заразил и нас. Мы тоже верили и надеялись на яровые посева и готовы были из кожи лезть, чтобы потери на озимой пшенице на яровых полях добрать. По случаю нашего приезда Васька предложил пошабашить работы. Но это было неурочное для обеда время. Я, под влиянием надежды на урожай яровых хлебов, сказал Ваське, что мы с Попкой сильно соскучились за плугом и пашнями и останемся на пашне, чтобы пройти ещё рядов восемь или десять до обеда, а Ваське и Грачёву предложили идти к куреню, взять там привезённую нами рыбу и приготовить обед; нас же просили известить вывешенным у куреня флагом, что обед готов, как мы делали это обыкновенно в тех случаях, когда требовалось позвать к куреню тех, кто был от него вдали.

– I це є добре, – выразился Васька по-украински, что указывало на особое расположение к нам и на весёлое настроение Васьки. – Рыбы, Кирюха, чёртовы ножки, закурим и пойдём к куреню рыбу ловить.

Васька и Кирилл ушли к куреню, а мы с Грицьком принялись за распашку земли.

Лишь только под понукание Грицька двинулись волю и я запустил плуг в землю, как знакомые с этой работой ощущения и навык охватили меня. Плуг – не коса, и механизм работы на нём не ложится с таким давлением и тяжестью на физические и психические силы ра-

ботника, как сотни и тысячи раз поддерживаний руками хотя лёгкого, но непрерывного напряжения всего организма при кошени. При вспашке земли на протяжении гонов в восемьдесят, сто двадцать и сто шестьдесят сажень приходилось только два раза напрягать небольшие усилия, чтобы запустить плуг в землю в начале гонов и выдернуть его из земли в конце их. Затем хороший плуг шёл сам собой при тяге его волами или лошадью, а плугатырь-человек волен был в спокойном настроении своей психики при крайнем минимуме надзора за плугом и при крошечных усилиях при направлении его по прямой линии. Глаза, слух, голова и внимание были свободны в своих отправлениях. Можно было бросать взоры в каком угодно направлении, свободно замечать и наблюдать всё, что лезло на глаза, и главное – говорить, рассуждать и мыслить. Человек при этой работе был разумным существом, а не живой машиной, без мышления в голове и свободы в движениях. Плуг работал, отрезываемые им пласты земли в перевёрнутом снизу наверх и в полунаклонённом положении ложились огромными, изорванными на части лентами на всём протяжении гонов, чернея свежеподнятой из глубины землёй с незначительными сторонними в почве примесями. Только в особенно влажных местах на нижних частях вывернутых из земли пластов извивались обыкновенно дождевые черви. Их или поедали следовавшие сзади за плугом грачи, галки, скворцы и вороны, или же плугатырь, шедший в борозде за плугом, с омерзением топтал, давил их ногами, как отвратительные порождения живой органической породы. Давили и топтали ногами червей и я, и мои товарищи, потому что мы полагали, что дождевые черви, как вообще животные организмы, служат лучшим удобрительным материалом для почвы. Это, конечно, так. Но мы, земледельцы, не знали и не читали ещё того гимна, который в прозе написал червям гениальный исследователь природы и животных организмов Чарльз Дарвин, как искуснейшим техникам, перемещавшим в течение ряда лет составные части пластов почвы с большим искусством и совершенством, чем человек с плугом, эксципатором и другими усовершенствованными орудиями. Мы не были ещё в Петровской академии и не знали, что дождевые черви – лучшие союзники и приятели земледельца в деле переработки почвы на всём земном шаре. Как же было нам не стремиться в Петровскую академию и не искать средств для поступления в этот храм высшей науки!

Водворение наше в курене ничем особенным не сопровождалось. Царина была для нас желательным местом пребывания, а курень казался нам сручнее, чем тёплые, чистые и уютные хоромы отца Петра,

потому что мы сами соорудили его и он служил нашим центром при трудовой жизни и земледельческих операциях на лоне природы. Мы, может быть, чересчур опозтезировали его. Главное же – все мы находились вместе в царине и в курене, и даже наш жаворонок Юхим. Всё складывалось и двигалось, как в предшествующем году.

Но на другой день нашего водворения в курене произошло неожиданное для нас происшествие, поднявшее наше настроение и повысившее нашу бодрость и уверенность в достижении намеченных нами целей. Как и в прошлом году, мы разбились на две попеременно работавшие пары: одна пара пахала плугом землю, другая «скородила», то есть бороновала перед посевом пашню, затем сеяли зерно и заделывали его ещё раз боронованием. Мы рано позавтракали, чтобы окончить работы до обеда в одном месте и перейти потом на другую часть поля. Работы велись энергично и успешно, дружно работали мы сами и усердно подгоняли волов. Приблизительно часа за два до обеда мы дали волам передышку, сдвинувшись поближе к траве, чтобы дать немного корму волам. Курильщики курили, а не курильщики просто на земле сидели.

Вдруг сбоку нашей царины вдали показалась какая-то небольшая и не по росту толстенькая фигура с огромным, казалось, горбом на спине. Фигура несла приподнятую в руках палку, на верхнем конце которой развевался белый флаг. Время от времени она помахивала этой палкою и болтавшимся на ней флагом.

– Що воно за кумедянщик попав до нас у степ? – высказался Попка, взглядываясь в фигуру.

– А что ты там видишь? – спросил его Васька.

– Мабуть, махає нам флагом, – пояснил Попка.

По мере того, как фигура приближалась к нам, мы все уже ясно видели, что фигура действительно махала нам, как бы подавая какой-то сигнал.

– Що воно за оказія? – недоумевали все.

Фигура, видимо, заметила нас, направляясь прямо к нам, но никто из нас не мог ни сказать, кто это шёл, ни догадаться о странных поступках незнакомца. Сигнализовавшая нам фигура, наконец, настолько приблизилась к нам, что можно было криком начать переговоры; но мы решили выждать, что же произойдёт дальше. Но в это время долетел до нас громкий крик незнакомца:

– Это попова царина?

– Это! – крикнули мы в ответ.

Незнакомец перестал махать нам флагом и быстро шёл к нам.

– Кто это такой? – спрашивали мы друг друга.

Васька высказал предположение, что идущий к нам человек ищет нас и знает нас, и под влиянием этого соображения закричал:

– Кто вы такой?

– Твой тёзка! – послышался ответ.

– Васька Орлов! – неистово закричал Васька и побежал к нему.

– Васька Орлов! – закричали все мы и бросились вперегонки за нашим Васькой.

Радости нашей не было границ. Это действительно был Васька Орлов, наш товарищ и однокурсник по Кавказской духовной семинарии. Трудно изобразить картину этой встречи. Все мы с разных сторон тормозили Ваську, задавая ему разные вопросы, не слушая друг друга, а новый Васька раскатисто хохотал во всю силу своей объёмистой груди и лёгких и просил пустить его душу на покаяние. Когда, наконец, несколько утих первый взрыв неожиданной встречи и Васька Орлов получил возможность беспрепятственно говорить с нами, мы задали ему общий вопрос:

– Откуда ты, Васька?

Васька Орлов ответил:

– Из станицы.

– Почему ж ты не приехал, а пришёл из станицы? – спросил его наш Васька.

– Потому, – ответил Орлов, – что вот эта лошадь не возит меня, а я ношу её в руках, – показывая Ваське свою дорожную палку с флагом на конце.

Оказалось, что Васька зашёл к отцу Петру, который вместе со своим кучером и слугой поехал к кому-то на хутор исповедовать и причащать больного, а дом и двор сторожила старуха, мать кучера.

– Престранная старушенция, – рассказывал наш неожиданный гость, – сидит и молчит, да в пол только смотрит, точно у неё замок на губах и язык не ворочается. Насилу я добился ответа на мой вопрос: «Когда батюшка отец Пётр вернётся домой?» «Мабуть, – говорит, – завтра после обеда». А на мой второй вопрос – почему она так думает, сказала она, осмотрев меня с головы до ног: «Мій син Петро не велел стряпать обеда», – понимай, дескать, сам – почему.

С большим юмором Орлов передал нам, как старуха вежливо и тонко обошла все щекотливые вопросы при разговоре с ним, когда, по выражению его, она «научилась говорить». Догадавшись о его желании переночевать у отца Петра, она намекнула ему, что станица

Бриньковская велика, хат в ней много, и добрые люди охотно позволяют странникам ночевать в их хатах. А когда Орлов спросил, можно ли ему переночевать во дворе отца Петра, старуха ответила:

– Отчего ж не можно, двор большой, строений в нём много, и на дворе тепло.

Он переночевал в сарае. Рано утром, прежде чем уйти со двора, он отправился к старухе на кухню, чтобы проститься с ней и узнать, по какой дороге следует идти к нам в царину. К его удивлению, старуха поставила на стол кипящий самовар и напоила его чаем с пампушками, которые она напекла у себя дома. Относительно дороги старуха предложила Ваське спросить первого встречного, и каждый ему укажет дорогу на попову царину; людей много ездило и ходило с утра по дорогам в ту пору, при этом предложила ему на дорогу взять те пампушки, которые он из деликатности не доел.

Васька Орлов был удивлён странным поведением старухи, которая то упорно молчала, то говорила так, как все люди, то не приглашала его в дом отца Петра ночевать, то поила его чаем с пампушками и на дорогу остатки ему отдавала.

– Неужели, Кирило, в твоей станице все такие странные старухи? – спросил он Грачёва.

– Все, – ответил Грачёв, – когда сторожат чужой дом. Старуха была не дома, а на службе, и несла её по-казачьи.

Грачёв хорошо знал старуху и уверил его, что если бы он попал к старухе в её хату, то она отдала бы ему не только все пампушки на дорогу, а, чего доброго, и те подушки, на которых он спал бы, до того она была добра и сердобольна к людям.

– Ах, несчастье моё! – с отчаянием, схватив себя за голову, воскликнул Васька Орлов.

Мы все с тревогою бросились к нему, спрашивая:

– Что такое? Что с тобой?

– Хотя бы мне в Ставрополь Кирило написал, что старуха на дороге раздаёт подушки. Я непременно переночевал бы в её хате. А то ведь у меня всё есть, а подушки-то и нет, – объяснил свои тревогу Васька при общем хохоте.

Васька каким шутником и весёлым товарищем был в семинарии, таким и остался. Немного возмужал, и ещё резче бросалась в глаза его низкая, но кряжистая и крепко сложенная фигура. Несмотря на его низкий рост, физическими силами так и веяло от него – и от круглого, свежего и энергичного лица, и от сильных мускулистых рук, и от ма-

неры держать себя уверенно и независимо, и от всей крепко скроенной фигуры. В его сильной, пышущей здоровьем организации, несомненно, крылись причины его постоянной весёлости, отсутствия уныния и обилия безобидного юмористического задора. Только в здоровом теле могло быть такое спокойное и устойчивое самочувствие. Васька по натуре своей никогда не хныкал и не отчаивался. Это мы знали ещё в семинарии.

– Зачем ты шёл с флагом на палке и махал нам? – спрашивали мы его.

– Заблудился и сигналы подавал по-военному, – объяснил он. – Шёл я полем с нивами, а потом попал в степь без нив и людей, вижу – заблудился, ну повернул в сторону и придумал сигналы подавать. «Или я кого-нибудь увижу, или меня люди увидят, – думал я, – и скажут, где попова царина». Вот так и вышло, как я думал. Я остановил вас, а вы ждали меня.

Но мы так заинтересовались военными сигналами нашего товарища и так заговорились с ним, что пора было уже обедать. Я предложил отправиться к куреню. Наш Васька схватил огромную котомку Васьки Орлова, чтобы нести её к куреню, и громко заявил:

– Да ведь тут кладу больше пуда!

– Не трожь, не трожь! – закричал Орлов. – Я сам понесу её. Там у меня золотые часы и фарфоровый прибор. Разобьёшь и попортишь!

Васька Орлов натянул на плечи и на спину свою огромную котомку, и мы двинулись к куреню.

Пока готовился обед, Васька Орлов попросил указать ему, в каком месте он может свои вещи расположить, и, получив в ответ, что он сам может найти в курене подходящее место для его вещей, он, осмотревшись, стал таскать свои дорожные вещи, или точнее – всё своё наличное имущество. Чего только у Васьки Орлова не было в котомке! Бельё, платки, утиральники, нитки, иголки, напёрсток и ножницы, костюмы летние и зимние, сапоги, опорки, книжки и бумага, гусиные перья и целый карандаш, тесёмочки и верёвочки, гвозди и проволока, разные материалы для починки одежды и вещей и тому подобное. Но подушки у него действительно не было, и он не напрасно в печальном положении о ней мечтал. В заключение Васька показал нам «золотые часы» и «фарфоровый прибор». Часы были стенные, без боя, дешёвенькие, но они, по уверению хозяина, шли так же исправно, как и золотые, а «фарфоровый прибор» представлял собой обыкновенную глубокую фаянсовую тарелку с отломленным отворотом с одной стороны, в ко-

торую он помещал бритву, сильно потёртый помазок, осколок от разбитого зеркала и два кусочка простого мыла. Всё это было завернуто в кусок холстины.

– Как только задумал отправиться к вам, – рассказывал владелец этих вещей, – так и начал я заводиться собственным хозяйством при малых своих капиталах.

– На какого ж шута всё это ты притащил сюда? – спросил иронически владельца наш Васька.

– Не на шута, а для себя, чтобы бриться. Видишь ты это? – сказал Орлов Ваське и начал, приняв важный вид, расправлять усы.

– Ну это ты, брат, через край, по-обезьяньи хватил; своё природное естество попортил, – начал, по обыкновению, горячиться наш Васька.

– Нет, не через край, а прямо в казачий край хватил, на казачьи земли и на казачий хлеб и соль. Это раз. А два – ты напрасно нос дерёшь. Не одни казаки бреются, а и французы, и немцы, и все образованные люди. А вот обезьяны не бреются, как и ты. Так кто из нас двух ближе к обезьяне – ты или я? Я без обезьяньего естества, а ты, брат, с него по естеству. Я так думаю, обезьяний брат ты по естеству, коли ты сел на казачьи земли и ешь казачий хлеб-соль, так помни поговорку: не лезь в чужой монастырь со своим уставом.

Наш Васька замолчал, а мы все закатывались неудержимым громким смехом. Васька Орлов не знал, что он попал в самое больное место своего тёзки, и с некоторым удивлением посматривал и на нас. Это была первая стычка двух Васек – не казаков – между нами, казаками, и мы смеялись не столько под влиянием остроумных доводов Васьки Орлова, сколько над неожиданным провалом нашего Васьки. Последний уже грозил нам:

– Теперь нас двое; мы вам пропишем кузькину мать.

Обед у нас прошёл тихо и чинно. Мы не спорили и много не теряли времени на разговоры, а все исправно ели. После обеда мы сразу отправились на работу, чтобы наверстать потерянное время. Сразу шёл с нами и только что прибывший Васька Орлов. Ни слова не сказал он, зачем он пришёл, а принялся прямо за работу. Он только спросил нас, можно ли ему попробовать все работы, которые в тот день производились, и, получив в ответ, что это его личное дело, на которое у нас нет никаких запретов, он прошёл два раза с бороной по ниве, внимательно посмотрел, как сеял зерно Васька, и сказал ему, что этому искусству надо ещё поучиться, чем приподнял настроение Васьки, который, ка-

залось, немного дулся на него, затем подошёл ко мне и Попке и по два раза прошёл погоничем при волах, а потом плугатырём за плугом.

– Это и есть немецкий плуг? – спросил он меня.

– Да, – подтвердил я.

– Об этом плуге я слышал кое-что в Черномории, – заметил он.

– Что такое? – спросил я.

– Вечером поговорим об этом, как порешили мы за обедом, – напомнил он мне.

Я не настаивал, было достаточно и сообщённых подробностей, чтобы понять, как в первый же день прибытия к нам Васька Орлов уже слился с нами как член ассоциации, прежде чем мы коснулись этого вопроса.

Васька Орлов был прекрасный товарищ, но при этой близко подходящей к нашему делу и стремлениям черте он не был вполне нашим единомышленником в идеологическом отношении. Никакими теориями, идеями и идеалами он не увлекался так, как мы. Он делал то, что ему нравилось, соответствовало его индивидуалистической натуре, поскольку она отражалась в сложившихся привычках и приобретённых навыках, и не имел склонности ни к игре воображения, ни к порывам жгучей мысли. В этом отношении он был оригинален и внёс в нашу ассоциацию значительную долю свойственной ему весёлости и естественной простоты здорового человека и хорошего работника. Ни от какой работы он не отказывался, и это крепко связывало нас с ним. Особенно же дорог был он нам тем, что явился к нам первым и добрым вестником о том, что говорилось о нас и нашей ассоциации на стороне и как к нам относились знавшие и не знавшие люди вне нашей собственной среды. Его короткие рассказы, простые и правдивые, приправленные доброй долей присущего ему юмора, близко затронули назревшие у нас интересы, по крайней мере, у меня и Попки. С первого же дня прихода в царину Орлова он передавал нам о том, что слышал о нас с чужих уст, а мы интересовались разного рода подробностями, и особенно – отзывами тех лиц, которых мы знали и к которым близко стояли.

Но прежде несколько слов о самом Ваське Орлове. В семинарии он не состоял в числе членов нашей ассоциации, не знаю, почему: потому ли, что он не придавал никакого значения нашей «затее», как некоторые другие товарищи, или же просто потому, что мало знал о ней. По бурсацким правилам и обычным в бурсе предосторожностям, сами семинаристы о нас открыто не говорили, чтобы не повредить готовя-

щемуся предприятию. Бурсацкие обычаи гарантировали нас от наблюдательного ока начальства.

На последних экзаменах в семинарии, раньше которых мы уехали из Ставрополя а Черноморию, Орлов провалился, оставшись в философском классе на повторный курс. Наскучило ему «корпеть», по его выражению, в «философах», он бросил по нашему примеру семинарию, и начал искать себе или постоянное место, или подходящей работы, но ничего из его поисков не вышло. Были места и много работы, но он ничего подходящего для себя не нашёл. Тогда он вспомнил о нас и начал разведку в этом направлении. По его словам, вне Ставрополя немногие знали о нашем предприятии. Кое-что слышали лишь там, откуда были родом семинаристы, рассказавшие об ассоциации своим родным и знакомым. Вдали от Ставрополя ходили о нас очень неодобрительные или одобрительные, но нелепые слухи. Одни дивились нашему легкомыслию, а другие одобряли наше стремление к работе. По мнению одних, нас кто-то подговорил затеять глупое и неблагородное дело, а другие за верное выдавали, что мы действовали как бунтующие студенты, начитавшись учёных книг, и шли против правительства. Но были и такие, которые совсем не обращали на нас внимания, не интересовались ни нашим уходом из семинарии, ни тем, что мы делали.

– Пускай себе бесятся, – говорили они с усмешкой.

Сам Орлов говорил так:

– Все слухи о вас медного гроша не стоят; никто и ничего толком не знает.

Это и заставило Орлова отправиться в Ставрополь, где семинаристы и молодые профессора, по его предположению, наверняка знали наше местопребывание.

Орлов не ошибся. Знали, в какой станице Черномории мы находимся, и семинаристы, и молодые профессора. О нашем пребывании в станице Бриньковской, в компании с отцом Петром Станицким, и о некоторых успехах ассоциации в материальном отношении сообщили два стоявшие близко к ассоциации лица – мой одностаничник Данило Стражев, старший брат моего приятеля Яцька, окончивший уже курс наук в семинарии, и Кондрат Грачёв, родной брат Кирилла Грачёва, не окончивший семинарского курса и временно состоявший, кажется, в архиерейском хоре в Ставрополе. Оба Грачёва обладали хорошими голосами и артистически пели. И Кондрат Грачёв, бывший дома у себя в станице в коротком отпуску, передал в семинарию такие же сведения, как Данило Стражев. Оба они до известной степени реабилитировали

нас во мнении семинарского начальства и семинаристов как воспитанников семинарии, сумевших завлечь в свою ассоциацию священника, и как хороших работников, имевших успех в задуманном деле. Факты свидетельствовали, что мы были не только фантазёры, но и реалисты. К тому же профессора и семинаристы знали, что мы сорганизовали ассоциацию в целях не только переустройства экономики у народа, но и для добычи средств для поступления в Петровскую академию. Это обстоятельство создало нам некоторый престиж. Молодые профессора были убеждены, что мы запасёмся материальными средствами и поедем в Петровскую академию доканчивать образование, а семинаристы, стремившиеся к тому же, даже завидовали нам. Особенно ратовал в нашу пользу профессор И.П. Кувшинский, который сообщил обратившемуся к нему Орлову сведения о нас и посоветовал ему непременно отправиться в Бриньковскую.

Таким образом, наиболее точные сведения о нас и о наших делах были сосредоточены в Кавказской духовной семинарии. Молодые профессора были на нашей стороне, но не действовали уже так открыто и неосмотрительно, как в наше время, так как начались сильные репрессии со стороны высшего правительства против волновавшегося студенчества в университетах и в некоторых высших учебных заведениях, усилились административные высылки учащейся молодёжи, началось усиление реакционных элементов во всех областях деятельности, и произошёл поворот в публицистической деятельности М.Н. Каткова, превратившегося из либерала в консерватора. В семинарии опасались, как бы реакционное направление правительства не отразилось и на нашем положении. Но тогда у русского правительства не было ещё широкой организации жандармерии и усиления полицейского надзора. Мы не только беспрепятственно вели наше дело, но имели некоторое влияние на семинарскую молодёжь, преимущественно на раторов и философов.

Со слов Орлова, прожившего некоторое время в Ставрополе и имевшего близкое общение с семинаристами, последних можно было разделить на три группы. Одни превозносили нас. Это были юные риторы и отчасти философы. Они увлекались нашим примером, но строили и свои планы. Другие просто хвалили нас как честных, решительных и последовательных товарищей. А третьи относились к нам и к нашему предприятию индифферентно, заранее построив свои жизненные планы и заветные положения исключительно на духовной карьере. Они составляли большинство семинарской братии. Но в еди-

ничных случаях попадались и такие субъекты, которые относились неблагоприятно к нам, именуя нас зазнайками и вольнодумцами, которым законы не писаны. Нам хорошо была известна семинарская среда, а Васька Орлов изображал нам в живых лицах представителей той или другой группы, часто известных нам лиц, и передавал с обычным ему юмором разного рода факты, характеризовавшие общее настроение учащихся в семинарии, в среде которых, однако, не угасло, а росло стремление к окончанию образования в высших учебных заведениях, к свободомыслию. В этом отношении молодые профессора семинарии посеяли, видимо, хорошие семена в среде своих питомцев.

В числе разного рода подробностей Орлов сообщил и обо мне важные лично для меня сведения. Зная, что все профессора – молодые и старые – хорошо относились ко мне, я долго не касался этого личного вопроса, но под влиянием укоризны совести по отношению к ректору семинарии, у которого я жил и так неблагородно обманул его, убежав с товарищами в Черноморию, я спросил, наконец, Орлова, не слышал ли он, как относился ректор ко мне и не исключили ли меня из семинарии, как некоторых из моих товарищей.

– А разве об этом ты ничего не знаешь? – спросил он меня.

– Не знаю, – ответил я.

– Исключили, но только с надлежащим чином в пример прочим, – ответил мне улыбавшийся Васька.

Он передал нам, что меня перевели в богословский класс как первого ученика. Но когда мой брат Василий появился в Ставрополе для подготовки к экзаменам на степень студента семинарии, так как, за отсутствием его по болезни во время выпускных из семинарии экзаменов, его выпустили не студентом по первому разряду, а по второму разряду без этой степени, то встретившие его молодые профессора А.И. Васильев и И.П. Кувшинский посоветовали ему подать прошение в правление семинарии об исключении меня из семинарии, с выдачей мне свидетельства об окончании общеобразовательного курса наук, давшего право на поступление в высшие учебные заведения. Ректор, как и на перевод меня в моё отсутствие в богословский класс, первым согласился на удовлетворение просьбы брата, будучи уверен, что я поступлю в Петровскую академию или университет. Таким образом, неожиданно для меня я был обеспечен очень важным документом. Я был обрадован фактом отношения ко мне ректора и всех профессоров, но не придавал свидетельству того значения, какое оно имело для меня впоследствии, так как в Петровскую академию можно было поступить



с документом и более низкого учебного ценза. Через год, однако, после Нечаевского процесса, Петровская академия была переформирована, и я не мог бы поступить в неё без свидетельства о среднем образовании. Только тогда я понял действительное значение полученной в семинарии бумаги.

Интересен был рассказ Васьки Орлова о его путешествии к нам. Тревожное время, когда местная власть по распоряжению высшего правительства начала обращать внимание на учащуюся молодёжь и вообще на вновь появившихся в крае людей, поставило и Орлова в несколько затруднительное положение. Документов о личности у него не было, и в чужих краях ему грозили задержки и неприятности на пространстве более пятисот вёрст пути. Подумав об этих препятствиях, он решил идти под видом странника к святым местам. Длиннополый семинарский сюртук и огромная котомка за плечами придавали ему именно такой вид. Запасшись у семинаристов подробным маршрутом по тем местам, по которым предстояло идти несколько дней по Ставропольской губернии, затем по Старой линии и, наконец, по Черномории, а в ней – к станице Бриньковской, Орлов направился пилигримом в нашу ассоциацию.

– Разлюбезное дело – хождение по святым местам, – рассказывал он нам. – Идешь себе смиренным странником, никто у тебя не спрашивает ни паспорта, ни звания твоего, и при встрече все низко кланяются тебе, почёт и уважение в любом месте. Кочуешь на постоялом дворе, со всех деньги берут за ночлег, а с тебя – ни копейки. «Помолись, – говорят, – Богу за нас, грешных». Обгонит тебя кто-нибудь по дороге, развалившись в телеге, остановит лошадь, кличет: «Садись, почтенный, маленько подвезу», – ну, и катаешься вместо того, чтобы махать ногами. Спросят тебя: «Куда Господь Бог несёт тебя, родимый странничек?» Ври, сколько сможешь и о чём хочешь.

Не раз Васька Орлов попадал в курьёзное положение. В одном месте предложили ему, как грамотному, читать псалтирь по покойнику за рублёвку, пока приедет свой дьячок из поля, в другом – расспрашивали, какому святому следует отправлять молебен при падеже скота, не раз упрашивали принять деньги на молебен в святых местах за здоровье или на панихиду за упокой. Васька отказывался от денег под тем предлогом, что будто бы, отправляясь в странствие по святым местам, он принял обет не прикасаться к чужим деньгам по дороге и раздать даже те деньги, какие он имел, так как деньги часто грех порождают.

– И что ж вы думаете? – говорил он со смехом. – Верили мне и с умилением удивлялись: «Ведь молод, а какой подвижник!»

Но как только перебрался Васька Орлов в казачьи места, благоприятные условия для странника заметно изменились. Казак здесь настороже, к этому его служба приучила, поэтому он и дома зорко за всем не казачьим следит. На Старой линии к Орлову неожиданно привязался какой-то старый казак с довольно увесистым посохом в руках и первым делом спросил его:

– Ты откудова?

– Из дальних мест, – смиренно ответил Орлов.

– Если ты из дальних мест и взаправду странник, то скажи мне, за что ты в вере стоишь – за двуперстие или за трёхперстие? – внушительно обратился к нему старик.

Орлов молчал, придумывая, что сказать ему.

– Что ж ты молчишь? – напустился на него старик, стуча посохом в землю. – Аль тебе в ушах заложило?

Васька понял, что с дедом смирением ничего не возьмёшь, и ещё с большим подъёмом напустился на деда.

– Видишь ли ты, дед, – заговорил он, – я стар не годами, а ты млад не летами. Слышал ты поговорку: кто молчит, тот двух навчит? – дед осел. – Вот тебе мой ответ: кто двуперстием крестится, тот по своей вере поступает. А как я молюсь и как крещусь, это моя тайна, которую я только своему отцу духовному на исповеди открываю. Зане Иисус Христос заповедал: молись в тайне, а не болтай, как сорока длиннохвостая, на улице въяве.

– Что ж вы думаете? – закатываясь смехом, говорил Орлов. – Сшиб с позиции старого казака. Не нашёлся он, что мне сказать, а я низко поклонился ему, как старому человеку, и говорю ему: «Не обсудь, старче, меня, многогрешного», – и гайда дальше, чтобы от дальнейших зацепок уйти. «Постой, – кричит старик, – обожди. Побеседуем». А я ему в ответ закричал: «За постой деньги берут, а у меня их нет». Надо-едливые эти линейцы, – говорил Орлов. – Ко всему придираются – и к вере, и к котомке, и к кому идёшь, и кого тебе надо.

– А черноморцы как тебе показались? – спрашивали мы Орлова.

– Ну, черноморцы ваши – люди иного сорта, люди умные, сметливые и, как хохлы, себе на уме. Я нарочито останавливался в некоторых станицах, чтобы присмотреться к ним. Коли ты чужой для них человек, лишнего слова у черноморца из зубов не вырвешь. Стоит он, молчит, на тебя смотрит, а глазами, как аршином, с головы до ног ме-

ряет. Взглянешь на него – серьёзный такой с виду, а усы как будто бы смеются, – делился Васька Орлов своими впечатлениями. – Я ближе сошёлся с ними, чем с линейцами, хотя и плохо понимал их язык. Они мне очень понравились...

– Как? Чем? Почему? – посыпались с нашей стороны вопросы, прервавшие характеристику.

– Не навязчивы, не заносчивы, знают себе цену и умеют других ценить, а когда столкнёшься с ними на деле, лучших приятелей не найдёшь. И у меня такой случай вышел, что я сразу одного черноморца полюбил, а он и его приятели и меня к вам препроводили.

И Васька Орлов рассказал, как в степи по дороге, которой он шёл в одну из черноморских станиц, встретился он с казаком, возившимся около опрокинутого воза с сеном. Васька, не спрашивая казака, скинул с себя котомку и принялся помогать. Поставили они вдвоём воз на колёса и привели в порядок сено. Черноморец был тронут дружескою помощью Орлова, предложил ему отправиться вместе с ним в станицу и переночевать у него. Казак так искренне и просто отнёсся к незнакомому ему человеку, случайно встреченному на дороге, что и Орлов, увидев черноморца не в «себе на уме», а в подлинной его натуре, с удовольствием принял сделанное ему предложение. Дорогою повели дружескую беседу, и от него-то Орлов в первый раз узнал о нашем пребывании в станице Бриньковской. Казак, аттестовавший нас с самой лестной стороны, предупредил, однако, Орлова, что он мало знает о наших делах, нас не видел, а слышал от других. Он пообещал Орлову вечером пригласить своего приятеля, который знал о нашей ассоциации больше, чем он.

Приятель черноморца так же, как и он, слышал о нас со вторых и третьих уст, и если обладал некоторыми подробностями из нашей жизни и деятельности, то подробности эти были до того курьёзны, что, кроме смеха, ничего у нас не вызывали. Нас казаки хвалили и хорошо к нам относились, но кузнец, делавший кольца бриньковской молодёжи и не сумевший починить немецкого плуга, оказался в его рассказе немцем, а я тоже был возведён в звание учёного кузнеца нашей ассоциации. Между мной и немцем-кузнецом якобы возник спор и форменное состязание, и я, конечно, дал немцу-кузнецу шах и мат.

В таком же духе рассказы о нас слышал Васька Орлов и в других станицах, в которых он заходил к приятелям с поклонами от первых двух черноморцев и находил у них радушный приём и временный приют. Только в последней перед Бриньковской станице Брюховецкой, в

которой он зашёл с поклоном от знакомых казаков к последнему по пути черноморцу, Орлов узнал от него, что испортивший в починке немецкий плуг кузнец был не немец, а «рассейский человек», и что я был также не ковалём, а вроде атамана земледельческой ватаги из семинаристов-казаков. В Брюховецкой же Орлов узнал, что у нас руками убогого и слабого умом и волею казака какой-то пройда-торгаш порезал вентерь на рыболовле. Но и в Брюховецкой, кроме слабо выраженных пожеланий местным казаком о таком единении между черноморскими казаками, какое замечалось у нас, было полное незнание казаков с тем, что и для чего мы делали. Нас казаки хвалили и симпатично относились к нам, но о наших стремлениях и идеальных предназначениях ничего не знали. Мы пропагандировали только сами себя, как хорошие люди, но не насаждали тех идей и идеалов, во имя которых мы ушли из духовной семинарии и взялись за земледельческое дело.

Да иначе не могло и быть. Оседая в станице Бриньковской, мы искали благоприятных условий собственно для себя и нашли их в лице П.Я. Станицкого, но не сумели завести ни юридических, ни экономических связей с местным станичным обществом или громадою. Нужно было, по мысли моего свояка В.К. Лукаша, действовать на громаду, быть в курсе её дел и непосредственно участвовать в ней в качестве её члена. Я понял, казалось мне, свою ошибку в том отношении, что мы не осели с ассоциацией в родной моей станице Новодеревянской, где я имел непосредственные связи с громадой. Правда, мы не могли бы найти такого ценного союзника и крепкого члена, каким был священник П.Я. Станицкий, но всё-таки, думалось мне, может быть, вышло бы что-нибудь более лучшее, чем то, что рассказал о нас Орлов нам. Но за этим «может быть» всё яснее и отчётливее становилась мне и моему другу Попке настоятельная необходимость в том, чтобы и самим нам, членам ассоциации, следовало быть более знающими и авторитетными, занимая какое-нибудь прочное определённое положение, выгодное в народных интересах. Таким образом, в перспективе рисовалась нам всё же также Петровская академия. Центр тяжести в наших идеальных предположениях естественно перешёл с переустройства земледельческого хозяйства и экономики в жизни трудового народа на добывание средств с помощью ассоциации для поступления в Петровскую академию.

Тем не менее, появление в нашей артели Васьки Орлова и с этой последней точки зрения оказалось добрым актом для нашей ассоциации. Орлов был здоровым человеком и прекрасным работником. Он

охотно брался за всякое дело, быстро овладевал его техникою и умело обходил или устранял мелочные затруднения. Главным же и ценным для нас были весёлый нрав и уживчивость со всеми нами. У нас в ассоциации, по странной игре случаев, появилось три Васьки – старый Васька, или Васька Архангельский, фамилию которого мы почти забыли, Васька-конь и Васька Орлов. Каждый из них имел свою цену, и все три Васьки были в близкой между собою связи. Оба Васьки-люди очень благоволили к Ваське-коню, а Васька-конь с большим вниманием относился к двум Васькам-людям, чем к нам, потому что они заботились о нём и кормили его до отвалу как своего тёзку.

Но всего удивительнее и вместе с тем курьёзнее сложились отношения между двумя Васьками-людьми. По общим признакам принадлежности к великорусскому народу и некоторым мелочным повседневным привычкам это, казалось, были неразлучные друзья, а между тем, ни у кого из нас не происходили так часто, и нередко – так шумно, споры и баталии, как у двух Васек-людей. Не столько по убеждениям, сколько по своей экспансивной натуре старший Васька был завзятый националист, но весь его национализм вмещался в крошечной коробочке национальности его села. Васька же Орлов принадлежал к числу чистокровных поклонников факта в правдивом его проявлении в устах людей с неизбежными оттенками юмора и иронии, никакими фантазиями и неосуществлёнными идеалами он не увлекался, а понимал действительность только в реальных её формах и всегда по этому поводу говорил правду и фактов под предвзятые формы не подгонял и не ломал. И вот это расхождение натур и было причиной споров и расхождений между двумя Васьками. Сходились же они по устной речи и по эстетическим наклонностям. Объяснялись они на хорошем русском языке, тогда как мы говорили на малопонятной им украинской речи. Это, несомненно, связывало их. Оба Васьки любили петь басами и оба вздорили, не замечая никаких погрешностей в этом отношении один у другого. Это, несомненно, воодушевляло их. Споры же и баталии отличались боевым характером у Васьки-старшего в подлинном смысле этого слова, а у Васьки Орлова – в безобидных формах юмора и иронии. Чаще же споры между ними вращались на взаимных укорах без ясно сформулированной предпосылки.

– Врёшь ты, Васька, – громко обвинял старший Васька в неизвестно на чём основанном споре Ваську Орлова.

– А ты, Васька, всегда едешь верхом на неправде, как цыган на дохлой кляче, – возражал ему последний.

– А ты, Васька, всегда врешь, как тысяча чертей с десятью тысячами ведьм на шабаше, – поражал первый гиперболическими доводами второго.

– А ты, Васька, никогда даже на шпильке твоего языка не держал правды и на вкус её не пробовал, – острит Васька Орлов.

– Ну так не ври больше, – понижал тон старший Васька.

– Ну и не буду, – отвечал со смехом Васька Орлов. – А ты, Васька, ври вволю. К тебе это очень идёт.

И спор прекратился за истечением красноречия с обеих сторон. Но иногда спор переходил в баталию. Тогда Васька-старший кипел гневом и негодованием, и когда спор доходил до высшей точки напряжения, то Васька Орлов с ловкостью акробата неожиданно прекращал спор какой-нибудь выходкою в юмористическом стиле. Это всех удивляло. Одни прекращали спор, другие хохотали.

Однажды у нас шёл общий разговор о казаках-черноморцах, которые открывали школы, насаждали в разных местах сады, заводились в Ейском районе новыми плугами и мелкими усовершенствованными земледельческими орудиями, строили мукомольные мельницы о двух поставах для муки, усиливали спрос на чай и сахар, заводили вместо тяжёлых возов огромные и удобные мажары, а вместо дребезжащих деревянных повозок – лёгкие и красивые тачанки, и тому подобное. Одним словом, шла речь о культуре, которая лезла в казачьи станицы в разных местах Черноморья. Старый Васька никогда при таких разговорах не упускал случая, чтобы выставить на первое место своё родное село. Но на этот раз он не решился почему-то сам выступать, а, потрепав по плечу тёзку-Орлова, игриво сказал ему:

– А ты, Васютка, сказал бы им, что в наших-то сёлах ещё хлеще идёт эта цивилизация и культура.

– Как же я скажу им, когда у нас ни черта этого нет, – нехотя, с явным неудовольствием произнёс Орлов.

– Так в моём селе всё это есть в наилучшем виде, – произнёс с видимым неудовольствием Васька. – Зачем ты хочешь замолчать?

– Затем, что по части цивилизации и культуры в твоём селе в десять раз хуже, чем в наших местах, – в тон отвечал ему Орлов, – а в наших, лучших, чем у тебя, местах, я сказал уже тебе раз, ни черта нет.

– А ты почём это знаешь и откуда таких знаний нахватался, разбираешься, как свинья в апельсинах, – перешёл уже в раздражительный тон «старый» Васька.

– Я не по вкусу твоё село знаю, а собственными глазами его видел, – заметил Орлов.

– Как? Когда? – волновался «старый» Васька.

Живыми красками Васька Орлов описал Васькино убогое село, с церковною площадью, наполненную свиньями, которые, по его едкой остроте, ели там апельсины, с грязными улицами, с мелкими избами и строениями, с длинными холщовыми рубахами на культурных мужиках, подпоясанных верёвочными поясами, в картузах с дырками на голове, в лаптях на ногах и с тому подобными признаками культуры, а в заключение всего изобразил жалкое жилище местного священника, у которого он был незадолго перед тем, как отправился к нам в Бриньков. Картина была так ярко нарисована о лучших формах культуры, что и возражать Ваське против описания родного села «старому» Ваське было немислимо. Он упорно молчал.

Но когда Орлов сказал: «Спит твоё, Васька, село, спят в нём и все люди непробудным сном», – то возмущённый Васька напустился на него:

– Глупости ты говоришь. Как это спят все и не просыпаются? О каком ты сне говоришь?

– А вот как спят. Я тебе расскажу, – спокойно, с улыбкой заговорил Орлов. – В хате тепло; запах сногшибательный; все взопрели и храпят, кто на полатах, кто на лавке, кто на печи, кто на кровати. «Ккуда йдёшшш?» – спрашивает носом с полатей старый дед. «На ббазаррр», – отвечает ему с печи храпом старший сын-большак. «Что несёшь?» И вдруг со всех мест – с полатей, кровати, печки и лавок дружно на разные тоны храпом отвечают: «Ррепху! Ррепху! Ррепху!» Воздух заколебался по всей хате, по всему селу и по всем его закоулкам. Вот как спят! – воскликнул Орлов.

Раздался громкий хохот, и этой идиллической картиной закончился ожесточённый спор.



Глава XX

## Тревоги в ассоциации и приток в неё новых членов

Две недели безмятежной жизни в ассоциации со времени появления в ней Васьки Орлова быстро, как одна минута, пролетели. Нас ничто не тревожило. Лёгкие пикировки двух Васек только потешали всех, вызывая заразительный смех, не исключая часто и «старого» Васьки. Как и он, положила руку на сердце, мог сказать, что ему любы черноморцы и Черномория. Но ведь секрет не в этом для него крылся. Разве мог он сказать, что его родное село, в котором он родился, вырос и с малых лет с ребятами дружил, играл и дрался, не раз синяки под глазами друзьям ставил, и ему чуть не еженедельно из носа кровь пускали – мог ли он сказать, что его родное село хуже и ниже казачьей станицы? Вот в чём загвоздка состояла, Васька это всем существом своим чувствовал и скорбел, что его земляк по губернии откуда-то иной мудрости набрался. Беды от этого, впрочем, мало было. Ассоциация мужала и, видимо, процветала. Работы в ней шли с широким размахом, вспаханные под яровые хлеба нивы если и не росли в степи, как грибы в лесу, то всё-таки чернели и зазеленели. «Васька Орлов освежил ассоциацию, придал ей силы и всех веселил, а он ведь, – рассуждал «старый» Васька, – не в станице, а в селе родился. И разве он не суцая находка для земледельческой ассоциации? Разве у

всех не ясны, как Божий день, помыслы от совместного труда и бойкого, успешного хода работ?» Васька, как и все в ассоциации, торжествовал и предавался светлым надеждам.

Но Васька был истым земледельцем. Никто не мог помериться с ним в этом отношении. Все мы ожидали от земледельческих ассоциаций великих и богатых милостей для целых краёв, как Черномория, и даже государств. А какую цену земледельческая ассоциация имеет без урожая? От урожая зависела сила ассоциации, урожаем жил земледелец, и в зависимости от урожаев двигалось земледелие. Так смотрел «старый» Васька на земледелие и ценил его само в себе, в его урожае, без которого всё было трын-трава и голодали люди. И Васька первым забил тревогу о дожде, без которого посеянные зёрна лежали в земле без движения. Мало-помалу тревога передавалась другим членам ассоциации. Погода стояла чрезмерно тёплая, солнце сильно жарило, в воздухе была духота, а дождя не было. На одних нивах совсем не показывались всходы, а на других изредка из земли выползали жалкие ростки, бледные по цвету и тощие по росту, точно они украдкой, воровски, без спроса у природы вышли на свет Божий из-под несносной брони сухой земли. Изредка на небе показывались тучки, но они приходили и куда-то уходили, не дав ни одной дождевой капли земле. Тревогой пахло в ассоциации. Неотразимый крах в яровом поле в большей степени, чем в поле озимом, пугал членов ассоциации. Все приуныли, и даже Васька Орлов перестал смеяться. Кругом были видны пугающие признаки гибели урожая. Вдобавок ко всему, в степи травы выросли слабые ростом и жиденькие по своей мощи. В первые дни мы косили их с особым усердием, дёргали косами по редкой траве и махали руками во сне, но толку было мало. Тяжело было не столько от этой малопродуктивной работы, сколько от засухи и удушливых суховеев. Поту из нас выходило много, а травы мы в ряды набирали мало. Скучная и томительная была эта работа. Казалось, и коса в руках сердилась, что травы на её полотно попадало мало. А тревога в ассоциации с каждым днём росла всё сильнее и сильнее.

И вот в этот разгар засухи у нас в царине появились гости. Это были не первые ласточки весны, но и они внесли бодрость в приунывшую компанию. Как бы в помощь им тогда же выпал дождь и немного поправил яровые посевы. Появилась, хотя и запоздалая, зелень, но и она к лучшему изменила внешний вид природы и повысила настроение у людей. Общим всюду повеяло оживлением, легче дышалось после дождя на воздухе, освежились цветущие растения, куда-то кануло

уныние у людей, и если не весёлое раздолье, то изменившееся в его сторону настроение проникло, как в щели – пар, и в обстановку ассоциации, приободрились члены её, оживлённое стал разговор, чаще слышался смех.

Кто же были наши новые гости? Их было двое, но появились они у нас не разом, а через три дня, один за другим и независимо друг от друга, из разных слоёв и кругов семинарской братии.

Первым явился к нам Силуан Лавров. Я и сейчас его вижу. Такой он беленький, такой чистенький и по своему открытому виду, и по всей внешности, и главное – чистый в глубине своей души и помышлений. Редко у людей появляются такие натуры, и ещё реже удерживаются они в жизни. Ломают их людская жизнь, ломают их и люди.

Силуану было около двадцати лет. Значительно выше среднего роста, он был тонок по фигуре в её частях и изящен в движении и в манерах. Ничего деланного, напускного не замечалось в нём, от природы он вышел таким цельным в этом отношении. Белокурые волосы, белое лицо, большой белый лоб, белые руки сразу же бросались в глаза, как только он взглядывал на вас. Немного требуется прибавить ещё признаков, чтобы запечатлеть в памяти и всё лицо Силуана. Тонкий изящный нос, небольшой рот, тонкие губы в нижней части лица и ясные голубые глаза, глядевшие из-под длинных ресниц, а выше их – светлые пушистые брови – вот и всё. Но общему очертанию этой приятной и детски открытой физиономии придавала особое выражение детской любознательности и восхищения тонкая шелковистая растительность светлых волос на верхней губе, на подбородке и на окраинах щёк. Когда Силуан молчал и внимательно на что-нибудь смотрел, то казалось, что он не человек того возраста и тех изысканных качеств, с какими он мог бы дать шах и мат любому гвардейскому офицеру в любом великосветском салоне, а просто-напросто необыкновенно большой цыплёнок, только что вылупившийся из яйца и с восторгом вглядывавшийся в мир Божий. Удивительно много было у него детской простоты и цыплячьей незлобивости в говоре, манерах и в обращении с другими людьми. Но как городской обыватель, совершенно незнакомый с сельской жизнью, и тем более – с жизнью земледельца в казачьей степи, он ещё больше поражал меня непониманием и недогадливостью в невиданных им элементарных явлениях этой жизни.

Да, я и теперь рисую в своей памяти Силуана Лаврова в часто переживаемых и нередко смешивших меня положениях, в которые он попадал, при своей простоте и искренности, в совершенно чуждых

ему явлениях незнакомого ему, неродного быта. Вот он сидит рядом со мной у куреня и восхищается природой. Его приводят в восторг простота и удобства нашей жизни. Чистого, здорового воздуха у нас в степи целое море, сверху сияет беспредельное и ясное небо, а в перспективе мреет далёкая степь, тонущая где-то под небесным сводом.

– Век сидел бы я здесь, и не надоело бы мне это, – говорит Силуан. – А если бы я был поэтом, то сейчас бы накатал самые восторженные стихи.

С удовольствием я слушал излияния чувств этим большим ребёнком. Отчасти я привык к его искренности и к отсутствию фальсификаций его душевных излияний и не думаю разочаровывать его в увлечении тою природой, на лоне которой мы жили и нередко тужили. Но Силуан быстро вскакивает на ноги, внимательно во что-то всматривается и тревожно спрашивает меня:

– Что это такое? Птица – не птица, и на человека не похоже.

Я встаю тоже на ноги, всматриваюсь в то, что тревожило Силуана, и неожиданно для себя и Силуана хохочу.

– Разве вы не видите, – говорю я ему, – что это человек, ходящий на руках с приподнятыми вверх ногами?

– Да это я вижу, но мне показалось, что это – не человек, а какой-то журавль или цапля с длинными отростками на голове и короткими ногами на земле. Мне и в голову не могло прийти, что и на степи, как в цирке, подобно акробатам, ходят люди на руках с приподнятыми вверх ногами. Кто это?

– Это наш Юхим, – поясню я.

– Какой Юхим? Тот, что вчера вечером пел: «Как зачула моя доля?» – спрашивает меня Силуан.

– Тот самый, – подтвердил я.

– Какой же он чудака! – восклицает Силуан. – Знает ведь он и хорошо понимает, ведь он парень не глупый! Как все члены ассоциации руками работают, а он на руках, как клоун, ходит. К чему это?

– Как к чему? – говорю я. – Да ведь у него такая работа...

– Какая это работа, когда он на руках ходит? – с недоумением перебивает моё объяснение Силуан.

– Он пасёт скот, и у него при этой работе много свободного времени. Надоест ему сидеть возле скота, вот он и ходит на руках, – поясню я.

– А! Понимаю! – восклицает Силуан. – Юхим у вас особая статья. Недаром учёные утверждают, что земледелие предшествовало

скотоводству. Вот у вас Юхим позади вас чудачит, – произносит с важностью Силуан и успокаивается.

Вот таким Силуан был во всех тех случаях, когда попадал впросак по незнакомству с самыми элементарными процессами и явлениями в земледельческом быте и хозяйстве. Иногда он только руками разводил в недоумении, понеся ошибку, а иногда пускался в книжные разъяснения, и нередко – с таким же успехом, как в случае сопоставления пастуха Юхима, ходившего на руках вверх ногами, и земледельческой ассоциации с двумя историческими фазами развития сельского хозяйства – с пастушеской и земледельческой. Как городской обыватель, он был совершенно не знаком с бытом земледельца в селе, и тем более – с бытом земледельца-казака в степи. С литературой по экономике и по сельскому хозяйству он был также почти не знаком. Как философ же он увлекался в бурсе философией и моральными теориями и идеалами. С этой стороны он отличался не столько солидностью и полнотой своих школьных знаний, полученных в философском классе семинарии, сколько преклонением перед моральными идеями, их историческими носителями, а также и собственными безукоризненно нравственными поступками. Конечно, он поверхностно знал, кто такие были Сократ, Платон и Аристотель или Декарт, Кант и Огюст Конт, но в его мышлении крепко засела формула «равенство, братство, свобода», с путаницей в голове об этих основах высших идеальных взаимоотношений между людьми. Он верил в насаждение в жизнь людей правды, братства и свободы, возмущаясь, с одной стороны, такими мелочными проявлениями насилия и несправедливости, как щелчок по носу шалуну или шлепки материнской рукой, и приходил в восторг, с другой стороны, когда два Васьки – «старый» и Орлов, закулив один – чёртову ножку, а другой – трубку, шли товарищески под руку на ниву, чтобы приняться за боронование её и посев зерна.

– И чего они так часто ссорятся? – восклицал Силуан, весело глядя на пару Васек, дружно ухившихся на работу.

Но всего курьёзнее было отношение Силуана к тем членам ассоциации, которые чаще других попадали в затруднительное положение. Он первым бросался на выручку и или мешал и увеличивал затруднение, или же предлагал свой способ их радикального ослабления.

Как-то Васька-«старший» взял налыгач и отправился к находившимся вблизи на паше волам. Силуан сопровождал его. Было очень жарко. Мухи, мошки и оводы носились тучей над волами, пытаясь садиться на волов, и жалили их. Волы усиленно махали хвостами, отго-

няя насекомых. Васька никак не мог надеть налыгач на рога мотавшему головой вола. Силуан поспешил к нему на помощь, схватил за рог вола, но так неумело и неудачно, что вол вырвал рог у него из рук, а другим рогом от усиленного поворота головы хватил наотмашь Ваську в бок. Васька, как ужаленный, зашипел от боли и с возмущением взглянул на свою разорванную рогом рубашку.

– Что это вы наделали? – с упрёком обратился он к Силуану.

– Разве вы не видите, что это наделал не я, а бык, – оправдывался Силуан.

Молча Васька надел налыгач, наконец, на рога быку. Опечаленный своим вмешательством Силуан, присматриваясь к тому, как Васька заматывал на рогах налыгач, вдруг с живостью обратился к Ваське:

– Что это? Что это такое?

– Где? Где? – всполошился Васька, осматривая свою изорванную рубашку.

– Да нет, – предупредил его Силуан, – не у вас, а у вола.

– Что ж там у вола? – с изумлением воскликнул Васька, осматривая рога вола. – Налыгач у него на рогах, и больше ничего.

– Да нет, – пояснил Силуан, – на рогах под самой верёвкой. Там попорчены рога выемкою в них. Ведь нельзя же так жестоко с животными обращаться!

– Как жестоко? – изумился Васька. – Ведь вол не чувствует никакой боли в рогах, всё одно как вы в ногтях, когда отрезываете их. Выемка пока неглубока в рогах.

– Всё одно рога попорчены, – настаивал Силуан. – Знаете что? – радостно воскликнул он.

– Что? – переспросил Васька.

– Следует подушечки такие сделать на рога, чтобы верёвка не резала и не портила их. Тогда и вол, наверно, будет подставлять свою голову под налыгач, всё одно как он сам вкладывает свою голову в ярмо. Из войлока я сделаю подушечки. Придержите, пожалуйста, крепче вола. Я смеряю толщину рогов, – упрасивал Силуан Ваську.

Но Васька в ответ так громко захохотал, что его хохот долетел до куреня, где мы находились, и Попка, очень благоволившей Силуану, угрюмо заметил:

– Опять Васька, должно быть, издевается над Силуаном.

Когда за обедом Васька сообщил нам, что Силуан намерен сделать подушечки из войлока для подкладывания под налыгач на рога волам, чтобы налыгач не тёр волам рогов, то мы так же громко захо-

хотали над этой совершенно не нужной пока добавкой к налыгачу, как хохотал ранее Васька. Силуан придумал такое усовершенствование в упряжи волов, которое смешным казалось даже маленьким ребятам. Теперь он молча краснел, как красная девица. Ему стыдно было за непонятную для него оплошность, и в то же время искренне был огорчён, что ни Васька, ни мы, видимо, не взяли в соображение его добрых побуждений в обращении с животными.

Само собой разумеется, что Силуан был совершенно не пригоден ни к какой земледельческой работе – в подавляющем большинстве случаев потому, что был совершенно не знаком ни с общим характером земледельческой техники, ни с целым рядом обособленных земледельческих работ, не знал даже названий многих инструментов и частей в земледельческих орудиях и не понимал терминологии хозяйственного языка. В некоторых случаях он совсем не мог исполнять работу в силу своих моральных взглядов и сильно развитого сострадания не только к людям, но и к животным. Трудно было даже представить себе Силуана в роли, например, погонюча при распашке земли. Вола глупее, зlostнее и упорнее лошадей и привыкли подчиняться только кнуту, особенно в раздражённом состоянии. Погонючу приходится тщательно наблюдать за тем, чтобы вола шли правильно – по прямой линии, «не виляли» и не лезли на сторону. Никаких направляющих приспособлений нет, нет ни узды, ни вожжей, и когда вола не подчиняются как следует окрикам «цоб!» и «цабе!», то есть «направо!» и «налево!», то погонюч орудует длинным кнутом и расправляется с непослушными животными. Силуан положительно был не способен на подобные действия, и плугатырю приходилось бы останавливать вспашку или же иметь дело с волами и с погонючем, что опять-таки приводило бы к задержке и даже к остановке работы.

В таком виде Силуан Лавров является как бы исключительным по своей натуре или даже сильно утрированным по своим поступкам лицом. Но кто из горожан, никогда не видевший, как в жару, при обилии мух и оводов, жаливших людей и животных, надевают на рога волам налыгач, не схватил бы ещё более неосторожно и неумело, чем Силуан, вола за рог, или не пришёл бы в недоумение, увидев в глухой, безлюдной степи человеческую фигуру, ходящую на руках, а не ногах? Очень многие промахи Силуана в этом отношении были вполне естественны, потому что он не видел и не знал того, на чём попадал впросак. Но при этих промахах Силуан всегда оставался благородным и благожелательным человеком к людям и животным. Это не отрицательная,

а положительная человеческая черта. Без этой черты Силуан не был бы Силуаном, а с этой чертой он является крайним типом той группы симпатичной семинарской молодёжи, которую со слов Васьки Орлова отнёс я к числу самых рьяных наших сторонников. Молодёжь эта обидеализировала нас и рисовала себе положение ассоциации в самых радужных красках. Обидеализировал наши достижения, несомненно, и Силуан. Отправляясь к нам, он, очевидно, желал найти у нас все условия счастливой и безмятежной жизни. Мы жили, по его предположению, по созданным и установленным нами условиям, образцовому режиму. Но в действительности оказалось, что Силуан столкнулся с незнакомой ему по этим условиям и обстановке жизнью и что нас кусала эта жизнь в большей степени, чем бурсаков в бурсе. Наслаждаясь беспредельностью и красотами природы, он увидел странное явление, что в степи люди ходят не на ногах, а на руках с ногами вверх, и что глупые волы не считаются с людьми, а в порыве раздражения колют их рогами и рвут рубахи. Силуан ошибся и свалился со своей мечтательной позиции, как с небес, но мы как были, так и остались добрыми для него товарищами-семинаристами. Жизненный водоворот и его течение ломали его идеальные мечтания.

Таковы были результаты нашей идеалистической практики в глазах и во мнении одного из наиболее типичных представителей близкой к нам молодёжи. Сам по себе Силуан Лавров представлял такого симпатичного и интересного для нас юношу, в котором естественно сочетались неподдельная искренность с неподдельной наивностью ребёнка, будившего своим безукоризненным поведением и простотой добрые чувства и настроение у людей. Я не знаю, что случилось впоследствии с Силуаном Лавровым, но в моей памяти и до сих пор остаётся ничем не омрачённая благородная личность и искренние стремления к правде и к общечеловеческой любви у этого юноши тех времён и жизненных течений.

Иным был другой новоявленный член в нашей ассоциации – мой одностаничник Данило Харитонович Стражев, сын старого дьячка Харитона Захаровича, с которым я близко соприкасался в раннем детском и отчасти – в раннем юношеском возрастах. Для меня Данило был свой человек. В то время старик Стражев умер уже, и его сын Данило был совершенно свободен и независим в своих намерениях, предположениях, делах и поступках. По возрасту он был старше всех нас, окончил полный курс учения в семинарии и имел право на священническое место. Но он не спешил ни жениться, ни обрывать себя

в рясу. В моей памяти не осталось сколько-нибудь ясных представлений о тех побуждениях, под влиянием которых он прибыл к нам. Видимо, его не удовлетворяла карьера в духовном ведомстве, и ему желательно было что-то иное и, во всяком случае, лучшее. Сам по себе он не представлял ничего особенного ни по своей фигуре, ни по образованию, ни по деятельности. При среднем росте он имел обычные внешние черты, ничем не выделявшие его из ряда семинаристов. Его овальное лицо, с материнским небольшим носом, карими глазами, слабо было затронуто следами оспы и походило в большей степени на круглое лицо его благодушной матери Захаровны, чем на энергичную физиономию отца.

В семинарии Данило Стражев принадлежал к числу либеральных семинаристов, но таковыми было подавляющее большинство учившихся воспитанников. О пребывании его в семинарской бурсе в моей памяти осталось одно лишь отрывочное воспоминание о том, что «Стражев читал», как говорили семинаристы, в русском переводе немецкие сочинения Бюхнера и Фогта. Насколько мне помнится, все его знания по естествознанию, химии и физиологии семинаристы шуточно сводили к слову «кислород». Когда, бывало, бурсаки до невозможности накурят в тесной, с затхлым воздухом комнате табаком, то Данило Стражев ходил обыкновенно по комнате и, взявшись левой рукой за подбородок, как брал себя за бороду его отец, правой рукой он ерошил волосы, опять-таки как его отец, и изображал, что он ловит ею воздух и нюхает его, громко восклицая:

– Фу, какой кислород! Фу, сколько у нас кислороду!

Стражев так часто лицедействовал, что семинаристы в шутку ему говорили:

– А ну, Стражев, покажи, как нюхаешь ты кислород!

Очень может быть, что Стражев прибыл к нам, так сказать, между прочим. Скучно и невесело было ему в родном отцовском доме, ну и приехал он к нам из любопытства и для развлечения. Однако наша полная непрерывного труда и забот жизнь оказалась подходящей ему, судя по тому, что он категорически заявил о желании вступить в число членов ассоциации. Особого рвения к нашим повседневным напряжённым работам он не обнаруживал, аппетитно ел и сладко спал, но аккуратно, со знанием дела, исполнял выпадавшие на его долю работы, так как многие из них ему приходилось производить в хозяйстве его отца. Это была знакомая ему область деятельности, и он не пугался её. Он не жаловался и не тяготился земледельческими работами, и в тех



случаях, когда нужно было, он даже напрягал свои силы, как и другие товарищи.

К особенностям Стражева относилась не скрываемая им забота о своей особе и её внешности. Стригся он «под польку» со сбитыми волосами наперёд, очень заботился о своём чистеньком и приличном костюме и любил в свободное время покейфовать, а в праздничные дни – и полежать в постели лишний час. Но всё это никем не ставилось в грех или нарушение порядков ассоциации. И другие члены ассоциации допускали те или другие вольности, не перечившие систематическому ходу работ. Лично у меня со времени раннего детства остался в моей памяти возмущивший меня поступок Данила с младшим его братом Яцьком, моим детским в ту пору приятелем, которого он в раздражённом состоянии раздевал по приказанию отца, чтобы окатить святой криночной, но холодной, как лёд, водой, но тогда и сам бесцеремонный Яцько привёл его в раздражение, покусав ему до крови руки. Мои детские воспоминания не имели поэтому влияния впоследствии на наши добрые отношения с Данилом. Его появление у нас как моего земляка и близко знакомого семинариста порадовало меня.

Одним словом, Данило Стражев по своему характеру и поступкам, как человек в зрелом возрасте, смирный и обходительный по нраву, не расположенный к спорам и задорам по темпераменту, аккуратный и исполнительный в обязанностях и работах по общему ходу наших дел, был вполне подходящим членом для ассоциации при нормальных условиях для беспрепятственной деятельности её наличного состава.

Но Данило Стражев и Силуан Лавров попали к нам в царину в самое неблагоприятное время и в такое безвыходное тяжёлое положение, какого не переживали мы ещё ни разу в степи. Обычная, свойственная всем земледельцам тревога стала переходить свои, так сказать, естественные границы. Нам грозила не буря горобиной ночи, а нечто неизмеримо большее – полный неурожай хлеба!



Глава XXI

## Перелом в ассоциации

**В** ассоциации произошёл перелом. Неурожай озимых и яровых хлебов вполне выяснился. Ассоциации грозила неминуемая беда. Огромные затраты труда и нашей энергии пошли прахом. Даже посевных семян мы не могли полностью возвратить из нового урожая. Целые нивы яровых посевов пришлось просто бросить, теряя семена хлеба и не производя уборки его. Засуха всё погубила. «Что делать ассоциации? Куда направиться? Чем заняться?» – недоумевали мы. В течение оставшейся части лета, большей части осени, если будет даже решено производить посев на следующий сельскохозяйственный год, и всей зимы не предвидится никаких работ ни в царине, ни в степи, ни во дворе отца Петра. Промыслов при безработице ни на месте, ни вблизи, за исключением короткого по операциям промысла на соляных озёрах, не было. Оставаться на хлебах у отца Петра было бы большой обузой для него. Получилось невозможное положение, недопустимое в земледельческой ассоциации как производительного предприятия и обидное для нас, её членов. Обстоятельство так сложилось, что приходилось бросить ассоциацию и расходиться по домам или куда глаза глядят. Мы известили нашего товарища Якова Попку, жившего на Таманском полуострове у отца, о критическом положении ассоциации и ждали от него вестей. В самый

разгар наших сетований на безвыходность положения получено было, наконец, долгожданное письмо от Якова Попки. Он писал нам, что на соляных озёрах Таманского полуострова ожидается большой урожай соли, и советовал не терять времени и поспешить всей ассоциацией к нему, чтобы не упустить наиболее удобного момента для вывочки соли, которая может дать огромный заработок.

Казалось бы, что сообщённые Яковом Попкой вести должны были в известной мере успокоить нас и поднять упавшее у нас настроение, но письмо вызвало целую бурю при его обсуждении. Будучи мрачно настроенными и угнетёнными безвыходностью положения, все мы были разочарованы краткостью и категоричностью сообщения. Оно не давало нам уверенности в возможности выйти ассоциации из затруднительного положения. Ассоциация должна была прекратить все свои дела и операции, ехать в далёкую Тамань на месяц или два. А дальше что?

Первым выступил «старший» Васька.

– Что он пишет? – начал он. – Ожидают урожай соли! Бросайте все дела и спешите ко мне. Шутка ли? Ведь уши вянут от таких скоропалительных вестей.

«Старшего» Ваську по-своему поддержал Васька Орлов.

– Да ведь уши у тебя, Васька, вянут не от письма, а, может быть, от того, что они очень длинные, – заметил он самым серьёзным тоном.

– Пошёл ты к чёрту со своими остротами! – закричал раздражённый Васька. – Речь идёт о важном деле, а он со своими шпильками путается в пустяки.

– Чудак ты, Васька, – продолжал в прежнем тоне Орлов. – О важном деле ведь в письме Якова Попки говорится, а не о том, которое у тебя болтается на кончике языка. Ты ж сам говоришь, что то, о чём пишет Яков Попка, – глупость, от которой уши вянут. А я с тобой не согласен. Почему ж ты думаешь, что в твоё стремительное осуждение важного, по твоим же словам, дела, предлагаемого Яковом Попкой, я не должен вносить маленькой поправки? Я и внёс, чтобы вяли уши. Нужно обсудить хорошенько, в чём состоит важное дело, предлагаемое в письме.

– Это верно, – заметил Грицько Попка, поняв, что Орлов ради шутки поддел Ваську своей остротой.

Однако сам Попка, да и все вообще находили неосновательным приглашение Якова Попки о передвижении всей ассоциации на короткий, хотя бы и выгодный срок работ. Споры были жаркие и продолжи-

тельные; спорившие ожесточённо нападали друг на друга не столько по поводу того, как выйти ассоциации из затруднительного положения. Оказалось, что как о самом промысле на соляных озёрах, так и об образовании так называемой самосадочной соли в озёрах, и особенно – о характере и технике работ при добывании соли одни совсем не имели, а другие имели лишь самые смутные представления. Даже отец Пётр и Грачёв, жившие в тридцати верстах от Ясенских соляных озёр и от знаменитого Ханского озера, не видели, а только слышали кое-что о том, как кристаллизуется соль в озёрах и выволакивается из них на сухой берег. Я в детстве и позже неоднократно бывал на ясенских соляных озёрах, ранней весной с дядей Шрамом «драл яйца» мартынов в их гнёздах на островах, а летом видел, как выволакивали соль из озёр. Мои сведения хотя с научной стороны были слабы, но, безусловно, точны в том, что я видел собственными глазами. На меня со всех сторон посыпались вопросы. Некоторые товарищи полагали, что для добычи соли из рапы в озёрах требуется особая одежда, и особенно – сапоги для предохранения ног от порезов солью. Я же сообщил, что не требуется ни одежды, ни сапог, так как вытаскивают соль из озёр казаки в одном белье и даже иногда совершенно голые.

– Как в одном белье? Почему голые? – спрашивали меня товарищи.

– Очень жарко приходится работать, так что и рубашка становится в тягость, – объяснил я двум Васькам, заинтересовавшимся работой, о которой они не имели никаких представлений.

Но особенно удивило их обоих моё сообщение о том, что на соляные озёра с большой охотой ездят больные ломотой, то есть ревматизмом, и «барложатся», по местному выражению, в жидкой солёной грязи, сильно нагретой солнцем. Они лежат в этой грязи большую часть дня, обложив те места в организме, в которых они испытывают ревматические боли. После этого лечения они совсем вылечиваются от ревматизма. В то время грязелечебниц не было на Кубани, а больные ездили на озёра и по собственному разумению «барложились».

Это настолько заинтересовало Ваську Орлова, что он изъявил желание первым ехать к Якову Попке, чтобы при солепромышленной работе в воскресный день доставить себе удовольствие «побарложиться» в грязи, чем вызвал дружный хохот. Настроение повысилось.

Я прибавил, что Яков Попка не ошибается в возможности добыть хороший заработок на соляных озёрах. Солепромышленность, как и рыболовство, с промышленными целями давала хорошие заработки при благоприятных условиях погоды. Но добывать соль с промыш-

ленной целью, как и ловить рыбу с этой же целью, имели право одни казаки. Солепромышленность легче, чем рыболовство, давалась любому казаку. Для этого промысла не требовалось ни жилых помещений и построек для снастей и орудий, ни рыболовных заводов, ни лодок, сетей или крючьев при рыболовстве и земледелии. Выволочка соли производилась обыкновенно только в жаркую погоду. Тогда не требовалось ни тёплых помещений, ни тёплой одежды. Самым роскошным помещением считался курень. Для постройки его требовалось очень мало и времени, и материалов: час, два или три – и курень готов. Длинные, аршин в шесть, шесты упирались полукругом одним концом в землю, а другие, верхние концы шестов сводились вверху все вместе и крепко связывались в один пук верёвкой, этот остов покрывался дорожным войлоком или веретьями, и конусообразное построение было готово. Но и в таком виде курень считался роскошью. Чаше поднимались вверх оглобли повозки в полувертикальном положении, крепко прикреплялись они откосами к передней части повозки, а сверху покрывались войлоком или веретьем. Получалось приспособление для защиты: днём – от солнца, а ночью – для спанья, столь же удовлетворяющее своему назначению, как и курень, но устройство его, кроме некоторой затраты времени, ничего не стоило.

Единственным орудием для выволакивания соли из озера на берег служила толстая доска аршин около шести в длину, поставленная на ребро, с двумя вделанными в неё держакими в виде длинных палок. Доска эта запускалась в слой лежавшей на дне озера осевшей соли и волоком за держак выволакивалась с солью на берег озера. Выволоченную на берег соль в просохшем виде аккуратно складывали в «кагаты», то есть в кучи, и прикрывали их камышом, сорными растениями и травой для защиты от дождей. В кагатах, впрочем, хранилась одна войсковая соль, то есть соль, собранная в войсковые склады, в виде пошлины в доходы всего войска. Собранную же в свою пользу соль казаки увозили домой и распоряжались ею, как хотели – продавали и меняли на пшеницу и другие продукты в станицах, поставляли её рыбопромышленникам и торговцам.

Всеми этими подробностями был настолько освещён соляной промысел и его выгоды, что бурные споры на совещании приняли спокойный деловой характер. Само собой, стали понятными надежды Якова Попки на ожидавшийся большой урожай соли. Очевидно, что и на Таманском полуострове, как и у нас, стояла сильная жара и засуха – самые благоприятные условия для кристаллизации соли из соляной

рапы в виде осадков на дне озёр. Жара и засуха убивали или сильно понижали урожай хлебов и повышали урожай или накопление кристаллических осадков соли, а дожди, наоборот, повышали урожай хлебов и понижали залежание соли в озерах. В итоге родилось предложение не отправляться на Таманский полуостров, а заняться солепромышленностью на месте – на Ясенских соляных озёрах.

Но солепромышленность на Таманском полуострове находилась в лучших условиях, чем на Ясенских озёрах. Таманская соль считалась по качеству выше соли ясенской, а главное – там обеспеченнее был сбыт её. Таманскую соль охотно покупали торговцы для продажи в лавках как внутри Кубанской области, так и вне её. Много этой соли шло и через Керчь. Соль эта имела даже своё историческое прошлое. Когда в местности, где делилась Кубань на два рукава, впадавшие один – в Чёрное, а другой – в Азовское море, генуэзцы основали колонию Ксапу, или Капорио, то соль в этой местности употреблялась не только для рыболовства, но и служила у итальянцев и у местного населения меновой единицей или денежными знаками. Всё это вместе взятое и плюс наличность на месте Якова Попки, члена нашей ассоциации, который был знаком с местными условиями солепромышленности, привело совещание к мысли о преимуществах добывания соли на Таманском полуострове сравнительно с солепромышленностью на Ясенских озёрах, находившихся в глухом месте.

В то же время само собой выяснился вопрос о выделении из ассоциации части членов для поездки на Таманский полуостров. Яков Попка рассчитывал на весь состав ассоциации, за исключением отца Петра, а именно: на меня, Грицька Попку, Грачёва, «старшего» Ваську, Ваську Орлова, Силуана Лаврова и Данила Стражева. Такая артель могла бы добыть несколько тысяч пудов соли и выгодно продать её оптом в Керчь или в другое какое-нибудь место. Но два члена – Силуан Лавров и Данило Стражев – вышли из состава ассоциации и оставили её прежде, чем получено было письмо Якова Попки.

Силуан Лавров, видя крушение своих надежд в ассоциации и удручённое состояние её членов, заявил об уходе из ассоциации, так как лично он был малоопытен в земледельческом хозяйстве и не мог оказать нам существенной помощи, а к тому же не предвиделось даже для нас никаких работ. Стражев объяснил свой уход последним доводом – отсутствием работ в ассоциации, но прибавил, что при малейшем улучшении дел в ассоциации он с удовольствием вернётся к нам, и просил уведомить его об этом. Оба они уходили с явным сожалением

и с несомненной искренностью уверили нас в том, что короткое пребывание их у нас навсегда останется самым светлым воспоминанием. Наша крепкая товарищеская связь, несмотря на жизненные невзгоды и на мелочные расхождения её членов в целях ассоциации, и дружеские товарищеские работы в достижении намеченных нами целей, видимо, ценились ими и пришлись им по душе.

Таким образом, наличный состав ассоциации, включая в неё и отца Петра, состоял из семи членов. Но отец Пётр не может ехать на Таманский полуостров для добычи там соли, бросив собственный дом, хозяйство и приход. У меня уже был на примете заработок более обеспеченный и не меньший, чем на солепромышленности, да к тому же и в более благодарной и полезной для себя и для других форме, так как я получил уже приглашение переехать на хутор к Г.Л. Миргородскому для подготовки его двух маленьких «апостолов» Петра и Павла в средние учебные заведения. Наконец, Кирилл Грачёв, узнав, что ему предстояло ехать к Якову Попке, так как на незначительные неоконченные наши летние полевые работы можно было нанять работника, категорически заявил, что он не может оставить одного отца-старика на дому для непосильных ему работ и забот по хозяйству и семье. В результате оказалось, что три члена ассоциации – Грицько Попка и два Васьки – могли отправиться на Таманский полуостров с промысловыми целями, а остальные три – я, отец Пётр и Грачёв – оставались на месте. Так единогласно и решено было на общем собрании.

Отец Пётр, больше всех терявший на таком расчленении ассоциации в материальном отношении, с наибольшей настоятельностью поддерживал именно это решение в целях укрепления ассоциации, хотя и на меньшем числе, но на наиболее стойких и преданных делу членов. Тогда же он внёс предложение об окончании летних работ им совместно с Грачёвым при нанятом работнике и об учёте части имущества ассоциации, вложенной в рыболовные снасти, из приходившихся на её долю денег за проданное зерно в истёкшем году. Трое нас – я, отец Пётр и Грачёв – должны были произвести этот учёт.

В таком виде наметился перелом в ассоциации. При всех усилиях крепко держаться друг за друга для нас ясно было, что ассоциация кололась на части и что наши юношеские мечты о переустройстве земледельческого хозяйства и экономического быта в Черномории – о более широких планах мы уже не мечтали – свелись к прозаическому положению рабочих людей: дайте нам работу. Мы, тем не менее, не пасовали окончательно и в практическом отношении остановились на

очень простой цели – заработке целой группой, хотя бы и в разных местах, необходимых средств, чтобы стать снова на ноги. Я не ставил на собрании общего вопроса о поступлении в Петровскую академию во избежание резких расхождений между нами, но условился с Попкой, что он будет действовать в этом направлении на товарищеской на Таманском полуострове, а я буду развивать ту же мысль на месте. По этому вопросу я сделаю небольшое отступление в порядке изложения воспоминаний и сообщу о своих разговорах с Грачёвым и с отцом Петром в то время, когда два Васьки и Попка оставили Бриньковскую и находились в станице Старотитаровской вместе с Яковом Попкой.

Разговор с Грачёвым был короток. С первых же слов он заявил, что, при всём желании поучиться в Петровской академии, он не может оставить отца, поддерживавшего семью, и останется на дому, как только будут закончены работы летнего сезона. Старший брат его Кондрат был на стороне и вёл свою особую линию жизни. Я не возобновлял больше разговоров о Петровской академии с Кириллом Грачёвым, поняв тогда же, что он – уже отчленившийся от ассоциации член, как Силуан Лавров и Данило Стражев.

Но когда я заговорил о Петровской академии с нашим милейшим Петром Яковлевичем, тот сразу, как юноша, воспламенился мыслью о высшем учебном заведении. Она не раз приходила уже ему в голову и ранее, и он не прочь, в рясе или скинув её, поучиться в академии или университете. Мне же с Попкой и другим членам ассоциации он советовал, только запасшись знаниями в высших учебных заведениях, пойти потом на работу к трудовому населению. Мы не расходились с ним в этом пункте ни на одну йоту, изредка мечтая на эту тему. Впоследствии отец Пётр осуществил свою заветную мечту, и мы встретимся ещё с ним в дальнейшем продолжении моих воспоминаний. Так с идеей об ассоциациях я переходил постепенно на идеи о науке и научных знаниях как основных источниках для уразумения народной жизни.

Некоторое время два Васьки и Грицько Попка оставались с нами в станице. В царине орудовал один Грачёв с нанятым работником, а мы вдвоём с отцом Петром снаряжали трёх товарищей в поход в Тмутаракань, в те места этой древней и малоизвестной области, на которых расположены были соляные озера и станица Старотитаровская, местожительство Якова Попки. Приведены были в исправность оси и колёса в нашей огромной повозке, при которой мы когда-то путешествовали из Ставрополя в Черноморию, поставлен был на лучший корм конь Васька, произведена была починка сбруи для него, выделена была

часть принадлежавших нам инструментов, вывезенных из Ставрополя, и отчислена на дорогу небольшая сумма денег, находившаяся в кассе ассоциации.

Всё шло своим порядком. Казалось, что наше всесторонне обдуманное и практически наиболее подходившее к нашему исключительному положению решение о выделении части членов из ассоциации на солепромышленный промысел должно было благотворно подействовать на нас и успокоить после перенесённых треволнений. Но жгучие чувства охватили почти всех членов ассоциации, оставшихся на месте и отправлявшихся в Тмутаракань. И я, и Грицько Попка крепко были убеждены в том, что в нашем положении найден наилучший исход, но мне не хотелось, чтобы Попка уезжал без меня, а Попке не желалось, чтобы я оставался на месте без него. «Старший» Васька открыто сожалел о том, что ему не придётся перед отъездом даже побывать в царине, с которой он так сжился и привык к ней. А отец Пётр и Грачёв чуть не тужили о том, что из ассоциации и из их станицы сразу три члена уезжают. Даже Васька Орлов, игравший роль беззаботного по отношению к собственной персоне человека, в минуты откровенности выразился:

– Конечно, разлюбозное дело – поездка в Тмутаракань. Новые места, новые лица, чего же лучше? Оно, знаете, приятнее было бы на знакомом месте да всем вместе сидеть и прохлаждаться.

Чувствовалась несомненная связь между всеми нами. Мы сжились, привыкли друг к другу, а по общему нашему делу мы стали «свои». Никто откровенно не высказывал своих сокровенных мыслей, но, наверное, они не раз мелькали в наших головах: «Уж не отделяемся ли мы совсем и, может быть, больше даже не увидимся?» Жизнь научила уже нас невольно вникать в сокровенные её тайны. Мы не знали, что же после пережитых нами горьких опытов она сулила нам ещё.

Чтобы несколько скрасить вынужденную гадательную разлуку, мы придали проводам уезжавших товарищей своего рода театральные характер дутой торжественности. Для выезда из станицы наших товарищей был назначен воскресный день. В этот день мы должны были петь хором при богослужении в церкви, после чего провести время за общим приличным обедом с близкими к нам лицами и закончить общими проводами уезжавших. Всё должно было производиться по заранее намеченному порядку. Недоставало только печатной афиши.

Кроме нас, в проводах участвовали семья диакона Грачёва, две милые и жизнерадостные девицы – Верочка и Надя, дочери Г.Л. Мир-

городского, приехавшие из хутора в станицу по случаю воскресного дня, Нифонт из местных жителей и один из соседей наших – всего вместе с уезжавшими было нас двенадцать душ. В последний раз мы пели хором на обедне, совершённой отцом Петром и отцом диаконом Грачёвым. Хор гремел на всю церковь, как никогда. Но во время богослужения хоровое пение два раза было нарушено нашими басами – двумя Васьками. Несмотря на все предпринятые заранее меры отцом Петром и на усиленный за басами надзор управлявшего хором Грачёва, басы два раза так гаркнули на всю церковь вперерез хоровому пению, что даже окошки в церкви зазвенели своими стёклами в один тон с басами. Хотя богомольные старухи в эти именно моменты особенно усердно клали поклоны, но сильнейший диссонанс всполошил всех присутствовавших. Когда по выходе из церкви отец Пётр и Грачёв упрекали басов в непомерной крикливости, какофонии и безобразии, басы без смущения, с полным достоинством возразили, что они так пели, как натура их голосов указывала им. И действительно, они не безобразничали и не кощунствовали, а следовали своим естественным побуждениям и своему вокальному искусству. Церковный казус не вызвал, впрочем, резких нареканий и окончился временным переполохом в церкви да некоторым расхождением во мнениях станичных артисток и артистов хорового пения – девчат и парубков, любивших в необходимых случаях «брать голосом високо у верх».

– От басы, так басы, – довольно двусмысленно хвалили наших басов парубки, – увесь хор в лоск сразу положили!

– Та ні, Бог з вами, – возражали девчата, – не треба так круто брать!

Девчата опасались, что и парубки усвоят манеру слышанного ими в церкви пения при совместном с ними хоровом исполнении песен.

После богослужения в церкви отец Пётр пригласил на общий прощальный обед с уезжавшими всех провожавших их лиц. Заказанный им обед был рассчитан на своего рода станичное пиршество. Было всего вдоволь – и пищи, и питья. Обед прошёл в общем весёлом настроении, точно праздновалось в нашей ассоциации какое-то выдающееся в ней событие, а не провода товарищей вследствие вынужденного неблагоприятными обстоятельствами расчленения. В повышенном настроении все пили и ели, без умолку разговаривали, смеялись и шутили. Молодость брала своё. Временно пошли насмарку переживаемые нами беды и злоключения. Они были, конечно, не забыты навсегда, а во время обеда придушены.

Не понизилось общее настроение при проводах со двора. Вся компания приняла участие в этом событии. По общепринятому в Черномории обычаю, прежде чем двинуться за ворота, все мы предварительно сели в разных местах комнаты. Поднявшись после двухминутного или трёхминутного сидения, вышли во двор и двинулись за станицу. Образовался целый кортеж. Впереди всех двигалась наша большая повозка, которую бодро тащил конь Васька, а за повозкой тесной группой следовала вся компания. Встречные жители станицы с любопытством провожали нас глазами.

– Что это такое? – недоумевали бриньковчане.

Кортеж не походил ни на похороны, ни на свадьбу, а между тем, в нём участвовало всё духовенство и весь так голосисто певший в церкви хор. Населению ничего не было известно о пошатнувшихся делах ассоциации, да к тому же и на него не с меньшей, чем на нас, тяжестью надвинулся неурожайный год. Не до нас ему было.

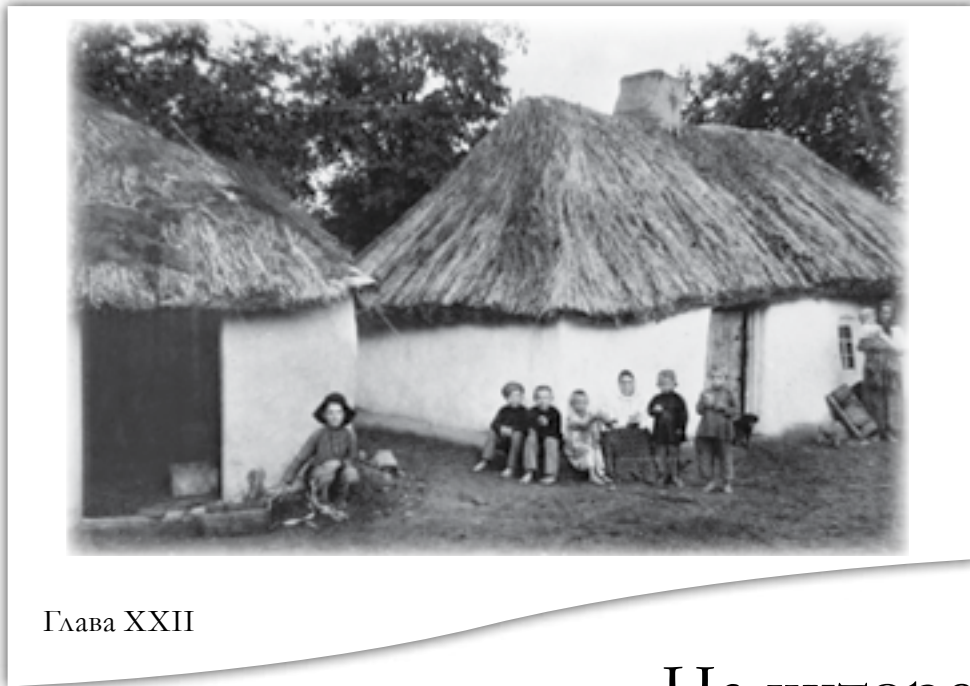
Не останавливаясь в своём движении, мы вышли за станицу и, продвинувшись на полверсты от неё, сделали привал. Это была наша прощальная станция. Она была проста и неуютна. Не было на ней ни яркой зелени, ни цветущих растений, не на чем было даже сидеть. Засуха не пощадила и околицы станицы, а пасущийся скот да свиньи опустошили окрестности донага. Не было у нас ни неизбежной в таких случаях у казаков выпивки, ни какого-либо угощения. К тому же ни уезжавшие наши товарищи, ни мы, оставшиеся на месте, не были поклонниками Бахуса. Общее весёлое настроение в этой обстановке слегка пошатнулось. Более чуткие к состоянию весёлой атмосферы девицы попробовали снова поднять упавшее настроение. Верочка, Надя и Маруся предложили нам играть «в горелки». Мои товарищи, которые тоже почувствовали приступы тоскливой разлуки, охотно приняли это предложение. Началась игра, в которой приняли участие как те, кто оставался в станице, так и те, кому предстояло не ехать, а шествовать у повозки, чтобы не обременять коня Ваську. Все бодрились и старались внести в игру возможно большее оживление. Но игра не налаживалась. Дело в том, что на нас влияла не окружавшая нас невесёлая обстановка, а возвращение после короткого весёлого подъёма к суровой действительности. Но это временное замешательство неожиданно для всех разрешил конь Васька. Надоело ему стоять, и он двинулся вперёд с повозкой.

– Васька начал играть в горелки! – сострил Орлов.

Все рассмеялись и начали прощаться с отправлявшимися в Тмутаракань. Гости отправились по своим домам, а мы с понуренными головами поплелись в полуопустевший двор отца Петра.

Что же такое вдруг произошло с нашими понуренными головами? Непродолжительный, но чреватый своими дальнейшими последствиями перелом в ассоциации. В тот момент, когда её члены вполне освоились с сельскохозяйственными работами и совершенно овладели техникой земледельческого труда, неурожай хлебов поставил ассоциацию в безвыходное положение. Появились явные признаки неустойчивости созданной молодыми силами организации при огромных затратах на неё труда, энергии, настойчивости и веры в избранное дело. Два члена, правда, недолго принимавшие участие в делах ассоциации, совершенно ушли из её состава, а остальные разделились на две части, и основная, оставшаяся на месте часть превратилась не в деятельный актив ассоциации, а в орган учёта и её ликвидации. Появились зловещие признаки не одного только перелома, а и раскола ассоциации. Все мы, члены ассоциации, не исключая и старшего по летам отца Петра, были молоды, обладали не истраченными ещё силами и были активны. Не угасла ещё у нас надежда на лучшее будущее, но только надежда не на полупохороненную уже земледельческую ассоциацию.





Глава XXII

## На хуторе

Странное ощущение почувствовал я после того, как, выведя трёх товарищей на Таманский полуостров, пришёл домой. Это было ощущение пустоты. Пусто, чего-то не хватало во дворе, где я провёл наиболее времени в сожительстве с Грицьком Попкой, значительно меньше – со «старым» Васькой, и совсем мало – с Васькой Орловым. Различным образом относился я к названным трём лицам. Попка был моим другом, самым близким ко мне лицом, с Васькой-старшим как прекрасным работником и хорошим человеком я сжился, несмотря на некоторые странности в его поведении и в поступках, а Васька Орлов нравился мне своей весёлостью и оригинальностью, хотя и с некоторой деланностью, поступками. И несмотря на различные периоды сожительства и различную их близость ко мне, отсутствие их ощущалось не в обособленных фигурах или лицах, а в чём-то общем и слитном – пусто было в доме и во дворе именно без них. Это слитное ощущение о трёх лицах, очевидно, обуславливалось последним временем нашего совместного пребывания, но оно назойливо лезло в голову и неприятно действовало на меня. Изменения в доме и во дворе произошли не в мёртвой обстановке, а в живых людях, и томительно переносились мной. С нетерпением я ожидал дня, на который назначен был мой переезд на хутор Григория Львовича Миргородского.

В следующее воскресенье поздно вечером я был на хуторе Миргородского. В момент приезда было темновато, и мне казалось, что я попал в какое-то неведомое мне в степи место. С некоторой отчётливостью я заметил огромный дом, большой двор, какого не было и в станице, незначительную садовую растительность, шагах в тридцати от большого дома – несколько меньших домов и трёх больших лохматых собак. Неприветливо, с лаем и ворчанием встретили они нас, но, обнюхав, признали приехавших своими, прыгали и визжали, ласкаясь ко всем, не исключая и меня. Я старался увильнуть от их ласк, но кто-то в темноте кричал:

– Не бійтесь! Не бійтесь! Нехай вони вас понюхають.

Псы были так велики и внушительны, что я с большой предосторожностью относился к каждому из них, когда они подходили ко мне, нюхали мои ноги и колена, помахивая слегка хвостами. Это, видимо, означало: хотя ты и не наш, но с нашими приехал.

На крыльце большого дома виднелась фигура какой-то женщины. Она давала распоряжения прислуге, таскавшей вещи с линейки, на которой мы приехали. Мои приятельницы Верочка и Надя, то есть Вера Григорьевна и Надежда Григорьевна, повели меня в дом. На крыльце они подвели меня к женщине, дававшей распоряжения, и обе воскликнули:

– А це наша маманя! – прильнув к ней с двух сторон.

Я поклонился, а маманя подала мне руку, которую я пожал. Это была Марья Александровна, жена Григория Львовича Миргородского.

В сопровождении Марьи Александровны и двух её дочерей я вошёл в горницу, в комнату больших размеров, и почти у самой двери меня встретила массивная фигура главы семьи. Он был в белом, чистом, без малейшего пятнышка на нём, длинном казачьем балахоне, прикрывавшем колена, и в таком виде казался в полном смысле монолитом. Стоявшая рядом с ним супруга, женщина выше среднего роста для женщины её полноты, была значительно ниже его мощных плеч, и казалась маленькой фигуркой возле мужчины-монолита. Глядя на них, я сразу, помнится мне, уловил несоответствие в выражениях их физиономий. Оба они глядели на меня приветливо, с улыбающимися лицами, но Марья Александровна, не отличавшаяся особенной красотой, с длинноватым носом и правильным удлинённым лицом, поразила меня с первого взгляда, при слабом свете лампы, энергичным выражением физиономии, а гигант Григорий Львович, с круглым, правильно-го склада лицом и толстыми, падавшими ниже подбородка казачьими

усами, дышал таким добродушием, которое, казалось, горело ярче слабо мерцавшей керосинной лампы.

– Чого ви так запізнались? – обратился Григорий Львович ко мне.

– Пізенько виїхали, та й коні так везли, – объяснил я наше запоздание.

– Так воно й вийшло! – воскликнул Григорий Львович. – Я ж казав: не запрягайте коней ріжних мазунців, а запрягайте коней немазунців. Це ви, мабуть, мою команду поламали? – обратился он к дочерям.

– В корені був мій вороний, а на пристяжці Надічкін карий, – объяснила Верочка.

– А щоб вас, – подняв руку вверх, воскликнул Григорий Львович, стараясь придать грозное выражение своему лицу, на котором играла сладкая улыбка и слегка дрожали концы мощных казачьих усов, как дрожат они обыкновенно от смеха.

Верочка и Надя бросились от мамани к отцу, и он крепко обнял каждую, целуя лоб и щеки. Так растворился гнев монолита-казака.

– Та це воно у нас так заведено, що у кожної є свій любий кінь із тих, на яких ми їздимо. У Віри – вороний, а у Надежды – карий. Мабуть, забили вони памороки тому, хто правив конями. «Не погоняй так дуже вороного!» – кричала одна. «Придержуй, а не бий карого!» – добавляла другая. Так було? – обратился он ко мне.

– Так! – смеясь, подтвердил я.

– Отак вони командують и мною, як їдемо вкупі, сказано – діти... Чи то бач, дівчата! – продолжал Григорий Львович. – Жаліючи своїх коней, вони, мабуть, кучера та й вас запрягли б одного в корінь, а другого на пристяжку, – глядя на обеих дочерей, с неподражаемо добродушным видом произнёс грозный отец.

Поднялся громкий смех. Смеялась Марья Александровна, смеялся я, смеялись Верочка и Надя, слышался звонкий, как колокольчик, смех двух мальчуганов, сидевших где-то в тёмном углу горницы.

– Хлопці! – произнёс более властно, приняв серьёзный вид, отец. – Чого ж ви сидите там, як горобці в полові? Марш сюди!

Очнулась и Марья Александровна, стоявшая рядом с Григорием Львовичем и с улыбкой следившая за каждым, казалось, словом и движением его.

– Дети, идите же к нам! – произнесла она.

Тут только я вспомнил слова отца Петра: «Жінка у Миргородського не наша чорноморка, а московка, і нам дуже до масті пришлась».

К нам медленно и неохотно подходили два смущённых мальчугана.

– Петя! – назвала одного Марья Александровна. – Павлуша! – произнесла она, приглаживая волосы на голове другого.

Это были мои ученики, «апостолы» Пётр и Павел, как назвал мне их Миргородский в станице Каневской. Они были близнецы, родившиеся перед праздником Петра и Павла, почему и получили эти имена при крещении, по желанию матери и отца.

Так познакомился я со всей семьёй Миргородского, Марью Александровну и «апостолов» я увидел в первый раз. Марья Александровна была домоседка и держала при себе обоих мальчиков. Когда же она наезжала в станицу, мне не приходилось встречаться с ней и её детьми.

Вечером мы пили сначала чай, а потом ужинали, вели самые шаблонные разговоры о том, что происходило в станице и на хуторах, и рано разошлись из столовой. Марья Александровна с детьми повела меня водворять в моё помещение. Оно находилось во флигеле, пристроенном к большому зданию кухни и кладовой, и состояло из прихожей и поместительной комнаты.

– Скоріше причиняйте двері! – приказала детям Марья Александровна на украинском языке. – Эти клятві комарі положительно заедают нас, – пояснила она на смешанном наречии.

Она хорошо владела своим родным языком, но в её русский значительно вклинился язык украинский. Жизнь, как убедился я потом, заметно переделала её в этом отношении, поставив московку в казачьи украинские условия. Когда со словами: «Спокойной ночи!» – повторёнными и остальными, она ушла с детьми из комнаты, я стал с любопытством оглядывать своё жилище. В углу большой комнаты стояла деревянная кровать, покрытая лёгкой периной, двумя взбитыми пуховыми подушками и чистой белоснежной простынёй. Вдоль одной стены с окнами на юг стоял большой стол, в разных местах комнаты расставлено было полдюжины стульев, а у двери на двух табуретах находились: на одном – медный таз, посуда, очень распространённая у черноморцев, и возле него – большой, для воды, глиняный с ручкой кувшин, а на другом табурете стояла большого размера глиняная миска для сливки в неё воды. Особо на гвозде, вбитом в стену, висело чистое полотенце. Стены и потолок комнаты белели, а доливка, то есть глиняный пол, слегка блестел, как свежесмазанный. В степи дерево, особенно доски, ценились на вес золота, почему ни в комнате, ни в прихожей не было деревянных полов.



По тем удобствам казачьей и притом хуторской жизни, какие преобладали в то время в Черномории, я попал в лучшее по обстановке помещение, в каком не приходилось ещё мне жить. Это было не только удобное, а и роскошное помещение, какое встречалось только у богатых людей. Тогда в домашней казачьей обстановке не было ещё ни электричества, ни газового освещения. На столе горела небольшая керосинная лампочка, и стояли две сальные незаезженные свечи в медных подсвечниках. Медные подсвечники считались также предметами роскоши, а сальные свечи у всех были свои, самодельные, и приготовлялись едва ли не в каждом дворе из лоя (бараньего сала).

Я разделся и с удовольствием улёгся в чистой и мягкой, чуть ли не всей из пуха, постели, на какой я не спал ещё в своей жизни. Матрацев или тюфяков не было ещё в употреблении тогда в Черномории, хотя и были «сенники» и «соломенники» – нечто вроде огромных мешков, набитых сеном или соломой. С матрацем, или тюфяком, я освоился только в семинарской бурсе. Меня так удовлетворила обстановка комнаты и так повлиял на меня радушный приём семьи Миргородского, заботы обо мне Марьи Александровны и дружеские отношения молодых красивых девиц, что я не мог сразу уснуть. Целую неделю в станице я провёл в каком-то полутревожном состоянии: сначала меня томила пустота в доме и во дворе отца Петра при отсутствии товарищей, а потом – перерыв в регулярной работе. Я не мог даже читать книг как следует. Только в то время, когда мы вдвоём с Петром Яковлевичем сидели над учётом нашего денежного запаса и денежных счетов, я несколько оживлялся и чувствовал себя, как говорится, в своей тарелке. Здесь же, в совершенно иной обстановке, при иных условиях и у иных людей при течении обыденной жизни, с меня, как полпуда, спало угнетавшее меня настроение при неопределённости пошатнувшегося положения. В постели я раздумывал о своём новом положении, крепко решив употребить все усилия на обучение «апостолов», производивших на меня хорошее впечатление, чтобы отплатить за оказанный мне приём, обещавший прекрасные отношения с новыми людьми, – такой приём на хуторе, какой не мерещился мне в моём воображении, и так же крепко, как решил работать и вести себя в чужой семье, заснул богатырским сном.

На другой день после крепительного сна я встал бодрым и хорошо настроенным рано утром, приблизительно около четырёх часов. Солнце ещё не всходило, но восточная часть неба снизу ярко горела интенсивно красным светом, постепенно меняя яркую красную окра-

ску при переходе ввысь в более слабый, нежный золотистый цвет. Во дворе вблизи моей комнаты и даже вглубь двора происходило шумное и разноголосое движение. Мычали коровы и подавали свои тонкие голоса матерям телята, горланили во всю глотку утки и кричали гуси, курлыкали и шумно галдели индейки и индюки и матерински заботливо хлопали наседки, водившие уже больших лоботрясов петушков и смиренных по внешности, свойственной женскому полу, курочек. Одновременно происходило доение коров, материнское их общение с телятами, а затем кормление шумевшей на разные голоса птицы и хрюкавших свиней. В это время из большого дома вышел и спускался по ступенькам крыльца Григорий Львович. Он был в длинном ночном халате, с кучей всклокоченных на голове белых серебристых волос, и опирался на длинную, доходившую до его плечей, палку.

Я взглянул на него, и в голове блеснула мысль: «Это патриарх, настоящий патриарх, но не в библейском духе, а наш, степной, казачий патриарх!» Увидев меня, он закричал:

– А ви вже встали? Оце по нашому козачому звичаю. З понеділком вас!

В тот же момент, услышав голос хозяина, к нему мчались три мохнатых пса с приподнятыми крючком хвостами. Они буквально бросились к нему с ловкостью и манерами дворовых собак, привыкших к человеку. Став на задние ноги, передними они упёрлись в его бока и грудь, лизали руки, визжали от удовольствия и пытались лизнуть языком в лицо, но, несмотря на свой большой рост, толстые шеи и длинные языки, не могли достать до физиономии чествуемого ими хозяина.

– Бурун! Барбос! Бровко! – со смехом как бы переговаривался с собаками Григорий Львович. – Перестаньте! Чого ви пристали до мене?

Одной рукой он снимал упёртые в его грудь и бока лапы, а другой слегка гладил. Собаки понемногу угомонились. Подошли и ко мне, обнюхивая и как бы из вежливости махая хвостами.

– Отак вони кожний раз мене привітають, як довго мене не бачуть або почують мій окрик, – объяснял мне Григорий Львович комичное приветствие, устроенное ему собаками. – Вони знають хазяїна, по-своєму думають і понімають мене. От через те, що ви зо мною, вони і до вас підійшли і ласкаво махають вам хвостами.

– Та вони вже нюхали мене вчора, – сообщил я.

– От бачте! Тепер вони зовсім признали вас своїм, – уверенно заключил свои объяснения хозяин двора.

В сопровождении собак мы двинулись дальше по двору. Впереди нас виднелся баз с рогатым скотом, где между животными шныряло несколько лиц обоего пола. Не зная, что происходило в базу, я осведомился, что делают там люди в стаде.

– Хиба ви не бачите? – обратился Григорий Львович ко мне. – То ж не стадо, а одні тільки дойні корови. Стадо онде, біля річки! – махнул он в ту сторону рукой.

Я взглянул на берег реки и, увидев там сотни две или три рогатого скота, с удивлением спросил:

– Так скільки ж тут в базу коров?

– Та я таки толком не скажу вам, скільки доїться їх тепер, – ответил Григорий Львович. – Торік доїлось їх штук до семидесяти. Цим керує моя Марья Александровна. Перещитайте, скільки там доїльниць і дві куховарки, що на робочій кухні пораються, та одна наша, що у нас стряпає, та троє тих, що біля птиці та свиней з поросятами топчуться, та три кімлички і на придачу ще баба-цокотуха, що у всіх за попихача працює, – от вам десятеро. Считайте по шести або по семи коров на кожну доїльницю, от вам шістдесят або сімдесят коров. У нас за два раза – утром і вечером – ні одна корова не дає більше дійниці, або відра, молока. Розпитайте командиршу над коровами – Марью Александровну, вона краще мене це знає і краще мене розкаже вам. Та он вона вже іде сюда. Мабуть, полічила вже свиней та поросят. Кляті свині поросят своїх їдять – от вона і веде їм контролю.

Я с любопытством выслушал все эти подробности и удивлялся тем размерам молочного хозяйства, в каких оно велось на хуторе. На наших деревянковских хуторах у самых богатых хуторян было не больше тридцати коров. Правда, у нас не было такого широкого простора, каким пользовался скот Миргородского на прилегавшей к его хутору степи.

Подошедшая к нам Марья Александровна пожелала мне доброго утра у них на хуторе и охотно разговаривала со мной, делая свои хозяйские распоряжения подходившим к ней служащим. По её сведениям, оказалось столько же приблизительно доившихся коров, сколько по своим соображениям определил и Григорий Львович, – именно семьдесят. Сообщаемые им факты всегда отличались точностью, как я неоднократно убеждался. Правдивость и точность были отличительными чертами этого старого пана казака. Он направился на конюшню к лошадям, а я остался с Марьей Александровной. На моих глазах произошли течение и смена всех молочных операций при доении коров и

распределение молока сообразно с хозяйственными нуждами. Раньше таких размеров операций с молоком я не видел в Черномории.

Доили на хуторе коров таким же варварским способом, как и всюду по Черномории. Из особого помещения выпускали телят, которые быстро по мычанию матерей находили их. Телят подпускали к соскам матерей для вызова в сосках молока и жестоко деревянными отбивачами били их по мордочкам, когда они пытались полакомиться материнским молоком при работе доильщицы. Вне огорожи база у ворот стояло приблизительно два десятка ушат вёдерного размера, в «уши» которых были воткнуты крепкие палки. Попеременно в один ушат вливалось выдоенное у коров молоко, и когда он наполнялся, его покрывали сверху крышкой, и двое на палке, взявшись за её концы, относили его в особую кладовую при кухне и сливали там молоко в два больших чана.

Из этих чанов Марья Александровна распределяла молоко по хозяйственным нуждам. Брала молоко, сколько им требовалось, приходившие на доение коров калмычки в свои кожаные сосуды, часть молока в сыром или скисшем виде отправлялась рабочим на поле или на сенокос, когда там производились работы; часть отправлялась в скромные дни для кухни и для продовольствия семьи; остальное молоко предназначалось на сливки, сметану, творог, кислое молоко, и главным образом – на масло. Всё это велось по заведённому хозяйкой порядку. В наибольших размерах производились молочные операции с весны и летом, когда наибольшим было число дойных коров и хороших для них кормов в степи, к осени эти операции постепенно сокращались, а зимой доходили до крайнего минимума. Коровы, дававшие круглый год молоко, были большой редкостью в степях.

Меня особенно интересовало и часто забавляло потребление молочных продуктов в двух видах – в виде сыра, как называли черноморцы собственно творог, и сыворотки. Творога, особенно весной и летом, на хуторе было так много, что его буквально некуда было девать; не в силах были потреблять его в виде вареников, сырников и пирожков вся семья Миргородского, вся прислуга при ней и огромный штат наёмных рабочих. С весны творог шёл в корм, главным образом, индюшат, а при особом обилии его – цыплят, утят и гусят. Я ещё застал летом на хуторе кормление творогом больших и маленьких индюшат. Картина этого кормления отличалась шумом и комизмом. Индюшата с криком, писком и жадностью набрасывались на творог, вырывая его изо рта друг у друга. Старые же индейки, не допускаявшиеся сторожившей их

женщиной к птенцам, стояли рядом с детворой, высоко подняв головы вверх как бы для наблюдения за колобродившей молодежью, но они выжидали лишь удобного момента, и когда ослабевала бдительность представленной к ним прислуги, быстро нагибали головы вниз, бросались в среду детворы, топтали её ногами, вырывая изо рта кусочки творога. Индейки не были так благовоспитанны, заботливы и чадолюбивы, как благородные наседки и петухи, криком приглашавшие других взрослых куриц и цыплят для потребления найденных ими крошек пищи.

Другой продукт – сыворотка – шёл в пойло свиньям, которые очень ценили его и поднимали невыносимый визг и хрюканье, увидев женщину, несшую ведро. Сывороткой подкармливали и поросят, а тех из них, которые выкармливались на жаркое к хозяйскому столу, подкармливали также и творогом. Очень уж вкусным считалось жаркое из откормленных такой изысканной пищей поросят.

Так велось на хуторах у богатых скотоводов молочное хозяйство с подспорными ему промыслами. Наиболее ценный продукт его – коровье масло – обыкновенно вырабатывался с помощью взбалтывания в сосудах сметаны самым примитивным способом. В то время в Черномории были только деревянные маслобойки, покупаемые в городах на ярмарках и представлявшие собой несколько усовершенствованный сосуд для взбалтывания масла. О сепараторах никто не слышал, да и сам я был также в числе не слышавших и не имевших никаких представлений об этих аппаратах.

Кратко изложенные подробности дают реальное представление об одном виде примитивного скотоводческого хозяйства, в каком оно велось на хуторе Г.Л. Миргородского. Это было разведение рогатого скота – типичное хозяйство на хуторах черноморских скотоводов, которое на моих глазах уступило место зерновому хозяйству. У Миргородского было довольно большое стадо, но у других скотоводов бывало его ещё больше. В хуторе было также значительное количество всех видов домашней птицы для собственного, главным образом, потребления – кур, индеек, уток и гусей. Имелась целая отара овец, находившаяся всё время в степи вдали от хутора. Но главное богатство Миргородского составляли лошади. Когда я приехал на хутор, у него, по словам пасших лошадей калмыков, насчитывалось в табуне до тысячи двухсот голов. Утром я видел только один рогатый скот, с которым возились рабочие, домашняя прислуга и энергичная хозяйка.

Из обширной и прохладной кладовой возле кухни я отправился с Марьей Александровной прямо к чаю в большой дом, как только она

покончила со своими утренними хозяйственными делами и распоряжениями. В столовой были уже налицо все члены семьи. Мы вкусно позавтракали горячими пирожками с творогом и сметаной и запили их ароматным чаем со сливками и сдобными печеньями. Тогда же я сказал своим ученикам, чтобы они пришли после чая ко мне в комнату, и мы начнём занятия. У «апостолов» страшно вытянулись физиономии, и они почему-то украдкой посматривали то на отца, то на мать, привыкнув подчиняться только их распоряжениям. И действительно, с места встал Григорий Львович и, указывая пальцем на «апостолов», сказал мне:

– Сегодня не слід би займатись їм книжками та ученням.

– Чого? – вырвался у меня вопрос.

– Хіба ж ви забули, що сьогодні понеділок? – спросил он меня.

– Ні, не забув, – ответил я, не понимая, к чему клонил своё замечание казачий патриарх.

– Понеділок – важкий день, – пояснил он.

Мне в голову не могло прийти, что серьёзный и разумный старик придерживался такого нелепого предрассудка, но «в чужой монастырь не суйся з своїм уставом». К мнению главы семьи примкнула и его супруга, советуя ближе познакомиться с хутором. Молча я внимательно посмотрел на всех. «Апостолы», видимо, торжествовали. Верочка и Надя так выразительно смотрели на меня, что я уловил в их открытых и дружественных взорах, что они на стороне отца и матери. У меня не было союзников, чтобы затевать спор о нелепом предрассудке. «Да и к чему это?» – подумал я. Меня пригласили сюда не для борьбы с предрассудками, которым в жизни не счесть числа. У меня своё дело, а хозяин и хозяйка дают мне надлежащее указание, с чего я должен начать свою работу в незнакомом мне хуторе и с незнакомыми мне людьми. Прежде всего, следует познакомиться со стариками, их семьёй, особенно с учениками, с порядками хуторской жизни и тому подобным. «Хорошо было бы, – думал я, – если бы тяжёлыми днями оказались не только понедельник, но и вторник, среда, четверг, пока я выясню своё положение в чужой семье и условия для лучшей постановки своей работы». Я решил действовать в этом направлении.

– Григорий Львович! – обратился я к нему. – Хоч понеділок й важкий день, а він багато вже дав мені про хутор. До вечора, мабуть, я ще більше побачу та й з моїми учениками познайомлюсь. Виходе, що з цього треба і мені починати свою науку, щоб до хутора приспособитись. Бо я в хуторі ніколи ще не жив.

– Та про це ж і я кажу вам, – заговорил Григорий Львович и начал развивать мысль своей супруги. – Поживіть у нас та й придивіться. Дош же за комір не ллє вам воду. В південь ви табун побачите, як приженуть його кімлики на водопой, або й сам він без кімликів прибіжить...

– Як же він сам прибіжить? – прервал я Григория Львовича, заинтересовавшись самостоятельностью огромного табуна.

– Та і прибіжить, як слід, – об'яснил мне старый хуторянин. – В табуні ж є свої командіри, вони й приженуть його. Беріть з собою хлопців; вони вам усе про табун розкажуть.

В это время ещё раз присоединилась к нам и Марья Александровна, развивая ту мысль, что на хуторе не в таких условиях и обстановке живут люди, как в станице; следует присмотреться к хуторской жизни и порядкам, чтобы свыкнуться с ними.

– Походите с детьми и посмотрите всё, что хотите; у нас всё открыто делается, – говорила она.

О детях же она отозвалась, что они всё мне расскажут, что знают, и рады будут этому, и что, таким образом, они не будут на меня смотреть «хуторскими волчатами», а я ближе узнаю их.

На таких простых и естественных соображениях был неожиданно для меня разрешён вопрос о начале занятий.

Марья Александровна подседа к своим дочерям и завела с ними какой-то разговор, а Григорий Львович послал дивчину, чтобы она нашла и привела моих учеников, которые предусмотрительно удрали из столовой, как только решён был вопрос о том, что понедельник – тяжёлый день.

Я спросил, между прочим, Григория Львовича, с чего лучше всего начать мне осмотр хутора, но он добродушно ответил:

– От цього вже я не скажу вам. Знаєте що? – с юмором прибавил он. – Спитайте хлопців; вони краще нас з вами розкажуть, з чого почать.

Появились хлопцы. Но в тот момент, когда я собирался двинуться с ними на осмотр хутора, неожиданно для нас мной овладели Верочка и Надя.

– Зайдіть же, Федір Андрієвич, і до нас, – заговорила старшая сестра, обращаясь ко мне. – Ви ж не були ще в нашій хаті.

– Добре, – ответил я, внимательно посматривая на отца.

– Та ідіть вже, коли кличуть, – махнул он рукой.

Я пообещал зайти, и девицы отправились в свою комнату, а я предупредил Григория Львовича, что всё-таки я заинтересован тем, чтобы осмотреть хутор с учениками.

– Успієте ще, – сказал он и прибавил: – Це вже, мабуть, Марья Александровна покомандувала, бо дівчатами вона командує.

Я ушёл и начал осмотр хутора не без смущения с девичьей комнаты, не понимая, почему это так произошло, тем более что с обеими девицами я был ближе всех знаком, не исключая и Григория Львовича.

Уютная комната с двумя кроватями, с двумя столиками с зеркалами на них и разного рода принадлежностями туалета, с картинами на стенах, с горшками цветов и разного рода зелени на окнах и с несколькими стульями в разных местах произвела на меня приятное впечатление уюта и чистоты в обстановке. Я никогда не видел апартаментов девиц нашего благородного сословия, да они, кажется, были в то время большой редкостью городского комфорта в хуторах и станицах. Девицы показали мне фотографические карточки знакомых и каких-то офицеров. И фотографические карточки были также большой редкостью. Наконец, старшая сестра Верочка показала мне свой альбом – нечто вроде хорошо переплетённой книжки с чистой белой глянцевитой бумагой внутри, на которой знакомые делали свои записи, стихи разного рода авторов, изречения, изъятые из надписей на конфетных бумажках. Это уж была редкость из редкостей, что свидетельствовало о новизне, проникавшей в простую демократическую казачью жизнь из города и даже из-за границы через такие центры, как портовый город Ейск и главный город Кубанской области Екатеринодар. Я усердно хвалил редкости, показанные мне моими приятельницами, а они, краснея от удовольствия, дополняли подробностями получения ими своих редкостей, но когда, расхваливая альбом Веры Григорьевны, я пообещал ей написать в нём стихи собственного сочинения, восторгу её, казалось, не было границ, а Надя решительно заявила мне:

– Так я скажу мамані, й вона купе мені альбом.

Откровенно говоря, и меня заинтересовал визит у девиц, но я не знал, кому принадлежала инициатива приглашения. Только впоследствии думал, да и теперь думаю, что всё это придумано было Марьей Александровной в тот момент, когда нами решено было, что я буду знакомиться с хутором и порядками хуторской жизни. Марья Александровна заметила, что на меня произвела крайне неблагоприятное впечатление вера в понедельник как тяжёлый день для начала важной работы. Чтобы скрасить возникшее между нами маленькое недоразумение, Марья Александровна, как умная, наблюдательная и тактичная в своих отношениях особа, и хотела показать, что Миргородские –

люди культурные, стоящие выше невежественной массы. Так как культура в то время шла и воспринималась верхними слоями казачества в виде женских мод и полезных в жизни нововведений, то и была пущена в обзор, прежде всего, комната двух дочерей как помещение наиболее культурное.

Я недолго сидел в гостях у моих приятельниц. Выходя с ними обратно в столовую, мы застали там Григория Львовича и Марию Александровну, и я сказал ей, что я сделал уже визит Вере Григорьевне и Надежде Григорьевне. Теперь следует сделать визиты к моим ученикам. Мария Александровна сообщила, что у них нет своей особой комнаты, а Григорий Львович прибавил, что «вони у нас кочуют так, як козаки в лісу або по плавнях – де забажается, там і сплять, а днем по хутору гуляють». Я попросил позвать моих учеников.

– Зараз вони у мене під рукою, – сказал Григорий Львович. – Гей, хлопці! – крикнул он. – Марш сюда!

Явились хлопцы, и я отправился с ними по хутору. Его обход с «апостолами» не представлял ничего особенно интересного, но от самих «апостолов» извлёк я много поучительного. Они были иного закала, чем сёстры. Маленькие братья брали большею частью пример с отца, хотя и горячо любили баловавшую их мать. Взрослые же сёстры, наоборот, горячо обожали отца и ещё с большей привязанностью относились к матери, которую они считали непогрешимым авторитетом по части женских костюмов, подходящего девицам поведения и обращения со сторонними людьми.

– Маманя, – говорили они, – все знают, як і до кого піти в гості, як і куди сісти і як і з ким балакать.

Мои ученики тащили меня первым делом в конюшню, где стояло несколько лошадей, наиболее необходимых по хозяйству и поездкам. «Апостолы» называли лошадей по именам, слегка трепали их по телу и пытались заплести у них гриву в косы. Лошади, видимо, привыкли к ним, так как хлопцы бывали почти ежедневно в конюшне. Особенно они превозносили разные качества показанных мне лошадей. Одна лошадь была очень рысистой и так шла рысью, что другие лошади еле поспевали за ней в галоп. Иноходец так легко и плавно перебирал ногами, что можно было ложиться у него на спине, если бы она была кроватью. А два скакуна с такой быстротой скакали в галоп, как быстро летевшие птицы. Мои ученики больше всех животных любили лошадей и этим напоминали отца. Из конюшни они повели меня к сажу, в котором откармливались три огромных кабана.

– От рило – так рило, всім рилам рило! – восклицали они со смехом, обращая моё внимание на чудо-кабанов.

На птичнике они указали только одного гусака, у которого большой нос, и он побивал большими крыльями других гусаков. Но, проходя мимо стаи индюков и индюшек, мои маленькие менторы остановились и каким-то резко писклявым голосом выкрикнули:

– Здорово, ребята!

Индюки громко галдели: «Кур! Кур! Кур!», а ученики хохотали.

Со двора Пётр и Павел повели меня к реке, берега которой и блесневшая в реке вода хорошо выглядели из окон большого дома. Эта многоводная весной Князь-река небогата была водой в летнее время. На противоположном берегу её преобладали густые камыши, и вёрст на семь вдоль реки залегали плавни. Но реки как будто не существовало для моих учеников. Они не обмолвились о ней ни одним словом, а повели меня «на тырло», на котором останавливался табун лошадей при водопое. Огромное пространство земли, обнажённое до черноты копытами лошадей, сплошь покрыто было конским навозом. Это и было тырло. Мы обошли почти всё тырло, на котором, кроме навозу и местами – слабой растительности, почти ничего не было. Но «апостолы» останавливались местами и наперерыв друг перед другом делились со мной тем, что и когда происходило здесь в табуне, где и какой косяк останавливался во время водопоя, как ржали кобылицы, отыскивая в огромном табуне своих резвых жеребят, как жеребцы гоняли свои косяки к реке на водопой и обратно от неё в степь. В этих рассказах моих учеников и в ненужном топтании ногами тырла и застал нас табун.

– Табун біжить! – закричали мои осведомители.

Вдали показалась чуть заметная тучка пыли в воздухе. По мере приближения табуна к реке, тучка эта разрасталась. Мы заранее отступили с тырла ближе к ограде хутора, заняли самое удобное место для наблюдения за табуном. Сильный топот и ржание неслись от табуна, когда он приближался к реке. Лошади не шли, а все бежали. Тысяча двести голов двигавшихся к нам животных издали казались сплошным наступлением на хутор чем-то встревоженных лошадей. Ни в табуне, ни около него не видно было ни одного всадника. Табун сам, без табунщиков-калмыков, нёсся на рысях под предводительством жеребцов, которые гнали свои косяки и не позволяли каждый в своём косяке даже жеребятм останавливаться. Небольшая издали над табуном тучка пыли обратилась у хутора в тёмное и мрачное облако, вблизи

которого была притоптана растительность и потревожен почвенный покров. В воздухе потемнело, а тырло точно провалилось под землю, сплошь покрывшись лошадьми. Передняя часть лошадей прямо с разгону побрела в воду и жадно поглощала её. Всё в глазах у меня мелькало, и я не различал ничего в сплошной массе лошадиных фигур, а мои ученики сообщали мне и друг другу имена жеребцов и чем-либо замечательных лошадей. «Апостолы» были в восторженном состоянии от наплыва массы лошадей и от их непрерывного движения.

Но восторгам моих спутников положен был предел. С хутора бежала дивчина и махала нам платком. Это означало, что настала пора хуторянам обедать. Я шёл в большой дом со смешавшимися у меня в голове впечатлениями первого дня на хуторе. Над огромным рылом кабана нависал большой клюв непобедимого гусака, разрозненное ржание лошадей смешалось с дружным галдением индюков, из-под лошадиного навоза на тырле выбивались выкрики восторга моих учителей в коневедении. А наиболее импозантное явление в степи – примчавшийся на рысах табун лошадей, потонувший в тучах пыли у хутора, – присмирел, напившись воды. Я слабо разбирался во всех этих впечатлениях, но уловил, что ими живут хуторяне как постоянными внешними признакам чего-то очень важного и существенного для хуторского быта и потребностей хуторского населения. Одно ясно было для меня, что хуторское ежедневное течение жизни и времяпрепровождение не похожи были на тяжёлые, но обаятельно идиллические переживания земледельцев в степи в союзе с матерью-природой, в счастливые моменты творческого единения человеческого труда с неизмеримыми силами природы, пока на этот союз не налетел союз горбиной ночи с господином неурожаем.

Обед прошёл оживлённо, в самом весёлом настроении. Все были в ударе и наперерыв друг перед другом вносили свою долю весёлости и удовольствия в общее приподнятое настроение. Женственная Верочка и стремительная Надя, польщённые моими похвалами их комнатной обстановки и показанных мне ими редкостей как культурных новинок, с восхищением сообщали отцу, что они хорошо видели в окно, как бурно нёсся табун лошадей со степи к реке и обратно в степь мерно двигался от неё, и как я с «апостолами» любовался табуном возле него; осмелевшие «апостолы», как из рога изобилия, осыпали похвалами жеребцов, вожakov в косяках табуна; Марья Александровна в высшей степени была довольна хорошим удоём молока и удовлетворительным состоянием птичьего хозяйства; наконец, Григорий Львович своим

одобрением как бы санкционировал всё это и ставил удовлетворительные отметки различным течениям по хуторскому животноводству. Григорий Львович имел приличное его хутору и дававшее хорошие материальные ресурсы земледельческое хозяйство, но оно находилось на заднем плане хуторской экономики, и хотя не было в забвении, но, во всяком случае, пребывало в тени. Факты превосходства скотоводческого хозяйства над земледельческим были налицо, и мне – новичку в хуторской жизни и в скотоводческом промысле – по необходимости приходилось подчиняться этим фактам и подтверждать их, когда ко мне обращались с вопросами Григорий Львович и Марья Александровна по поводу этих фактов, повторяя в различных случаях одни и те же слова – «гарно» и «дуже гарно». Это была правда, хотя тогда уже, в связи с производившимся межеванием и ростом зернового хозяйства в станицах, начались первые признаки падения скотоводства в Черномории как наиболее прибыльного в степях промысла в примитивном виде.

Так в первое время на хуторе я прожил в своеобразных условиях хуторского уклада жизни и в однообразных, но полных жизненными движениями процессах хуторского животноводства. Я осмотрелся и приступил к своим занятиям. С утра посадил у себя в комнате обоих «апостолов», чтобы резче уяснить себе особенности каждого из них. Это было нечто вроде предварительного экзамена, или точнее – пробы в знаниях и способностях моих учеников. Несмотря на то, что это был не понедельник, а четверг, он оказался для меня далеко тяжелее понедельника, вторника и среды, вместе взятых, а для моих подневольных учеников, живших привычками, навыками и влечениями полной хуторской свободы, далеко тяжелее, чем для меня. Хотя между мной и моими учениками сразу же установились самые прекрасные взаимоотношения, свободные до этой поры «апостолы» жили не моей учёбой, сладости которой они совершенно не ощущали, а одной близкой их сердцу мыслью о том, как бы поскорее удрать от учёбы на свободу во дворе, полном интересными явлениями в круговороте людей и животных.

Мои пробы дали печальные результаты. «Апостолы» плохо читали и ещё хуже писали. Нужно было налечь на то и на другое. Это, разумеется, можно было быстро преодолеть. Но за хорошим чтением с пониманием прочитанного текста и если не за красивой, а сносной каллиграфией, следовали краткие сведения по Священной истории, знакомство со склонениями и спряжениями по русскому языку и с че-

тырьмя правилами арифметики. Я не задавал себе вопроса, успеют ли мои ученики в течение года одолеть всю премудрость предстоявшего им учения, а прямо приступил к делу.

Ученики были средних способностей, послушны и отзывчивы на мои требования. При наличии этих качеств можно было бы сделать многое. Но интерес и внимание их, с одной стороны, к книжной премудрости, а с другой – к окружавшим их с малых лет реальным явлениям жизни, с которыми они уже крепко срослись, двоились, и не в пользу первых, а вторых. Это было вполне естественно. С одной стороны, мёртвые буквы и цифры, какая-то мудрёная грамматика и арифметика, а с другой – живая реальная жизнь людей и животных, табунщики-калмыки, товарчии, или пастухи рогатого скота, личманы и чабаны при отаре, телятники, птичники и разнообразный животный мир тянул внимание моих учеников в эту вторую сторону. Дети ведь привыкли чуть не с пелёнок ко всему живому и действовавшему непрерывно на их глаза, слух и восприятие. Вот тут и крылась для меня загвоздка, чуть ли не равносильная всем тяжёлым дням понедельникам в течение года.

Загвоздка эта тормозила мою работу в самых разнообразных случаях, часто смешных и потешных. Когда по Священной истории я рассказывал об Аврааме, Исааке и Иакове, то ученики засыпали меня разного рода вопросами, особенно когда речь шла о каких-либо животных. Наиболее они интересовались верблюдами, которых они не видели, но о которых слышали, что их завели некоторые паны хуторяне, и, несмотря на мои напоминания, чтобы слушали то, о чём я рассказывал, они тут же высказывали свои пожелания о том, что как было бы хорошо, если бы и папаня завёл три табуна верблюдов. За такими отступлениями от уроков они забывали историю и даже имена патриархов. В других случаях они с интересом следили за сообщаемым мной фактом, но к толкованию его прилагали свою точку зрения. Слушая с живым интересом, как Авраам собирался принести в жертву сына своего Исаака, один из «апостолов» с возмущением выразился:

– Який же дурний у Ісаака був батько!

Я старался внушить моему ученику, что так дерзко, как он, нельзя отзываться о патриархах. Ученик обещал не выражаться дерзко о святых людях, но в заключение нашего разговора не употребил слова «дурний», а постучал в свой лоб пальцем и прибавил:

– Отут у його не було, – чего именно – не сказал, но догадаться было нетрудно.

Когда же я спросил его, почему он так возмущается Авраамом, когда Бог только испытывал его, а вот евреи, арабы и христиане считают его святым, то он, в свою очередь, спросил меня:

– А що було б, якби янгол спізнився? – и сам же ответил: – Він заколов би свого сина. Наш папаня, – прибавил он, – ніколи цього не зробе.

Повторялись такие отступления и по другим предметам. Когда по русской грамматике шёл урок о падежах, то один из учеников, услышав слово «падеж», с оживлением спросил меня:

– Хиба в граматичі слова так дохнуть, як у нас скот?

Когда же я объяснил ученику, что в грамматике падежами называются изменения слогов в конце слова, то он огорошил меня вопросом:

– Нащо ж учені люде увели в граматичу таке погане слово?

Такие недоразумения обуславливались, конечно, плохим знанием русского языка моими учениками, даже при наличии того факта, что мать их была чистокровной московкой, говорившею прекрасно на своём материнском русском языке. Но в некоторых случаях ученики мои завязывали научный спор и на принципиальной почве. Когда я начал обучать их правильно писать цифры, то они много раз повторяли одни и те же ошибки, например, 208 изображали цифрами 28, и наоборот, 28 превращали в 208. При всех попытках моих уяснить им значение нуля и мест для единиц, десятков, сотен и так далее, им трудно давалась арифметика; цифры им казались какими-то ненужными отвлечённостями. Они пытались поэтому убедить меня, что «краше було б, як би були не цифрі, а такі бирки, як у чабанів і у чимбарів, на яких вони лічуть шкури або смушки овець, ягнят тощо».

– Так як же ти мільон на бирці наріжеш? Він же і не поміститься на одній бирці, – возражал я.

– Так можна частинами на двох або трьох бирках нарізати, – настаивали мои ученики.

Я позволял им делать на уроках такие отступления затем, чтобы не портить наших взаимоотношений и не потерять их доверчивости ко мне, так как этим путём они сами прочно убеждались в том, против чего спорили. Отступления эти были естественны для детей и особенного вреда общей системе обучения не приносили, а иногда и помогали уразумению непонимаемого.

Несравненно больше вреда приносило систематическому обучению отвлечение внимания учащихся к тем внешним реальным явлениям, которые происходили на их глазах и доносились до их слуха и

которыми богата была хуторская действительность, нагромоздив их в огромном количестве в головах учащихся. Сидим мы и серьёзно занимаемся, положим, Священной историей, которою наиболее интересовались мои ученики. И вдруг на самом интересном месте по этому предмету один из учеников кричит:

– Дивіться, дивіться!

– Надо говорить: «Смотрите, смотрите», – поправляю я ученика и сам спрашиваю его: – Что там такое?

– Индик узяв дзьобом за шишку другого індика та й воде його по двору, – сообщает ученик с хохотом, не обращая никакого внимания ни на мою поправку в русском языке, ни даже на интерес исторического рассказа.

Вскакивает другой ученик на ноги, смотрит в окно, закатывается ещё большим смехом и, со своей стороны, подтверждает:

– Еге ж! Дивіться, дивіться!

Отвлечения внимания этого рода учащихся от изучаемого предмета были особенно часты, достаточно было чуть заметно прислушаться к какому-то гудящему звуку где-то вне двора в плавне, чтобы ученики, давно уже обратившие внимание на эти звуки и давно уже разгадавшие их, не спрашиваясь меня, объяснили мне:

– Та то гуде водяний бугай.

– Ну, хорошо, – перебиваешь ученика, – делайте то, что вам задано.

Ученики замолчат впредь до более подходящего случая. Но не доведи Боже спросить: «Какой бугай?» Тут уж, как горох, посыплется слова, что «бугай» (выпь) для того, чтобы производить звук «бу-бу», опускает клюв, обмотав его кугой, в воду и в воде производит свои «бу-бу». И если строго не предупредишь, чтобы не болтали, а занимались делом, то разговоры с бугая-птицы перейдут на бугая-животное.

Моя педагогическая практика на хуторе показала мне, что правильной и успешной подготовке моих учеников в гимназию или в кадетский корпус мешали двоякого рода препятствия: обучение на народном материнском<sup>1</sup> языке – с одной стороны, и экономические и бытовые условия хуторской, богатой реальными явлениями, жизни живых существ – человека и животных – с другой. С малых лет мальчики освоились с этими реальными явлениями и не только привыкли к ним, но и весь свой интерес и пытливость влагали, можно сказать,

<sup>1</sup> В данном случае под материнским языком подразумевается украинский. – Прим. науч. ред.

в большей степени, чем взрослые люди. Оба «апостола» были так напитаны реальными явлениями из жизни живых существ и закалены в них, что их трудно было заменить интересами школьного обучения. Несмотря на их малолетие, я застал уже их вполне сложившимися в понимании и во влечениях к тому повседневному круговороту процессов и явлений, которым богато было хуторское животноводство, находившееся в ведении двух таких лиц, как Марья Александровна и Григорий Львович. Первая была разумной и энергичной хозяйкой в своей области деятельности, а второй – не менее разумным и авторитетным хозяином в своей. Им верили и подчинялись все – и рабочий персонал, и особенно – дети. Достоин внимания тот факт, что Марья Александровна, прекрасно владевшая русским, родным ей языком, не могла не только научить ему родных своих детей, а и сама поддалась той языковой смеси, на которой велось хуторское хозяйство. Не менее знаменателен и тот факт, что творцом и руководителем типичного мирного в своём движении хуторского животноводства был Григорий Львович, редкий представитель военного дела. Обе эти личности остались в моей памяти в высокой степени интересные воспоминания.





Глава XXIII

## Григорий Львович и Марья Александровна

**П**о внушительной фигуре, необычайной физической силе, чрезмерному добродушию и несомненному природному уму в психологическом отношении за всю свою жизнь я не встречал такой сложной и загадочной для моего понимания натуры, какую воплощал в себе Григорий Львович Миргородский, войсковой старшина по казачьему чину, полковой командир по последней ступени военной служебной карьеры и богатый хозяин-скотовод по своей хозяйственной деятельности. При первой моей встрече с ним меня поразила с внешней своей стороны фигура этого старого в то время казака. Это был, как я выразился уже, монолит – монолит по своей стройной не по годам фигуре. Я видел и помню высокие и внушительные фигуры людей. Помню великана запорожца Кобидского в станице Новоцербиновской, скакавшего без ноги, собственноручно отпиленной им при «антоновом огне» за неимением оператора, и опиравшегося на увесистую палку в руку толщиной, с бритой головой и огромной чуприной за ухом. С необычайным детским любопытством следил я в родной станице за трёхаршинным по росту деревянковским гвардейцем Климом, фамилию которого я никак не вспомню, когда он ходил мимо нашего двора, как журавль, вытянутый в струнку. Припоминаю

таких же казаков-журавлей, к числу которых принадлежали и Савицкие в станице Новоминской. Далеко позже я любовался целой коллекцией рослых полтавцев при наборе в военную службу новобранцев в Кременчуге. Наконец, в цирках мне неоднократно приходилось сравнивать рост великанов с карликами, головы которых едва превышали колени великанов. И вот во всех этих и многих других случаях я не замечал такой стройности и соотношения в частях всего корпуса, которые поражали меня в фигуре Миргородского. Я не помню точно высоты его роста, да это и не важно, но он был высок и монолитен по общему виду в фигуре и по соотношению её в частях. Об его фигуре и росте можно отчасти судить по тому, что в военной службе и в боях он имел двух запасных лошадей в поводу, на которых он попеременно пересаживался. Сам он говорил мне о своём весе, что в нём было почти шесть пудов. А между тем во всём организме его не было заметных жировых отложений. Это я видел и наблюдал при купаньях его в реке. Это был огромный костяк, симметрически одетый в мускулы, что и подтверждалось его необычайной физической силой.

И вот в личности Миргородского поражала меня не разгаданная мной загадка: как в его организме и психике уживались рядом необычайная физическая сила и чрезвычайное добродушие; первой в боях и сражениях он злоупотреблял без меры, когда рубил направо и налево людей, а чрезвычайное добродушие проявлял в высших формах гуманности – в сердцеболии, сочувствии, помощи и воздержании от нанесения кому-либо боли и страдания. Мне казалось, что в нём совсем не было жестокости. А между тем, он был военным с головы до ног, или правильнее – до своих мощных рук, человеком, участвовавшим в сотнях больших и малых сражений и рубившим таких же, как он, людей.

Но предварительно несколько слов о физической силе. В моих воспоминаниях часто мелькают сильные физически osoby. Это может показаться преднамеренной прикрасой воспоминаний. Так оно и было в действительности, но не под влиянием мотива прикрасить действительность. С раннего детства, и особенно – в юношеском и молодом возрасте, до тех пор, пока сам я не уверовал в свои физические силы, я предпочтительно останавливал своё внимание на особах, физически сильных. Ранняя смерть отца и старшего брата от чахотки, донимание меня товарищами кличками «козина смерть» или «чахотка» и некоторые случаи заболевания непрестанно вызывали у меня тревогу о моей преждевременной смерти от чахотки и приковывали моё внимание к

физически сильным фигурам, начиная с невзрачного по виду Явтуха, моего ментора в детстве по земледелию. Только тогда, когда, выйдя в возраст, я убедился в собственных физических силах, моя тревога о преждевременной смерти от чахотки окончательно ослабела, и улеглась в зрелом уже возрасте. Тогда я начал постепенно терять болезненно настроенное внимание, заменив его обычным у людей любопытством к силачам, а потом, увидев на подмостках в трико чемпионов мира и отдельных государств, стал даже отрицательно относиться к этому спорту в практикуемых ныне формах.

Но Лев Григорьевич Миргородский был не спортсмен, а необыкновенный силач по природе. Необыкновенной физической силой он обладал уже в двадцатилетнем возрасте. Однажды он передал мне интересные подробности об обнаружении им своей физической силы, но не о ней собственно, а о поразительном случае в его жизни, граничившем с неизбежной смертью. Он был тогда двадцатилетним юнкером. Свободный от работ воскресный день он провёл в обществе девиц и молодых людей его возраста, и одет был, по его рассказу, франтом во вкусе того времени. На нём был юнкерский мундир, а шея была повязана шёлковым платком, обмотанным два раза вокруг шеи так, что одинаковые концы платка спереди торчали завязанными в один конец в виде мышинового хвостика. Всё франтовство и сводилось именно к этому «мышинному хвостику», которым украшали себя свободомыслящие юнкера вопреки военным правилам о неприкосновенности внешней формы в военном мундире. За это нарушение виновные в свободомыслии юнкера платились даже гауптвахтой, Миргородский же в порядке не военных правил, а жизненных сплетений чуть не поплатился своей жизнью.

В двух верстах от хутора Миргородского находился в то время ток, на котором вымолачивался снятый с корня хлеб. Поздно вечером Миргородский оставил компанию молодёжи и поскакал верхом на лошади домой, но предварительно заехал на ток. Здесь он скинул с себя форменный юнкерский мундир и брюки, аккуратно сложив их для сбережения, а также новые опойковые сапоги, которые, по его словам, «дуже мулили ноги», оставив на шее только чёрный шёлковый платок с мышинным хвостиком. На току было прохладно, и ярко светил полный месяц. Миргородский «прохаживался» по току босой, в одном нижнем белье, припоминая эпизоды проведённого среди молодёжи дня. Хождение по току и вообще в рабочей обстановке раздетым до нижнего белья у черноморцев не считалось неприличием, а наоборот,

ценилось, как хозяйственное сбережение одежды, тем более что летом работали обыкновенно в одном нижнем белье. В это время из хутора на ток прибежала впопыхах дивчина, сторожившая хутор, на котором никого не было.

– Паничу! – кричала она издали Миргородскому. – Ідіть додому. До нас у хутір прийшов харцизник.

Миргородский быстро отвязал осёдланную лошадь, вскочил на неё и в одном белье, босой, помчался домой. Во дворе на кухне он заметил мерцание света в каганце, несмотря на поздний ночной час. Войдя в кухню, он увидел рослого мужчину, неподвижно сидевшего у кухонного стола, облокотясь одной рукой на стол.

– Здрастуй, добрий чоловіче, – обратился к нему Миргородский.

– Будьте здоровенькі! – ответил незнакомец.

Миргородский, подходя медленно к столу и всматриваясь в незнакомца, вслух произнёс:

– Бач, чого погана дівчина наверхла мені? Каже: «У кухні у нас харциз», – а до нас зайшов просто добрий чоловік.

Но в этот момент слабо мерцавший каганец осветил голову и фигуру незнакомца. Полголовы у него оказалась бритой, а сам незнакомец был одет в дамский салоп, в каких щеголяли хуторские и станичные франтихи из высшего круга населения.

– Еге! – воскликнул Миргородский. – Дівчина не збрехала – харциза, а не добрий чоловік!

– Він і є! – крикнул, как ужаленный, незнакомец и бросился к Миргородскому.

Они схватились друг с другом. И начали бороться, чтобы сломать под себя противника. Харциз был очень сильный, но и Миргородский стал особенно сильно нажимать его. Под этим нажимом харциз стал отступать и старался со всей силой толкать Миргородского к стенке, на гвозде которой висел большой, в ножнах, кинжал. Заметив этот манёвр, Миргородский так налёг на противника, что припёр его в противоположную сторону – к двери. В этот момент разбойник заметил на шее у Миргородского мышинный хвостик, быстро освободил он одну руку и запустил её за повязанный вокруг шеи шёлковый платок. Он так крепко стал стягивать его на шее, что Миргородский, по его словам, «почав уже харчати».

– «Пресвята Богородиця, поможи мені!» – мелькнуло у мене в голові, – рассказывал Миргородский, – і я так понатужив шию та всього себе, шо платок тільки трісь спереду мишиного хвостика. Харциз ще

дужче потягнув мене за платок, але й сам ледві не покотився навзнич, бо увесь платок очутився у його в руці. Тоді і я прийшов в себе та й росердився таки і зразу повалив його на землю.

В это время в дверях показалась прибежавшая в хутор дивчина. Миргородский приказал снять с гвоздя висевшую верёвку и одним концом крепко привязать за ноги, а другой конец верёвки протянуть через вбитое в деревянный сволок в кухне кольцо, лишив таким способом разбойника всякой возможности бороться и сопротивляться.

– Та не робіть цього, – обратился к нему харциз. – Я не буду супротивлятися і що прикажете, те й буду робить.

– Чесне слово? – спросил его Миргородский.

– Чесне слово, – ответил разбойник. – Нехай Господь Бог і всі сили небесні покарають мене, коли я брешу.

– Розв'язуй ноги, – приказал Миргородский дивчине.

Но тут уж дивчина запротестовала:

– Що це ви робите? Він же нас обох заріже.

Миргородский приказал замолчать и развязать ноги, устранив её тем, что он отдаст её на расправу разбойнику.

Смертельная борьба окончилась идиллической картиной, в которую трудно, казалось бы, верить, но нарисовал её мне настолько правдивый человек, которому ещё труднее было не поверить.

Освобождённый разбойник, по приглашению хозяина, сел с одного конца стола, а хозяин присел на другом, противоположном конце того же стола, и они мирно повели разговор. Харциз сообщил, что он недавно бежал из острога, и, между прочим, заметил, что он не встречал ещё в своей жизни силача, который одолел бы его, и что таким человеком оказался Миргородский. Харцизу показался таким исключительным этот случай, что он выразил сомнение, одолел ли бы его Миргородский, если бы он был не голоден, так как он ничего, кроме «козельцов и какиша», не ел в течение двух суток. Он зашёл на хутор, чтобы попросить кусок хлеба, и никаких злых умыслов не имел, почему всё произошло так, как случилось.

– Що у тебе в печі є? – спросил Миргородский дивчину.

– Пиріжки та вареники, та печена курочка, – ответила дивчина.

– Неси сюди все, та став на стіл, – приказал Миргородский.

Дивчина исполнила приказание, а Миргородский предложил арестанту приняться за еду. Арестант набожно перекрестился, став перед иконой, и почти всё без остатка съел. Поев, он предложил Миргородскому, чтобы он запер его в какое-нибудь помещение или позволил

ему переночевать на хуторе на честное слово, а на другой уже день отправил бы его в острог. Но Миргородский категорически отказался от отправки его в тюрьму, так как он этим не занимался, и со своей стороны предложил арестанту самому отправиться в тюрьму и заявить там раскаяние в побеге. Это, по мнению Миргородского, могло уменьшить наказание за его преступление и совсем избавило бы от наказания за побег, да и Миргородского избавило бы от неприятностей, раз он будет втянут в это дело. Миргородский добавил мне, что он сам был виноват, назвав арестанта харцизом, тогда как арестант, оставшись в хуторе один, ни на что не посягнул в нём и ожидал, что его, голодного, накормят.

Выслушав Миргородского, арестант немного подумал и нашёл, что Миргородский давал ему добрый совет. Задумавшись ещё раз, арестант дал Миргородскому честное слово, что он сам явится в тюрьму и ни словом не проговорится о своём приключении в хуторе. По распоряжению хозяина дивчина снабдила арестанта достаточным количеством хлеба и других съестных припасов, найдены были для него поношенный балахон и старая шапка. Арестант нарядился в новый костюм и, завернув в салоп провизию, перевязал его верёвкой в виде котомки и ночью же отправился из хутора, чтобы не наводить никаких подозрений на хутор. Он искренне благодарил Миргородского, низко кланялся ему и поклонился даже сердитой дивчине.

Меня не поразил этот кажущийся мелодраматичным случай, он передан был просто и так подходил к поведению и поступкам Миргородского, что я нимало не усомнился в рассказе его. Но меня часто поражала наивность этого мощного казака. Многое ему казалось таким простым и естественным, что, слушая его, поневоле, бывало, улыбаешься, а то и просто хохочешь. Он никогда не кичился и не хвастал своей физической силой и вообще о физической силе имел наивные представления. Ему казалось, что всё, в чём он может сам обнаружить свою силу, доступно и многим из людей зрелого возраста.

Осенью, когда наступили прохладные вечера, я часто катался верхом на чудном иноходце в табуне. Это была верховая лошадь среднего роста, сильная и круглая по корпусу, как хорошо округлённый огурец, но благодаря этой особенности туловища и уменьению раздувать живот при наложении на неё седла слабо держалось последнее. Вечером, часа за два перед ужином, табунщик-калмык Манджил привёл мне этого иноходца, и я отправился на нём в степь. Проехал я около версты от хутора благополучно, встал с лошади, подтянул ей подпру-

ги, как посоветовал мне Манджил, хорошо знавший, что на лошади плохо держится седло, и продвинулся в степь ещё версты на две. Мне вздумалось повернуть лошадь в противоположную сторону, и при повороте я сильно нагнулся в противоположный от поворота бок на седле. Седло, благодаря ослаблению подпруг, поползло под брюхо лошади, а с ним и я очутился на земле, причём одна нога моя застряла в стремях. Животное остановилось, но от неожиданного падения я так растерялся, что не успел освободить ноги из стремях. Лошадь поволокла меня по земле. Почувствовав тяжесть, она махнула несколько раз задней ногой и, зацепив меня за плечо, разорвала подковой парусиновый костюм с рубахой и до крови поцарапала плечо. Я употребил все усилия на то, чтобы высвободить из стремях глубоко всунутую в него ногу, и мне удалось, наконец, сделать это, избавившись от явной, может быть, смерти, и во всяком случае – от искалечения. Освободившись от тяжести, лошадь стала бить задом и передом, чтобы освободиться от болтавшегося под брюхом седла. Я не успел придержать её, и она пошла гулять по степи, продолжая бить задом и передом, пока не скрылась в темноте из моих глаз.

Пошёл я пешком в хутор и застал всю семью за ужином. С нетерпением и тревогой все ожидали меня, но я не мог дать удовлетворительное объяснение о моём замедлении к ужину, так как стеснялся сказать, что я упал с лошади. Старик, видимо, догадался, в чём было дело, и спросил меня, на какой лошади я ездил. Я назвал иноходца.

– Так і єсть! – воскликнул Григорий Львович. – Значить, у вас сідло підвернулось?

– Підвернулось, – подтвердил я.

– Та то ж клята коняка, – заговорил Григорий Львович. – На ній ніяке сідло не держиться. Надується, як попруги підтягають, а тоді живіт в себе вбере, щоб не давили попруги живота. Отака хитра! Тепер вона пішла гулять по степу. Ні подушки, ні ленчика в сідлі не останеться в цілості. Із подушки увесь пух та пір'я випусте, а ленчик потрощиться.

Я понял, что мне нельзя удержать в секрете падение с лошади ввиду нарисованной Миргородским картины, и чистосердечно рассказал обо всём, что со мной случилось.

– Так лошадь ударила вас ногой? – спросила меня Марья Александровна.

– Да, – подтвердил я и указал на разорванный пиджак.

Верочка бросилась ко мне и, развернув рукав, крикнула:

– Кров!

– Надя, горячей воды! – распорядилась Марья Александровна.

Я начал успокаивать, что лошадь меня только слегка оцарапала. Но Верочка сделала поправку:

– Гарно поцарапала, що кров скрізь – і на руці, і на рукавах піджака і сорочці.

Ко мне подошла сама Марья Александровна. Совместно с ней мне удалось, наконец, убедить всех, что лошадь не причинила мне серьёзного поранения.

Миргородский всё время молча наблюдал за тем, что происходило в комнате. Когда же всё выяснилось и все успокоились, он обратился ко мне.

– Так я научу вас, що треба робить з тою клятою конякою, – сказал он.

– Що? – с живым любопытством спросил я, будучи уверен, что получу от него практичные указания.

– Я не раз падав з того коня, – начал он, – й як тільки стану падать, то зараз же хватаю його за шию, і сам потихеньку з сідлом на землю сповзаю та й коняку на землю повалю. Отак робить і ви, зараз же коня за шию хапайте і на землю його валяйте, – поучал он меня.

Раздался дружный хохот всех присутствующих. Не удержался от хохота и я.

– Чого ви смієтесь? Хіба я неправду кажу? – произнёс Григорий Львович несколько обиженным тоном. Он сообщил мне общеизвестный всем на хуторе факт.

– Да нет же! Все знают, что ты правду говоришь, – начала успокаивать мужа Марья Александровна, но не выдержала и снова залилась смехом.

Григорий Львович молча стоял и слегка улыбнулся, но чему он улыбался: в ответ ли своей заботливой супруге, или, наконец, он понял, почему все смеялись, – трудно было сказать.

Я понял, однако, Миргородского в этот момент. Он искренне давал мне добрый совет. В избытке своих сил и чисто детской наивности он полагал, почему бы и мне, о котором он знал, что я лучший косарь и хорошо справлялся в работе с быками и лошадьми, не проделать такого пустяка, какой он легко проделывал: схватить одной рукой за шею лошадь и свалить её на землю.

Скоро потом Григорий Львович на моих глазах проделал подобный же, но более рискованный пустяк не с лошадью, а с разъярённым

быком. Дело происходило осенью. Через несколько дней после моего неудачного катания на иноходце в нижней части двора, в базу на доеннии коров, рабочие и калмыки таврили «бузівків», то есть подтёлков, или однолетних и двухлетних телков. Таврение было довольно болезненной операцией. Железное тавро в виде первоначальных букв имени и фамилии владельца – «Г» и «М» – накаляли в костре докрасна, валили на землю бузівка, крепко держали его за ноги и за весь корпус и на заднем стегне или на передней лопатке выжигали этим тавром его буквы. При этой операции сжигалась не только шерсть, но глубоко и кожа, на которой и отпечатывались буквы тавра. Телки с ужасным рёвом, а иногда и с яростным раздражением переносили эту операцию. Я отправился с Григорием Львовичем к базу, чтобы посмотреть на таврение телят. Мы подошли в то время, когда калмыки и рабочие находились в большом затруднении.

Дело в том, что в числе телят оказался не таврённым трёхлетний бык, рослый и сильный, каких нередко запрягают уже в воз. Калмыки и рабочие никак не могли с ним справиться. Бык стоял посередине база с налитыми кровью глазами и упорно не подпускал к себе никого, опустив шею и наставив свои короткие, но толстые и острые рога. Миргородский некоторое время молча стоял, наблюдая эту сцену.

– Ну й молодці! П'ятеро, а одного бика не подужають, – произнёс он громко.

– А коли бика колется, – выразился один калмык.

– Бика колеться! – передразнил его Григорий Львович, входя в баз.

Низко нагнувшись вперёд головой, он приставил к голове руки в виде рогов и направился прямо на быка, издавая бычачьи звуки:

– М-му! М-му!

Бык опешил и не двигался с места. Миргородский подошёл к нему вплотную, тот по-прежнему стоял на месте и только наставил рога, собираясь, видимо, защищаться. Но Миргородский перехитрил быка. Быстро он расправил свои длинные руки и схватил ими за рога быка. Бык яростно рванулся, чтобы опрокинуть противника, но хозяин так скрутил шею быка справа налево, орудуя его рогами, что ошеломлённое животное издало лишь слабый рёв от боли. В тот же момент Миргородский приставил колено своей ноги к передней лопатке быка и с такой силой дёрнул быка за рога на бок, что бык повалился на землю.

– В'яжіть за ноги! – крикнул Григорий Львович, нагнувшись и придавив коленом шею быка.

При общем крике пятеро здоровых мужчин навалились на окончательно опешившего смутьяна, связали ему задние и передние ноги так, что бык не мог двинуться с места. В таком положении он и был наконец-то натаврен.

Всё это произошло так быстро и неожиданно, что я, как и другие лица, наблюдавшие эту картину, не мог, что называется, опомниться. Сначала я с тревогой и замиранием сердца смотрел на Григория Львовича, когда он подходил к быку, инстинктивно ужасаясь, как бык поднимет его на рога. Когда же эти рога схватили крепкие руки Миргородского, я смотрел уже на него и на быка, как на сцену в цирке, будучи уверен в превосходстве артиста. Человек победил быка в единоборстве.

Я никогда не забывал этой жуткой и вместе простой и величественной сцены. Григорий Львович проделал её со свойственной ему простотой, как нечто посильное и ему доступное. Сам он никогда не рассказывал о ней, как, вероятно, и о многих других подобных же сценах. Он никогда своей силой не хвастал. Но когда на общем сборе семьи я подробно рассказал, как Григорий Львович натавил трёхлетка, и Марья Александровна напустилась на него, что он не бережёт себя и рискует собой, подставляя свои старые рёбра разъярённому быку, то глава семьи, на которого с восторгом смотрели все дети, расправляя свои длинные и толстые усы, в своё оправдание виновато произнёс:

– Коли ж мені досадно було, що їх аж п'ятеро, а одного бика не зуміли подужать.

Дети поддержали отца весёлым смехом, а Марья Александровна только покачала головой, как бы желая этим жестом сказать: «Ну что ты поделаешь с этим большим ребёнком?»

Эти факты навели меня на мысль об ознакомлении с военной деятельностью Григория Львовича. Когда по моей просьбе он передал мне копию с послужного формулярного списка о службе, то чтение этого документа произвело на меня несравненно более сильное впечатление, чем инсценированный бой силача человека с быком-животным. Один перечень более ста больших и малых сражений и боёв, в которых участвовал Григорий Львович, произвёл на меня головокружительное впечатление. Быть на волоске от смерти в бесчеловечной резне в ста боях людей между собой и остаться при этом не раненым – ведь это просто чудо! В жарких боях убитых и раненых бывает масса, а бывают же такие счастливцы, что остаются живыми, не ранеными и не контужеными. Но кем был в числе этих счастливцев Григорий Львович

Миргородский – сказать трудно. В формулярном списке перечислены были его подвиги, награды, благодарности ему, чинопроизводство, точные или приблизительные числа убитых и раненых – и ни одного факта о том, что сам он хотя бы раз был ранен или контужен. Глазам и голове, читавшим документ, не верилось, что в действительности было так. Я три раза подряд перечитал формуляр, и официальный документ гласил, что это был подлинный факт. Я спросил Григория Львовича:

– Як же це так вийшло, що ні одна шабля вас не торкнулась?

Григорий Львович подумал немного и сказал мне:

– Що ні одна шабля мене не торкнулась – це мені не дивно; я умів добре одбиватися. А от скажіть ви мені на милость Богу, чого мене ні одна кулька не торкнулась? – и сам развёл руками.

Впоследствии, когда я специально занимался архивными материалами для истории Кубанского казачьего войска и перечитал много формулярных списков, я часто вспоминал формулярный список Григория Львовича и ничего подобного не находил ни в одном списке. Мало того, я находил совершенно противоположные факты о героях войны, платившихся за своё геройство ранами. Так, генерал и наказной атаман Черноморского казачьего войска Безкровный, участвовавший также в ста сражениях в течение своей двадцативосьмилетней боевой службы, часто был ранен в боях, а в одном бою черкесы ранили его в грудь, раскроили ему саблей голову, повредили череп и нанесли глубокую рану в правое плечо. Генерал Безкровный также обладал необыкновенной физической силой, но она не спасала его от черкесских сабель, а Миргородский не получил ни одной раны. Это различие в известной мере объяснялось тем, что Безкровный был «горяча голова», человек пылко-го темперамента, и первым бросался в сабельный бой, а Миргородский был воплощённое спокойствие и находчивость; сам он скромно говорил: «Я умів добре одбиватися», к тому же он, несомненно, обладал ещё большею физической силой, чем Безкровный. Старики офицеры говорили мне о Миргородском, что черкесы боялись его крупной и спокойной фигуры, его необыкновенной силы и страшной сабли и избегали его в боях в рукопашную, а за стремительным Безкровным, как за генералом и атаманом, по документальным данным, они охотились. До известной степени понятно и то, почему Миргородского «ні одна кулька не торкнулась». Черкесы совсем не имели артиллерии и пушек и, как истые джигиты, всегда предпочитали сабельный бой артиллерийскому. Но Миргородский обладал одной редкой особенностью, которая ставила меня в тупик.

Сам Миргородский при разговорах с ним всегда упорно молчал о своих боевых делах, точно у него совсем не было их. Но однажды он не удержался и рассказал мне о бое с черкесами, возмущённый воспоминанием о том, как непозволительно растерялся командир артиллерии в этом бою. К крайнему моему сожалению, копия с формулярного списка Миргородского осталась на моей родине вместе с другими важными бумагами и документами, когда почти внезапно пришлось выехать в эмиграцию, но в моей памяти удержались место боя и главные моменты его. Всего удивительнее было для меня, что Миргородский рассказал мне не о своих подвигах в боях и сражениях, о которых при моих расспросах всегда отделялся одной и той же фразой: «Та було колись те діло», а о самом неудачном, по его же словам, деле в его военной практике.

Место боя находилось на высокой, крутой от берега реки Кубани возвышенности, по ту сторону Владикавказской железнодорожной линии, недалеко от нынешнего огромного городского поселения – хутора Романовского. Тогда там не было ни железной дороги, ни хутора. Лазутчиками было передано, что для огромного сорища горцев был намечен переход через Кубань на Старую линию против упомянутой высокой над Кубанью местности. Это был в высшей степени удобный для защиты Старой линии и Черномории пункт. Достаточно было поставить на высоте две пушки с охраной их небольшим отрядом конницы и пехоты, чтобы воспрепятствовать движению горцев в казачьи станицы и хутора. Военное начальство распорядилось поставить на этом чрезвычайно удобном месте, если не ошибаюсь, взвод артиллерии, батальон или роту солдат и казачью сотню. Артиллеристы и солдаты принадлежали к составу русской регулярной армии на Северном Кавказе, а казачьей сотней командовал Миргородский. Последний не мог говорить без волнения об армейском артиллерийском офицере, командовавшем артиллерией, называя его трусом, бабой-халявой и никчёмным человеком. Дело происходило ночью. Хорошо было видно, как огромная масса горцев двигалась вблизи Кубани на противоположном берегу её, как она перешла через реку. Заметив отряд противников на возвышенном месте над Кубанью, горцы, как бы нарочито скучившись в одну толпу, с гиком бросились на отряд по крутой возвышенности.

– Одним вистрілом із орудій можна було картечцю положить декільки сот черкесів, – пояснил мне Миргородский, который, по его словам, заранее был убеждён в полном разгроме черкесского полчища.

Но «баба-халява», командир артиллерии, до того растерялся, что забыл сделать прицел пушек в толпу наступавших и скомандовал: «Пли!» Артиллеристы грянули с пушек, наведённых не в тесные толпы наступавшего врага, а через головы неприятеля на ту сторону Кубани, как раньше они были наведены. Сделав эту непростительную ошибку, командир не нашёлся, чтобы быстро зарядить пушки и второй выстрел направить в толпы горцев. Горцы же, поняв, что пушечные заряды пролетали вверху над их головами, ещё с большим воодушевлением бросились в атаку и не дали даже зарядить снова пушек. Началась рукопашная резня. Превосходившие в несколько раз своей численностью русский отряд черкесы начали крошить саблями солдат и казаков. Ряды их стали быстро редеть. Казаки храбро защищались, умело, как и горцы, владея саблями, но их было очень мало. Защитные части и самые артиллеристы быстро таяли. Миргородский, заметив, что в его сотне почти не осталось сидевших на лошадях казаков, обратился к вахмистру сотни, дравшемуся рядом, с вопросом:

– Чи бачиш ти кого з наших козаків?

– Ні, – ответил вахмистр, – всі мабуть побиті.

– Марш в степ! – скомандовал Миргородский.

Впереди не было черкесов, а с ближайшими они успешно разделались. Быстрый манёвр двух всадников замечен был врагом, когда они неслись в карьер. Погнавшиеся за ними горцы упустили момент, всадники скрылись в степи под покровом ночи. Из всей сотни спаслось в живых только двое – сам командир сотни, которого «не торкнулись ні шабля, ні кулька», и урядник, слегка раненый.

С такими подробностями остался у меня в голове сильно интересовавший меня факт о том, что Миргородский, участвовавший в ста сражениях и боях, остался не раненым и не контуженным. Но когда несколько лет спустя я занялся историей Кубанского казачьего войска и упомянул как-то о неуязвимом в боях Миргородском моему зятю Ивану Николаевичу Курганскому, войсковому старшине, такому же по демократизму казаку, как и Миргородский, то Курганский, в свою очередь, с изумлением спросил меня:

– Хіба ж ти не знаєш, як бився Миргородський с черкесами?

– Як? – переспросил я.

– Він же шаблею с одного маху рубав людину надвое, – ответил мне Курганский.

– На дві частини цілого чоловіка?! – удивлялся я. – Це ж неможливо?

– Неможливо, а було так, – сказал утвердительно Курганский. – На все козаче військо у нас було тільки двоє таких рубак – Миргородський та Гусаров із Старощербинівки.

Я не помню точно фамилии второго рубаки, но название станицы у меня осталось в памяти. Не один Курганский, но и другие старые казаки и офицеры говорили об этих двух лицах, что они рубили «людину надвое». Я интересовался военным делом как таковым только в раннем детском возрасте, когда ездил верхом на камышине с камышовым оружием и воевал с такими же воинами, как и я. Впоследствии, придя в зрелый возраст, я плохо был знаком с военным делом по книгам и совсем не знаком был с ним практически, так как я не нёс военной службы. Услышав в первый раз, что человек может разрубить человека «надвое», я просто не поверил этому. Когда же мне сказали, что Г.Л. Миргородский рубил в сражениях и боях человека надвое, то у меня не было и тени сомнения в силе этого человека. Раз у него в руках будет необходимое оружие – крепкая, разрубающая кости человека сабля, он может разрубить всякого человека надвое в кровавом бою, когда и ему угрожает смерть, может разрубить человека, начиная с плеча через весь организм до крестца и, пожалуй, самый крестец. Силы у него на это хватят. Меня такой факт не удивлял, потому что я видел собственными глазами, как он победил и усмирив быка умом, ловкостью и силой своих рук и мускулов. Сам по себе этот факт меня порадовал, но не удивлял своей неразгаданностью. Миргородский мог не рубить противника на две равные части, но вполне мог отрубать от организма такие большие части, без которых человек мгновенно умирал, и очень может быть, что выражение «разрубил черкеса надвое» и выражало именно такие случаи.

Но вот что меня удивляло, как я упомянул уже, нервировало и нервирует даже теперь, когда я пишу эти строки, – это как в Миргородском уживались рядом добродушие, сердечность и гуманизм человека, демократизм казака – с одной стороны, и те его деяния, когда он как воин кроил надвое живого человека своей могучей рукой и мощной саблею? Вот на какой вопрос желательно было получить надлежащее освещение от мудрых психологов и первостепенных авторитетов военного дела.

В моей памяти не осталось, да и не было в действительности такого обильного фактического материала о супруге Григория Львовича, как о нём самом. Марья Александровна была такой же милой симпатичной особой, как и её муж. Оба они с большой приязнью относи-



лись к людям вообще, однако в этом единении их мало выражалось той близкой и тесной связи, которая существовала между ними как супругами, родителями и лицами, возглавлявшими хозяйство, составлявшее единую и планомерную организацию, на которой покоился хуторской быт. Но как эта связь, эта святая святых женщины и мужчины, могла образоваться между ними, когда они сами были детьми не только различного, а прямо-таки противоположного происхождения, воспитания и жизненных условий в той школе повседневщины, которую они прошли с малых лет до вступления в брак? Вот на этот вопрос можно дать только некоторые наводящие указания по сути его.

Марья Александровна была чистокровная москочка, а Григорий Львович – чистокровный украинец. Марья Александровна прекрасно говорила на чистом великорусском языке, а Григорий Львович великолепно изъяснялся на прекрасной украинской мове. Марья Александровна родилась, выросла, воспиталась и вполне установившейся девицей с российскими воззрениями, привычками и манерами явилась в Черноморию, а Григорий Львович родился, рос и набирался в этом крае взглядов, силы и привычек, каких не было на родине Марьи Александровны, где мужчины не говорили на украинской мове, не жили в степных хуторах, не боролись врукопашную с быками и не крошили саблями надвое живых противников и врагов. Просто непостижимым казалось, как такие разнокалиберные величины по форме и по сути поймали друг друга, понравились один другому, влюбились взаимно, поженились и составили единую суть, наплодив целую кучу детей. Для меня это так и осталось секретом, потому что я не располагал ни прямыми, ни косвенными материалами по этой интимной части. Но обоих я видел близко и наблюдал в единении, а не в розни.

Марья Александровна была второй женой Григория Львовича. С первой женой он жил недолго; она ему оставила одного сына, который при моём появлении в хуторе был уже возмужалым юнкером, редко появлялся в семье и мало походил на отца по своим физическим и духовным чертам. Первое, что в единении супругов, несмотря на разнородность их национальной породы, бросалось в глаза стороннему наблюдателю – это было полное единение в любви к детям и в заботливости о них. Это, конечно, естественная черта родителей. Вторая черта сходства между супругами состояла в том, что Григорий Львович плохо говорил на русском языке, а Марья Александровна – плохо на украинской мове, с тем, впрочем, различием, что Марья Александровна с каждым годом преуспевала в украинской мове, а Григорий

Львович как владел российским языком по обязанностям своей службы, так и остался на этой точке развития, не усовершенствовавшись в нём даже в сожительстве со своей супругой-москочкой. Третий, самый важный пункт единения супругов, крепкими корнями держался на хозяйстве. Оба они тяготели к хуторскому хозяйству и любили его, но с тем различием, что Марья Александровна тяготела к черноморскому хуторскому хозяйству, как к чему-то новому для неё, раньше невиданному ею и увлечшему её, а Григорий Львович сам взрос и возмужал в круговороте хода и операций этого хозяйства. Такой же характер у обоих супругов носило их единение в домашнем быте. На родине Марья Александровна, как говорила она сама, косо глядела на клопов и тараканов и возмущалась мужичьей грязью в жилых помещениях, высоко ставя чистоту, а в Черномории, несмотря на внешние неблагоприятные условия, чистота как с неба свалилась, клопы отсутствовали, а с тараканами черноморки не церемонились, и она тщательно поддерживала побелку жилья и тщательно следила за тем, чтобы хорошо смазывалась «долівка», а Григорий Львович просто не понимал, как можно жить без черноморской чистоты и опрятности. «І обоє вони були такі чисті та гарні», по отзыву казачьего населения. В основах же воззрений на мир Божий, на жизнь и взаимоотношения людей муж и жена «в одну дудку грали». Понедельник был «важким днем» для обоих; нечистые духи в разных видах признавались злейшими врагами людей; в колдунов, ведьм, в заговоры и в закрутки верили оба, но Григорий Львович безразличнее и спокойнее относился ко всему этому, а Марья Александровна по женской натуре относилась к тому с большей впечатлительностью.

Так фактически в самой жизни объединились Григорий Львович и Марья Александровна и составили такую тесную, дружную и примерную пару, что многие завидовали ей. Григорий Львович как был сначала в молодом возрасте Григорий Львович, так и остался им, но Марья Александровна в течение пяти лет изменилась до неузнаваемости, от типичной москочки, за исключением родного языка, у неё мало чего осталось, и настоящей украинкой она не была, но она окуналась с головой в украинско-черноморский быт и в казачью демократическую жизнь. Само местное население – казаки и казачки – не называли Марью Александровну «перевертнем», как называли они этим именем или прозвищем «зайда» плохо приспособившихся к укладу казачьей жизни, обычаям и навыкам великороссов, женщин и мужчин, осевших в Черномории. Казачье население считало её «своей», «наша пані» –



отзывалось о ней, и высоко ценило в ней то, что «она жила и работала все по-нашему», особенно в большую заслугу оно ставило ей ведение хозяйства и хозяйские распорядки в казачье-черноморском духе. Прислуга хорошо относилась к ней, потому что и Марья Александровна так же относилась к прислуге, ценя в ней рабочую силу и человеческое достоинство, а калмычка Одарка, которую Марья Александровна снабжала кусками женской материи, говорила:

– Краще наша баринь і під усим світом немає.

Наконец, Марью Александровну высоко ставил и женский пол благородного черноморского сословия как образцовую культурную женщину.

– Вона, – говорили о ней, – так ріже на московський мові, як і жінка наказного отамана, мабуть, не утне.

Это была сушая правда. Но эта была и единственная правильная оценка культурных признаков Марьи Александровны черноморскими барынями и барышнями. Хуторской уклад черноморского хозяйства и соединённые с ним порядки по женской части, которым научилась Марья Александровна у черноморцев же, воспитание детей, которых она не научила как следует говорить по-русски, и обычная у черноморцев гостеприимность и уважение к старым и заслуженным людям – всё это считалось «культурной заслугой, занесённой жинкой Миргородского» с её родины на Черноморию. Барыни и барышни благородного сословия хватали в этом отношении через край. Некоторые из них утверждали, что Марья Александровна принесла с собой в Черноморию «відкілясь із-за Москви» даже обыкновение кормить индюков творогом.

Я не мог тогда ни проследить, ни установить, что в деятельности и поведении Марьи Александровны занесено было из её родины на новую родину – в Черноморию, кроме, разумеется, русского языка, так как это не приходило мне тогда в голову и я далеко стоял от внутренней жизни женского пола в семье. Но по некоторым отрывочным фактам помню, что Марье Александре не чужды были веяния моды у молодёжи черноморского благородного сословия. Верочка и Надя советовались с ней о женских костюмах, о причёске волос и вообще о внешних украшениях. В этом отношении обе девицы считали свою мать в высшей степени авторитетной. А однажды Надя даже обратилась ко мне как к арбитру в её споре со старшей сестрой:

– Скажіть, пожалуста, Федор Андреевич, мені, як ви думаєте, у кого кращі усики, чи у Савицького, чи у Похитонова? Я кажу, що у Са-

вицького краще, а Верочка споре зо мною і каже, що широкі вусики у Похитонова кращі, ніж узенькі вусики у Савицького.

Я попал в затруднительное положение и не знал, как мне выйти из него. Мне ближе и выгоднее было поддержать своим мнимым авторитетом старшую, более симпатичную сестру Верочку, благосклонно относившуюся ко мне, а не младшую сестру – немного строптивую Надю, обратившуюся ко мне с вопросом. Я задумался, а Надя стояла в выжидательной позе, нетерпеливо ожидая моего ответа. Чтобы вывести её из этого положения, я решил дать ей эзоповский ответ.

– Знаєте, Надежда Григорьевна, що я вам скажу? – обратился я к ней.

– Що? – с живейшим, видимо, интересом спросила она.

– У обох їх – і у Похитонова, і у Савицького – гарні вуси, – дал я ответ с расчётом помирить обеих сестер.

– О! – воскликнула недовольным тоном Надя, надув губы. – Не хотите правды сказать.

Уходя от меня, она в поучение мне кинула фразу:

– Он маманя правду мені сказали, що у Савицького усики тоненькі і кращі, ніж у Похитонова.

По таким фактам можно было безошибочно судить, какими культурными тенденциями обогащала Марья Александровна своих дочерей в деле взглядов на усики кавалеров и как велик был её авторитет и в этом отношении.

По чистой совести говоря, возведение Марьи Александровны разношёрстной публикой из среды внешних слоёв трудового казачьего населения на высокое положение культурной женщины в их смысле и понимании было дутым и обидным для неё самой и для черноморцев. Оно было обосновано на том единственном фактически точном положении, что Марья Александровна прекрасно владела своим родным языком. Но в этом общем и растяжимом смысле и невежественный человек, прекрасно владеющий своим родным языком, является культурным человеком. В том положении, в каком находилось тогда казачество, русский язык был не культурной ценностью, а господствующим государственным языком, дававшим известные выгоды тем, кто владел им. Дома же черноморские казаки, и даже на службе, в канцеляриях и тому подобном, говорили на своём украинском языке. К тому же, за немногими исключениями, подавляющая масса казачества была безграмотна, и большинство даже грамотных казаков не пользовались ни научными, ни литературными источниками в культурных целях.

Все же культурные признаки и качества Марьи Александровны как активной личности в области экономической правоспособности и творчества тесно связаны были с казачьим хуторским хозяйством. Иначе говоря, в этом смысле культурные признаки, характеризующие Марью Александровну, заимствованы были у казачьего населения Черноморья, второй её родины, которую она предпочла первой. Сама Марья Александровна приспособилась к другому языку.

Вообще же в тех условиях, в которых находились Григорий Львович и Марья Александровна Миргородские, и по той деятельности, какую они проявили, это были не рядовые фигуры казачьего населения по своим личным качествам и проявленной ими деятельности. Они были, во всяком случае, редкими личностями в среде остального, соприкасавшегося с ними населения. Оба они вели активную жизнь и, надо признать, действовали в тот момент в жизни Кубанского казачьего войска, когда хуторское скотоводческое хозяйство начало постепенно уступать место хозяйству зерновому. Это были последние могикане в этой области примитивной экономики, дружно шедшие по одному и тому же пути. Но образ Григория Львовича и теперь, как тогда, двойся в моих воспоминаниях. Это был крупный хозяин-хуторянин и импозантный вояка-казак. Как хозяин он создавал, а как вояка – разрушал, как человек он отличался высокими духовными качествами, а как воин, обладавший необычайными физическими силами, крошил живых людей на части. Любвеобилие и звериная жестокость уживались в одном и том же человеке. Что это такое? И кто же был Григорий Львович Миргородский? Для меня он – прообраз в миниатюре человечества, воплощающего в себе высокие общечеловеческие идеалы и добрые примеры – с одной стороны, и низкие зверские влечения к грандиозно безобразным разрухам – с другой.



Глава XXIV

## Ложная слава и обидная благодарность

**Н**а хутор к Миргородским обыкновенно приезжали знакомые и гости, деловые люди разного сорта и просто скитальцы по хуторам и станицам. Одним из таких скитальцев был не старый ещё диакон, лишённый диаконского места и прав служения в храме и вне его за какие-то проделки или грехи. Это была довольно тяжёлая кара для духовных лиц. Им предстояло или идти в монастырь на монастырское иждивение, или же скитаться по чужим людям и дворам, как вечным странникам. Я не помню, были ли в таком положении семейные особы или же это были проштрафившиеся одиночки. Диакон, о котором будет идти речь, был одинок, детей у него не было, а жена давно умерла. Он заезжал раза два или три на хутор, держал себя с большим апломбом как человек важный и знавший себе цену. Приезжал он как-то неожиданно, точно с неба падал. Ездил диакон в хорошей, крепкой и поместительной повозке, запряжённой в одну лошадь, рослую и крепкую, как сам диакон. Заезжал он прямо на двор, ни у кого не спросясь, распрягал лошадь, ставил её в конюшню или к открытым во дворе яслям, доставал из особого в повозке ящика ясы, надевал её на себя и отправлялся к хозяевам в дом. Войдя в комнату, он крестился на иконы, делал небольшой поклон и говорил:

– Мир сему дому, всем живущим в нём и хозяйну с хозяйкой.

Эту фразу всегда произносил он независимо от того, были ли в комнате хозяин и хозяйка. Для него достаточно было, чтобы присутствовали лишь дети или кто-либо из членов семьи. Он не просил ни позволения остановиться во дворе, ни разрешения войти в комнату, а садился на какое-нибудь место и начинал разговор с теми, кого находил он в комнате. Миргородские знали эти чудачества отца диакона и снисходительно относились к нему.

К такому бесцеремонному поведению отца диакона как нельзя более подходила и его резко бросающаяся в глаза фигура. Это был мужчина выше среднего роста с крепко сложенным корпусом, которому широкая ряса придавала несколько импозантный вид. Открытый лоб с сильно разросшимися, торчавшими вверх рыжими бровями и суровым из-под них взглядом представлял единственный открытый облик всей физиономии, которая была сплошным образом покрыта рыжими волосами; баки волнистыми прядями по щекам переходили в бороду, широкая, лопатой, рыжая борода покрывала верхнюю часть груди, усы так же, как и баки, переходили в бороду и сливались с ней, даже большой нос картошкой покрыт был мягкой растительностью, а сзади на затылке длинные волосы были заплетены в одну толстую косу. Этим необычным видом диакон производил на всех внушающее впечатление, а маленькие дети, взглянув нечаянно на физиономию диакона, плакали от испуга. Желая успокоить их, диакон басом говорил: «Агу, душенька! Агу, душенька!» – и, улыбаясь или смеясь, открывал два ряда больших белых зубов, чем приводил детей ещё в большее смущение и в испуг. Так рассказывала мне кухонная кухарка Христина, к которой он заходил за хлебом, не спрашиваясь, по обыкновению, хозяев, и застав у неё на коленях маленького двухлетнего мальчика, сильно пугал его своим внешним видом.

Откуда диакон был родом, никто не знал этого, и на вопрос об его родине давал всегда один и тот же ответ:

– Из матушки Рассеи.

Говорил он только на русском диалекте и не считался с украинским языком, ссылаясь на то, что он не знает или не понимает его, смотря по тому, что было ему выгоднее – незнание или непонимание. Чаще всего он пользовался непониманием, чтобы выиграть на том, что ему было необходимо. Миргородские принимали его просто, без обычного их радушия, но с явным уважением к нему как к духовному лицу.

Григорий Львович считал бесцеремонные выходки отца диакона его чудачеством, а Мария Александровна загадочно молчала, точ-

но она чего-то опасалась. Мои ученики неприветливо поглядывали на несимпатичного им духовного отца, а взрослые девицы боялись его – их сильно смущал внешний звериный вид диакона. Но вся семья, под влиянием добродушного отца и дышавшей приязнью к чужим людям матери, считала долгом предупредительно относиться к отцу диакону. Только одна кухарка Христина, маленького сына которой диакон пугал своим видом, увидев на повозке въезжавшего во двор диакона, непочтительно для духовной особы вслух произносила:

– Оце вже приїхала ота діяконська мара!

Она же подобрала к бесцеремонным поступкам непрошеного гостя и его внешнему свирепому виду удачное название. Мара – нечистый дух.

В первые два приезда диакона на хутор, заметив предупредительное отношение хозяев к диакону как к духовному отцу, я держался в стороне. На мои расспросы, кто такой отец диакон, в каком приходе раньше он служил, почему он остался без места, никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. На меня отец диакон сначала не обращал никакого внимания, а потом, когда узнал, что я сын священника и учился в духовной семинарии, он стал относиться ко мне демонстративно, держа себя с напускной важностью и дутой недоступностью. Это замечал не один я, но и мои обе приятельницы – Вера Григорьевна и Надежда Григорьевна – недружелюбно относившиеся к диакону, хотя они из приличия и не обнаруживали к нему явно выраженных некорректных поступков.

Так и установились у меня к отцу диакону определённые раз и навсегда молчаливые отношения. Ни я не затрагивал его, ни он – меня. Кроме «здравствуйте» и «прощайте», у меня не было с ним никаких разговоров. Но мои приятельницы заметили и сообщили мне, что в моём присутствии диакон был не так речист, как тогда, когда меня не было в комнате. Он прекращал свои разговоры при моём появлении. Меня это заинтересовало, и я спросил, о чём диакон разговаривал в моё отсутствие. Оказалось, что он всегда говорил о страшных происшествиях, лицах и вещах – о ведьмах, о колдунах, о злых духах, о наведении болезней на людей, о закрутках. Во всех случаях он изображал себя в ролях доброго гения для несчастных людей, которым он помогал молитвами и знаниями, как и чем предупредить наносимое людям зло. Подробности эти показались мне очень подозрительными. Я заинтересовался диаконом и решил поближе узнать, что это за личность. Он так резко отличался от скромного и незаносчивого диакона

Грачёва, чистосердечно веровавшего только в целительные свойства травы шалфея, что я не сомневался если не в шарлатанстве рыжего диакона, то в том, что он играл роль знахаря. Тогда же Марья Александровна сообщила мне, что диакон лечит молитвами скот и уверял её, что на скот можно напускать болезнь.

Когда же я спросил Григория Львовича об этом, то он мне ответил:

– Та лікує, чи шуткує с людьми. Не розберу я ні спереду, ні ззаду – дуже волоссям він скрізь заріс.

Меня удивил этот ответ. От добродушного Григория Львовича я в первый раз услышал столь резкий для его мягкой природы отзыв о человеке, который был принят в его доме и к тому же носил сан диакона.

На следующий день после обеда диакон ушёл куда-то в степь. Во дворе все следили за ним, зная, что он занимается знахарством. Один я не знал этого. Я не раз высказывался против знахарства в семье Миргородских, считая знахарство шарлатанством и суеверием. Все это знали, но никто и не оспаривал моего мнения. Мы собрались к вечернему чаю. Я спросил, где отец диакон, решив повести с ним разговор. Мне ответили, что он ушёл в хуторскую царину, а зачем и к кому, никто не знал. Марья Александровна почему-то молчала, не принимая никакого участия в разговоре. На этом разговоре застал нас диакон, возвратившийся из поля.

– Ну что? – спросила его Марья Александровна.

– Да ничего, – ответил диакон. – Нашёл и раскрутил. Всё обошлось благополучно. Всё будет так, как я говорил.

Я понял, что диакон ходил в царину, чтобы раскрутить там на чьей-то ниве закрутку. При этом я внимательно взглянул на диакона, изрекавшего докторальным тоном о том, о чём я догадался. Диакон заметил мой пристальный взгляд и, вероятно, в видах того, чтобы поддержать свой авторитет во мнении Марьи Александровны, вдруг своим громким басом ляпнул:

– На всё, Марья Александровна, требуется знание. Недаром и в книгах Священного писания сказано: «Знание – вольность, знание – свет, рабство без него».

Тут уж у меня не хватило присутствия духа. Я не утерпел и громко, на всю комнату, расхохотался.

Произошёл форменный скандал. Марья Александровна с упрёком взглянула на меня, девицы побледнели от испуга, мальчишки улыбались, поглядывая на меня, Григорий Львович молчал, а диакон побагровел и, видимо, решил отделать меня так, чтобы я помнил, кто он такой.

– Чему вы смеётесь, молодой человек, не принимая во внимание ни мой сан, ни возраст? – пробасил он гневно. – Так, значит, вам и Священное писание нипочём? Вы не верите в него! До чего вы дерзки и неразумны!

В этот раз я сдержал свой смех и не упрёкнул диакона в невежестве и в заносчивости, а скромно, без всякого волнения ответил диакону:

– Нет, отец диакон, я не верю тому, что выражение, которое вы произнесли: «Знание – вольность, знание – свет, рабство без него», – напечатано в книгах Священного писания; его там нет.

Но диакон зарвался и ещё с большею яростью обрушился на меня:

– Так вы, молодой человек, – круглый невежда; вы не знаете Священного писания, а взялись обучать детей у благородных родителей! – и бросил взгляд на Марью Александровну и на Григория Львовича.

Меня кольнула бесцеремонность и заносчивость диакона, но мне не хотелось дальше продолжать с ним свой спор и уличать его в круглом невежестве, ввиду той тревоги, какая внесена была приехавшим. Я очень ценил семью, приютившую меня и так сердечно относившуюся ко мне, как к своему члену. Поэтому, не теряя своего спокойствия, попытался убедить диакона в его ошибке. По-прежнему спокойно я рассказал ему, что произнесённые им фразы переведены с иностранного на русский язык и принадлежат знаменитому иностранному поэту, и напечатаны даже в учебниках. Но диакон не унимался и обратил внимание Григория Львовича на то, что я будто бы обучаю его детей по запрещённым правительством книгам. Производившиеся в то время правительственными властями в среде учащейся молодёжи политические сыски дали в руки таким разнузданным охранникам отечества, каким был диакон, всепобеждающий аргумент: «правительство запретило». Но этот же аргумент заставил вмешаться в спор Григория Львовича, который всё время молчал, сидел у стола и барабанил по нему пальцами.

– Заспокойтесь, отец діякон, – заговорил он. – Федор Андреевич учит, а мої діти учаться по законним книгам. Я сам купував їх по записочці, яку своєю рукою написав мені директор гімназії. Якщо ви знаєте толк в книжках, так я і записочку найду і сюди принесу вам.

Диакон сразу осел и ловко переменял свой карательный тон на спокойную речь.

– Коли так, то нечего и спорить, – сказал он. – Да и я таки немного погорячился, – сознался он. – Беда с этою молодёжью! – произнёс он и погрозил с улыбкой в мою сторону пальцем.

Все сразу успокоились. Диакон попросил у Марьи Александровны стакан чаю, ссылаясь на сильную жажду. Возобновилось прерванное спором чаепитие. Все принялись за чай со сливками к нему и за сладкие печенья. Вечер, наверное, прошёл бы мирно и спокойно, если бы диакон не коснулся предмета нашего спора. Он, видимо, желал по возможности сгладить перед хозяевами проявленную им горячность и несомненный для него провал. Но в этот раз он особенно сильно задёрнул меня, несмотря на принятый им спокойный тон речи. Разговаривая с Марьей Александровной, он громко сказал:

– Мне досадно было, что ваш учитель, не зная и не понимая моего дела, встрял в него.

– Отец диакон! – перебил я его. – Да ведь я знаю ваше дело и поэтому именно встрял в него.

– От кого это вы узнали? – тревожно спросил меня диакон, предполагая, очевидно, что об его посещении царины сообщила мне Марья Александровна.

– Вы ж сам при всех здесь сказали, что вы в царине были и там «раскрутили». Вот я и узнал, что вы были в царине и раскрутили там на хлебе закрутку. Так ведь это было? – обратился я к нему.

– Ну что из этого, если бы это было и так? – пробурчал небрежно диакон.

– Ничего особенного для меня, – сказал я. – Вот в эти закрутки я совсем не верю и считаю их шарлатанством.

Диакон вскочил, как ужаленный, и в порыве возмущения опрокинул даже стул. Я попал ему не в бровь, а в глаз, не рассчитывая на это.

– Вот видите, Марья Александровна! Вот видите, Григорий Львович! – восклицал диакон, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. – Он, учитель ваших детей, и в закрутки не верит! Чему ж, Марья Александровна, ваших детей он научит?

Я понял, что с этим нахалом нечего церемониться и что ему нужно говорить правду в глаза. Оба Миргородских молчали. Видимо, и им пришлось не по душе новое выступление диакона, и я два раза подтвердил:

– Да, я не верю в закрутки! И те, которые верят, ошибаются, а те, кто закрутки в ремесло обращают, те шарлатаны.

– Жаль мне вас и вашу молодость, – продолжал говорить диакон, стараясь по возможности сохранить спокойный тон, – а то я отучил бы вас от вашего неверия.

– Пожалуйста, отучите, отец диакон, – упрашивал я его, весело посмеиваясь.

Диакон сразу переменял свой тон и манеру обращения со мной, он перешёл даже с «вы» на «ты». Диакон, очевидно, привык окриками и грубыми приёмами устрашать тех, кто верил в его знахарское искусство и познания, и начал применять эти приёмы и ко мне.

– Жаль мне тебя, – заговорил он повышенным тоном, сильно жестикулируя руками.

– Не жалейте, отец диакон, – переменял и я тон. – И напрасно вы пугаете, я ведь закруток не боюсь и хоть какую закрутку раскручу.

– А знаешь ли ты, что такое ваша черноморская закрутка из овечьей шерсти в двенадцать пасом? – с грозным видом обратился он ко мне, то теребя себя за бороду, то жестикулируя руками. – Знай наперёд, что я шутить с тобою не буду. Раскрутишь ли ты закрутку в двенадцать пасом, если я тебе дам её?

– Раскручу хоть и в тринадцать пасом, – со смехом ответил я предостерегавшему меня диакону.

– А тогда так! – вскричал он. – Так вот что.

Он стал перед иконами и перекрестился со словами:

– Прости меня, Господь Боже, не поставь мне ни в грех, ни в вину, а просвети неверующего! – затем, обращаясь к Григорию Львовичу и к Марье Александровне, он прибавил: – А вы будьте свидетелями, что я не желаю ему зла, а он сам себе желает, – и он указал пальцем на меня.

Но тут подбежали ко мне мои приятельницы Верочка и Надя и начали спрашивать меня, чтобы я не раскручивал закрутки, Марья Александровна укоризненно качала головой, ученики мои с любопытством посматривали то на меня, то на диакона, а Григорий Львович молча сидел у стола и барабанил по нему пальцами. Уговорить меня, конечно, нельзя было, так как я прекрасно знал, что раскручивание закрутки не причинит мне никакого вреда, и всё время просил диакона:

– Дайте же мне, отец диакон, ваши тринадцать пасом! Я раскручу их.

Диакон тоже медлил, ожидая, что меня упрелят изменить моё намерение. Опасаясь, что девицы начнут спрашивать и диакона, и мне не удастся уличить его, я решил пустить в ход последнее средство.

– Отец диакон! – произнёс я.

– Что такое? – с живостью спросил меня диакон, видимо, уверенный в том, что я буду просить пощады.

– Вы, отец диакон, извините меня, хвастун! И кричали, и страшили, а своих тринадцать пасом не хотите дать мне. Скажите: почему не хотите? – обратился я к нему.

– Жалел, а теперь не пожалею, – и он отправился к своим вещам, чтобы принести закрутку в тринадцать пасом.

Пока диакон ходил, приятельницы мои ещё с большей силой стали упрашивать меня, чтобы я не рисковал собой, а Марья Александровна напустилась на Григория Львовича, почему он молчит и не прекратит возгоревшейся между мной и диаконом распри. Григорий Львович с непоколебимым хладнокровием ответил своей супруге:

– Це не наша с тобою справа, а воєне діло. Воєе Федор Андреевич с дияконом. Нехай б'ються, а ми подивимось, хто кого подолає.

– Ну, що з тобою поробиш? – воскликнула Марья Александровна, ударившись о полы руками.

В это время появился диакон с закруткой. Казалось, он был спокоен. Сев за стол, он осторожно развернул бумагу, в которую была завернута закрутка, и пояснил, что нитки из овечьей шерсти закручены не в ту сторону, в какую вертится веретено, а в противоположную. Затем, взявшись за концы все тринадцать пасом, поднял их вверх, чтобы все посмотрели на них, и, передавая их мне, низким голосом, как авгур, тихо проговорил:

– На! Та знай, что к завтрашнему утру тебя тринадцать раз она скрутит по всем суставам!

Я попробовал взять, но он крепко держал и кричал: «Та бери ж, бери!» – и я только с усилием вырвал у него из рук пасмы.

Что этот последний манёвр означал, да и всё вообще его лицедейство – то ли что всё время, как и при передаче закрутки, он верил в действие её, или же что он совершенно не верил в действие закрутки, зная это, и сознательно шарлатанил – в тот момент я не думал об этом, хорошо зная, что раскручивание закрутки не принесёт мне никакого вреда.

В комнате настала, однако, полная тишина. Мои приятельницы и сама Марья Александровна с волнением следили за производившимися мной операциями раскручивания закрутки, с любопытством следили за тем же и мои ученики, а Григорий Львович сидел у стола и по-прежнему барабанил пальцами по столу. Раскручивание закруток производилось мной не менее двух часов. В каждой пасме было действительно тринадцать ниток, и хотя каждую нитку я быстро раскручивал, но на раскручивание тринадцати пасом потребовалось всё-таки

много времени. Во всё это время длилось томительное молчание. Один только диакон, следивший внимательно за каждым движением моим, громко считал: «Раз, два, три» – и так далее. Я хотел было забрать все нитки себе, но диакон не позволил мне этого, заметив, что он дал мне пасмы не в подарок, а для того только, чтобы я раскрутил закрутку.

Время так затянулось, что в забывчивости никто не вспомнил об ужине. В хуторе совершилось целое событие, наделавшее шуму у всех обитателей хутора, а от них – и у населения вне его. Диакон забрал раскрученные пасмы и вышел из комнаты, ни с кем не простившись. Когда же поднялся я, чтобы уйти в свою комнату, то мои ученики вцепились в меня, а девицы просили у матери разрешения и им проводить меня в мою комнату. Мать не только позволила им проводить меня, но и сама сопровождала нас. Видно было, что женщины тревожились за мою участь. Один Григорий Львович, пожимая мне руку, весело сказал мне:

– Тепер і я бачу, що ви настоящий чорноморський козак!

Нужно было посмотреть на ту смешную картину, которую изображали собой сопровождавшие меня мои молодые друзья во главе с их матерью. Марья Александровна села на стул и приказала детям проверить всё в моей комнате и в прихожей. Девицы постлали мне постель и тщательно пересмотрели все постельные принадлежности и обстановку, не подложено ли было в них чего-либо вредного для моего организма и здоровья. Мальчишки полезли под кровать и возвестили оттуда, что под кроватью «нема ні кішки, ні мишей». Закрыты были на задвижки все окна. В прихожей Марья Александровна приказала закрыть ляду на чердак, меня попросила крепко закрыть после ухода их двери и не выходить из комнаты всю ночь до утра. Верочка и Надя, боявшаяся диакона, как самого злющего человека, тем не менее, ободряли меня, чтобы я ничего не боялся. Марья Александровна ничем не успокаивала меня, но она мне сказала, что диакон – такой человек, что от него можно ожидать всяких каверз. Уходя, все пожелали мне спокойной ночи и хорошего сна. Хотя я считал совершенно ненужными все те предосторожности, которые были предприняты для меня, но мне в высшей степени были приятны те внимание и заботливость, которые выказаны были так сердечно всей семьёй.

Я прекрасно спал всю ночь. Встав, по обыкновению, рано утром, я не вышел, однако, из комнаты, чтобы высмотреть, что происходило во дворе. До меня долетали говор и окрики молодых девиц и моих учеников. Очевидно, все рано встали и ожидали моего выхода. Когда же

я вышел на двор, то моё появление среди них вызвало восторженную встречу. Вера Григорьевна спрашивала меня:

– Чи не крутило вас в пальцах на руках або на ногах?

Надежда Григорьевна спрашивала:

– Чи не давив вас хто-нибудь ноччу так, як давить, кажуть, домовий людей?

А ученики сообщили мне, что диакон снёс уже все свои вещи в повозку. Диакона, однако, не видно было, и он ещё не уезжал. В столовой, когда я явился к чаю, меня встретили старики Миргородские. Марья Александровна встретила меня с улыбкой и сказала:

– Діти мені вже сказали, що у вас суставы уцелели.

А Григорий Львович, пожимая мне руку, с улыбкою поздравил меня:

– Поздравляю з повною побідою; в лоск положили ви неприятеля.

Через несколько минут появился в столовой и диакон. Войдя в столовую и сделав общий поклон со словами: «С добрым утром вас», – он спокойно уселся за стол и принялся за чай и закуску, точно вчера ничего не происходило. Все молчали, только одна Марья Александровна как хозяйка ухаживала за ним. Когда же диакон удовлетворил свой аппетит, Григорий Львович, со свойственным ему спокойствием и серьёзностью, спросил его:

– Як же воно, отець діакон, оце вийшло; вчора ви казали, що Федора Андревича, як розкруте він закрутку, за ону ніч усі суставы закрутка перекруте, а він і зараз, хоч сотню пасом дасте йому, розкруте всі?

– Так оно и вышло, как следует, – ответил диакон спокойно, без смущения. – Только я вам не скажу – почему, при детях и чужих людях.

Дети, в том числе и я, немедленно вышли из столовой. Диакон коротко сообщил Григорию Львовичу и Марье Александровне, что в моём лице он неожиданно для него наскочил на такого знатока в его искусстве, который больше его, диакона, знает и понимает. Тут же он прибавил, что он уедет, так как ему нет уже места там, где он превзойдён в искусстве.

– Достаточно вам одного такого знатока, – изрёк он в заключение.

Когда я узнал об этом секрете, то до упаду хохотал, в чём меня поддержали все. Одна Марья Александровна, соглашаясь со мной, что диакон – форменный шарлатан, тревожилась, тем не менее, что такие люди злы и мстительны и что диакон может из мести сделать кому-либо в семье или мне какую-нибудь пакость. Я возражал на это, что

диакон не заедет больше на хутор, а меня он будет избегать, как сатана ладану. Диакон не заезжал на хутор, и больше мне не приходилось с ним встречаться.

И всё же шарлатан отомстил мне за колебание его авторитета. Недели две спустя, когда все в хуторе и вне его узнали, как я победил диакона, многими моя победа была понята в буквальном смысле. Диакону поверили, что я выше диакона в области знахарства, и в особенности – по части закруток, так как я раскрутил даже закрутку в тринадцать пасом. Благодаря столь лестному отзыву о моей особе ко мне на хутор стали являться пациенты с усиленными просьбами поправить их от ломоты, полученной ими от закруток. Это были, большей частью, женщины, приносившие мне в виде гонорара за лечение и курочек, и яички, и масло, и прочее. Убедить, что я не лечу от закруток и что от закруток не бывает ломоты, не было никакой возможности. Они не верили мне, полагая, что я просто отказываюсь лечить, умоляли меня, некоторые даже плакали. Создалось просто невозможное для меня положение.

Поверье о закрутках, порождающих будто бы ломоту в костях или ревматизм, было распространено по всей Черномории, и особенно – в глухих станицах. Закрутки, то есть скручивание в один пук растительности во время её роста, закручивались, главным образом, в хлебах на корню, но иногда делались также закрутки на листьях и побегах в саду, на посевах в огородах, например, на конопле и на траве. О закрутках в тринадцать пасом из овечьего валу, какую я раскрутил у диакона, в первый раз я услышал от него. У меня на родине в Новодеревянской и в других станицах я не слышал о таких закрутках. Закрутка на толстых нитках из овечьей шерсти в тринадцать пасом по своему материалу и способу применения существенно отличалась от закруток на живой растительности. Между тем как закрутки последнего рода предназначались и считались действительными только для тех хозяев и семей их, на хлебе которых они делались, закрутки на нитках в тринадцать пасом тайно подкидывались в дома и во дворы тех лиц, которым желали вредить. Изобретён ли был этот последний вид закруток диаконом или он заимствовал его у населения, я не знаю, но в районе Бриньковской ему придавали огромное значение, и слух о том, что я раскрутил закрутку в тринадцать пасом, осрамив диакона, способствовал моей славе в роли великого знахаря. В этом случае повторилось то же, что произошло с секретом в немецком плуге, но только с большой помпой.



Поверье о закрутках на хлебе было на Черномории всеобщим. Оно так же сильно было распространено, как и ломота. Закручивались закрутки всеми, кто хотел, – закручивали их знахари и знахарки, враждующие лица и семьи, шалившая молодёжь и даже дети – всем закрутки легко в руки давались. Но закруток, сделанных знахарями и даже враждующими семьями и лицами, было мало. Большинство закруток производилось по глупости и неведению, не из мести и не в волшебных целях. Роль знахарей была популярна и легко давалась. Они без боязни раскрывали закрутки, ибо по опыту знали, что закрутки никакой ломоты в костях организма не порождают, а главное – они не столько лечили от ломоты, сколько застраховывали от ломот тех, у кого в семье их не было. На этих двух актах и держалась практика таких проходимцев, каким был отец диакон. Я же попал в такое положение, как диакон, главным образом, потому, что безбоязненно раскручивал закрутки, чем в поддержке своего авторитета и воспользовался диакон. Попав же в это положение, мне приходилось всячески ронять свою славу, убеждая всех, что закрутки держатся на нелепейшем суеверии, что ломоту лечат солёной грязью на соляных озёрах, лекарствами, тёплой одеждой и тому подобным, что закрутки может всякий безбоязненно срывать и уничтожать, без риска заболеть ломотой. Это отчасти подрывало мою ложную славу, но только оставив вскоре хутор, я тем самым замёл следы, как замёл свои следы куда-то скрывшийся диакон.

Так я в очередной раз отличился и так похоронил этот эфемерный пережиток невежества тёмной массы.

Более действительным и безобидным для меня был мой также неожиданный успех в защите при следствии невинно привлечённого к нему лица, сопровождавшийся искренней, но обидной благодарностью мне пострадавшего и его соплеменников.

Табунщиками многочисленного лошадиного табуна у Миргородского были две калмыцкие семьи, состоявшие из мужей, жён и ещё каких-то членов. Я первый раз соприкоснулся в своей жизни с этими простыми, наивными и интересными детьми степи и первобытного пастушеского быта. Имя главы одной семьи было Манджик, а другой – Учур. Из женщин в моей памяти осталось имя только Одарки, жены Манджика. Эти три лица и были для меня наиболее близким персоналом, с которым я непосредственно соприкасался. Моё знакомство с ними началось с того, что я показал им своё умение писать по-калмыцки – сверху вниз. В семинарии я обучался калмыцкому языку как необходимому для миссионерской деятельности и вынес единст-

венные знания по этому языку в умении писать калмыцким узорчатым алфавитом сверху вниз. Хотя мои приятели были неграмотны, но они признали в изображённых мною каракулях калмыцкие письмена. Со своей стороны, и я воспользовался их знаниями родного языка и записал «бичик чи Педе Шарин», что в переводе на русский язык означало «учитель Фёдор Щербина». На этом взаимном культурном сближении и завязались у нас последующие дружеские отношения. Я заходил к ним в кибитки, когда они находились вблизи хутора, а они заглядывали ко мне в мою комнату, когда были в хуторе, и тогда мы болтали на украинском языке, которым они довольно сносно владели. Когда мне требовалась верховая лошадь для того, чтобы покататься или съездить в станицу, то, по раз сделанному распоряжению Григория Львовича, они охотно приводили её ко мне и являлись в хутор, чтобы взять её обратно в табун. Эти же калмыки прекрасно познакомили меня с внутренней организацией табуна, стихийно сложившейся у лошадей в эволюционном порядке развития в виде отдельных косяков или лошадиных полигамических семей, из которых и состоял табун. Калмыки показывали мне лучших главарей в этих косяках, рассказывали, как главари правили косяками, ревниво оберегая свой приоритет и установившиеся порядки, как главари отдельных косяков играли между собой и так далее. Первый раз в табуне Миргородского я получил от калмыков интересные сведения, которыми через много лет воспользовался при изучении психики у животных и их ассоциаций. В течение второй половины лета и во всю осень до первых заморозков я находился в более или менее частых сношениях с калмыками. Но лишь только показался на реке лёд, и начали замерзать прилегавшие на протяжении семи вёрст вдоль реки плавни, покрытые мелкою водой, как над одним из калмыков – над Манджиком – стряслась беда. На хутор к нам приехали два моих деревнянских земляка. Это были дети есаула Люльки, оба молодые юнкера. Они передали мне и Григорию Львовичу, что два дня тому назад у них воры угнали весь их косяк лошадей, находившийся вблизи их хутора на Копанях. Немедленно по обнаружении кражи они бросились на розыски лошадей по следам, которые привели их к Бейсугу. Тут ясны были следы, так как лёд в плавнях был очень тонок, и лошади ломали его ногами. По ту сторону возле плавней они нашли плеть хорошей отделки, и знакомые табунщики сказали им, что она принадлежала Манджику, калмыку-табунщику Миргородского, почему они и приехали с этой плетью к нам в хутор. Позвали Манджика и спросили его, где он был третьего дня тому назад. Манджик ответил:



– Дома.

Усомнившиеся в этом показании юнкера и сам Григорий Львович поражены были точным показанием Манджика, что в тот день вечером он приводил мне лошадь для катания и совсем поздно вечером он взял у меня лошадь обратно на хуторе. Это был, безусловно, точный факт, который я хорошо помнил и подтвердил. В эту именно ночь воры угнали косяк лошадей у хутора есаула Люльки, который находился от хутора Миргородского в сорока пяти верстах. Ясно было, что сам Манджик не мог участвовать в краже лошадей, ни даже находиться в том месте, где найдена была его плеть. Показали Манджiku плеть.

– Це моя малахай, – крикнул радостно Манджик прежде, чем его спросили, чья это плеть. – Де ти його взяв? – обратился он к юнкерам.

– А кому ти дав малахай? – спросили его юнкера.

– Нікому не давав, я його загубив, – ответил Манджик, – давно загубив.

Оказалось, что плеть, по словам его, он потерял месяц тому назад, но где именно, он не знал, иначе искал бы в том месте, потому что очень дорожил ею.

По уходе Манджика юнкера высказали, однако, догадку, что Манджик, если не участвовал в воровстве и в угоне лошадей, то он, наверное, знал, кто угнал лошадей и куда они были направлены, так как табунщикам, имеющим свои связи, эти тайны хорошо известны, поэтому они и сделают это заявление следователю.

– Це ваше діло, – сказал Григорий Львович, – тільки мені здається, що Манджика до цього діла не можна приклеїть. Він же давно загубив малахай.

Я также высказал уверенность в том, что в краже косяка он не участвовал и фактически не мог участвовать.

Мои земляки с плетью Манджика уехали домой. Целый косяк лошадей, полсостояния есаула Люльки, как в воду канул. Так вели тогда массовые покражи лошадей ловкие воры. Это походило немного на барышничество азиатских кочевников, с тем различием, что там оно не облекалось такой тайной, как в данном случае.

Прошло несколько дней. Из Бриньковского станичного правления приехал на хутор казак, который по распоряжению судебного следователя арестовал Манджика. Он был отправлен в Уманскую, в тюрьму. Тужила Одарка, жена Манджика, оплакивала его семья Учюра, соболезнавали им все калмыки, и все они в один голос утвержда-

ли, что Манджика взяли и в острог посадили без всякой вины с его стороны. В кибитках калмыков было так печально и сумрачно, что я перестал к ним ходить, не желая своим приходом усиливать их печали и отчаяния. Ни я, ни Григорий Львович не могли ничем помочь им. Прошло ещё два месяца, когда от судебного следователя станицы Уманской пришла повестка о вызове меня в качестве свидетеля по делу есаула Люльки о грабеже у него косяка лошадей. Я отправился в Уманскую. Судебным следователем оказался наш черноморец Бакало, окончивший в университете курс наук по юридическому факультету. Это был умный и добросовестный юрист. Я всесторонне осветил ему роль Манджика в деле, как лица, не участвовавшего ни в грабеже, ни в угоне воровским способом косяка лошадей. Следователь согласился со мной и сообщил мне, что он ничего не знал обо мне как об очень важном для Манджика свидетеле и руководился только данными потерпевшего Люльки, у которого воры угнали всех его лошадей, и что только сам Манджик недавно, по совету одного из арестантов, указал на меня как на его свидетеля. При новой постановке дело приняло совершенно иной характер. Не оказалось никаких данных о том, что Манджика можно было обвинять как в участии в грабеже лошадей, так и в воровском угоне их, а моими точными и обстоятельными фактическими показаниями установлено, что Манджик не имел никакого отношения к угону лошадей, кроме утерянной им где-то в степи месяцем ранее до угона лошадей плети, не имеющей никакого значения для привлечения к делу. Самый грабёж никакими фактами не установлен, и судебный следователь признал угон лошадей воровством. Не было также никаких указаний, кто и куда угнал лошадей. Следователь тут же составил постановление об освобождении Манджика из тюрьмы и приказал немедленно привести его в камеру для предъявления ему моих показаний по следственному делу.

В камеру ввели Манджика. Трогательная, не поддающаяся описанию сцена произошла в камере. Увидев меня, он зарыдал от волнения и радости, бросился ко мне и начал целовать мне руки и даже ноги. Не было возможности успокоить его. Растроганный следователь запер на ключ дверь и молча наблюдал происшедшую сцену. Когда же мне удалось передать Манджiku, что следователь освободил его из тюрьмы, то он бросился к следователю и начал и у него целовать руки и ноги, ползая по полу. Тот еле успокоил его и посадил на стул. Он предъявил ему мои показания и предложил внести в дело свои поправки или дополнения.

– Нехай він скаже; він ніколи і нікому не бреше, – отрекомендовал он меня судебному следователю.

На другой день мы отправились домой – на хутор. Всю дорогу калмык рассказывал мне, как «погано жить в тюрьме» и как он скучал по степи, табуну, юрте, Одарке и обо всех, кто жил в юртах на хуторе. Иногда он глядел в степь направо, налево и вдоль и весело смеялся. Я спросил его в первый раз, отчего он смеётся.

– Того, – говорил он, – що там степ, – и указывал рукою в разные стороны, – а тут я вольна, – и тыкал себя пальцами в грудь.

По приезде на хутор мне ещё раз пришлось быть свидетелем столь трогательной сцены, как и в камере судебного следователя, но в иной обстановке. Мы въехали во двор хутора в то время, когда во дворе были Одарка и Учур с женой, приходившие три дня подряд узнавать, не приехал ли я. Они горели желанием узнать, какие вести я привезу им, – и вдруг увидели и самого Манджика. Они кричали и тормошили его, гладили и целовали его, а он крутился в их руках и объятиях от восторга. Несколько раз бросались ко мне, целовали мне руки как освободителю из тюрьмы дорогого им человека, который подкреплял тогда их в общей атаке на меня. В ответ на их крики и дружное ликование к нам бежали со всех сторон двора – из большого дома спешили Григорий Львович и Марья Александровна, бежали Верочка и Надя, откуда-то из нижней части двора неслись мои ученики, а из кухни и из сарая спешили кухарка, птичница и рабочие. И все радовались и тормошили меня вопросом:

– Це ви освобонили із острога Манджику?

А Манджик, услышав этот вопрос, кричал:

– Це він!

Не утаю, что и я радовался и ликовал, хотя моя роль была, в сущности, скромна и естественна.

С ликованием, как бы торжественным шествием, отправились калмыки в кибитки, а я подробно ознакомил всю семью с тем, как поставлено было дело Манджика до моих свидетельских показаний и какой характер оно приняло после них. После произведённого калмыками шума и ликований хуторская жизнь приняла свой обычный характер. Два дня не показывались на хуторе ни Манджик, ни Учур, никто из калмыков. Из деликатности никто из нас – ни старики, ни молодёжь – не трогали их, чтобы не нарушить их радостного настроения по случаю возвращения Манджика, заранее приговорённого ими на гибель в остроге. На третий день, в воскресенье, когда Григорий

Львович и Марья Александровна с дочерьми уехали в станицу, а мои ученики бегали где-то в степи, я сидел в своей комнате и перечитывал журнал «Дело». Во дворе было тихо и спокойно. Вдруг ко мне в комнату ввалилась группа лиц. Это были Манджик и Учур с жёнами и какой-то старик со старухой. Все они были одеты по-праздничному, с резко выделявшимся национальным жёлтым цветом в одежде. Они пришли благодарить меня за освобождение Манджика из тюрьмы. Благодарственную речь произнёс старик, дядя Манджика. Это был уважаемый калмыками старик, пасший с другими калмыками табун лошадей Котляревского в районе степей станицы Брюховецкой, смежных со степями станицы Бриньковской. Он узнал о возвращении Манджика из острога и приехал к племяннику вместе со своей старухой, чтобы разделить общую радость. Почему ему, как всеми уважаемому дяде Манджика, и поручено было произнести благодарственную речь.

Речь старика не отличалась ни оригинальностью мысли, ни красотой изложения. В простых словах он благодарил меня за возвращение племянника из тюрьмы в кибитку и пожелал мне, чтобы и у меня был такой большой табун лошадей, как у моего хозяина. Но когда я усадил гостей на стульях, то другой оратор – Учур – поразил, или правильнее – ошеломил меня не речью, а чисто практическим предложением.

– Підемо зараз в табун; він увесь біля кибітки, – предложил он мне.

– Чого? – спросил я его.

– Ми тебе там спасиба зробим, – объяснил мне Учур. – Вибирай сам із табуна найкращій тобі лошак.

– Так то ж лошак хазяїна, пана, – напомнил я ему.

– То нічого, – успокоил он меня. – Хазяїну в табун ми украдемо ще кращій лошак.

– Що ти? – хотел я образумить Учур и запнулся.

Но Учур по-своему понял меня и, заподозрив, что я не верю в кражу лошака, принялся уверять меня, что «еще наилучший лошак буде і в табуні пана!»

– Їй-Богу украдемо – я, і дядько, і твій Манджик, – тыкал он пальцем в старика и в Манджика, чтобы успокоить меня.

Я кусал себе губы, чтобы не расхохотаться, и не знал, как предотвратить предложенную мне моими приятелями благодарность, которую они хотели «зробить» в чужом табуне лошадей, не имея собственных. Чтобы прекратить сразу наш разговор, набравшись духу, я решительно заявил, что в табун я не пойду и лошака я не возьму.

Мои гости сильнее, чем я, поражены были моим отказом, и все печально понурили головы. Напрасно я пытался успокоить их, благодаря за доброе отношение ко мне. Они молчали, переглянулись и, поклонившись мне низко, вышли из комнаты. Очевидно, они глубоко были опечалены тем, что я не понял их искреннего желания «зробить спасибо».

\* \* \*

Моё положение на хуторе в семье Миргородского оказалось настолько прекрасным, что даже в моих мечтах не было представлений о столь счастливых условиях жизни. Я жил спокойно, беззаботно, в полном довольствии на всём готовом и при сердечном отношении ко мне тех лиц, которым и со своей стороны я симпатизировал. С учениками я скоро сошёлся очень близко, и они просто и доверчиво делились со мной рассказами о своих забавах и похождениях. Старики считали меня своим, семьянином, и между нами за всё время пребывания моего в хуторе не было никаких недоразумений. Очень тепло относились ко мне Верочка, Надя, тётушка их Вера Корниевна, урождённая Бурнос, и благоволил даже сын Миргородского от первой его жены Александр, редко бывавший дома вследствие своей военной службы и находившийся в несколько обособленном положении с остальными членами семьи. С Верочкой, или Верой Григорьевной, наедине мы не скрывали своих взаимных симпатий и часто переходили на товарищеское «ты». Вдобавок и прислуга, услугами которой по принципу я почти не пользовался, сам заботясь о себе, могу сказать, трогала меня своим вниманием и готовностью помочь мне, когда я тащил для себя кувшин с водой или наводил порядок в комнате.

Само собою разумеется, что в таких случаях и обстановке я, что называется, из кожи лез, чтобы подготовить моих учеников к поступлению в гимназию. Я не жалел затрат на работу ни своего времени, ни труда, считаясь только с тем, чтобы не утомить детей. Но это были казачьи дети хуторской, полной интереса жизни в тех сложных и заманчивых условиях, какие свойственны были хуторскому быту, разнообразию и довольству во всём в хозяйстве Миргородского. Не было ничего исключительного в том, что дети в большей степени льнули к этой соблазнительной жизни хуторского обилия, разнообразия и полноты привычных им повседневных явлений, чем к скучной и трудной науке грамматике или арифметике. Я не очень тревожился этим, так как

был уверен, что их умение сносно читать печатный текст и понимать простой рассказ или историю событий и довольно удовлетворительная каллиграфия в письме были совершенно достаточны, чтобы поступить в первый класс гимназии, но ошибся в своих предположениях. В гимназии педагоги придавали большое значение приёмным экзаменам детей, и, к нашему общему несчастью, экзаменаторами оказались самые строгие и придирчивые учителя. Оба моих ученика провалились на экзаменах по арифметике и русской грамматике и были не приняты в первый класс, а зачислены в класс приготовительный. Мне был крайне неприятен этот казус, но старики сами заявили мне, что я неповинен в этом, так как они видели собственными глазами, с каким усердием я занимался с детьми. Старик же Миргородский заметил:

– Та то, мабуть, і учителі так коверзують, як сердиті генерали перед генеральним смотром.

Неудачный экзамен ничуть не изменил наших добрых взаимоотношений. Все в семье искренне сожалели не о неудаче на экзамене, а о том, что я скоро покину хутор, уеду от них к своим товарищам по ассоциации.

– Бо дуже всі приникли до вас, як до свого, – пояснял старик Миргородский.

Эта искренность и сожаления отразились и в тех дружеских хлопотах, которые проявлены были в снаряжении меня «в путь-дорогу», по выражению старухи Миргородской. Лично она преподнесла мне на дорогу большую серебряную ложку с эмалью.

– Это вам на память, – сказала она, – чтобы вы при еде вспоминали о нас.

Верочка приготовила для меня два вышитых на пяльцах платка с её инициалами и две мягких пуховых подушечки, пожелав мне, чтобы я сладко спал на них и её не забывал, Надя соорудила красивый атласный галстук и сразу же надела мне на шею. Вера же Корниевна и Григорий Львович снабдили меня самыми искренними пожеланиями успеха в моей жизни и в товарищеских делах по ассоциации.

Так расстался я с этою милой семьёй и задушевными людьми.





Глава XXV

## В поиске новых заработков

**П**еребравшись в станицу Старотитаровскую и пароходом по Азовскому морю из Ейска через Керчь и Тамань, я застал своих товарищей в воскресный день во дворе отца Якова Попки. Они приготавливались ехать на двух подводках в царину. Без всяких околичностей и я присоединился к ним. Мы выехали без Якова Попки, который был оставлен отцом дома и должен был приехать к нам позже. Но ни мне, ни моим товарищам не пришлось, однако, надолго остаться в Старотитаровке. Дорогой товарищи сообщили мне, что на соляных озёрах Тамани они заработали очень значительную сумму денег; был большой урожай соли в озёрах, и много они добыли, а цены на соль были высокие, и соль очень выгодно для ассоциации была сбыта. Но из-за того, что дело вёл сам отец Якова, он сам без всяких уговоров оставил в свою пользу очень большой куш денег, что-то около трети всей суммы заработка. Яков Попка ничего не мог поделаться со своим властным отцом. Это был человек крутого нрава, не принимавший и не понимавший никаких интересов какой-то ассоциации.

– Я хазяїн всього діла, – твердив он, – воно було моє; товариші твої їли мій хліб, їздили на моїй повозці і возили на ній продану сіль. Чого ж я буду з ними ще панькатися?

Отношения между отцом и сыном до того обострились, что сын погрозил отцу уходом от него.

– Скатертю тобі дорога, – ответил ему на это отец. – Тобі, мабуть, не треба нашого хазяйства, над котрим я увесь свій вік бився та гнувся, щоб досталось воно тобі з твоїм братом. Ну, коли тобі не треба твого добра, так не однімай його од брата для своїх любезних товаришів.

Так рассказывал нам Яков вечером, когда и он приехал к нам в царину.

И в этот раз он остался дома и, ввиду нашего приезда, поставил отцу ребром вопрос, на каких условиях ассоциация будет работать в его царине, на его скоте и на его продовольствии.

– А на таких, – сказал его отец, – на яких робили й на соляних озерах. Я ж їх не обідив. Добре заробили й вони. Чого ж треба ще? Що вони на хазяїні хочуть верхом їздить?

Все мы прекрасно понимали, что с таким своенравным стариком, каким был отец Якова Попки, каши мы не сварим. Нужно было покончить наши дела и ехать в другое место. Так думал и сильно расстроенный Яков Попка. Он решил было уехать с нами. Но мы единогласно не советовали ему делать этого, чтобы избежать явного скандала, как поняли бы сторонние люди. Наоборот, мы решили, что так как трое из нас уже работали вместе с Яковом Попкой, то чтобы ослабить наше расхождение с отцом его, мы должны поставить в благоприятные условия и нашего товарища Якова, чтобы избавить его от затруднительного положения. Мы ведь единомышленники и не расходимся в этом. Решено было остаться у Якова Попки на целую неделю и поставить так дело, чтобы он мог свободно вести его и без нас. Растроганный Яков Попка принял наше предложение, заявив, что он всегда будет нашим единомышленником и союзником по тому делу, которое мы вели в семинарии и в Бриньковской станице, и что он останется на отцовском хозяйстве, чтобы не ломать сыновних отношений к отцу. Ему, признался он, жаль старика отца, который останется без него в беспомощном положении, так как его младший брат был мальчиком. Мы энергично проработали ещё шесть дней, наладив как следует очередные работы, и двинулись потом в Керчь с расчётом стать на работы на пристани этого города. Там были в разгаре работы по погрузке зерна на иностранные суда.

\* \* \*

В Керчи мы остановились в одном из рабочих притонов этого первоклассного для смежной Кубанской области порта. Так как нас

было четверо и мы держались тесно сплочённой группой, то один из местных рабочих заинтересовался нами и прямо спросил нас: откуда мы? Узнав о том, что едем из Кубани морем в Ейск, а в Керчи остановились заработать денег на дорожку, он поведал нам, что работы сейчас на керченской пристани – сколько хочешь.

– А чувалы вы можете таскать на плечах? – спросил он.

– За этим делом мы и остановились в Керчи, – ответил Васька Орлов.

Рабочий взглянул на Орлова и слегка усмехнулся.

– Чем я рассмешил тебя? – спросил его Орлов, пристально следивший за рабочим.

– Когда я посмотрел на тебя, – заговорил рабочий, – то сам себе подумал, что хотя ты не росл и приземист, а надо полагать, что один чувал ты можешь взять под мышку, а другой – под другую, да ещё, чего доброго, и в пляс с ними пойдёшь, – и рабочий громко и весело рассмеялся.

Мы не преминули громко поддержать его.

Обступив словоохотливого рабочего, мы завели речь о возможности найти завтра с утра работу, прибавив, что лучше всего найти нам работу артельную, так как мы работаем артелью. Рабочий охотно заговорил с нами на эту тему.

– Работы сейчас на пристани, – сказал он, – по горло, сколько хотите, найдёте.

На пристани шла усиленная погрузка хлебного зерна на большие суда – за границу. Он советовал нам стать на пристани кучкой и заявлять, что мы работаем артелью. Их охотно брали на работы хлебо-торговцы и моряки. Васька Орлов подошёл к рабочему, товарищески хлопнул его по плечу со словами:

– Ну, пойдём, значит, сегодня в харчевню, а завтра ты поможешь нам найти работу.

– С нашим удовольствием, – ответил рабочий.

В харчевне они выпили две косушки водки, закусив солёным огурцом, и рабочий осведомил своего неожиданного приятеля об условиях работы от партии и по количеству чувалов.

На другой день рано утром мы стояли тесной группой на пристани. Откуда-то почти одновременно с нами появился и наш вчерашний знакомый. Он предложил нам включить временно и его в артель, а он найдёт нам работу, и ему за комиссионные услуги что-нибудь перепадёт от грузоотправителей. Простота и откровенность нашего знако-

мого покорила нас, и мы охотно приняли его предложение. Рабочий выполнил своё обещание, и в течение нескольких дней мы таскали чувалы и исполняли другие связанные с погрузкой хлеба работы.

За это время мы ближе присмотрелись к городским портовым рабочим. Наш приятель познакомил нас «с босой командой» в Керчи. Это были, по его словам, сильные, ловкие и превосходные работники, но и отчаянные кутилы и стойкие ребята. В случае каких-либо осложнений они всегда впереди. В рабочей среде мало было грамотных. Рабочие почти не читали газет и политикой не занимались. Но всегда поддерживали друг друга в целях товарищеских. Совместная жизнь и близость нужд и потребностей объединяла и сплачивала их, особенно если затрагивались интересы рабочих. Но городские рабочие и их жизнь не заинтересовали нас.

– В среде их не наше место, – говаривали мы и были убеждены, что земледельцы разумнее и целесообразнее затрачивают свои силы на сельскохозяйственное производство и удовлетворение своих потребностей.

Заработав приличную сумму денег, мы двинулись из Керчи в Ейск, а оттуда – в мою родную Новодеревянковку.

\* \* \*

Новые наши приключения связаны были, собственно, с моей особой. На палубе парохода мы разместились с вещами вблизи трубы и одной из мачт. Это было почти изолированное место. Запасшись вовремя пароходными билетами, мы рано явились на судно, чтобы захватить это место. Вскоре после того, как мы устроились, появился первый палубный пассажир, какой-то маленький человек в одежде и с манерами интеллигента. Он внимательно осмотрел нас и, вероятно, догадался, что мы ехали компанией, почему и обратился к нам с просьбой о разрешении занять крайнее место рядом с трубой. Мы охотно уступили ему это местечко аршина в два шириной. Вежливо поблагодарив нас, он занял своё место и замолчал, точно набрал воды в рот. Мы болтали и смеялись, а он упорно молчал и всё время наблюдал за нами и вслушивался в наши разговоры. Это не ускользнуло от меня, и я, не подавая вида ни ему, ни товарищам, в свою очередь, стал внимательно следить за ним. Оба мы, видимо, задалась одним и тем же вопросом – он выяснял, кто мы, а я силился определить, кто он. Сообразив, что этим способом немного узнаешь, я, улучив удобную минуту, подошёл к нему и просто спросил: куда он едет?

– В Петербург, – коротко ответил он.

Это слово уже многое сказало мне. Мы разговорились, и неожиданно для обоих обнаружили такие обстоятельства, которые развязали нам языки, и мы с интересом, что называется, набросились друг на друга. Я рассказал ему, что мы – семинаристы Кавказской духовной семинарии и работали в земледельческой ассоциации в двух местах Кубанской области, на казачьих землях. Собеседник мой был сильно поражен моим рассказом и не нашёлся, что сказать, а только воскликнул:

– Да неужели? – и затем, одумавшись, добавил: – Значит, мы вели одно и то же дело.

Затем он сообщил мне, что он – студент Петербургского лесного института и работал с товарищами-студентами артелью на восточной части Черноморского побережья. Но ни он о нас, ни мы об его артели ничего не знали и ничего не слышали. Когда же я сообщил ему, что собираюсь ехать в Москву для поступления в Петровскую земледельческую и лесную академию, он предупредил меня, что в текущем году академия реформирована после Нечаевского дела и что теперь нельзя поступить в неё каждому, кто хотел учиться, а нужно представить аттестат или свидетельство об окончании курса в среднем учебном заведении.

Я не припомню теперь за давностью времени фамилию моего собеседника, известную, сколько мне помнится, в интеллигентных кругах, но он поразил меня своим сообщением о реформировке Петровской академии. У меня было необходимое для поступления в академию свидетельство, которым меня снабдили профессора семинарии, а у Григория Попки, моего друга, его не было, и, стало быть, он не поедет со мной. Я сообщил ему об этом, и мы оба были повергнуты в уныние, но скоро одумались и решили, что Попка по приезде в свою станицу двинется в Ставрополь, в котором учился ещё его старший брат Антон. Ему немедленно следовало написать, что Попка приедет в Ставрополь для того, чтобы выдержать экзамен в семинарии для получения необходимого свидетельства. Вникнув в те условия, при которых он будет сдавать экзамен, мы совершенно успокоились. Ему, несомненно, помогут молодые профессора в получении свидетельства, а главное – инспектор семинарии Цареградский был товарищем по духовной академии генерала Попки, дяди Грицька. Он непременно оборудует дело, а сам дядя очень вскоре обещал Грицьку письмом, что он обеспечит его средствами для обучения в Петровской академии.

Более серьёзное приключение лично со мной произошло уже в самом городе Ейске. По общему согласию с товарищами, у меня хранились все наши денежные средства, и я расходовал их на общие наши нужды. В Ейске мы остановились на знакомом мне постоялом дворе. Утром рано на другой день я отправился на рынок за закупкой провизии и купил, что нужно было нам, в длинном двойном ряду торговых, разместившихся на липкой грязи друг против друга. По длинному между ними проходу двигались покупатели, проходил и я. Купив необходимую нам провизию, отправился на постоялый двор. Меня встретили вставшие уже товарищи, и на вопрос ко мне: «Где ты был?» – я ответил: «На базаре», – машинально ощупывая боковой карман в пиджаке, в котором хранились в большом бумажнике все наши деньги в кредитках, и вдруг с ужасом заметил, что в кармане у меня не оказалось бумажника с деньгами. Точно кто-то сильно ударил меня по голове, и я буквально побежал снова на базар.

– Куда, куда ты? – кричали мне товарищи, но я только отчаянно махал руками и бегом мчался на рынок.

И удивительное счастье! Проходя между рядами среди торговых и внимательно всматриваясь в липкую грязь, в том месте, где я купил осетрину и где больше всего толпилось покупателей, я с сердечным биением увидел черневший в грязи бумажник в ногах теснившейся публики. Я чуть не упал на колени, чтобы поднять найденный мной бумажник. Крепко прижал его вместе с комьями грязи к груди и в такой позе отправился на постоялый двор. Идя по улице в чрезвычайно возбуждённом состоянии, я улыбался или даже радостно смеялся – не помню хорошо. Встречавшаяся со мной публика, глядя на меня с удивлением, качала головами и тыкала в меня пальцами. Вероятно, меня приняли за напившегося допьяна молодца. В таком душевном состоянии, с прижатым к груди бумажником явился я и к товарищам. Только возле них я пришёл в себя. Путаясь и сбиваясь в выражениях, я кое-как рассказал им, что случилось со мной.

Удивлению моих товарищей не было границ, а я, точно пришибленный, свалился на постель в изнеможении. И неудивительно. Ведь я потерял добытые ассоциацией в течение двух лет упорным трудом деньги. И часто потом «мороз драл меня по коже», когда я вспоминал это ужаснувшее меня приключение.





Глава XXVI

## Домой «по образу пешего хождения»

**И**з Ейска мы отправились в Новодеревянковскую пешком. Запасшись хлебом, творогом, варёной и жареной рыбой, все свои вещи мы распределили на четыре равные по тяжести части, разложили их в четыре котомки, и каждый из нас навесил свою котомку на спину через плечи. Васька Орлов добровольно взялся нести ведро с водой, прикрытой деревянным кружком, и мы двинулись в путь.

Дорогой я ознакомил товарищей с хорошо известными мне местами и достопримечательностями города и глухих приейских степей. Я заранее предупредил товарищей, что мы отправимся в Новодеревянковку прямым путём – через обширную, на протяжении сорока с лишком вёрст, степь, мимо станицы Новошербиновской. Из постоянного двора мы двинулись на берег Ейского лимана, и, проходя по его низкому песчаному берегу у восточной окраины города, я знакомил товарищей с промышленными заведениями города – с кирпичными и черепичными заводами, со складами привозного леса, с бойнями, салотопнями. В конце береговой полосы лиман под прямым углом направлялся на восток, упираясь в высокий и крутой берег. По покатоному склону берега расположен был Широчанский посёлок, населённый казаками. Они вели здесь в больших объёмах земледельческое зерновое

хозяйство, находясь в благоприятных по сбыту зерна условиях. Посёлок имел, по выражению товарищей, «внушающий вид» своими дорогами жилыми и надворными строениями и бросающимся в глаза благоустройством во дворах.

– Вот что делает зерновой хлеб, – высказал я свою мысль товарищам, и все согласились со мною.

Невдалеке от посёлка была расположена немецкая колония, или, как говорили казаки, «колонка», в которой отец Пётр Станицкий купил когда-то немецкий плуг. Два ряда усадебных дворов и строений, между которыми проходила единственная прямая и широкая улица, ряд акаций, тянувшийся по ней в виде бульвара, прекрасные фундаментальные постройки, чистота и аккуратность во дворах, рослые плодовые деревья в садах при них вызвали восторг у товарищей. Всё наглядно свидетельствовало о культурном уровне жителей «колонки». И неудивительно, что мы залюбовались этим культурным уголком немцев, каких немало было тогда на Кубани.

Пока мы двигались, нас не покидало бодрое и весёлое настроение. Начало «пешего хождения» и окружающая обстановка бодрили нас. Никто не жаловался и не ворчал на непомерно тяжёлые котомки за плечами. Но когда немного вверх поднялось солнце, и усилилась невыносимая жара, мы, обливаясь потом, притихли и живо ощутили невыгоды пешего хождения. Тяжёлые котомки сильно давили спину и плечи; болела грудь, прорывались крик и короткие восклицания «ффу!» и «уфф!». Путешествие пешком понемногу превращалось в мучительное движение, и, вероятно, не у одного из нас вырывались сетования:

– Зачем мы навесили на себя такую тяжесть?

Через небольшие промежутки времени мы останавливались на несколько минут, чтобы свободно вздохнуть грудью, скинув с плеч тяжёлую котомку. Нас мучила полная тишина, отсутствие малейшего движения воздуха. Кто-то предложил остановиться и ждать вечера, а затем уже двигаться дальше. В ответ прозвучало:

– Что ж ты думаешь, котомка станет легче?

На этом разговор и заглох. Я выдвинул другое предложение. По пути в степи находился глубокий колодец, у которого останавливались обыкновенно на отдых прохожие и проезжающие. В колодце была чудная холодная вода. Мы могли не только отдохнуть и освежиться холодной водой, но и сварить кулеш в ведре и вдоволь попить, несколько облегчив наши переполненные котомки. Нарисованная мной картина

отдыха прельстила товарищей, и мы снова бодро двинулись в путь. Через несколько часов показался колодец. Освежившись из ведра, с жадностью набросились на холодную воду, после чего принялись за приготовление обеда.

Не помню – как, но в моей голове возникло странное, казалось, несовместимое сближение противоположностей – соседство небольшого портового городка Ейска с глухой казачьей степью, обращённой по малолюдству казачьими властями в запасной земельный фонд. В городке была своя культура, и в нём господствовали культурные люди из западноевропейских государств, ворочавшие хлеботорговыми делами. Были здесь англичане, французы, итальянцы, немцы. А в глухой казачьей степи господами её были, собственно, дикие звери – волки, лисицы, зайцы, суслики, хомяки, ежи, крысы да мыши с хищными птицами. Из людей же тут постоянно обитали только чабаны, которых можно было перечесть по пальцам, с десятками тысяч овец в отарах. Три, четыре и наибольшее – пять чабанов, организованных в полуартель, фактически были владельцами степи. Во главе полуартели находился личман, главный распорядитель и лучший знаток ухода за отарой овец, с немногими помощниками – с «підпасичами», в числе которых был гарбачий, то есть чабан при арбе, в которой он возил на волах необходимые предметы, вещи, посуду для пищи и провизию для чабанов и для целой своры собак, из которой чуть ли не каждая шла на волка один на один. Помню, что при переходе через приейские степи мне очень хотелось и самому встретить отару, и товарищам её показать, особенно Орлову и Архангельскому. Я бывал у чабанов и хорошо знаком был с внешними чертами их быта и обстановки. Но, как назло, отары с чабанами не попадались нам на глаза.

Напившись властью холодной воды, Орлов и Попка живо собрали целый ворох сухой травы для костра, а мы с Васькой Архангельским приготовили кулеш с «сорочинским пшеном», то есть с рисом – небывалым в степи продуктом. Это была такая же мешанина местных съестных продуктов с заморским иностранным рисом, как порта Ейск – с глухой степью. Когда кулеш наш закипел, мы вкусно пообедали, завершив пиршество жареной осетриной и сваренными в воде молодыми початками кукурузы.

– Сам царь так не ел, как покушали мы, – шутил Васька Орлов, а мы дружно поддержали его улыбками и смехом.

Тут же, у степного стола и костра, повалились мы на траву и, казалось, должны были сладко заснуть. Но почему-то нам не спалось.

Мы перекидывались короткими фразами, а «старый» Васька затянул фальшивым голосом: «Вниз по матушке, по Волге». Чтобы заглушить пение Васьки, Попка звонким тенором запел: «В ногу, ребята, идите, полно, не вешать ружья». Его поддержал Орлов. Сверх ожидания, вся компания пропела сносно, и главное – очень громко, любимую у семинаристов песню. Казалось, что раскаты нашего пения понеслись далеко в степь. И действительно, неожиданно для нас из закрытой для наших глаз низины ещё громче залаяли собаки. Мы не знали, что вблизи нас была отара овец и собаки при ней. Но ни мы отару и чабанов, ни чабаны нас не заметили. Как бы в ответ на лай собак Васька Орлов, вспомнив, как я сожалел, что по пути нам не попадались отары с чабанами и собаками, комично запел семинарское просительное песнопение о рекреации на латинском языке: «*Reverentissime, en tissime, domine o pater clementissime, recreatione rogamus!*»<sup>1</sup>

Ещё дружнее поддержали его остальные. На этот раз ещё более стройно и громко неслось по степи наше пение. Через некоторое время вдаль показались две человеческие фигуры со сворой собак. Это, видимо, шли по направлению к колодцу недоумевающие чабаны, чтобы выяснить, что там происходит.

Со своим дедушкой отцом Юрием ещё в детстве я близко и много раз видел чабанов в их изолированных кочевьях вдаль от селений, людей, живущих почти в полном одиночестве. Об обычном повседневном течении казачьей жизни у черноморцев распространён был характерный анекдот о том, как личман, увидев где-то в степи красную скорлупку от пасхального яйца, крикнул стоявшим вблизи товарищам:

– Христос воскрес! Гарбачий! Ріж жирного валашка. Нехай сьогодні буде у нас Пасхальне свято!

Так далеки были чабаны в глухих степях от обычной повседневной, в будни и в праздники, жизни людей, находившихся в общении. Ещё издали подходившие к нам чабаны поразили нас резким несоответствием их фигур. Рядом с чрезвычайно высокой фигурой одного чабана видна была низкая, приземистая и, казалось, не в меру широкая фигура другого. Но оба они шли нога в ногу, рядом, точно маршировали с длинными прямыми палками, заканчивавшимися железными крючками, прикрепленными к палкам «рифами», или железными кольцами. Крючками чабаны ловили овец за ноги. Когда же чабаны подошли к нам близко, глазам нашим показались не обыкновенные об-

<sup>1</sup> «*О преподобный господин мой, вне сомненья – самый милосердный отец, мы молим об отдыхе!*» (лат. искаж.). – *Пер. науч. ред.*



иватели казачьих станиц или хуторов, а представители не то какой-то касты, не то иной национальности.

Чабаны были одеты в холщовые рубахи и в штаны, обуты в «постолы», то есть в портки, с крепко обмотанными ремнями калошами и штанами от щиколоток до колен, и в «куйнарах» на голове, в высоких бараньих лохматых шапках, несмотря на сильную жару. Когда Васька Орлов спросил их, зачем они ходят в шапках при жаре, то чабаны ответили:

– Щоб не боліла голова.

Но что особенно поразило моих товарищей, так это необычайный налёт грязи на чабанах. Грязны они были с ног до головы; от грязи чернели лохмотья куйнары, когда-то из белых овчин, грязью были покрыты до неузнаваемости рубахи и штаны. Чабаны не меняли белья и не чистили загрязнённых шапок. Но чабанские чресла, выражаясь высокопарно, увенчаны были своеобразными украшениями, придававшими им нечто джентльменское в чабанском духе. По крайней мере, они, видимо, щеголяли этими украшениями. Чабаны были опоясаны широкими кожаными поясами с карманчиками на них и с разного рода подвесками. К поясам был подвешен гирляндами целый арсенал разного рода предметов и инструментов, необходимых для чабанской практики по уходу за овцами. У пояса болтались и чабанские острые ножи в кожаных чехлах, и «джермела», или металлические щипчики, которыми они искусно очищали от червей раны у овец, и шила, и «швайки», и просто ремни и ремешки. При малейшем движении чабана всё это приходило в движение, шумело и издавало слабые звуки, отчётливо, однако, слышные. Но наряду с черневшей грязью одеждой и чабанскими доспехами гладко выглядели выбритые лица чабанов. Они не запускали ни длинных волос на голове, ни бород на подбородках, а носили лишь усы. Это был казачий признак, придававший им при их заботах о смиренных и покорных животных бодрый и осмысленный вид.

Когда чабаны подошли к нам почти вплотную и поздоровались, то нам ясным стало их различие в фигурах. Меньший по росту чабан был широкоплечий, хорошо скроенный и крепко сшитый пожилой, с проседью, мужчина. Он оказался, несмотря на свой преклонный возраст, живым, как ртуть, молодцем в движениях и умным, находчивым собеседником при разговорах. Это был личман. Его товарищ, или «підпасич», выглядел великаном почти трёхаршинного роста. Но при столь внушительной наружности он был в полном смысле слова

инвалидом, не годным для казачьей военной службы. Его лицо было страшно изуродовано оспой, и один глаз, по его словам, вытек от той же оспы – на месте бывшего глаза осталась только тёмная щёлка, но он, по отзыву личмана, нёс с честью и добросовестно чабанскую службу. Разговаривая, мы все, в том числе и чабанские собаки, скучились в одну группу. Васька Орлов попробовал погладить по шерсти огромного лохматого пса, но пёс так злобно зарычал, что даже не трусливый Васька отскочил от него на шаг.

– Лежать! – крикнул личман.

И пёс, а за ним – все собаки, покорно легли на землю там, где они стояли. Нас поразили эти вышколенные чабанами животные.

От обеда у нас осталась приличная порция кулеша. Я молча показал глазами «старому» Ваське на костёр и ведро с кулешом, и Васька стал подбрасывать в костёр топливо и разогревать в ведре кулеш. Другие товарищи догадались, зачем он это делает, и достали хлеб и рыбу. Когда кулеш был подогрет, я пригласил чабанов покушать «нашей страви». Чабаны просто отнеслись к моему приглашению. Не отказываясь церемонно, они присели к приятно щекоктавшему их запахом кулешу и жареной рыбе и дочиستا съели всё, что было поставлено перед ними. Поблагодарив нас за угощение избитой фразой: «Спасибі вам за хліб, за сіль та за обід», – личман прибавил:

– Добра у вас страва. Це ви в городі запаслись? Там багато цього добра.

Поглядывая на низко осевшее солнце, мы решили двинуться дальше в путь и стали укладывать вещи в котомки. Чабаны всполошились.

– Це ви уже собираетесь тікати од нас? – спросил нас личман. – Останьтесь ще трохи. Он там наш гарбачий на гарбі їде, – указал он пальцем на низину, – а за ним і отара суне. Ви оддохнете ще, а нам дасте можливість попоштувати вас чим Бог послав. Не ламайте козачого звичая.

Я, также следуя черноморским обычаям, угостил чабанов обедом в степи. У черноморских казаков свято исполнялся обычай «чествования людей з хлібом і сіллям», особенно в дороге. Личман опирался на этот обычай. Но обстоятельства слагались так, что и мы сами несколько задержались. Узнав от меня, к кому мы в Новодеревянковку направлялись, личман с волнением воскликнул:

– Так це ви, мабуть, синок отця Андрія. Я ж добре знав і отця Андрія, і дедушку вашого отця Юрія.

Оказалось, что мой отец хоронил жену личмана, а когда личман, тоскуя о жене, передал своему младшему брату, обременённому большим семейством и нуждавшемуся, свой двор с имуществом, то мой отец, по словам личмана, «благословил його», узнав, что он собрался «идти в монахи».

– Ви були монахом? – спросил я с удивлением личмана.

– Та це я так називаю нас, чабанів, – пояснил личман. – Бо ми ж живимо в степу монахами, без жінок і дітей.

Отары и гарбачия ещё не было видно. Но в это время вдаль слышались крики людей, где находились отара и гарбачий с другим «підпасичем».

– Це вовки! – воскликнул личман.

– Та тепер же ще день, – произнёс кто-то.

– Воно так, – согласился личман. – Та я маху дав. На що ми, Охриме, забрали усіх собак з собою? – обратился он к «підпасичу». – Вовки слідкують днем і ноччу за отарою і днем шкодять! – пояснил он нам.

Охрим не ждал приказаний. Вскочив на свои длинные ноги, он бегом направился к отаре и резким свистом позвал с собой собак.

– Вибачайте! – говорил личман, пожимая нам руки, и быстро последовал за Охримом к отаре.

Мы также, не теряя времени, поспешно отправились в путь. Около полуночи добрались мы до реки Ясени и здесь заночевали, а на другой день двинулись в Новодеревянковку.

\* \* \*

К вечеру другого дня после ночлега на Ясенях я был дома, а у меня – и мои товарищи. В станицу мы вошли по короткой поперечной улице её – через церковную площадь ко двору и дому, в котором я родился. На площади не было никого, даже детей. Но у калитки и ворот моего родного двора стояли две женские фигуры и о чём-то оживлённо разговаривали, всматриваясь в нас. Это были моя сестра Домочка и жившая неразрывно с ней её близкая подруга Копочка, или Капиталина Васильевна Ткаченкивна. Увидя нас идущими по площади, они были поражены внешним видом неведомых пришельцев.

– Хто вони? – недоумевали приятельницы. – Сказать бы коробейники – так їх багато для станиці, аж чотирі. На циган вони не похожі та й не кричать, як цигане, котрих за сім верст чути, як вони лопочуть. Мабуть, і не козаки, бо не в козачій одежині.

Только когда мы близко подошли к ним, то сестра моя с волнением воскликнула:

– Та то ж наш Федя! – тыча рукой по направлению к нам.

Немедленно она открыла калитку, и обе подруги бросились навстречу ко мне.

Встреча вышла радостная и задушевная. Сестра крепко обняла меня, а по её примеру, как своя, и Копочка, а обе они пожали руки моим товарищам. Сестра притронулась рукою к котомке и машинально начала стаскивать её с меня, вызвав всеобщий хохот. В доме мы никого, кроме встретивших нас девиц, не застали. Старший брат мой – Василий – был в это время в Ставрополе, а младший – Андрей – в станице Ладожской в учительской семинарии.

При таких условиях я водворился в родном доме с товарищами, временно оставшимися у меня для сведения наших окончательных отчётов по делам ассоциации. Нечего и говорить, что Домочка и Копочка отнеслись к нам не только приветливо, но внимательно и заботливо, но сестра моя, зацепившись за мою котомку, немедленно, сгорая любопытством, стала разгружать её содержание.

– Що це таке? – спрашивала она меня, держа в руках свёрток в бумаге, обвитый полотенцем и перевязанный тонкой верёвочкой.

– Подивись! – ответил я. – I сама узнаєш, що воно.

Сестра последовала моему совету, развернула свёрток и с явным удовольствием воскликнула:

– Так це ж свіжа осятрина!

– Та невже ж? – воскликнула за ней и Копочка, с некоторым изумлением переглянулись даже мои товарищи.

Загадкой для них служило незнание привычек моей сестры и моих сердечных забот о ней. Я очень любил Домочку, а она величайшим лакомством считала осетрину. Желая порадовать и побаловать сестру, я купил в Ейске четыре фунта свежей осетрины, слегка присолил её, никому не сообщая об этом. Мой вызванный братской любовью к дорогой для меня сестре план был осуществлён. Сестра узнала, что такое было в свёртке, и, главное для меня, уловила своим чутким сердцем моё намерение угодить ей и была вдвойне обрадована мной и моим подарком. У всех у нас осталась ещё в небольшом запасе жареная и варёная осетрина, в избытке закупленная в Ейске, благодаря дешёвизне. Мы достали и свёртки с этими остатками и передали молодым хозяйкам.

– Та що це, Бог з вами, за чудасія! – весело виразила своє удивлення Копочка. – Хіба ж ви, як коробейники, торгуете не красним товаром, а красной рыбой?

Всех нас рассмешило это остроумное выражение Копочки, мастерицы по этой части.

Так встретили нас молодые хозяйки в моём родном доме. Нас, конечно, хорошо накормили и напоили они чаем, а спать все мы вчетвером легли в «горниці», или зале, в самой большой комнате. Снабдили нас периною, подушками и постельным чистым бельём – роскошью, которой мы давно не видели. Легли мы в роскошную постель «поко-том» – рядом, вповалку друг с другом.

С утра следующего дня начались наши совещания и окончательный расчёт в делах ассоциации. Прежде всего, мы выяснили, кто и куда намерен был отправиться. Я и Григорий Попка решили поступить в Петровскую земледельческую и лесную академию. Орлов заявил, что в первое время он будет путешествовать в тех местах, в каких жили наши товарищи по семинарии и приятели, а потом он оседет на той службе, которая связана в Ставропольской губернии с крестьянским делом и с интересами крестьян. Васька Архангельский стремился в родное село, где он решил вести собственное хозяйство у отца и помогать односельчанам советами и защитой их интересов.

С денежными расчётами мы скоро справились. Денег у нас было мало, да и те, какие были у нас, быстро таяли. Но всех, казалось, заинтересовал вопрос о том, что дала ассоциация трудовому населению и что – нам самим. Лично я не раз думал об этом, и эти думы привели меня с Попкою к мысли о необходимости получить высшее образование и, вооружившись знаниями, занять потом такое место и положение, которые связывали бы нас с трудовым населением и давали бы нам возможность влиять на него и способствовать его интеллектуальному развитию, солидарности и формам общественной жизни. Этими мыслями я и Грицько менялись друг с другом, но что думали по этому поводу мои остальные товарищи, я не знал и лишь догадывался, что они не задавались широкими планами и высокими помышлениями о будущем, ибо сами они никогда не заикались о вопросах социального бытия народной массы и её будущности.

Свободное время, полное прекращение наших обычных при работах в ассоциации треволений, мысль о скорой разлуке и, пожалуй, заманчивая перспектива поделиться в последний раз серьёзными мыслями и здравыми суждениями способствовали тому, что все мы го-

рячо взялись за ответ на поставленный мной вопрос о том, что дала нам наша ассоциация и что дала она трудовому народу, с которым мы соприкасались.

Долго, в приподнятом настроении, говорили и спорили мы по этому поводу. Как-никак, мы искренне увлеклись и вели хорошее и плохорешенное дело и ни разу не сходили с намеченного нами пути труда и солидарности с трудовым населением. К постановленному так вопросу мы старались отнестись объективно и здраво. Одни говорили о том, что мы не сумели сойтись с местным населением, а другие опровергали это фактами, указывая на то, что у нас было недостаточно материальных средств и собственной земли для правильной постановки и ведения в ассоциационном духе хозяйства, но этому противоречило то обстоятельство, что один из наших членов – местный правомочный представитель Бриньковского станичного общества отец Пётр Станицкий – как священник и казак по происхождению, поставил ассоциацию, в силу своих прав, в довольно удовлетворительные в этом отношении условия; останавливались на том, что мы попали в очень глухое место со стороны неблагоприятных условий. Но все мы сходились в общем мнении о том, что для больших успехов ассоциации нам недоставало двоякого рода условий. Во-первых, мы юридически не были связаны с Бриньковским станичным обществом, так как не все были полноправными членами общества, и на ассоциацию бриньковчане смотрели как на личное предприятие уважаемого священника. А во-вторых, для больших успехов ассоциации необходим был более высокий культурный уровень развития местного населения, которое не вышло ещё из примитивных форм экономики в областях земледелия и скотоводства, да к тому же и само население было безграмотно и пропитано косностью и суеверием.

Тем не менее, население присматривалось к ведению дел в ассоциации и ценило в ней то немногое, что давала ему ассоциация, как свидетельствовали об этом казус с немецким плугом и обращение к нам за разного рода советами по хозяйству, и в затруднительных случаях – в области права и административных порядков и прижимов со стороны власть имущих.

Но самим нам ассоциация давала многое в виде опыта и своего рода воспитания. Она приучила нас к регулярному труду и к систематическому навыку устранения всякого рода затруднений, которыми богата была жизнь в глухой степи и в примитивных условиях хозяйственного быта. Практически мы и получили в этом отношении

надлежащее воспитание, как малосведущие школьники в школе житейского моря и его обычных волнений. Может быть, в этом случае я грешу несколько тем, что придаю давно прошедшим нашим деяниям нынешнюю окраску, но не подлежит ни малейшему сомнению, что ассоциация научила нас многому. Существенное значение имело для нас в школе жизненной практики то, что за всё время нашей деятельности никто из нас не изменил тем одушевлявшим принципам, во имя которых организовались в ассоциацию. Мы действовали в интересах народа и направлялись в дальнейшую нашу жизнь убеждёнными народниками.

Много светлых воспоминаний уносили мы с собой о тех моментах нашей деятельности, которые приучили к солидарности и укрепляли веру в лучшее будущее для нас, для трудового народа и вообще для человечества. Это не громкая фраза, а глубоко и крепко засевший в мою память факт. Мы не уходили с этой идеальной позиции ни в нашей деятельности, ни в оценке её при нашем совещании и спорах. Мы не корили себя за неудачу нашего опыта и не третировали тех принципов, которыми руководились в этом опыте ассоциации. Труд и интересы трудового народа были нашими лозунгами в этом отношении.

Правда, на наших совещаниях мы не пришли в этом отношении к каким-либо определённым выводам, налагавшим на нас какие-либо взаимные обязательства, понимая, что такие обязательства трудно-выполнимы и были бы, по меньшей мере, лишь фиктивными. Живые элементы для будущей нашей связи заключались в наших же воспоминаниях о тех светлых моментах, которые в своё время радовали и ободряли нас в своей деятельности. Да и рассуждали и спорили подолгу потому, что всем нам не хотелось расставаться друг с другом. Мы как бы умышленно затягивали наши разговоры и на будущие дни совместного пребывания.

Действительность, однако, не церемонилась с нами. С грустью я и Попка проводили двух Васек – Орлова и Архангельского. Невеселы были и уезжавшие, несмотря на попытки их быть бодрыми и весёлыми. Васька Архангельский «совсем повесил свой нос». Это было часто пускаемое в оборот Васькой Орловым выражение, которым он ободрял товарищей в затруднительных случаях, но и он никого не ободрял и даже не шутил, как делал это обычно чуть ли не на каждом шагу. И ему было в это время «не по себе». Его, впрочем, обескураживала разлука с нами не под влиянием колебания наших идеалов, о чём он не говорил и, наверное, не думал. Ему было не по себе потому, что он

расставался с нами, или точнее – с той товарищеской средой, в которой он превосходно чувствовал себя. Едва ли я погрешу, если скажу, что и Ваську Архангельского не тревожили, наверно, никакие размышления о высоких целях ассоциации для трудового народа и общего блага. В нашей среде он был завзятым индивидуалистом, чаще других опиравшимся на своё «я». Мы с Попкой находились в более благоприятных условиях, преследуя ясно намеченные цели пополнения своих знаний в высшем учебном заведении и в области той специальности, которая была крайне необходимой для земледельческой ассоциации. Нас тянула к себе Петровская земледельческая и лесная академия, пользовавшаяся в ту пору большой популярностью в среде мыслящей молодёжи. Так ликвидирована была наша ассоциация в той казачьей станице, в которой я родился и начал учиться уму-разуму с малых лет.





Глава XXVII

## Часы одиночества, новые встречи и тревожившая меня дилемма

**Н**а другой день уехал от меня и Попка. Я остался в одиночестве, хотя сестра и Копочка почти не отходили от меня. Их отношение трогало, но я не знал, что мне делать дома и с чего начать. Мысль о поездке в Петровскую академию гвоздём засела в мою голову, но она же больше всего беспокоила и волновала меня. Надлежащие документы для поступления в это высшее и очень популярное в среде учащейся молодёжи заведение были у меня на руках, но денег было столько, сколько стоил только проезд в Москву. «А в академии на какие средства я буду жить?» – задавал я себе вопрос и разводил руками. Единственным якорем спасения был мой сердечный друг Попка. Я уверен был, что с приездом в Москву мы сумеем прожить вдвоём на его средства, обещанные ему дядей, казачьим генералом, но и это было гадательно. Можно было, конечно, зарабатывать средства на стороне для существования. Я не боялся физического труда, но подходящих работ могло не быть в Петровско-Разумовском посёлке, где находилась академия. К тому же заработок на стороне отвлекал бы меня от студенческих занятий. Целый рой подобных мыслей и пред-

положений вертелся в голове, но остановиться на чём-либо твёрдом и положительном не получалось.

Мне было известно, что в Кубанском казачьем войске было много войсковых стипендий для учёбы в высших и специальных учебных заведениях, в том числе и в Петровской академии. Но они выдавались войсковым начальством только гимназистам, реалистам и вообще питомцам казачьих учебных заведений, и не было случаев назначения стипендий семинаристам, обучавшимся в Кавказской духовной семинарии, находившейся в духовном, а не войсковом ведомстве. Мне могли также повредить и крайне неблагоприятные слухи, ходившие об ассоциации и обо мне лично в привилегированной среде чиновничества, панов офицеров и даже духовенства. Сестра и Копочка слышали очень нелестные отзывы. Злые языки клеймили меня именем батрака у бриньковского попа, придавая нашей ассоциации характер наёмной группы, которую сумел прибрать к своим рукам священник отец Пётр Станицкий. Сестра моя содержала так называемую общественную квартиру, на которой останавливались проезжавшие по служебным надобностям чиновники и офицеры. Один из этих проезжающих, знавший меня в Ставрополе, когда я учился в духовной семинарии, поразил её такой приблизительно «критикой».

– И что это сделалось с вашим братом? – говорил он. – Всё время шёл первым учеником в семинарии, был на хорошем счету у учебного начальства, жил даже на квартире у самого ректора, и вдруг точно на него что-то наскочило: начитался каких-то книжек, сбил с толку своих товарищей и, бросив семинарию, отправился на вольные казачьи степи устраивать какую-то раздериацию или то бишь... ассоциацию!

Такие слухи циркулировали обо мне и о нашей ассоциации в среде так называемых благородных людей – панов офицеров, духовных лиц и торговцев в станицах. У многих из ревнителей седой, неподвижной в социальных формах старины прорывались даже предположения о том, что ассоциация была чем-то недозволенным и преступным.

Скрепя сердце, я старался по возможности хладнокровнее выслушивать эти рассказы, не придавая им, как сплетням, значения, чтобы успокоить приятельниц. Хорошо зная меня, отчасти – моих товарищей, и то, что я рассказывал им об ассоциации как об опытном шаге, побудившем меня потом отправиться в Петровскую академию для продолжения образования, сестра и Копочка смотрели на подобные слухи как на пустые сплетни. В этом отношении я был спокоен, но боялся, что

нелепые слухи могли дойти и до высшего в войске начальства, и тогда нечего было и думать о том, чтобы получить войсковую стипендию.

Мне не с кем было поговорить и посоветоваться о волновавших соображениях. Сестра и Копочка, в сущности, имели лишь слабые представления о значении ассоциации для меня и о тех целях, какие я преследовал, но они были своими людьми. Толковать же с ними о вопросах социальной важности было не с руки по двум причинам: во-первых, трудно было знакомить их с теми высокими идеалами, которые и мне лишь мерещились, а во-вторых, это знакомство повело бы к тому, что, волнуясь сам, я волновал бы и их путаницей своих соображений. С ними я был не в одиночестве в силу близких и родственных нам связей. Но мне недоставало моих товарищей, с которыми я, как с равными в интеллектуальном отношении, привык делиться мыслями о том движении, которое началось в то время в среде, главным образом, молодёжи, учившейся в высших учебных заведениях. Вот это одиночество и начало грызть меня. Пусто как-то и безотрадно чувствовалось без друзей, с которыми я, быть может, уже распрощался навсегда.

\* \* \*

В неопределённом и тревожном положении одиночки я неожиданно встретился с человеком, с которым мог поделиться мыслями. Его не было в станице, когда я приехал, но, возвратившись домой, он неожиданно явился ко мне и сразу приподнял моё угнетённое настроение. Это был Василь Кириллович Лукаш, урядник по казачьей службе, уже отбывший её. По возрасту он был значительно старше меня. Я знал его с раннего детства, с тех пор, как он женился на моей двоюродной сестре, и в течение целого ряда лет считался с ним не только как с родичем, но и как с однодумцем в те годы, когда и я стал взрослым. Из детского же прошлого мне живо вспомнились те картины, которые связаны были со свадебным ритуалом. В двух случаях я исполнял важные, по моему детскому разумению, комичные роли. С них в моей детской жизни и началась, собственно, моя связь с Лукашем. В одном случае я вёл артиллерийский бой с свадебным «поём», во главе которого стал жених Лукаш, а в другом – охранял имущество сестры Марфы, жены Лукаша.

В то время, когда «поём» жениха, состоявший из «бояр», то есть шаферов, гостей и многочисленной толпы любопытных зрителей, прибыл к нашему двору, в котором находилась невеста, и остановился у

наших ворот, последние заранее были укреплены в виде своего рода батареи. В две нижние перекладыни ворот вставлено было большое заднее колесо от воловьего воза с железными втулками с обоих концов «маточины» (ступицы), в которую вкладывались заранее также приготовленные в виде стрел прямые палочки, служившие боевыми зарядами. Это артиллерийское сооружение для защиты двора было отдано в полное моё распоряжение. Когда поезд во главе с женихом, сидевшим верхом на лошади, в казачьем мундире с орденами, при сабле и кинжале, со свадебными украшениями из лент, появился перед воротами, и рядом с женихом расположились «бояре» (шафера) с двух сторон, так же одетые в военные костюмы, как и жених, я немедленно открыл военные действия – вкладывал в маточину колеса стрелы, бил по торчавшему с моей стороны концу стрелы деревянной колотушкой, и та летела во вражеский стан. По-детски серьёзно и с азартом стрелял я из своей пушки и вызывал громкий смех в присутствовавшей публике. Я так отчаянно защищал ворота, что и «неприятель», наконец, зашевелился и проявил чисто военную хитрость. Один из «бояр» придвинулся ближе к воротам, помахивая узелком из платка, наполненного пряниками и орехами.

– Бери! – говорили мне на ухо стоявшие рядом взрослые защитники двора. – То гостинці!

Я протянул руку в отверстие между перекладин. Ворота были открыты, и поезд шумно двинулся во двор.

В то время как гостили у нас жених, бояре и другие лица, участвовавшие в поезде, из дому во двор вынесена была большая деревянная, покрытая белой жёстью «скриня», запертая висевшим на ней большим замком и наполненная бельём и другими вещами женского туалета – летнего и зимнего, а также огромный узел с подушками, шубой и другими вещами, принадлежавшими невесте. Меня посадили на скриню в качестве стражи имущества двоюродной сестры и вооружили довольно внушительной палкой, служившей «отбивачем» для телят при доении коров, которым доильщицы отгоняли их, когда они лезли к вымени матерей. В этом случае разыграна была своего рода увертюра.

Первый акт состоял в том, что кто-либо из состава поезда – «бояре» или другие лица – пытались положить руку на скриню, а я всерьёз махал отбивачем. От меня быстро, с напускным испугом, отскакивали покусители при дружном хохоте присутствовавшей публики. Но в двух или трёх случаях я так удачно пустил в ход моё оружие, что оно

попало кому-то в спину. Задетые отбивачем гости во всю глотку кричали: «Ой! Ой! Ой!» – и для большей потехи шипели и подпрыгивали на одной ноге, потешая смеявшуюся публику.

Второй акт увертюры носил мирный характер. Сначала «бояре» соблазняли меня мелкими игрушками и пряниками, но я, наученный старшими, показывал приподнятый отбивач. Когда же один из бояр, потряхивая довольно объёмистым мешочком, наполненным пряниками и орехами, – в одной руке, и показывая две больших конфеты с картинками – в другой, подошёл близко ко мне, то я, заинтересовавшись картинками, бросился к нему и схватил его за обе руки, желая сразу завладеть ими и остальным добром, а он нарочито с ловкостью не отдавал мне ни пряников, ни конфет. Весёлое настроение публики при этой чисто детской проделке «боярина» превратилось в крики, хохот и в науськивание:

– Не піддавайся, боярине!

Я выпустил его из рук, а «боярин» с хохотом вручил мне и мешочек, и конфеты.

Так и артиллерийский бой, и ловкая проделка со мной «боярина» одинаково окончились тем, что я уступил сестру Марфу и её приданое Василию Кирилловичу Лукашу. С тех пор я стал близким его приятелем, а он впоследствии часто со смехом напоминал мне, как я телячьим отбивачем защищал свою сестру, а его жену. Но, конечно, не отмеченные мной эпизоды из детской жизни крепко связали меня с Лукашем, а его незаурядный ум и характерные в его положении поступки, которыми он поражал меня и всех, с кем он из интеллигенции соприкасался как человек мыслящий и активный. Он хорошо понимал и придавал большое значение нашей ассоциации. Вот почему в своём одиночестве я обрадовался и ожил, когда Лукаш, после долгого отсутствия в станице, неожиданно появился у меня, узнав о моём приезде.

\* \* \*

Василь Кириллович и Марфа Онисимовна – так обыкновенно величали двух супругов – Лукаша и Лукашку, относясь с уважением к этой паре – к заслуженному казачьему уряднику и к молодой, миловидной и работающей его жене.

– Вони удвох так живуть, як неначе одна людина, – говорили о них соседи и вообще люди, хорошо их знавшие и соприкасавшиеся с ними.

Это действительно были сильно любившие друг друга супруги, не знавшие ни ссор, ни пререканий в своих взаимоотношениях. Но трудно было найти супругов, столь резко расходившихся внешне, как Василь Кириллович и Марфа Онисимовна. Он – уже пожилой мужчина, полный энергии и непреклонный в своих действиях и поступках, а она – молодая, двадцати двух лет, женщина, смирная, как овечка, и покорная, как послушное дитя. Главное же – Василь Кириллович был хотя и сильный, плотно сложенный мужчина, но лицо у него было изрыто и ужасно изуродовано оспой, и только острые и светлые взгляды его серых глаз несколько ослабляли впечатление, производимое почти сплошь изрытым оспой лицом.

Что же сблизило этих разноликих лиц и так плотно спаяло их в одну «людину»? Собственно, для меня это были близкие родственные лица, и мне не хотелось бы идеализировать и приукрашивать их действительно удивительную спайку, решая при этом трудноразрешимую в литературном изложении задачу. Только такие великие художники слова и образного изображения, как, например, Гоголь, сумеют справиться в художественном романе или в сценической драме с этой задачей. Я же ограничусь характерным фактом в протокольном изложении моих воспоминаний.

Когда моя родная сестра Домочка узнала, что её двоюродная сестра Марфа решила выйти замуж за Лукаша, то вгорячах обратилась к сестре:

– Марфо! Що з тобою скоїлось? Лукаш же рябий, як решето!

Марфа вспыхнула, как порох, и задрожала, на что она по своей смирной и покладистой натуре, казалось, совсем не была способной.

– Так що ж тобі капосним у Лукаша показалося? – обидчиво воскликнула она. – Що, по-твоему, Домочка, краще у людини – чи спокуслива пика, чи чиста, як кришталь, душа?

Домочка опешила при неожиданном для неё выступлении Марфы и виновато заговорила:

– Та то я не те... не так сказала...

– А як же? – резко и настойчиво спросила её Марфа.

Домочка замолчала.

– А я тобі от що скажу, – с небывалой настойчивостью заговорила Марфа. – Ти не знаєш Лукаша, а якби знала, то, може, й ти сказала б, що не пика, а душа краще. Він не лукавий і не брехун, як ті хлопці, що морочать та обдурюють дівчат, а дуже добра та правдива людина – про це усі, хто його близько знає, так кажуть. А мені через те ще більше



він сподобався, що дуже веселий та кумедний. Як скаже що кумедне, то всі аж за боки беруться та регочуться. Ось що!..

И Марфа вдруг оборвала свою речь и стыдливо потупилась. Под влиянием обиды и явной несправедливости к Лукашу она в возбуждении так много, в таком духе и с таким подъёмом, как никогда не говорила, неожиданно обнаружила свои сокровенные чувства и помыслы, чем и нас поразила. Очевидно, то естественное обожание и благородная любовь заговорили устами смиренной и не расположенной к препирательствам женщины. Со своей стороны я ещё раз прибавлю, что супруги действительно жили, как «одна людина», но в этой двуликой «людині» головой и господствовавшей силой был муж, а не жена, полюбившая в нём именно сильную духовную натуру.

Что же представлял собой Василий Кириллович Лукаш в пёстрой и богатой типичными фигурами среде казаков? В ответ на этот вопрос я перепису из своего же напечатанного в 1908 году очерка следующую тираду, в которой точно передан факт из деятельности Лукаша под именем Кудряша:

«Можно сказать, что в станице у нас не было столь деятельного, подвижного, весёлого и настойчивого человека, как Василий Кириллович Кудряш. Это была сама воплощённая энергия. Вся жизнь его прошла в усиленной деятельности и неустанной борьбе, причём он не выказывал слабости, не любил ни ныть, ни опускать безнадежно руки.

Отец Кудряша был бедняком и неудачником. В детстве Василию Кирилловичу приходилось голодать, да и всей семье терпеть крайнюю нужду. Лишь только он стал на ноги, как на молодую спину сразу обрушилось тяжёлое бремя хозяйственных забот. С тех пор Кудряш, по его выражению, «так и шёл всё время быком по борозде», работал не покладая рук, выбиваясь в люди.

На строевую службу Василий Кириллович, как человек бедный, не могший снарядить лошадь, попал пластуном, то есть пехотинцем. Здесь он сразу обратил на себя внимание начальства своей бойкостью и расторопностью. Находясь с батальоном на турецкой границе, он в промежутки между строевою службою, хождением на часы и секреты, ревностно взялся за грамоту; скоро выучился читать, очень сносно писать и как грамотный и ловкий казак был назначен сначала приказным, а потом произведён в чин урядника. Участие в стычках с неприятелем доставило Кудряшу два Георгиевских креста и почётное вообще между казаками положение. Когда Василий Кириллович воротился с турецкой границы домой, то буквально-таки привёл своих

одностаничников в изумление урядничим чином, крестами и умением держать себя. Бедняк-казак, ничем до того не выделявшийся из среды товарищей, если не считать постоянного весёлого настроения да умения метко острить, вдруг занял видное общественное положение, стал заметной фигурой между товарищами. У себя на дому он также умело повёл хозяйство, пустив в оборот кое-какие средства, быстро занял положение человека, с которым надо считаться.

За Кудряшом скоро установилась репутация умного и делового хозяина, и Василий Кириллович действительно резко выделялся из массы казаков не только своим умом, но и знаниями. Он любил читать книжки и умел осмысленно усваивать прочитанное. Всё свободное время он посвящал, как сам выражался, «науці» и с одинаковым рвением поглощал и народные издания, и произведения классических писателей: Гоголя, Лермонтова и Пушкина, но особенно интересовался газетами. Эта страсть у него выражалась в двойной форме – в жажде новостей и в стремлении передавать другим прочитанное. В этом отношении Василий Кириллович был живая ходячая газета. Всё, что вычитывал из книг и газет, он применял к действительности и часто мешал действительность с прочитанным. Получались целые сцены и картины в живом и образном, полном здорового юмора малорусском пересказе Кудряша. Он любил делиться своими сведениями, а станичники – слушать его»<sup>1</sup>.

Но это именно положение и создало Лукашу врагов, людей, недовольных выскочкой урядником. Язык Василия Кирилловича, его меткое слово при отстаивании общественных интересов и умение живой и оригинальной речью влиять на умы одностаничников и были основной причиной его неприятностей. Но он и дальше стойко пролагал, по его выражению, «свою линию» – линию народоправства в широком смысле этого слова.

Природа наделила Лукаша добрым здоровьем, незаурядным умом и вообще духовными силами. С раннего детства он не боялся труда и привык полагаться на собственные силы. Этому, можно сказать, способствовали общие условия казачьей жизни и военной службы – подготовительной, строевой, сторожевой на кордонах и пикетах, боевой при стычках и сражениях с черкесами и внутренне бытовой при условиях, надо сказать, поглощавших казачьи силы в лучшую пору их физического развития и пригодности для производительного труда. В свободное время казаки учились тому и брали в окружавших их усло-

<sup>1</sup> Сборник «В защиту слова», статья «Под цензурой», с. 15 и 16. – Примеч. Ф.А. Щербини.



виях и обстановке то, что необходимо было для их семей и хозяйства. О том же заботился и Лукаш, но, по своей пытливой натуре и мыслящей голове, он не только брал и заготавливал лес и разные предметы домашнего обихода, а и зорко следил за тем, что происходило на кордонах и что наводило его на мысль о лучшей постановке собственной и вообще казачьей жизни, которая слагалась и протекала в станице. Его беспокоило собственное отсутствие на дому, вне семьи и хозяйства, как главного работника и опоры в родном жилище.

Это было самое больное место в жизни любящего и заботливого казака о близких ему людях. Вследствие отвлечения военной службой лучших правомочных работников от хозяйства и семьи, главные заботы о казачьих нуждах и потребностях ложились на женский персонал, на подростков, юношей и отдавших уже свои силы казачьей службе стариков. Рабочий состав казачьей семьи был не полным, сильно ослабленным. Лукаш женился в ту пору, когда главные служебные обязанности казака были уже выполнены им. Муж и жена были дружной рабочей парой и так же прекрасно знали свои обычные по тому времени хозяйственные дела, как пять пальцев на собственных руках. Будучи по натуре не скопидомами и не жадными поклонниками богатства ради богатства, они дружными усилиями и практическим навыком сразу поставили своё хозяйство в самостоятельное, независимое положение, обеспечившее их первостепенные интересы и позволившее дать приличное воспитание детям.

Но Василь Кириллович Лукаш был не только рачительным семьянином, а и горячим общественным деятелем в области экономических и культурных интересов рядового казачества.

– Треба громадські діла так вести, – говорив он, – щоб усім добре жилося, – и исходил в своей общественной деятельности из этого принципа.

Владея в совершенстве образным украинским языком, он умело пользовался в своей речи пословицами, поговорками, анекдотами и юмористическими выражениями, не допуская ни личных нападок, ни грубых выступлений против своих оппонентов, что ценилось уважаемыми стариками и вообще лучшими представителями общественных сходов. Его выступления на сходах всегда охотно выслушивались казаками. Он был как бы присяжным оратором на общественных собраниях, и его деловые предложения всегда внимательно выслушивались присутствующими.

Такова была эта казачья пара – муж и жена.

\* \* \*

Присутствие в станице Лукаша и свидания с ним подняли моё душевное настроение. Я ожил и зорко присматривался к домашней и особенно к станичной частной и общественной жизни. Достаточно поучительный опыт в нашей рабочей ассоциации, чтение газет и таких журналов как «Отечественные записки», «Дело» и других наводило меня на мысль о желательных изменениях в казачьих условиях и жизни. Я не увлекался тогда социалистическими теориями о радикальном переустройстве всего уклада народной и казачьей жизни и плохо знаком был с тем революционным движением, которое назревало среди учащейся молодёжи и концентрировалось в двух главенствующих партиях – бакунинской и лавровской, или радикалов-бунтарей и пропагандистов-народников. Будучи сторонником второго направления, я полагал, что оно ближе стояло и соответствовало эволюционному течению жизни. Но как оно должно было выражаться? Можно было или открыто выступать против царизма, или же подрывать его критикой несовершенства в существующих порядках и учреждениях, не касаясь, согласно с военными обязанностями и положением казаков, царя, царской семьи и иных высочайших особ. Первый способ грозил арестами, тюрьмой, ссылками и, может быть, ещё чем-нибудь худшим, а вторым можно было проводить здоровые начала легально в области печати и устного слова. Я остановился на втором способе. Таковы были мои, так сказать, собственные доморощенные политические воззрения.

В то время в моей голове не сложилась ещё своя программа деятельности в назревавших политических осложнениях. Мне пока лишь рисовалось в перспективе положение студента в каком-либо высшем учебном заведении в столицах, чтобы ознакомиться с науками и с господствовавшим настроением учащейся столичной молодёжи. Поступление в Петровскую академию было уже решено мной и моим другом Григорием Попкой. Хотя у меня для проезда в Москву и хватало средств, но для проживания в Петровско-Разумовском предместье Москвы, рядом с которым находилась академия, я не располагал никакими источниками. Вот это обстоятельство больше всего смущало меня. Я знал, что в академии и вообще в высших учебных заведениях Кубанское казачье войско имело значительное количество стипендий, но был уверен в том, что казачье начальство не даст мне стипендии, как авантюристу, организовавшему ассоциацию из семинаристов. Связей с людьми, которые помогли бы мне получить стипендию, у меня

тоже не было. Под знаком вопроса находилось у меня, таким образом, само поступление.

Одновременно я задумался также над местными экономическими условиями казачьей жизни, преимущественно над отрицательными её явлениями. Чем чаще вдумывался я в общий уклад этой жизни и порядков, тем больше бросались мне в глаза и во внимание совершавшиеся открыто на глазах всего населения отрицательные порядки и явления, принимавшие в некоторых случаях своего рода обычный характер, допускаемый законом и правительством. Особенно недопустимым казалось мне свободное, как бы гарантируемое законом, потребление спиртных напитков на разного рода торжествах и праздниках, в которых наряду с обыкновенной публикой принимали участие духовные лица и представители власти.

Встречаясь с Лукашем, мы почти всегда касались вопроса о пьянстве, хотя несколько расходились во взглядах собственно на потребление спиртных напитков. Лукаш откровенно говорил, что он любит-таки пропустить «чарочку або й дві горілочки» и повеселиться. Веселье, по его мнению, не портило казака, а ободряюще действовало на него.

– Можна пити, – говорив он, – знаючи міру в питті. Не монахом же бути козаку?

Да и как, в самом деле, быть ему противником чарочки в таких случаях, когда все пьют в свободные часы от напряжённого труда, при весёлых казачьих собраниях, в гостях у именинника, на свадьбах, в храмовый праздник всей станицы и в других подобных случаях! Лукаш упирал на факты как на глубоко укоренившиеся в жизни людей обычаи. Я также хорошо понимал силу и значение этих обычаев, но, освещая их с подробностями пьяных оргий и безобразий, опирался на несовместимость таких обычаев с моралью. Сведя вопрос о пьянстве на чисто моральную точку зрения, оба мы пришли к одному и тому же выводу, что с пьянством надо бороться. Это было, конечно, ясно для нас и без спора, и мы перешли от спора к фактам. Лукаш был ближе и шире, чем я, знаком с фактами и, обогатив меня новыми данными, привёл к тому, что я ещё решительнее стал на свою позицию.

Мне были ясны и понятны исходные пункты моей позиции. Погоня правительства за высокими акцизными доходами, составляющими важнейшую часть государственного бюджета, – с одной стороны, и необходимость борьбы с пьянством и связанными с ним отрицательными эксцессами и явлениями – с другой, придавали борьбе с пьянством двусторонний характер. Я хорошо понимал, что меры против пьянства

в виде печати, проповеди с церковной кафедры и даже карательных законов имели слабое значение. Фактически так и велась борьба, но толку от этого было мало, так как деньги были нужны и правительству на общегосударственные нужды, и станичному обществу – на нужды общественные. Денежные поступления от акцизной системы также одинаково нежелательны, так как связаны с пьянством и кутежами. Над двусторонним разрешением этой проблемы я неоднократно задумывался. В процессе своих размышлений я остановился, между прочим, на денежных процессах, связанных с продажей напитков и их потреблением. Количество массово потребляемых напитков, думалось мне, не может особенно резко измениться по той простой причине, что нельзя же поколебать потребность в алкоголе большинства населения. Запрещённый плод ещё слаще, по народной поговорке. Сдерживающим фактором в этом отношении служат деньги. Когда их нет, то нет у потребителя и водки. Даровое безденежное потребление, каковое процельывают ловкие проходимцы, устраивающие кутежи на свой счёт в личных своих интересах, не уменьшит, а увеличит количество потребляемых напитков, чтобы получаемые при этом денежные выгоды в форме акциза уравнивались между правительством и населением, организованным в сельских и городских поселениях. Другими словами, нужно, чтобы в этих выгодах заинтересованы были и государство, и размещённое в посёлочных местах население. Но государство получает от акцизной системы огромный налог, взимаемый собственно с населения, а население остаётся «при печальном интересе».

Живой интерес овладел мной при работе мысли на эту тему. Сначала я ломал голову над разного рода комбинациями о планомерной организации потребления спиртных напитков и о связанной с этой организацией борьбе с неумеренным потреблением напитков вопреки морали и закону в форме пьяных вакханалий и явных преступлений. Раздумывая над этими фактами, однажды я громко рассмеялся сам с собой. «Да ведь это должен быть, – мелькнуло у меня в голове, – общественный кабак, или, выражаясь деликатнее, общественное питьёное заведение». Мысль об общественном кабаке проникла уже в газеты. «Это заведение, – думал я, – должно находиться в ведении и под контролем надёжных и лучших выборных представителей от станичных обществ». В родной моей станице, как и в подавляющем большинстве станиц, были уже общественные здания для продажи напитков. Благодаря уже одной наличности этих зданий отчасти ослаблялись беспорядочность и безобразия от продажи и потребления

спиртных напитков. Это раз. При продаже напитков в общественных зданиях часть доходов может отчисляться в станичные общественные капиталы. Это два. А главное – вместо шести или десяти зданий в больших станицах, которыми изобилует Кубанский край, будет только одно общественное, приносящее всему обществу доход заведение. Таким образом, под бдительным контролем выборных агентов от станичных обществ будет упорядочена продажа спиртных напитков, которая даст, с одной стороны, известный доход в станичные общественные капиталы, а с другой – несомненно, повлияет сдерживающе на нарушение законов и на уменьшение соединённых с этими нарушениями преступлений.

И вот при этом настроении у меня в первый раз мелькнула мысль о литературной работе по этому предмету. Я хорошо владел пером, и учителя не раз говорили мне, что некоторые мои письменные работы можно печатать хоть и в газетах. Поэтому у меня как-то само собой возникло желание попробовать силы на этом поприще. Мне хорошо были знакомы факты пьянства и связанные с ними правонарушения. Над этой темой я задумался и решил её использовать, серьёзно взявшись за работу.

Напечатанные в 1872 году в нескольких номерах «Кубанских областных ведомостей» статьи под общим заголовком «Из станицы» дали неожиданный для меня результат. Ими заинтересовались все, кто их читал. Им придал важное значение, прежде всего, редактор Михаил Егорович Гегидзе, грузин по национальности и юрист по образованию, а также многие из читателей в разных станицах и даже сам войсковой атаман. Редактор выслал мне номера газеты с напечатанными в них моими статьями и очень лестный для начинающего писателя отзыв. Я немедленно отправился в Екатеринодар, познакомился с Гегидзе, который очень любезно принял меня и подробно ознакомился с моим положением. Я сообщил ему, между прочим, о намерении отправиться в Москву для поступления студентом в Петровскую земледельческую и лесную академию, проговорившись, что не имею на это средств.

– А вы казак? – спросил меня Гегидзе.

– Казак, – ответил я.

– Пустяки, – воскликнул он. – Я заранее ручаюсь, что вам дадут войсковую стипендию, и с вашего позволения, похлопочу об этом.

Я, конечно, с радостью поблагодарил его за участие в столь важном для меня деле.

\* \* \*

На следующий же день после этого разговора Гегидзе отправился к атаману, доложил ему обо мне и заручился полным согласием о назначении мне стипендии. Мало того, сам наказной атаман генерал-лейтенант Михаил Аргирьевич Цакни выразил желание познакомиться и поручил Гегидзе пригласить меня к нему в десять часов утра на следующий день. Я чрезвычайно был обрадован таким оборотом дела и в назначенное время отправился в приёмную атамана.

Тут со мной произошёл комический казус. Когда я вошёл в приёмную, в ней уже было несколько лиц, а вскоре затем пришло ещё несколько офицеров, в том числе войсковой старшина, или майор, и молодой, видной наружности полковник. Бросив беглый взгляд на присутствующих лиц, полковник подошёл ко мне, положил руку на моё плечо и как бы в шутку произнёс:

– А ну лишень, козаче, киш із цієї скамейки. Це ж сідалище для полковників!

Я сидел на единственном в приёмной кресле. Приняв его слова за чистую монету, я встал с кресла, а полковник сел в него. Все мы ожидали выхода атамана. Ко мне подошёл хорошо знакомый мне дежурный чиновник и шепнул на ухо, что атаман осведомился, где я сижу. Я недоумевал, что это означало, но открылась дверь кабинета, и к нам вышел Цакни. Все, как один, быстро поднялись на ноги. Атаман вежливо поклонился, попросил сесть на места и сразу направился ко мне. Пожимая мне руку, он произнёс:

– Я очень рад видеть вас.

Затем, обратившись к остальной публике, он попросил извинить его, так как он несколько задержит господ офицеров, и направился со мной в кабинет. Присутствующие были поражены этим приёмом незнакомого им, в поношенном костюме посетителя, особенно зазнавшийся полковник-юморист, предположивший, вероятно, что я рядовой казак, и поступивший со мной, как с курицей, своим «киш з місця».

Более получаса задерживал меня в кабинете Михаил Аргирьевич, подробно расспрашивая о желании получить образование в Петровской академии и об интересовавших меня науках. Выразив своё удовольствие тем, что я избрал такое высшее учебное заведение, в специалистах которого особенно нуждался Кубанский край, он коснулся также и моих статей, напечатанных в «Кубанских областных ведомо-

стях». Ими, по словам атамана, кроме него, заинтересовались многие интеллигентные казаки.

В течение моего пребывания у атамана моей особой очень интересовались офицеры, и особенно – прогнавший меня полковник. Последний спросил обо мне чиновника:

– Що воно за цвях?

Чиновник назвал меня семинаристом из Кавказской духовной семинарии и сознался, что он сообщил атаману, как полковник выдворил меня из кресла. В связи с этим обстоятельством атаман, видимо, придал несколько демонстративный характер своему поведению в приёмной. Но лично для меня важны были не столько изложенные подробности, сколько назначение мне войсковой стипендии.



Глава XXVIII

## Переполох в станице и мои проводы в академию

Особые для станичного обывателя обстоятельства привлекли внимание моих одностаничников к моей особе. Назначение войсковой стипендии и отношение лично ко мне высшего начальства носило характер станичной новости среди близких ко мне лиц и того круга одностаничников, в котором я вращался. Моя сестра и неразлучная с ней её подруга Копочка, или Капитолина Васильевна, радовались моему успеху и всем сообщали, как внимательно отнёсся ко мне войсковой наказной атаман. Близко знакомая с моим успехом публика говорила о том, что по окончании курса наук в академии меня произведут прямо в чин сотника, минуя чины урядника и хорунжего, как практиковалось это по отношению к тем казакам, которые оканчивали курс наук в высших учебных заведениях. Некоторые из духовных лиц, неодобрительно относившихся к тому, что я, первый ученик, живший в квартире у самого ректора семинарии архимандрита Исаакия, тайком удрал от него и вместе с другими товарищами организовал какую-то ассоциацию чернорабочих-земледельцев, узнав о получении стипендии, вдруг переменили тон и стали «превозносить меня до небес» как писателя. Богатые казаки, не благоволившие ко мне

как к стороннику казачьей бедноты, двусмысленно хвалили меня, что я додумался наконец-то до хорошей мысли о том, что лучше учиться и чины хватать, чем быть у попа батраком. Сам станичный атаман есаул Фёдор Степанович Завадовский, косо глядевший на меня как на вольнодумца, решил, сверх всякого ожидания, последовать моему примеру и написал какую-то курьёзную статью для «Кубанских областных ведомостей», чтобы обратить тем и на него благосклонное внимание высшего начальства. Одним словом, многих станичников всполошила моя соблазнительная «командировка в академию», как выражались они по этому поводу. Переполох, вызванный моим успехом, объяснялся отчасти тем, что в служебной казачьей среде привыкли оценивать всякий успех чиновного казака со служебной точки зрения и мерить его чинами и орденами.

Лично меня, конечно, интересовали не столько чиновные перспективы, сколь мысль о том, что я буду служить народу в области его духовных нужд и связанных с ними материальных потребностей. Я заранее по этому поводу решил не уходить с того пути, по которому я уже шёл несколько юношеских лет как народник, долженствующий честно служить трудовому народу.

Но переполох в ином смысле охватил и меня с сестрой и Копочкой. Нужно было собраться как следует в дорогу. Счастье захватило меня врасплох. Известив, прежде всего, своего друга Григория Попку о назначении мне войсковой стипендии, я занялся подготовкой к отъезду в Москву. У меня, казалось, были развязаны руки в предстоявшей деятельности, но не было ясных, определённых представлений о ней. На очереди стояли, рядом с хлопотами мелочного житейского характера, и поглощавшие всё моё мышление предположения о будущей деятельности в Петровской академии.

Так как я не имел ни достаточного количества белья, ни даже личного костюма, то этим, понятно, и следовало для начала заняться. Деньги у меня имелись, но недостаточно для моего обмундирования, ибо на руки мне не были выданы ещё прогоны и суточные деньги. На семейном совете, состоявшем из меня, сестры и Копочки, решено было взять в долг материал для белья и костюма у столовавшихся у сестры лавочников и погасить возникший таким образом долг по получении прогонов и суточных денег. Сделать это было легко. Так мы и поступили. Портному же Гершке, хорошо знакомому мне еврею, смиренному, незлобивому и отзывчивому на всё доброе и полезное для людей, я предложил сшить мне костюм на условии, что на полученные от меня

деньги за его работу он сошьёт и себе пиджак или сюртук, чтобы заменить им сильно поношенный им лапсердак, и ни в коем случае не потратит ни копейки на водку, к которой он был равнодушен. Предложение моё было принято. Через несколько дней оба мы были франтами. Так устранена была моя главная нужда.

Затем я решил забрать с собой все печатные материалы и источники, имевшие отношение к моей будущей специальности, особенно излюбленные мной произведения по экономике и социологии. Надо заметить, что в семье у нас был значительный запас книг, оставшихся после смерти отца – по духовной литературе, после смерти старшего брата Тимофея – по богословским, историческим и философским источникам, огромное количество книг и учебников по русскому языку, накопленных братом Василием, который готовился стать учителем (именно по этому предмету он вышел потом в отставку). Было и лично у меня немного приобретённых по случаю книг. Я решил взять часть этой библиотечки с собой в академию как подручный запас, но книг набралось больше, чем я мог взять дорожного багажа. Пришлось ограничиться лишь составлением списка имеющихся материалов и взять в Москву только три или четыре самых необходимых издания.

Особенно же смутил меня чисто теоретический вопрос о согласованности моих будущих занятий в академии с теми назревшими у кубанских казаков нуждами, какие, по моему разумению, стояли на первоочередном месте. Это был большой, сложный и трудно разрешимый вопрос. Тем не менее, обладая опытом нашей ассоциации, я вполне понимал, что казачье хозяйство на Кубани находится в положении коренного перелома в зависимости от изменений в естественноисторических и экономических условиях. Прежнее вольнозаймочное хозяйство быстро и резко переходило в фазу ограничительных общеземельных порядков, но фаза эта была недостаточно ясна. Поэтому я оставил уяснение её для академии с помощью науки и соответствующих сравнительных данных опыта, накопленного в других местах.

Кроме книг и печатных материалов, я располагал также собственными записями, заметками, извлечениями из официальных документов, и даже небольшими, коротко набросанными очерками. Впоследствии, как я и предполагал, некоторые из этих подготовительных материалов почти полностью вошли в мои печатные издания. Так, в первую по изданию мою книгу «Очерки южнорусских артелей и общинно-артельных форм», отпечатанную в 1880 году, вошли в исправленном виде некоторые мои ранние очерки. В сочинение «Земельная

община кубанских казаков», напечатанное в виде оттисков из сборника Кубанского статистического комитета, вошли многие материалы, почерпнутые из реальной жизни казаков и документов станичных архивов. Собственные материалы в таком виде отчасти пригодились мне в академии, но большая часть их была использована в работах, помещённых в сборниках, толстых журналах и вообще в периодической прессе. Для меня существенно было это последнее назначение моих материалов. Поступление в Петровскую академию как бы инстинктивно направляло меня на необходимость двоякого рода знаний и материалов: из рукописных источников и из непосредственных наблюдений процессов и явлений в реальной жизни казаков и трудового народа. Этой двусторонней работе я и отдал впоследствии свои силы и труд. Поступление в Петровскую академию морально, так сказать, встряхнуло меня и направило на надлежащий путь. С этого момента я систематически готовился к серьёзной научной работе и заранее запасался материалами для будущих научных и литературных трудов. Мой первый опыт в печати по вопросу об алкоголизме как источнике гражданских безобразий и преступных деяний убедил меня в полной моей пригодности для научных и литературных работ в народническом духе.

\* \* \*

Запасшись справочными сведениями о поездке на железную дорогу и затем по ней в Москву по двум путям – морем через Ейск в Таганрог и почтовым трактом в Ростов-на-Дону, – я избрал последний путь. Оба названных города были соединены железной дорогой, которой я пока ещё не видел собственными глазами. В Ростове был конец железной дороги из России на юг, а Таганрог находился на том же железнодорожном пути. Для Кубанской области и для Северного Кавказа Ростов был торговой станцией, которой я также не видел, и мне, естественно, хотелось хотя бы проездом взглянуть на неё. Я упоминаю об этих подробностях, чтобы подчеркнуть, каким провинциалом я был в родной степи на Кубани и в каком приподнятом настроении я ехал в новые культурные места и к новому составу неизвестного мне столичного населения.

Располагая достаточными денежными средствами, до выезда из дома я тщательно распределил их приблизительно на четыре статьи: 1) на собственную мою особу в границах моих скромных потребно-

стей – я не пил, не курил и почти не тратил денег на зрелища и на удовольствия; 2) на остановки в городах для осмотра их по пути железнодорожного следования; 3) на специальную сумму для покупки книг и литературных произведений; 4) на отчисление некоторой доли моих денег младшему брату Андрею, учившемуся в Кубанской учительской семинарии. Личная моя жизнь научила меня расходовать деньги возможно аккуратнее и целесообразнее ввиду осуществления тех целей, которые я считал первостепенными. Самое звание «студент», несмотря на мой приличный возраст, жизненный опыт и достаточную степень умственного развития, действовало на меня если не по-юношески магически, то, во всяком случае, приятно и возвышенно. С именем студента в то время соединялись молодая и чуткая интеллектуальная пылкость и безукоризненная честность. Звание студента расценивалось по этому ходячему диплому в надлежащих сферах интеллигентной молодёжи.

Но помимо этого обычного отношения к званию студента, ко мне близко и сердечно относился целый ряд лиц, с которыми я находился в родственных и приятельских взаимоотношениях. Сестра с особой теплотой и заботливостью готовила меня в дальний путь. Копочка помогала ей энергично в этих заботах. Двоюродная сестра Марфа и её муж Лукаш также близко к сердцу принимали мои проблемы. Соседи, находившиеся с нами в близких, приятельских условиях общежития, входя в общую нашу среду, также были своими людьми. Всё это естественно, в обычном порядке вещей. В нашей станице и вообще в казачьих станицах считались важными событиями такого рода экстраординарные случаи, как отправление казаков из станицы на военную службу или отъезд учащихся в учебные заведения, находившиеся вдали от родных станиц. Под такую категорию подходил и мой отъезд в Москву. Проводить меня в дальний путь и на длительное время желали мои родные и близкие знакомые. Сестра и Копочка заранее готовились к моим «проводам», как назывались в станицах такие дни отъездов.

На мою беду, я должен был выехать из станицы «удосвіта», по местной терминологии исчисления времени, то есть очень рано утром, «до петухов», по великорусскому выражению, возвещавших это раннее утро своим громким «ку-ка-ре-ку!». Решено было устроить мои проводы накануне отъезда. Это были, можно сказать, не рядовые по тому времени проводы. В них участвовало очень много лиц, и к этому в своём роде торжественному случаю применён был обычай складчины. Пришедшими на проводы были принесены разного рода съестные

продукты, пирожки «с потрібкою», то есть с мелко изрубленным жареным мясом, пирожки с творогом, с яблоками и вишнями, колбасы, свиное сало, горшочки с коровьим маслом и со сметаной, жареные курицы и цыплята, а сестра Марфа притащила целого жареного поросёнка. Были также и напитки – чистая водка, настойки и виноградное вино, купленные хозяйкой дома. Участвовавшие в приношениях, передавая сестре подарки, прибавляли:

– На дорогу!

Но этих приношений оказалось во много раз больше того, сколько составлял мой дорожный багаж. Небольшая часть удобных для дорожного продовольствия продуктов оставлена была «на дорогу», а остальные деликатесы пошли на угощение, или точнее – на самоугощение гостей.

Все вдоволь ели и пили, весело разговаривали, поздравляли меня с наградой, под которой разумели назначение мне высшим начальством стипендии, желали мне успехов в академии и вообще всяческих благ.

Нет надобности входить в эти обычные при проводах подробности. Мне было особенно приятно тёплое и сочувственное отношение ко мне станичников. Я прекрасно понимал различие их взглядов на мой успех у высшего начальства, но искренность пожеланий трогала и ободряла. В этом живо чувствовалась родная казаку стихия казачьих общений в лучших проявлениях казачьей жизни. Это был хороший поощрительный акт для моей будущей деятельности. Близкие мне люди радовались моей радости, что, собственно, и служило залогом нашего морального единения.

## Перечень украинских, а также устаревших слов и выражений, встречающихся в III томе<sup>1</sup>

**Багато** – много.

**Бакша (бахча)** – степной участок, засаженный огородными растениями (чаще всего арбузами).

**Бачити** – видеть.

**Бугай** – некастрированный бык.

**Валах (валашок)** – кастрированный баран.

**Великий** – большой.

**Верзати** – болтать, молоть ерунду, городить вздор, пороть чушь.

**Витребеньки** – выдумки, безделушки.

**Вишкварки** – остатки после хорошо прожаренного, растопленного сала.

**Вкупі** – вместе.

**Гарбачій** – в артели пастухов управляющий припасами, эконо и повар.

**Гарно** – хорошо.

**Годинник** – часы.

**Годувати** – растить, выращивать.

**Горілка** – крепкий украинский напиток, настоянный на перце (от глагола «гореть»).

**Гребля** – плотина, гать, служащая для переезда через реку.

**Громада** – союз, общество.

**Даси** – дать.

**Декілька** – несколько.

**Дзедзивер** – лесная мальва, высокое растение с прямым ветвистым стеблем.

**Дрібниця** – мелочь.

**Єднання** – единение.

**Запіканка** – самодельное спиртное на основе водки с добавлением лимонных корок, мускатного ореха; «запекается» в течение недели в толстостенной бутылки, обмазанной толстым слоем теста, в остывающей печи или духовом шкафу.

**Зачепити** – зацепить.

**Зашкварчать** – зашипеть (на огне).

<sup>1</sup> Перечень составлен В.К. Чумаченко.

**Засмажити** – жарить.

**Збити с пантелику** – сбить с толку.

**Индик** – индюк.

**Інший** – иной.

**Кагат** – куча плодов, овощей, соли, сложенных для дальнейшей транспортировки или длительного хранения.

**Камора** – помещение.

**Капості** – пакости, неприятности.

**Каюк** – небольшая плоскодонная лодка с двумя вёслами.

**Кермек** – декоративное цветущее растение, используется также в качестве целебного снадобья и детского лакомства.

**Керувати** – руководить.

**Кобчик (кобец)** – мелкий сокол.

**Коваль** – кузнец.

**Ковдобина** – колдобина, рытвина, ухаб, яма на дне водоёма.

**Колонка** – немецкая земледельческая колония, хутор.

**Комора** – амбар.

**Комизитися** – капризничать.

**Корень, коренная (о лошади)** – центральная лошадь в упряжи, запрягаемая в оглобли.

**Куйнар** – шапка.

**Кулеш** – суп из пшена с добавлением солонины, горохового толокна, сала, лука, моркови и зелени. Самым вкусным считается кулеш, приготовленный на костре.

**Кульмич** – курдюк.

**Кумпанство** – добровольно составленное товарищество.

**Куняти, куняць** – дремать, клевать носом.

**Ланцюжок** – цепочка для часов, ювелирное изделие, которое носят на шее, запястьях, на одежде и оружии.

**Лаяти** – ругать.

**Левада** – луг, заливаемый в половодье.

**Ледві** – едва.

**Леміш** – сошник в плуге.

**Лікувати** – лечить.

**Лиска** – лысуха.

**Личман** – старший пастух овечьего стада.

**Люшня** – упорка в телеге, прикрепляемая к оси.

**Лякати** – пугать.

**Мабуць** – может быть.

**Макітра** – на Украине широкий глиняный конусообразный горшок с шероховатой внутренней поверхностью для перетиранья мака и других семян; в ней также подогревают кислое молоко для приготовления творога.

**Мандрівник** – путешественник, странник.

**Млинці** – блины.

**Могорич** – магарыч, благодарность в виде накрытого стола, обычно со спиртными напитками и чаем.

**Молодик** – молодой казак, молодой месяц.

**М'яка** – мягкая.

**Пампух, пампушка, пампушечка** – небольшая сдобная круглой формы булочка из дрожжевого теста, смазанная чесноком, подаётся к борщу.

**Наборг** – в долг.

**На жаль** – к сожалению.

**Несамовитий** – испуганный, крайне возбуждённый.

**Немає** – нет, не имеется.

**Ніколи** – никогда.

**Онде** – вон там.

**Орати** – пахать (землю).

**Підпасич** – помощник пастуха.

**Пішки** – пешком.

**Погонич** – тот, кто при пахоте направляет и погоняет лошадей.

**Половинщики** – те, кто арендуют землю за половину урожая.

**Попихач** – человек, которым всякий помыкает.

**Постіл (постола)** – лапоть.

**Працювальник** – работник.

**Припиняти** – прекращать, прерывать.

**Пристяжка, пристяжная** – лошадь, прикрепляемая к вальку рядом с коренником в паре, тройке или четвёрке лошадей.

**Ретязок** – цепочка.

**Різнитися** – различаться.

**Розгардіяш** – беспорядок, кавардак, кутерьма.

**Роздобутки** – добыча.

**Розпитати** – расспросить.

**Сабан** – примитивный деревянный плуг с металлическим лемехом.

**Самотина, самота** – одиночество.

**Соха, сошечка** – орудие для вспашки земли.

**Сошник** – резак в сохе.



**Спілка** – союз.  
**Справа** – дело.  
**Сула** – судак.  
**Суперечка** – спор, препирательство.  
**Таранька (гаранка)** – вяленая, сушёная рыба.  
**Троянда** – роза, розан (цветок розы).  
**Тощо** – и тому подобное.  
**Упруг** – пространство пахоты, которое можно вспахать за одну упряжку волов.  
**Хвиля** – волна.  
**Хвилинка** – минута, мгновение, момент.  
**Холоша** – штанина.  
**Хабарь** – взятка.  
**Харциза, харцизяка** – разбойник, злодей.  
**Царина** – пахотная земля, засеянное поле, выгон, пастбище в пределах села, застава, ворота при входе в село.  
**Цвях** – гвоздь.  
**Чебак** – рыба породы карпий, сазанов, корофов (В. Даль).  
**Чекати** – ждать.  
**Чепіга** – деревянная рукоятка в плуге.  
**Чересло** – нож, резец (в плуге).  
**Чоловік** – человек, муж.  
**Чути** – слышать.  
**Шалфей** – травянистое лекарственное растение, содержащее эфирное масло, алкалоиды и дубильные вещества.  
**Шибити (руку)** – ударить, «разбить» руки спорящих.  
**Шматочок** – кусочек.  
**Шукати** – искать.  
**Шулика** – коршун.  
**Экстирпатор** – вид культиватора для глубокого рыхления почвы.  
**Ятка** – торговая палатка.

**В.К. Чумаченко. От научного редактора**.....7

#### В ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

|   |     |
|---|-----|
| I. По пути из Ставрополя в станицу Бриньковскую.....                      | 14  |
| II. На сговоре.....   | 30  |
| III. Переезд.....   | 48  |
| IV. Ивановна.....   | 52  |
| V. На околице станицы.....  | 63  |
| VI. Скандал с немецким плугом.....  | 75  |
| VII. В положении главнокомандующего и специалиста.....                    | 104 |
| VIII. На общем собрании.....  | 133 |
| IX. Начальная работа земледельческой ассоциации.....                      | 149 |
| X. Моё недомогание и поездка домой в Деревянковку.....                    | 163 |
| XI. На сенокосе.....  | 182 |
| XII. Съёмка с корня хлебных посевов.....                                  | 194 |
| XIII. На току и около тока.....   | 205 |
| XIV. Переход к новому сельскохозяйственному году.....                     | 218 |
| XV. На осенних работах.....   | 245 |
| XVI. С осени на зиму.....   | 257 |
| XVII. В станичных условиях.....   | 274 |
| XVIII. На ставке.....   | 289 |
| XIX. Ассоциация в царине и новый член её.....                             | 305 |
| XX. Тревоги в ассоциации и приток в неё новых членов.....                 | 325 |
| XXI. Перелом в ассоциации.....  | 335 |
| XXII. На хуторе.....  | 346 |
| XXIII. Григорий Львович и Марья Александровна.....                        | 366 |
| XXIV. Ложная слава и обидная благодарность.....                           | 385 |
| XXV. В поиске новых заработков.....                                       | 404 |
| XXVI. Домой «по образу пешего хождения».....                              | 410 |
| XXVII. Часы одиночества, новые встречи и тревожившая меня<br>дилемма..... | 422 |
| XXVIII. Переполох в станице и мои проводы в академию.....                 | 437 |

Перечень украинских, а также устаревших слов и выражений,  
встречающихся в III томе.....443

**Ф.А. ЩЕРБИНА**  
**Собрание сочинений**  
**Серия I. Неизданные сочинения**

**Том III**

**Научный редактор, составитель:** В.К. Чумаченко

**Дизайн:** М.В. Попкова

**Вёрстка:** А.В. Зоркина

**Корректор:** Ю.А. Полушина, В.С. Пукиш

**Редактирование снимков:** Н.В. Вартанова

В книге использованы фотоматериалы из ГКУ Краснодарского края «Государственный архив Краснодарского края», а также из муниципального музея станицы Бриньковской им. Г.Я. Бахчиванджи.

Издательство благодарит всех деловых и творческих партнёров, активно способствовавших продвижению данного тома в печать: редактора журнала «Станица» **Г.В. Кокунько** (Москва), руководителя краевого фонда памяти Ф.А. Щербины **С.А. Левченко**, директора Государственного архива Краснодарского края **С.Г. Темирова**, директора муниципального музея станицы Бриньковской им. Г.Я. Бахчиванджи **Т.А. Бутко** и научного сотрудника **В.В. Винокурова**, создателя Новодеревянковского музея Ф.А. Щербины **А.В. Дейневича**, кандидата филологических наук, доцента КубГУ **М.В. Шаройко**, книговеда **Д.В. Грушевского**.

ООО «Книга»

8(861)-268-55-71

8-928-042-67-78

e-mail: [t\\_vasilevskaya@bk.ru](mailto:t_vasilevskaya@bk.ru)

Отпечатано:

Тираж 2000 экз.